

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

2000

8

---

2000



## **ДО КОНЦА 2000 ГОДА И В 2001 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

**АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Диверсант (роман);**

**БОРИС АКУНИН. Новый роман;**

**ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть);**

**НИКОЛАЙ БАЙТОВ. Суд Париса (повесть);**

**АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);**

**ЮРИЙ БУЙДА. Меконг (роман);**

**МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;**

**РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);**

**АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Купавна (роман);**

**СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);**

**АНДРЕЙ ВОЛОС. Новая повесть;**

**РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);**

**ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;**

**ИГОРЬ ДЕДКОВ. Дневники 1980-х годов (из наследия);**

**БОРИС ЕВСЕЕВ. Отреченные гимны (роман);**

**БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;**

**ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);**

**СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Из наследия;**

**ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Случайные записки;**

**ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Культурно-политические статьи для рубрики «По ходу дела»;**

**АНАТОЛИЙ КИМ. Остров Ионы (роман);**

**МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);**

**ОЛЕГ ЛАРИН. Пятиречь (сцены из захолустной жизни);**

**БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;**

**ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;**

**АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Любовь к отеческим гробам (роман);**

**АНДРЕЙ НЕМЗЕР. Империя от Павла I до Николая I в зеркале новейшей историографии;**

(См на обороте)

**ВЛ. НОВИКОВ. Филологическая поэзия;**  
**ЕЛЕНА ОЗНОБКИНА. Тюрьма или ГУЛАГ? (Современная фило-  
софия наказания);**  
**ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);**  
**ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы;**  
**ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Новый роман;**  
**ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Ужас победы (повесть);**  
**ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. «Гамбургский счет»: возможность и  
действительность;**  
**МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное по-  
вестование);**  
**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман); Спецэффекты в жизни  
и в литературе (эссе);**  
**АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. А в это время... (роман);**  
**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух  
жерновов. Очерки изгнания (часть вторая);**  
**РОМАН СОЛНЦЕВ. Человек с печальными глазами (повесть);**  
**ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Моление о Еве (повесть);**  
**МИХАИЛ ЭПШТЕЙН. Слово как произведение (фрагменты);**

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, НИНЫ ГОРЛАНОВОЙ, ДАНИИЛА ГРАНИНА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, АНТОНА УТКИНА;** стихи **МАКСИМА АМЕЛИНА, ТАТЬЯНЫ БЕК, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ЕВГЕНИЯ КАРАСЕВА, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, МАРИНЫ КУДИМОВОЙ, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, МИХАИЛА СИНЕЛЬНИКОВА;** статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, ИРИНЫ СУРАТ, СЕМЕНА ФАЙБИСОВИЧА, МАРКА ФЕЙГИНА, ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО, МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ** и других авторов.

# NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

**СПОСОБ ЗАКАЗА:** по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

**СПОСОБ ОПЛАТЫ:** 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

**СТОИМОСТЬ** одного экземпляра в 1999 и 2000 годах: \$ 14,

**СТОИМОСТЬ** годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,  
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».  
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.

E-mail: nmir@aha.ru



## Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,  
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо  
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) \_\_\_\_\_

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»  
с \_\_\_\_\_ (месяц, год) на \_\_\_\_\_ месяцев.

Количество экземпляров \_\_\_\_\_

Стоимость заказа \_\_\_\_\_ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) \_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс, e-mail) \_\_\_\_\_

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) \_\_\_\_\_

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки \_\_\_\_\_





## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2000» (том 1). Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на второе полугодие 2000 года — 210 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на вторую половину 2000 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Стоимость льготной подписки — 198 рублей. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (ул. Бахрушина, 28), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Чистый переулок, 6) и в киосках «Мосинформ».

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

*Уважаемые зарубежные подписчики!*

*Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,*

*выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».*

*Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.*

*Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).*

# НОВОСТИ МИРА®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 8 (904)

Август, 2000 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

БАХЫТ КЕНЖЕЕВ — Осенний лед, стихи	7
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ — Путешествие в седьмую сторону света, роман	12
ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВ — Пойманный гром, стихи	106
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ — Нам целый мир чужбина, роман. Окон- чание	109
ВЛАДИМИР КОРОБОВ — Море остыло... Стихи	142
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ — Второй день Рождества, рассказ	146
ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ — Дар и покой, стихи	154

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

БОРИС ЕКИМОВ — Надейся лишь на себя	159
-------------------------------------	-----

### ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

СЕМЕН ФАЙБИСОВИЧ — Прогулки по общим местам	167
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЕЛЕНА НЕВЗГЛЯДОВА — Эвтерпа с черного хода. Заметки о прозе	182
ЕЛЕНА КАСАТКИНА — John Bull вздремнул, или «Fin de siècle» по-английски. Британская литература 90-х годов	195

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Валерий Мильдон. Русский анекдот: изменчивость и наследствен- ность	201
Алексей Смирнов. Пока не осушена чаша	204
Евгений Перемышлев. Сержант русской словесности и его наслед- ство	208
Майя Кучерская. А любви не имею	211
Михаил Горелик. «К отчему дому»	214

(См. на обороте)



## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Евгения Свитнева. — Светлана Сикуляр. На зеленом венике	218
Татьяна Шуваева. — Е. Б. Скороспелова. Замятин и его роман «Мы». В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам	220
Михаил Одесский. — В. И. Макаров. «Такого не бысть на Руси прежде...». Повесть об академике А. А. Шахматове	222

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КИРИЛЛ РОПОТКИН — Лесков в еще более удобной упаковке	224
ЮРИЙ ЛОБОДА — Кто кого гениальнее...	225
АНТОН ВАЛЬДИН — Сколько икры съедено?	226
ВАЛЕНТИН ЛЮБАРСКИЙ — Касаясь до всего слегка	227

### КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА	229
-----------------------	-----

### БИБЛИОГРАФИЯ

Книги (составитель Сергей Костырко)	236
Периодика (составитель Андрей Василевский)	240
Сетевая литература (составитель Сергей Костырко)	249
SUMMARY	256

### ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «SMIRNOFF-БУКЕР 2000»

Из тридцати романов, выдвинутых в этом году на премию «Smirnoff-Букер», четыре были впервые напечатаны в «Новом мире»:

- Валерий Залотуха. Последний коммунист. 2000, № 1, 2.  
Ирина Полянская. Читающая вода. 1999, № 10, 11.  
Ольга Славникова. Один в зеркале. 1999, № 12.  
Алексей Слаповский. День денег. 1999, № 6.

Желаем успеха нашим авторам!

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала «Новый мир».

---

---

БАХЫТ КЕНЖЕЕВ

\*

## ОСЕННИЙ ЛЕД

\* \*  
\*

Медленно, медленно гаснет несытый ночной очаг.  
Где-то на севере дева читает Библию при свечах.  
Бог говорит мятежному вестнику: «Успокойся!»  
Где-то на севере, где подо мхом гранит  
блещет слюдою синей и воду озер хранит,  
верстах в двухстах к востоку от Гельсингфорса.

Где-то на севере — был, говорят, и такой зачин.  
Если поверить книге, извечный удел мужчин —  
щит и копье, а женщин — шитье да дети  
неблагодарные, с собственной судьбой  
(девочкам — вдовьи слезы, мальчикам — смертный бой).  
Дева читает книгу, матушка чинит сети,

добрый глава семейства, привыкший спать у стены  
(руку под щеку, на столик — трубку), обычные видит сны —  
нельма и чавыча да конь вороной, наверно.  
Свечи сгорают быстро. Вьюшку закрыть пора.  
Всю-то округу завалит первый снежок с утра.  
Бог уверяет дерзкого: «Я тебя низвергну

в ад без конца и края». Кожаный переплет  
вытерся по углам. На окошке осенний лед  
складывается в узоры: лишайники, клен, лиана.  
В подполе бродит пиво. Горестно пискнет мышь,  
в когти попав к коту, а вообще-то ни звука — лишь  
трубный храп старика отца — он ложится рано.

\* \*  
\*

Меняют в моем народе  
Смарагд на двенадцать коней,  
До страсти, до старости рвутся к свободе  
И не знают, что делать с ней.  
Облаков в небе глубоком —

---

Бахыт Кенжеев родился в 1950 году. Окончил Московский государственный университет. Автор восьми сборников лирики и пяти романов, вышедших в США, России и Казахстане. Живет в Канаде. Пользуясь случаем, «Новый мир» поздравляет Бахыта Кенжеева с пятидесятилетием.



Что перекаати-поля в степи,  
 И недаром своим пророкам  
 Господь завещал: терпи.  
 А мы ни петь, ни терпеть не умеем,  
 Знай торопим зиму в чужом краю,  
 Загоняем бедных коней, не смеем  
 Влиться в ангельскую семью.  
 Как далёко за этот поход ушли мы  
 От садов Эдема влажного, от  
 Золотистой неодоушевленной глины,  
 От гончарных выверенных забот!  
 Розовеет рассвет, саксаул-горемыка тлеет,  
 Злится ветер, ночь-красавицу хороня.  
 Да продрогшие агнцы бессильно блеют  
 Вокруг замирающего огня.

\* \*  
\*

Плещет вода несвежая в бурдюке.  
 Выбраться бы наконец к реке  
 или колодцу, что ли, но карте ветхой  
 лучше не верить. Двигаются пески,  
 веку прошедшему не протянуть руки,  
 сердцу — не тяготиться грудною клеткой.

На спину ляжешь, посмотришь наверх — а там  
 та же безгласность, по тем же кружат местам  
 звезды немые. Холодно, дивно, грустно.  
 В наших краях, где смертелен напор времен,  
 всадник не верит, что сгинет в пустыне он.  
 Падают беркут, потоки меняют русло.

Выйти к жилию, переподковать коня  
 с мордой усталой. Должно быть, не для меня  
 из-за наследства грызня на далекой тризне  
 по золотому, черному. Пронеслась  
 и просверкала. Не мучайся.  
 Даже князь  
 тьмы, вероятно, не ведает смысла жизни.

\* \*  
\*

Готова чистая рубаха.  
 Вздохну, умоюсь, кроткий вид  
 приму, чтоб тихо слушать Баха,  
 поскольку сам зовусь Бахыт.  
 Ты скажешь — что за скучный случай!  
 Но жарко возразит поэт,  
 что в мире сумрачных созвучий  
 случайных совпадений нет.  
 Зоил! Не попадает в лузу  
 твой шар дубовый, извини!  
 Его торжественная муза  
 моей, замурзанной, сродни.

Пускай в тумане дремлет пьяном  
осиротевшая душа,  
но с Иоганном Себастьяном  
мы вечно будем кореша!

\* \*  
\*

Оглянись — расстилается, глохнет в окраинном дыме  
незапамятный град в снежной радуге, в твердой беде,  
где безногий поет у вокзала, где были и мы молодыми,  
где в контейнере мусорном роется пьяная Пифия, где

до сих пор индевеют в преддверии медленной оды  
неоплатные своды небес, где недолог неправедный суд,  
и Невы холодеющей венецианские воды  
к долгожданному серо-зеленому морю несут

неопрятный, непрочный ледок. Хорошо накануне развязки  
выпить крепкого, крикнуть, нетрезвую деву обнять.  
На гребцах похоронных галер белеют посмертные маски,  
а считалочка знай повторяется — раз-два-три-пять,

лишь четыре пропущено. Елки-моталки, друзья мои,  
обезьяньи потомки, дневного творенья венец,  
для чего же склонились вы над галактической ямою?  
Как звенит в пустоте ее жестяной бубенец,

как звенят телефоны в квартирах пустых, и не надо,  
нет, не надо, — давно ли и сам я, бесстыж, неумын,  
Бог весть кем обречен до скончанья времен  
надрывать валторною хриплой у Летнего сада...

\* \*  
\*

Перед подписью будет «я вас люблю и проч.».  
Подойди к окну, штору черную отодвинь.  
У незрячих любимое время суток — ночь,  
а излюбленный звук — зеленый с отливом в синь.  
Бирюзовый? Точно. Мыльной водой в тазу  
цепенеет небо над третьим Римом. Вспять  
поползли планеты. Видимо, бирюзу  
бережет Всевышний, чтоб было нам слаще спать.  
Но и черно-белый в такой оборот берет —  
прямо спасу нет. Помолился бы кто за нас.  
Персефонин домашний зверь, саблезубый крот,  
поднимает к звездам подслеповатый глаз.  
Что он видит там? То же самое, что и мы,  
с тою разницей, что не строит гипотез, не  
тщится связать бесплодную ткань зимы  
с облаками, стынувшими в окне,  
и не верит, не верит, что мирозданье — верфь  
для иных кораблей, предназначенных плыть во тьму.



Пусть медведка, жужелица и червь  
хриплым хором осанну поют ему.  
Только наш лукавый, прелюбодейный род  
никому не прощает своих обид,  
возвращаясь рыть подземельный ход,  
уводящий в сумеречный Аид.

\* \*  
\*

Все — грязь да кровь, все — слишком ясно,  
но вот и проблеск, ибо свят  
Господь, решивший, что напрасно  
пять тысяч лет тому назад  
копил на похороны Енох.  
Туман сжимается плотней  
на низменных и неизменных  
равнинах родины моей,  
ползет лугами, бедолага,  
молчит и глохнет, сам не свой,  
по перелеску и оврагу  
играет щучьей чешуей —  
и от Смоленска до Урала,  
неслышный воздух серебра,  
где грозовая твердь орала,  
проходят дети сентября.  
Мы все им, сумрачным, прощали,  
мы их учились пеленать.  
«Люблю тебя». «Петров, с вещами!»  
«За сахаром не занимать!»  
«Прошу считать меня...» «Удачи  
тебе». «Должно быть, он в людской».  
Вступают в город, что охвачен  
сухой тоскою городской —  
той, о которой пел Арсений  
Тарковский, хром и нездоров,  
в глуши советских воскресений  
без свечек и колоколов —  
«Добавь копеечную марку».  
«Попей водички». «Не отдам».  
По тупикам и темным паркам,  
дворам, тоннелям, площадям  
бредут, следов не оставляя, —  
ни мокрой кисти, ни строки —  
лишь небо дымное вбирая  
в свои огромные зрачки...

\* \*  
\*

Как славно дышится-поется!  
Как поразителен закат!  
Не увлекайся — жизнь дается  
не навсегда, а напрокат.

То присмиреем, то заропщем,  
запаятовав, что она  
давно фальшивит в хоре общем  
и, очевидно, не нужна  
ни громоносному Зевесу,  
ни Аполлону, ни зиме  
хрустальноликой. Сквозь завесу  
метели тлеет на корме  
кораблика фонарь вечерний.  
Тупится черный карандаш.  
Сновидец светлый и плачевный,  
что ты потомкам передашь,  
когда плывешь, плывешь, гадая,  
сквозь формалин и креозот  
в края, где белка молодая  
орех серебряный грызет?



---

---

## ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ



# ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕДЬМУЮ СТОРОНУ СВЕТА

Истина лежит на стороне смерти.

*Симона Вайль.*

*Роман*

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### 1

**С** конца семнадцатого века все предки Павла Алексеевича Кукоцкого по мужской линии были медиками. Первый из них, Авдей Федорович, упоминается в письме Петра Великого, написанном в 1698 году в город Утрехт профессору анатомии Рюйшу, у которого за год до того под именем Петра Михайлова русский император слушал лекции по анатомии. Молодой государь просит принять в обучение сына аптекарского помощника Авдея Кукоцкого «по охоте». Откуда взялась сама фамилия Кукоцких, доподлинно неизвестно, но, по семейной легенде, предок Авдей происходил из местности Кукуй, где построена была при Петре Первом Немецкая слобода.

С того времени фамилия Кукоцких встречается то в наградных листах, то в списках школьников, заведенных в России с Указов 1714 года. Служба после окончания этих новых школ открывала «низкородным» дорогу к дворянству. После введения табели о рангах Кукоцкие по заслугам принадлежали «лучшему старшему дворянству во всяких достоинствах и преимуществах». Один из Кукоцких упоминался в списках слушателей доктора Иоханна Эразмуса из Страсбурга, первого западного врача, читавшего в России среди прочих медицинских дисциплин «бабичье искусство».

С детства Павел Алексеевич испытывал ранний интерес к устройству всего живого. Иногда — обычно это случалось перед ужином, когда образовывалось неопределенное, незаполненное время, — ему удавалось незаметно пробраться в отцовский кабинет, и он, замирая сердцем, доставал со средней полки шведского, с тяжелыми выдвигаемыми стеклами шкафа три заветных тома известнейшей в свое время медицинской энциклопедии Платена и располагался с ними на полу, в уютном закутке между выступом голландской печки и шкафом. В конце каждого тома помещались разборные фигуры розовощекого мужчины с черными усиками и благообразной, но сильно беременной дамы с распахивающейся для ознакомления с плодом маткой. Вероятно, именно из-за этой фигуры, которая — никуда не денешься! — была голой бабой, он и скрывал от домашних свои исследования, боясь быть уличенным в нехорошем, присутствующем поблизости...

Как маленькие девочки без усталости передевают кукол, так и Павел ча-сами собирал и разбираал картонные модели человека и его отдельных ор-

---

Улицкая Людмила Евгеньевна родилась в Москве, окончила биофак МГУ. Автор книг: «Бедные родственники» (М., 1994), «Сонечка» (М., 1994), «Медея и ее дети» (М., 1996), «Веселые похороны» (М., 1998). Лауреат премий: Медичи (Франция), Москва-Пенне (Италия), Guiseppe Acerbi (Италия). Постоянный автор «Нового мира».

Журнальный вариант. Печатается с сокращениями.

ганов. С картонных людей последовательно снималось кожаное одеяние, слои розово-бодрой мускулатуры, вынималась печень, на стволе пружинистых трахей вываливалось дерево легких и, наконец, обнажались кости, окрашенные в темно-желтый цвет и казавшиеся совершенно мертвыми. Как будто смерть всегда скрывается внутри человеческого тела, только сверху прикрытая живой плотью, — об этом Павел Алексеевич станет задумываться значительно позже.

Здесь, между печкой и книжным шкафом, и застал его однажды отец, Алексей Гаврилович. Павел ожидал нахлобучки, но отец, посмотрев вниз со своей огромной высоты, только хмыкнул и обещал дать сыну кое-что получше.

Через несколько дней отец действительно дал ему кое-что получше — это был трактат Леонардо да Винчи «Dell Anatomia», литер А, на восемнадцати листах, с 245 рисунками, изданный Сабашниковым в Турине в конце девятнадцатого века. Книга была невиданно роскошной, отпечатана в трехстах пронумерованных экземплярах и снабжена дарственной надписью издателя. Алексей Гаврилович оперировал кого-то из домочадцев Сабашникова...

Отдавая книгу в руки десятилетнего сына, отец посоветовал:

— Вот, посмотри-ка... Леонардо был первейшим анатомом своего времени. Лучше его никто не рисовал анатомических препаратов.

Отец говорил еще что-то, но Павел уже не слышал — книга раскрылась перед ним, как будто ярким светом залило глаза. Совершенство рисунка было умножено на немыслимое совершенство изображаемого, будь то рука, нога или рыбовидная трехглавая берцовая мышца, которую Леонардо интимно называл «рыбой».

— Здесь, внизу, естественная история, зоология и сравнительная анатомия, — обратил Алексей Гаврилович внимание сына на нижние полки. — Можешь приходить сюда и читать.

Счастливейшие часы своего детства и отрочества Павел провел в отцовском кабинете, восхищаясь изумительными сочленениями костей, обеспечивающими многоступенчатый процесс пронации — супинации, и волнуясь чуть не до слез над схемой эволюции кровеносной системы, от простой трубки с тонкими мышечными волокнами у дождевого червя до трехтактного чуда четырехкамерного сердца человека, рядом с которым вечный двигатель казался задачей для второгодников. Да и сам мир представлялся мальчику грандиозным вечным двигателем, работающим на собственном ресурсе, заложенном в пульсирующем движении от живого к мертвому, от мертвого — к живому.

Отец подарил сыну маленький медный микроскоп с пятидесятикратным увеличением. В течение целого года все предметы, не способные быть распластанными на предметном стекле, перестали интересовать мальчика. В мире, не вмещавшемся в поле зрения микроскопа, он замечал только то, что совпадало с изумительными картинками, наблюдаемыми в бинокляре. Например, орнамент на скатерти привлекал его глаз, поскольку напоминал строение поперечно-полосатой мускулатуры...

— Знаешь, Эва, — говорил Алексей Гаврилович жене, — боюсь, не станет Павлик врачом, голова у него больно хороша... Ему бы в науку...

Сам Алексей Гаврилович всю жизнь тянул двойную лямку педагогической и лечебной работы — заведовал кафедрой полевой хирургии и не прекращал оперировать. В короткий отрезок между двумя войнами, русско-японской и германской, он одержимо работал, создавая современную школу полевой хирургии, и одновременно пытался привлечь внимание Военного министерства к очевидному для него факту, что грядущая война изменит свой характер и начавшийся только что век будет веком войн но-



вого масштаба, нового оружия и новой военной медицины. Система полевых госпиталей должна была быть, по мнению Алексея Гавриловича, полностью пересмотрена, и главный упор надо делать на скоростную эвакуацию раненых и создание централизованных профилированных госпиталей...

Германская война началась раньше, чем ее предвидел Алексей Гаврилович. Он уехал, как тогда говорили, на театр военных действий. Его назначили начальником той самой комиссии, о создании которой он так хлопотал в мирное время, и теперь он разрывался на части, потому что поток раненых был огромным, а задуманные им специализированные госпитали так и остались бумажными планами: пробить бюрократические стены в довоенное время он не успел.

После жестокого конфликта с военным министром он бросил свою комиссию и оставил за собой передвижные госпитали. Это его операционные на колесах, устроенные в пульмановских вагонах, отступали вместе с недееспособной армией через Галицию и Украину. В начале семнадцатого года артиллерийский снаряд попал в хирургический вагон, и Алексей Гаврилович погиб вместе со своим пациентом и медсестрой.

В том же году Павел поступил на медицинский факультет Московского университета. В следующем году его отчислили: отец его был ни много ни мало полковником царской армии. Еще через год, по ходатайству профессора Калининцева, старого друга отца, заведующего кафедрой акушерства и гинекологии, его восстановили в студенчестве. Калининцев взял его к себе, прикрыл грудью.

Учился Павел с той же страстью, с какой игрок играет, пьяница пьет. Его одержимость в занятиях создали ему репутацию чудака. В отличие от матери, женщины избалованной и капризной, он почти не замечал материальных лишений. После смерти отца, казалось, уже ничего нельзя было потерять.

В начале двадцатого года Кукоцких «уплотнили» — в их квартиру вселили еще три семьи, а вдове с сыном оставили бывший кабинет. Университетская профессура, кое-как выживавшая при новой власти, ничем помочь не могла — их всех тоже изрядно потеснили, да и революционный испуг не прошел: большевики уже продемонстрировали, что человеческая жизнь, за которую привыкли бороться эти прогнившие интеллигенты, копейки не стоит.

Эва Казимировна была привязана к вещам и бережлива. Она втиснула в кабинет почти всю свою варшавскую мебель, посуду, одежду. Почтенный отцовский кабинет, когда-то просторный и деловой, превратился в складское помещение, и сколько ни просил Павел избавиться от лишних вещей, мать только плакала и качала головой: это было все, что осталось у нее от прежней жизни. Но продавать тем не менее все же приходилось, и она постепенно расторгивала на толкучке свои несметные сундуки с обувью, воротничками, салфеточками, обливая каждую мелочь слезами вечного прощания...

Отношения матери и сына как-то охладели, расстроились, и еще через год, когда мать вышла замуж за непристойно молодого Филиппа Ивановича Левшина, мелкого начальника из железнодорожников, Павел ушел из дома, оставив за собой право пользоваться отцовской библиотекой.

Но ему редко удавалось добраться до материнского дома. Он учился, работал в клинике, много дежурил и ночевал где придется, чаще всего в бельевой, куда пускала его старая кастелянша, помнившая не только Павлова отца, но и деда...

Ему уже исполнился двадцать один год, когда мать родила нового ребенка. Взрослый сын подчеркивал ее возраст, и молодящаяся Эва Казимировна страдала. Она дала Павлу понять, что присутствие его в доме нежелательно. Отношения между ним и матерью с этого времени пресеклись.

Через некоторое время медицинский факультет отделился от университета, произошли перестановки. Умер профессор Калининцев, и на его место пришел другой человек, партийный выдвиженец, без какого бы то ни было научного имени. Как ни странно, Павлу он благоволил, оставил на кафедре в ординатуре. Фамилия Кукоцких в медицинском мире была известна не менее, чем фамилия Пирогова или Боткина.

Первая научная работа Павла была посвящена некоторым сосудистым нарушениям, вызывающим самопроизвольные выкидыши на пятом месяце беременности. Нарушения касались самых малых капиллярных сосудов, и интересовали они Павла по той причине, что он тогда носился с идеей воздействия на процессы в периферических областях кровеносной и нервной системы, считая, что ими легче управлять, чем более высокими разделами. Как и все ординаторы, Павел вел больных в стационаре и принимал два раза в неделю в поликлинике.

Именно в тот год, осматривая на поликлиническом приеме женщину с регулярными выкидышами на четвертом-пятом месяце беременности, он обнаружил, что видит опухоль желудка с метастазами — один очень заметный в печень, второй, слабенький, в область средостения. Он не нарушил ритуала осмотра больной, но дал ей направление к хирургу. Потом он долго сидел в кабинете, не приглашая следующую пациентку, пытаясь понять, что же с ним такое произошло, откуда взялась эта схематическая цветная картинка вполне развитого рака...

Так, начиная с этого дня, открылся у Павла Алексеевича этот странный, но полезный дар. Он называл его про себя «внутривидением», первые годы осторожно интересовался, не обладает ли кто из его коллег подобной же особенностью, но так и не напал на след.

С годами его внутреннее зрение укрепилось, усилилось, приобрело высокую разрешающую способность. В некоторых случаях он даже видел клеточные структуры, окрашенные, казалось, гематоксилином Эрлиха. Злокачественные изменения имели интенсивно лиловый оттенок, области активной пролиферации трепетали мелкозернистым багровым... Зародыш, с самых первых дней беременности, он видел как сияющее светло-голубое облачко...

Бывали дни и недели, когда «внутривидение» уходило. Павел Алексеевич продолжал работать: смотрел больных, оперировал. Всегдашнее чувство профессиональной уверенности не покидало его, но в душе возникало тонкое беспокойство. Молодой доктор был, разумеется, материалистом, мистики не терпел. Они с отцом всегда посмеивались над увлечениями матери, то посещавшей великосветские посиделки со столоверчением, то предававшейся мистическим шалостям с магнетизмом.

К своему дару Павел Алексеевич относился как к живому, отдельному от себя, существу. Он не мучился над мистической природой этого явления, принял его как полезное подспорье в профессии. Постепенно выяснилось, что дар его был аскетом и женоненавистником. Даже слишком плотный завтрак ослаблял внутривидение, так что Павел Алексеевич усвоил привычку обходиться без завтрака и первый раз ел в обед или, если во второй половине дня был поликлинический прием, вечером. Что же касалось физической связи с женщинами, то она на время исключала какую бы то ни было прозрачность в наблюдаемых больных.

Он был хороший диагност, его медицинская практика, по сути, не нуждалась в такой незаконной поддержке, но научная работа как будто просила помощи: интимная жизнь сосудов хранила тайны, готовые вот-вот открыться... Так получилось, что личная жизнь вошла в некоторое противоречие с научной, и, расставшись со своей пунктирной привязанностью, хирургической сестрой с холодными и точными руками, он мягко избегал любовных связей, слегка побаивался женской агрессивности и привык к воздержанию. Оно было не особенно тяжким для него испытанием, как

все, что происходит по собственному выбору. Изредка ему нравилась какая-нибудь медсестричка или молоденькая врачиха, и он прекрасно знал, что каждая из них придет к нему по первому же слову, но «внутривидение» было ему дороже.

Свое добровольное целомудрие он вынужденно защищал — он был одинок, по нищенским понятиям того времени богат, в своей области знаменит, может, не красавец, но мужествен и вполне привлекателен, и по всем этим причинам, из которых хватило бы и одной, каждая женщина, заметив его слегка заинтересованный взгляд, начинала такой штурм, что Павел Алексеевич едва ноги уносил.

Некоторые его коллеги-женщины даже подозревали, что в нем есть скрытый мужской изъян, и связывали это с самой его профессией: какие могут быть влечения у мужчины, который каждый день по долгу службы шарит чуткими пальцами в сокровенной женской тьме...

## 2

Кроме фамильной приверженности медицине, была еще одна своеобразная родовая черта у мужчин Кукоцких: они добывали себе жен, как добывают военные трофеи. Прадед женился на пленной турчанке, дед — на черкешенке, отец — на полячке. По семейному преданию, все эти женщины были, как одна, сумасбродными красавицами. Однако примеси чужой крови мало меняли родовой облик крупных, скуластых, рано лысеющих мужчин. Гравюрный портрет Авдея Федоровича руки неизвестного, но явно немецкой выучки художника, хранимый и по сей день потомками Павла Алексеевича, свидетельствует о силе этой крови, проводящей вдоль времени семейные черты.

Павел Алексеевич Кукоцкий тоже был женат военным браком — скоропалительным и неожиданным. И хотя его жена Елена Георгиевна не была ни пленницей, ни заложницей, увидел он ее впервые в ноябре сорок второго года в небольшом сибирском городке В., куда была эвакуирована клиника, которой он заведовал, на операционном столе, и была она в таком состоянии, что Павел Алексеевич прекрасно отдавал себе отчет: жизнь женщины, лица которой он еще и не видел, находится не в его власти. Доставили ее по «скорой помощи» и поздно. Очень поздно...

Среди ночи Павла Алексеевича вызвала его заместительница Валентина Ивановна. Она была прекрасным хирургом, знала, что и он ей вполне доверяет, но здесь был какой-то особый случай. Чем — она и сама не смогла объяснить. Послала к нему на квартиру, подняла и попросила прийти. Когда он вошел в операционную, уже «размытый», подготовленный к операции, она как раз проводила скальпелем разрез по обработанной поверхности...

Он стоял за спиной Валентины Ивановны. Его особое зрение включилось само собой, и он видел уже не операционное поле, над которым трудилась Валентина Ивановна, а все целиком женское тело, редкой стройности и легкости позвоночник, узковатую грудную клетку с тонкими ребрами, несколько выше обычного расположенной диафрагмой, медленно сокращающееся сердце, освещенное бледно-зеленым, согласно с мышцей бьющимся прозрачным пламенем.

Он видел — и никто бы не мог понять этого, никому не смог бы он объяснить этого странного ощущения — совершенно родное тело. Даже затемнение у верхушки правого легкого, след перенесенного в детстве туберкулеза, казалось ему милым и знакомым, как очертание давно известного пятна на обоях возле изголовья кровати, где ежевечерне засыпаешь.

Посмотреть на лицо этой молодой и столь прекрасно устроенной изнутри женщины было как-то неловко, но он все-таки бросил быстрый взгляд поверх белой простыни, покрывающей ее до подбородка. Заметил

длинные коричневые брови с пушистой кисточкой в основании и узкие ноздри. И меловую бледность. Но чувство неловкости от разглядывания ее лица было столь сильным, что он опустил глаза вниз, туда, где полагалось быть волнистой укладке перламутрового кишечника. Червеобразный отросток лопнул, гной излился в кишечную полость. Перитонит. Это было то самое, что видела и Валентина Ивановна.

Слабое желтовато-розовое пламя, существующее лишь в его видении, с каким-то редким цветочным запахом, чуть теплое на ощупь, подсвечивало женщину и было, в сущности, частью ее самой.

Еще он видел, как хрупки тазобедренные суставы из-за недостаточной выпуклости головки бедра... Собственно, близко к подвывиху. Да и таз такой узкий, что при родах можно ожидать растяжения или разрыва лонного сочленения. Но матка зрелая, рожавшая. Значит, однажды обошлось... Нагноение уже захватило обе веточки яичников и темную встревоженную матку. Сердце билось слабенько, но в спокойном темпе, а вот матка излучала ужас. Павел Алексеевич давно уже знал, что отдельные органы имеют отдельные чувствования... Но разве можно такое произнести вслух?

Да, рожать тебе больше не придется... Он и не догадывался, от кого именно не придется рожать этой умирающей на его глазах женщине.

Он встряхнул головой, отогнав призрачные картинки... Валентина Ивановна, расправив виток кишечника, добралась до червеобразного отростка. Все было полно гноя...

— Все чистить... Все убирать...

«Не вытянуть. Проклятая профессия», — подумал Павел Алексеевич, прежде чем взять из рук Валентины Ивановны инструменты.

Павел Алексеевич знал, что несколько флаконов американского пенициллина было у Ганичева, начальника госпиталя. Был он вор и торгаш, однако Павлу Алексеевичу обязан... Но даст ли?

### 3

Первые несколько дней, пока Елена не умирала, но и не вполне была жива, Павел Алексеевич заглядывал к ней в закуток палаты, отгороженный ширмой, и сам делал уколы пенициллина, предназначенного для раненых бойцов и дважды у них украденного. Она не приходила в сознание. Там, где она находилась, были говорящие полулюди-полурастения и был какой-то сюжет, в котором она участвовала чуть ли не главной героиней. Заботливо разложенная на огромном белом полотне, она и сама чувствовала себя отчасти этим полотном, и легкие руки что-то делали, как будто вышивали на ней, во всяком случае, она чувствовала покалывание мельчайших иголок, и покалывание это было скорее приятным.

Кроме этих заботливых вышивальщиков, были и другие, враждебные, кажется, немцы, и даже, может быть, в форме гестапо, и они хотели не просто ее смерти, а даже большего, худшего, чем смерть. При этом что-то подсказывало Елене, что все это несколько призрачно, полубман, и скоро кто-то придет и откроет ей настоящую правду. И вообще она догадывалась, что все с ней происходящее имеет отношение к ее жизни и смерти, но за этим стоит нечто гораздо более важное, и связано это с готовящимся открытием окончательной правды, которая важнее самой жизни.

Однажды ей послышался разговор. Мужской низкий голос обращался к кому-то и просил биохимию. Женский, старушечий, отказывал. Биохимия представлялась Елене большой стеклянной коробкой с цветными звенящими трубочками, которые соотносились таинственным образом с тем горным пейзажем, в котором все происходило...

Потом и пейзаж, и цветные трубочки, и нереальные существа разом исчезли, и она почувствовала, что ее постукивают по запястью. Она от-



крыла глаза. Свет был таким грубым и жестким, что она зажмурилась. Человек, лицо которого показалось ей знакомым, улыбнулся:

— Ну вот и хорошо, Елена Георгиевна.

Павел Алексеевич поразился: глаза ее представляли собой тот случай, когда частное оказывалось больше целого — настолько они были больше остального лица.

— Это вас я там видела? — спросила она Павла Алексеевича.

Голос ее был слабенький, совсем бумажный.

— Очень может быть.

— А Танечка где? — спросила она, но ответа уже не слышала, снова поплыла среди цветных пятен и говорящих растений.

«Танечка, Танечка, Танечка», — запели голоса, и Елена успокоилась: все было в порядке.

Через некоторое время она окончательно вернулась. Все стало на свои места: болезнь, операция, палата. Внимательный доктор, который не дал ей умереть.

Приходила Василиса Гавриловна, с бельмом на глазу, в низко, до самых бровей, повязанном темном платке, приносила клюквенное питье и темное печенье. Два раза приводила дочку.

Доктор навещал сначала по два раза на дню, потом, как ко всем, подходил только во время утреннего обхода. Убрали ширмочку. Елена теперь, как другие больные, начала вставать, доходила до умывальника в конце коридора.

Три месяца продержал ее Павел Алексеевич в отделении.

Елена в то время снимала угол за ситцевой занавеской в гнилом деревянном домишке на окраине. Хозяйка, тоже с виду гнилая, была на редкость вздорная. До Елены она уже прогнала четверых съемщиков. Сибирский город, в котором до войны набиралось едва пятьдесят тысяч, ломился от эвакуированных: военный завод, в конструкторском бюро которого работала Елена, медицинский институт с клиниками и два театра. Если не считать барачников для заключенных в близком пригороде, никакого человеческого жилья за годы советской власти в городе не строили. Люди жили как кильки в банке, забив каждую щель, каждую норку.

Накануне выписки доктор приехал в Еленину квартиру на казенной машине, с шофером. Хозяйка испугалась подъехавшей машины и спряталась в чулан. Открыла на стук Василиса Гавриловна. Павел Алексеевич поздоровался — ударило запахом помоев и нечистот. Не снимая тулупа, он сделал три шага, откинул занавеску и мельком заглянул внутрь их бедняцкого гнезда. Таня сидела в углу большой кровати с большим белым котенком и смотрела на него испуганно, но с интересом.

— Быстренько собирайте вещи, Василиса Гавриловна, на другую квартиру переезжаем, — сказал он неожиданно для самого себя.

Оставлять трудную больную после того, как она чудом выкарабкалась, в такой помойке было невозможно.

Через пятнадцать минут хозяйство было уложено в большой чемодан и узел, Таня одета и три девицы, включая молодую кошку, сидели на заднем сиденье автомобиля.

Отвез их Павел Алексеевич к себе. Клиника занимала старый особняк, квартира Павла Алексеевича находилась в том же дворе, в пристройке. Когда-то здесь была людская и кухня для дворни. Теперь восстановили большую печь — готовили еду на больных, — помещение перегородили и Павлу Алексеевичу отвели две комнатки с отдельным входом. В одной из комнат он и поселил теперь эту семью. Свою будущую семью.

В первый же вечер, оставшись одна с Танечкой — Елена должна была выписаться только завтра, — Василиса, помолившись по обыкновению, легла рядом со спящей девочкой на жесткую медицинскую кушетку и пер-

вая из всех догадалась, к чему все клонится... Ах, Елена, Елена, при живом-то муже...

В своих подозрениях Василиса Гавриловна утвердилась на следующий же день, когда Елена, перейдя двор, впервые вошла в дом к Павлу Алексеевичу. Она была слаба и прозрачна, улыбалась как-то смутно и растерянно, даже немного виновато. Но ни для подозрений, ни для упреков в тот день не было у Василисы Гавриловны никаких оснований — появились они несколько дней спустя. Удивления достойно, почему эта старая девушка, не имевшая ни малейшего опыта в отношениях с мужским полом, так чутко уловила любовные вибрации при самом их зарождении.

Весь февраль стояли лютые морозы. В квартире Павла Алексеевича сильно топили, впервые за несколько месяцев женщины отогрелись. Возможно, это сухое дровяное тепло, по которому они стосковались, подогрело Еленино чувство, во всяком случае, она испытывала к Павлу Алексеевичу любовь такого градуса, которого прежде не знала. Брак ее с Антоном Ивановичем, с высот ее нового знания о любви и о самой себе, казался теперь ущербным, ненастоящим. Она отгоняла от себя маленькую, неясную мысль о муже, откладывала со дня на день минуту, когда надо будет самой себе сказать все честные и печальные слова, и все это усугублялось еще и тем, что почти полгода не было от Антона писем, и сама она уже месяц как не писала ему, потому что не могла теперь сказать ему ни слова правды, ни слова лжи...

В половине шестого утра Павел Алексеевич приносил с госпитальной кухни ведро теплой воды — немыслимая роскошь, как в иные времена ванна, полная шампанского, — и ждал за дверью, пока Елена вымоется. Потом мылся сам, приносил второе ведро для Василисы Гавриловны и Танечки, подбрасывал дров в печку, которая топилась у них почти непрерывно. Василиса сидела во второй комнате, пока оба они не уходили на работу: делала вид, что спит. Елена знала, что Василиса ранняя пташка и свое молитвенное бормотание начинает среди ночи.

«Не выходит, потому что не хочет стать свидетельницей безобразия», — догадывалась Елена. И улыбалась. Поутру она чувствовала себя особенно счастливой и свободной. Она знала, что по дороге к заводу все потихоньку начнет меркнуть, а к концу дня от утреннего счастья не останется и следа — чувство вины и стыда усиливается к вечеру, и пока Павел Алексеевич не обнимет ее ночным крепким объятием, оно не пройдет...

Павлу Алексеевичу исполнилось сорок три года. Елене было двадцать восемь. Она была первой и единственной женщиной в его жизни, которая не отгоняла его дара. После того, как она впервые провела ночь в его комнате, он, проснувшись в предутренней тьме, со щекотной косой, рассыпанной по его предплечью, сказал себе: «И хватит! Пусть я никогда не увижу ничего сверх того, что видят все другие врачи. Я не хочу ее отпускать...»

Дар его, хоть и был женоненавистником, для Елены, как ни странно, сделал исключение. Во всяком случае, Павел Алексеевич видел, как и прежде, цветное мерцание, скрытую жизнь внутри тел.

«Вероятно, и ОН ее полюбил», — решил Павел Алексеевич.

Извещение о смерти Елениного мужа, Антона Ивановича Флотова, пришло через полтора месяца после того, как она впервые осталась ночевать у Павла Алексеевича. Похоронку принесли утром, когда Елена уже ушла на завод. Василиса выплакалась за день — Антона она не любила и теперь себя особенно корила за эту нелюбовь.

Вечером она положила перед Еленой извещение. Та окаменела. Долго держала в руках желтоватую зыбкую бумажку.

— Боже мой! Как жить-то теперь? — Елена указала пальцем на крупную, негнушимися писарскими цифрами написанную дату смерти. — Число видишь какое?

Это был тот самый день, когда она впервые осталась у Павла Алексеевича.

Широкая спина Павла Алексеевича в ладном хирургическом халате с тесемками на мощной шее успела к этому времени совершенно заслонить собой весь мир и погибшего Антона с прохладными глазами, жестким ртом на худом лице, совершенно лишенном мягкого славянского мяса.

С этой минуты любовь ее к Павлу Алексеевичу была навсегда приправлена чувством неисправимой вины перед Антоном, убитым в тот самый день, когда она ему изменила...

Василиса увидела в этой цифре другое — миновал сороковой день.

— Ни мне помолиться, ни тебе повдочить, — заплакала Василиса.

Через несколько дней Василиса запросилась в отпуск — одна из ее таинственных отлучек, о которых она скорее уведомляла, чем просила. Елена, много лет проживши с Василисой, прекрасно знала об этой ее особенности — вдруг исчезнуть на неделю, две или три, а потом так же неожиданно вернуться, — на этот раз отпустить ее не смогла: в конструкторском бюро, где она чертила своей легкой рукой рабочие чертежи для улучшенной коробки передач улучшенного танка, отпусков никому не давали. К тому же законы военного времени не предполагали экскурсий по стране, да и с Таней сидеть было некому...

#### 4

Проницательный во многих отношениях Павел Алексеевич, при всей своей погруженности в профессиональное, врачебное дело, достаточно трезво оценивал и общечеловеческую жизнь, которая вокруг него проистекала. Он, разумеется, пользовался своими привилегиями профессора, директора большой клиники, но от него не укрывалась бедственная жизнь его медперсонала, нехватка еды даже в родильном отделении, холод, недостача дров, медикаментов, перевязочных материалов... Хотя все то же он наблюдал и до войны, но теперь откуда-то возникла идея, что после войны все изменится, станет лучше, правильней...

Возможно, что сама его медицинская профессия, постоянное, почти ставшее бытовым, прикосновение к огненной молнии — острой минуте рождения человеческого существа из кровотокающего рва, из утробной тьмы небытия, — и его деловое участие в этой волнующей природной драме отражались на его внешнем и внутреннем облике, на всех его суждениях: он знал не только о хрупкости человека, но и о его сверхъестественной выносливости, далеко выходящей за пределы возможности других живых организмов. Многолетний опыт показывал, что адаптивные возможности человека намного превышают таковые у животных. Интересно, пытались ли исследовать эту проблему совместно медики и зоологи?..

«Совершенно уверен: ни одна собака такого не выдержит, что выдерживает человек», — усмехался про себя Павел Алексеевич. Он обладал важнейшим качеством ученого — умением задавать правильные вопросы...

Павел Алексеевич внимательно следил за современными исследованиями в области физиологии и эмбриологии и без усталости поражался неумолимому и даже несколько мелочному закону, определяющему жизнь будущего человека еще в утробе матери, в соответствии с которым каждое улавливаемое событие происходило с великой точностью — не до недель и дней, а до часов и минут... Еще в студенческие годы его поразил общеизвестный факт, что на самой ранней заре внутриутробной жизни, сразу же после оплодотворения, возникает морфологическая ось, организуется билатеральная симметрия зиготы — первой клетки нового организма, и начавшаяся уже через несколько часов деление хотя и носит порядок асинхронный и асимметрический, но происходит настолько регулярно, что количество клеток сохраняется постоянным, и часовой механизм работает

столь точно, что ровно на седьмые сутки каждый оплодотворенный зародыш, представляющий собой шаровое скопление единообразных, по видимости не дифференцированных клеток, расщепляется на два листка, внутренний и внешний, и с ними начинают происходить удивительные вещи — они прогибаются, отшнуровываются, выворачиваются, образуют узелки и пузыри, часть поверхности уходит внутрь, и все это повторяется с невиданной точностью, миллионы и миллионы раз подряд... Кем и как даются команды, по которым разыгрывается этот невидимый синхронный спектакль?

Высшая безымянная мудрость заключалась в том, что из одной-единственной клетки, образованной из малоподвижной и слегка расплывшейся яйцеклетки, окруженной лучистым венцом фолликулярных клеток, и долгоносого, с веретенообразной головкой и спиральным вертлявым хвостом сперматозоида, с неизбежностью вырастает человеческое существо, полуметровое, орущее, трехкилограммовое, совершенно бессмысленное, а из него, повинувшись все тому же закону, развивается гений, подонок, красавица, преступник или святой...

И как раз потому, что он знал очень много, собственно говоря, все, что к тому времени было известно об этом предмете, он представлял себе гораздо лучше остальных, из какого космического варева выныривает каждая Катенька и каждый Валерик.

В отцовской библиотеке, в значительной степени утраченной, было множество книг по истории медицины, и он всегда любил остатки этой милой рухляди: радовался, изумлялся, иногда смеялся над фантастическими суждениями своих давно умерших коллег, будь то древнеегипетский жрец, первый в мире профессиональный анатом, или средневековый умелец, делающий кровопускание, кесарево сечение и удаление мозолей за ту же плату.

Еще в юности запал в него текст письма вавилонского жреца и врача Бероса, в котором тот объяснял своему ученику, что вот уже тридцать лет, как звезда Тишла вошла в созвездие Сиппару, и мальчики с тех пор рождаются более крупными, более агрессивными, и ручки их как будто держат копьё...

«Не удивительно, — пишет далее врач, — что последние десять лет идут непрерывные войны — эти мальчики-бойцы выросли и не могут быть пахарями. Надо думать, хранительница Ламассу переписывает таблицы судеб».

Павел Алексеевич справился тогда по немецким справочникам, кто же эта Ламассу, переписывающая судьбы поколений. Оказалось, богиня плаценты. Поразительным было это обожествление отдельных органов и чувство космической связи земли, неба и человеческого тела, совершенно утраченное наукой к середине двадцатого века. И в самом деле, было интересно — если отбросить эти трогательные суеверия, — есть ли у поколения какое-то общее лицо, единый характер? Только ли социальные факторы определяют характер поколения? А может, правда, влияние звезд, или питания, или состав воды... Ведь говорил же учитель самого Павла Алексеевича, профессор Калининцев, о «гипотонических» детях начала века... Он описывал их как вялых, слегка сонных младенцев, с мягонькими мешочками под глазами, с полуоткрытыми ртами и ангелически расслабленными ручками... Как же, наверное, они были не похожи на теперешних, с крепко сжатыми кулачками, с подогнутыми пальцами ног, с напряженными мышцами. Гипертонус. И поза боксера — сжатые кулачки защищают голову. Дети страха. Они, пожалуй, более жизнеспособны. Только вот — от чего они защищаются? От кого ждут удара? Что бы сказал об этих детях вавилонский ученый Берос, жрец богини Ламассу?

Размышления об этих испуганных детях уводили Павла Алексеевича в другую область: думая о судьбах близких ему людей, он обнаруживал, что



почти все они тоже уязвлены страхом. Большинство скрывали какой-то постыдный факт происхождения или родства либо, не в силах скрыть, жили в постоянном ожидании наказания за несовершенные преступления. Помощница его Валентина Ивановна происходила из богатейшей купеческой семьи, другой коллега нес в жилах, как чуму, скрытую половину немецкой крови, у регистраторши клиники брат эмигрировал в восемнадцатом году, Елена, только что появившаяся в его жизни, призналась, что родители ее погибли в лагерях, а сама она чудом спаслась от этой участи благодаря бабушке, удочерившей ее накануне переселения родителей на Алтай. Оказывалось, что даже Василиса Гавриловна, совсем простая женщина, жила с какой-то своей замысловатой тайной. У каждого было о чем смолчать, каждый ожидал разоблачения...

С началом войны этот неопределенный, почти мистический страх немного отпустил, сменившись другим, более реальным страхом за жизнь ушедших на фронт мужчин. Их убивали настоящие и вековечные враги, немцы, и эти воюющие и погибающие на фронте мужчины защищали не только свою родину, но в какой-то степени они защищали свои семьи от прежних, довоенных страхов: бдительные органы как будто немного позабыли о богатых бабушках, слишком образованных дедушках и родственниках за границей. Пришедшие в дом похоронки делали всех равными в горе. Сиротство, голод и холод уравнивали в правах детей погибших солдат и погибших арестантов. Теперь будущее у всех людей было связано с победой, и дальше нее не простирались их мечты. Почти безмолвная, в шепоте и потрескивании прогорающих поленьев начавшаяся между Павлом Алексеевичем и Еленой любовь захватила их настолько полно, что оба они откладывали неизбежные размышления о будущем: им тоже было страшно.

## 5

Павел Алексеевич удочерил Таню сразу же после женитьбы и, как говорила Василиса, «принял ее на сердце». В этой «своей» девочке как будто сошлись все те тысячи новорожденных, которым помог он при появлении на свет: вытащил, вырезал, спас от асфиксии, черепной травмы и других повреждений, которые нередко случаются при родах.

Но чужие дети были минутными. На них тратились великие силы и труды, а потом они исчезали, и Павел Алексеевич почти никогда не видел этих мальчиков и девочек в ту пору, когда они начинали улыбаться, изучать свои пальчики, радоваться узнаванию родных лиц, сосок, погремушек.

Уже в первые часы жизни нового существа Павел Алексеевич умел замечать проявление темперамента — сильную волю или пассивность, упрямство или лень. Но более тонкие черты человеческой личности не обнаруживаются обычно в первые дни, когда дитя отдыхает после титанической работы рождения и перехода в новое существование. Он многое знал о чужих младенцах, но ничего — о своем ребенке в своем доме. Открытие оказалось изумительным.

Тане едва исполнилось два года, и по возрасту Павел Алексеевич мог быть ей дедом. Сердечное восхищение, которое он к ней испытывал, имело налет стариковского умиления всем тем новым, что происходит с ребенком и никогда не происходит со взрослыми. То он замечал складочку на запястье, то ямку на пояснице, то обнаруживал, что ее темные волосы не одного ровного темно-коричневого цвета, а с исподу, на шее, за ушками, они светлее и мягче, как будто другого сорта.

Новые слова, новые движения, весь умственный рост, происходящий в двухлетнем человеке, вызывал теперь у Павла Алексеевича острый любовный интерес. Он никогда не позволял своей мысли останавливаться на том, что другая женщина могла бы родить ему другого, его собственного

ребенка, может быть, мальчика, который бы унаследовал не эти чужие, карие волосы, а его, Павла Алексеевича, светловолосость и личную склонность к облысению, странную форму руки с широченными ладонями и треугольными пальцами, резко заостренными к ногтю, и перенял бы в конце концов его профессию.

Нет, нет, даже если бы Елена и могла еще рожать, он совсем не уверен, что хотел бы подвергнуть свою любовь к Танечке испытанию или сравнению. Он и Елене об этом говорил: другого ребенка я и вообразить себе не могу. Девочка наша настоящее чудо.

Трудно сказать, что из чего проистекает — хороший характер ребенка из любви, которую безмерно и нерасчетливо изливают на него родители, или, напротив, хороший ребенок вызывает в душах родителей все лучшее, что в них заложено. Так или иначе, Таня росла в любви, и они были особенно счастливы втроем. Василиса хоть и была членом семьи, но в геометрии семейного треугольника была членом вспомогательным, лишь придающим их существованию дополнительную устойчивость.

Иногда, когда Таня просыпалась раньше взрослых, она пробиралась в комнату к родителям, ситцевой рыбкой ныряла между ними и сонным счастливым голосом требовала «обонять и поцеловать». Заговорила она очень рано, сразу правильно, и это «поцелуй» было для нее игрой взрослого человека, способного посмеяться над собой, маленьким.

— Сюда, сюда и сюда, — указывала она пальцем на лоб, щеку и подбородок и, получив, как законную дань, родительские поцелуи, с забавной серьезностью выбирала место на колкой щеке Павла Алексеевича, куда бы чмокнуть.

Этот целовальный обряд в Танины школьные годы преобразился в прощальный поцелуй перед уходом. Мимолетные касания, казалось бы совершенно незначительные, были как мелкие гвозди, прочно сшивающие ежедневную жизнь.

Павел Алексеевич, вообще очень сдержанный в отношениях, даже с любимой женой, строго соблюдающий свой предел допустимого и в жестах, и в словах, с Таней доходил до старческого сюсюканья. «Сладкая вишенка», «папин воробышек», «черноглазый бельчонок», «ушастое яблочко» — пошлейший гербарий и зоосад обрушивал он на ребенка. Танечке это очень нравилось, и у нее тоже был свой набор ласковых прозвищ для отца: «мой лучший собак», «Бегемот Бегемотыч, «сомик усатый»...

Баловал Павел Алексеевич Таню со страстью. Елене приходилось то и дело охлаждать его пыл. Случалось, он заходил в игрушечный магазин и скупал весь его скудный прилавок. Но Тане это безумное баловство как будто не шло во вред, не было в ней жадности и властных ухваток ребенка, не знающего никаких границ.

Павлу Алексеевичу казалось, что любая ткань слишком груба для детской кожи, что ботинки натирают ножку, шарф — шейку. Он переводил взгляд на жену и поражался до сердечной боли, как она хрупка и нежна, и обеих он хотел бы укутать в батист, в пух, в мех... Странная это была несуразица между аскетическими повадками Павла Алексеевича, всем строем его суровой и жестокой жизни хирурга, Елениной механической привычкой брать меньшее и худшее так легко и естественно, что никто этого и не замечал, с Василисиной скупостью и строгостью к девочке — и острым желанием Павла Алексеевича посадить дочку и жену под стеклянный колпак, чтобы защитить от сквозняков, грубости, всех шероховатостей мимотекущей жизни.

К сентябрю сорок четвертого года клиника Павла Алексеевича вернулась в Москву. В квартиру Елены в Трехпрудном переулке, на которую она рассчитывала, к этому времени вселили двух мелких энкавэдэшников, и молодая семья опять оказалась в служебном помещении, где до войны жил одинокой непривлекательной жизнью Павел Алексеевич. Это был полу-

подвал, довольно просторный, но сырой и мало подходящий для ребенка. Таня, как будто специально для того, чтобы беспокойство о ее здоровье не было напрасным, часто простужалась и подолгу кашляла.

Семейная жизнь Павла Алексеевича и Елены Георгиевны складывалась столь счастливо, что даже Танино нездоровье сообщало особую ноту близости между супругами. Долгое время первым словом при возвращении Павла Алексеевича с работы было тревожное «кашляла?».

Василиса пожимала костлявым плечом: экое дело, дитё кашляет...

«Ну и бесчувственная старуха», — удивлялся про себя Павел Алексеевич, стаскивая огромное пальто, набравшее в себя уличного холоду, и отгоняя от этого холодного воздуха Таню, высунувшуюся в коридор...

## 6

Павел Алексеевич, как и его покойный отец, имел, несомненно, качества государственного человека. Хотя на карьеру Павла Алексеевича длинную тень бросал офицерский чин отца в царские времена, вторая война как бы исправила это неприятное место в биографии: отец был хоть и военным, но врачом, да и погиб на германской. Теперь, когда страна опять воевала — с сыновьями тех же самых немцев, ему было задним числом прощено сомнительное происхождение. Вскоре после возвращения из эвакуации Павел Алексеевич был вызван в министерство, где ему было предложено составить проект устройства мирного здравоохранения в той его части, которая касалась материнства и детства. Война была на исходе, и хотя комиссия эта не была еще создана, но предполагалось, что со временем он ее возглавит. В руки к Павлу Алексеевичу пошла статистика — безграмотно собранная, частично фальшивая и неполная, но до некоторой степени открывающая ужасную демографическую ситуацию. Дело было не только в невосполнимой потере огромной части мужского населения и связанным с этим падением рождаемости. Детская смертность была огромной, особенно младенческая. Было еще одно обстоятельство, не учитываемое официальной статистикой, но прекрасно известное любому практикующему врачу: большое число женщин репродуктивного возраста погибало от криминальных абортов. Официально медицинские аборты были запрещены еще в тридцать шестом году, почти одновременно с принятием Сталинской конституции.

Это запрещение было болезненной точкой в работе Павла Алексеевича: почти половина экстренных операций была связана с последствием подпольных абортов. Противозачаточных средств практически не существовало. Врач обязан был освидетельствовать каждую привезенную по «скорой помощи» женщину на предмет возможности проведения ею подпольного выкидыша: это влекло за собой судебные преследования. Павел Алексеевич избегал таких завуалированных доносов и писал в анамнез разоблачительные слова «криминальный аборт» в единственном случае — когда пациентка умирала. Если жизнь женщины была спасена, такое медицинское заключение привело бы на скамью подсудимых и пострадавшую, и лицо, исполнявшее эту древнейшую процедуру. Несколько сотен тысяч женщин сидело в лагерях именно по этой статье.

Обширная программа, которую предстояло разработать Павлу Алексеевичу, кроме чисто медицинских аспектов включала и социальные.

Проект его более всего напоминал одну из тех бумаг, которые подавали на высочайшее имя лучшие сыны отечества, среди которых были и романтики, и недоумки, целый спектр интереснейших персонажей — от князя Курбского до Чаадаева. Да и родной отец его, Алексей Гаврилович Кукоцкий, был одним из таких прожектеров.

Павел Алексеевич предвидел серьезные потрясения самого института семьи, ожидал появления после войны большого количества матерей-оди-

ночек и рассматривал это явление как социально неизбежное и даже общественно-полезное. Он считал необходимым введение разнообразных льгот для матерей-одиночек, но при этом полагал, что первым шагом должна быть отмена постановления от июля 1936 года о запрещении аборт.

По мере работы проект все более разрастался и превращался в настоящую утопию, сквозь фантастические построения которой просвечивали и серьезные, очень дельные мысли, намного опередившие свое время. Так, он предусматривал организацию патронажной службы для родителей, просветительскую работу среди молодежи и создание сети детских домов-санаториев, в которых выращивание здоровых в физическом и психическом отношении детей было бы поставлено на научную основу. Это отчасти перекликалось с педологией, запрещенной еще в тридцатые годы, и даже слегка отдавало Чернышевским. Не забыта была и медико-генетическая консультация, организацию которой он планировал поручить другу юности, врачу-генетику Илье Гольдбергу.

Министром здравоохранения в то время сидела немолодая женщина, опытная чиновница, партийная от пегой маковки до застарелых мозолей, к тому же — единственная женщина в правительстве. За ней с давних лет держалось прозвище Коняги, отчасти связанное со звучанием ее фамилии, а отчасти и с ее неутомимостью и редкой способностью идти не сворачивая в указанном направлении. Прозвище ей даже нравилось, и нередко, позволив себе в узком кругу изрядно выпить, она любила приговаривать:

— Да, да, русская женщина — конь с яйцами, ей все по силам!

Несомненно, она и была главной женщиной страны, символом женского равноправия и воплощенным Восьмым марта, если не считать мифологических Розы Люксембург, Клары Цеткин, Зои Космодемьянской и вечно юной Любви Орловой. Что характерно, все они, включая и саму Конягу, были бездетными...

На первых порах, когда проект перестройки здравоохранения только затевался, Коняга была его большой сторонницей, но по мере того, как работа Павла Алексеевича приобретала все больший размах, она как будто охладела. На самом же деле она испугалась. Проект выглядел слишком радикальным, требовал огромного финансирования, а главное, риска. Во многих отношениях слепоглухонемая, Коняга обладала нечеловеческой чуткостью к настроениям начальства, которые она понимала как государственный интерес. Она своим нюхом чуяла, что государственный интерес в текущем моменте лежал никак не в области акушерства и гинекологии и даже материнства и детства, а в иных, более высоких сферах.

Академик Опарин, например, уже объяснил, каким образом живая материя произошла от неживой посредством электрического разряда, вышибаемого с помощью учения Маркса — Энгельса в сторону первичного бульона из идеологически верных молекул белка. Другой академик, Лысенко, почти подчинил природу своему щучьему велению, и она уже твердо обещала ему адекватно реагировать на все манипуляции кнута и пряника. Третий академик, всемирно известная женщина Лепешинская, без пяти минут как победила старость и без десяти — самое смерть. Атом уже согласился стать мирным, реки были готовы течь куда следует, а не куда им заблагорассудится. Советская наука, и медицинская в частности, и без отмены злосчастного указа процветала, а великий вождь всех времен и народов, сунув левую, сухую, за пазуху, деятельной правой принимая бессмертный букет из рук белокурой девочки, впоследствии и под следствием оказавшейся еврейкой, мудро улыбался...

А лысый гинеколог ходил каждую неделю в министерство и надоедал министру своим дежурным вопросом: подала ли она проект наверх?

Нет, нет и нет! В настоящее время она никак не могла выйти наверх. А вдруг не так поймут? К тому же обычно идеи работали в обратном на-



правления — не поднимались снизу вверх, а спускались сверху вниз. О перестройке здравоохранения пока забыли, и не ей было об этом напоминать. Коняга тормозила, как могла, ни одно постановление не проходило без обсуждения в ЦК партии, и ее чуткое сердце предпочитало повременить. Павел Алексеевич настаивал.

Потратив больше года на бесплодные переговоры с министром, Павел Алексеевич совершил в конце концов поступок, по понятиям чиновничьим и военным, неэтичный: написал официальное письмо в ЦК партии, на имя члена Политбюро Н., ведающего социальными вопросами. Поверх головы министра здравоохранения... Письмо в соответствии с общепринятыми стандартами содержало закликательное зачало «Под руководством...» и так далее. Написано оно было безукоризненным старомодным языком, с четкой аргументацией и убийственной в прямом и переносном смысле статистикой.

На этот раз Павел Алексеевич локализовал задачу — он подавал не весь проект, а лишь его фрагмент, касающийся наиболее болезненной, с его точки зрения, проблемы — о разрешении абортов.

Прошло несколько месяцев, и Павел Алексеевич уже перестал ждать какого бы то ни было ответа, как в девять часов утра, во время пятиминутки, раздался звонок со Старой площади. Павел Алексеевич извинился и с недовольным лицом вышел из ординаторской. Кто-то нарушил правило: обычно с пятиминуток его к телефону не подзывали. Но это было приглашение в ЦК на аудиенцию, и притом немедленное.

Через десять минут служебная машина уже отъезжала от клиники. Рядом с водителем сидел мрачный Павел Алексеевич. Вызов был неожиданным, и стилистика — самая злобешая. Особенно не понравилась ему срочность. Он успел до отъезда сделать лишь две вещи первой необходимости: выпил стакан разведенного спирта и взял в руки давно заготовленный на этот случай портфель. Уже по дороге к Старой площади он подумал, что напрасно не заехал домой попрощаться с семьей...

В проходной шестого подъезда его остановили и просили оставить портфель. В портфеле стояла плоская анатомическая банка с запаянной сургучом крышкой. Этой банке была отведена решающая роль в предстоящем разговоре. После долгих объяснений, препирательств и исследований портфелю разрешено было последовать на прием вместе с владельцем. Павла Алексеевича долго вели по ковровым коридорам. Это малоприятное путешествие отдавало каким-то ночным кошмаром. Павел Алексеевич еще раз пожалел, что не заехал домой. Два явственных вертухая, один справа, другой слева, остановились перед дверью:

— Вам сюда.

Он вошел. Секретарша ренуаровского колорита, сияя жемчужно-розовым лицом, просила подождать. Он сел на строгий деревянный диван, разведя широко колени и поставив между ними старый отцовский портфель, ходивший в свое время на доклады к министрам давно похороненного правительства... Павел Алексеевич приготовился долго ждать, но его вызвали через две минуты. К этому времени алкоголь добрался до всех завитков нервной системы и разлил свое безмятежное тепло и покой. В длиннющем неуклюжем кабинете, за огромным письменным столом сидел маленький человек с отечным лицом, вылепленным из сухого мыла, — одно из тех лиц, что колыхались на первомайских портретах под весенним ветерком.

«Почки ни к черту не годятся, особенно левая», — автоматически отметил Павел Алексеевич.

— Мы ознакомились с вашим письмом, — монархически произнес партийный начальник.

И звук голоса, и едва заметная брезгливость в лице давали понять, что дело проиграно.

«Тем более нечего терять», — подумал Павел Алексеевич и медленно расстегнул пряжки портфеля. Начальник замолк, сделав ледяную паузу. Павел Алексеевич вытащил слегка запотевшую банку, провел ладонью по стеклу и поставил на стол. Начальник испуганно откинулся в кресле и, указав пухлым пальцем на препарат, спросил неприязненно:

— Что это вы сюда притащили?

Это была иссеченная матка, самая мощная и сложно устроенная мышца женского организма. Разрезанная вдоль и раскрытая, цветом она напоминала сваренную буро-желтую кормовую свеклу, еще не успела обесцветиться в крепком формалине. Внутри матки находилась проросшая луковица. Чудовищная битва между плодом, опутанным плотными бесцветными нитями, и полупрозрачным хищным мешочком, напоминавшим скорее тело морского животного, чем обычную луковицу, годную в суп или в винегрет, уже закончилась.

— Прошу обратить внимание. Это беременная матка с проросшим луком. Луковица вводится в шейку матки, прорастает. Корневая система пронизывает плод, после чего извлекается вместе с плодом. В удачном случае, разумеется. Неудачные попадают ко мне на стол или прямо на Ваганьково... Очень часто второе...

— Вы шутите... — отшатнулся партийный деятель.

— Я мог бы привести вам таких луковиц килограмм, — вежливо ответил Павел Алексеевич побледневшему деятелю. — Официальная статистика, и я не могу этого скрывать, совершенно не соответствует истине.

Начальник напрягся:

— Что вам дает право... Как вы смеете...

— Смею, смею. Если после криминального аборта мне удастся женщину вытянуть, я должен писать ей в карточку «самопроизвольный выкидыш». Потому что, если я этого не сделаю, я посажу ее в тюрьму. Или ее соседку, у которой тоже малые дети, и половина этих детей и так безотцовщина. Луковка эта, поверьте, самый хитроумный, но не единственный метод прерывания беременности. Металлические спицы, катетеры, ножницы, внутриматочные вливания черт-те чего... йода, соды, мыльной воды...

— Перестаньте, Павел Алексеевич, — взмолился побелевший чиновник, вспомнив, что до войны и его жена прибегала к чему-то такому. — Хватит. Чего вы от меня хотите?

— Нужен указ о разрешении аборт.

— Вы с ума сошли! Вы что, не понимаете, что есть интересы государства, интересы нации. Мы потеряли на войне миллионы мужчин. Есть проблема восполнения народонаселения. Это детский лепет, то, что вы говорите, — искренне заволновался чиновник.

«Не зря банку тащил», — подумал Павел Алексеевич. Разговор, кажется, качнулся в его пользу. Он правильно его начал, и надо было правильно его закончить.

— Мы потеряли миллионы мужчин, а теперь теряем тысячи женщин. Честный медицинский аборт не влечет риска для жизни. — Павел Алексеевич сморщился. — Видите ли, рост благосостояния сам по себе будет обуславливать повышение рождаемости... — Павел Алексеевич встретился с начальником глазами. — Сколько сирот оставляют. Детские дома тоже, между прочим, из государственного бюджета кормятся... Надо разрешать. На нашей совести будет...

Чиновник скривил губы, сложились глубокие складки к подбородку:

— Уберите это... Там надо говорить. — Он указал рукой в небо.

— Так я вам оставляю препарат. Может, пригодится?

Хозяин кабинета замахал руками:

— Вы с ума сошли! Уберите немедленно...

— По неполной, по далеко не полной статистике двадцать тысяч в год. Только по России... — набылчился Павел Алексеевич. — Вы за них отвечаете.

— Вы много на себя берете! — рявкнул партийный чиновник и совершенно перестал походить на свой первомайский портрет.

— Потому что вы ничего не хотите взять на себя, — отрезал Павел Алексеевич.

На том и расстались. Препарат остался стоять на вельможном столе рядом с чернильным прибором, украшенным чугунной башкой пролетарского писателя...

Эти первые послевоенные годы были для Павла Алексеевича очень удачными. Кафедра, замороженная во время войны, снова получила право на полноценное существование. Вернулись двое лучших учеников Павла Алексеевича, которые в начале войны прошли переквалификацию и на несколько лет оторвались от гинекологии. Вдвое увеличили количество мест в клинике. Новых ставок на научную работу пока не давали, но Павлу Алексеевичу даже в самые тяжелые времена удавалось вести научные наблюдения и копить кое-какие соображения, которые ждали своего часа. Так он размышлял о лечении одного из видов женского бесплодия, глубоко вник в женскую онкологию и нащупал интересные связи между беременностью и злокачественными процессами, возникающими в организме женщины в этот период. Мыслями он бродил около лечения раковых заболеваний с помощью ингибиторов роста гормонального происхождения. Дар внутривидения не давал ответов на вопросы, но помогал ясно видеть некоторые общие картины жизни организма. Картина жизни общества, государства, напротив, представлялась Павлу Алексеевичу совершенно неясной. Ему, как и многим в первые послевоенные годы, казалось, что прежние, довоенные заблуждения сами собой развеются и жизнь организуется разумно. Разрабатываемый им проект обеспечит скорейшее наступление светлого будущего в той по крайней мере части, где он был компетентен.

Однако дело, несмотря на удачный, как ему казалось, визит к высокому начальству, не двигалось, комиссия все не работала, и он упорно и методично обивал порог все более настороженной Коняги и доказывал, что настало время обновить существующее здравоохранение. Она его принимала — слух о его походе напрямки дошел до нее, а поскольку никаких непосредственных приказов ей не давали, она была с Павлом Алексеевичем предельно осторожна. Даже сочла за благо его приласкать. Именно по ее инициативе в конце сорок седьмого года Павлу Алексеевичу дали звание члена-корреспондента Академии медицинских наук и в те же дни — новую квартиру в только что отстроенном доме для медицинской знати. Это был как будто аванс под будущие государственные свершения. Аванс был прекрасным — трехкомнатная квартира с семиметровым чуланом при кухне. Больше всех радовалась Василиса. Впервые в жизни у нее была отдельная комната. Увидев чулан, она заплакала:

— Вот она, моя келейка, дай Бог и помереть здесь.

Как ни уговаривала ее Елена поселиться в большой комнате, вместе с Танечкой, Василиса не согласилась.

По понятиям тогдашнего времени они были богаты сверх всякой меры. Равной богатству была лишь щедрость Павла Алексеевича, благодаря которой в доме никогда не заводилось свободных денег. Дважды в месяц, в день зарплаты, после позднего обеда Павел Алексеевич провозглашал:

— Леночка, список!

И Елена приносила ему список тех, кому отправлялось денежное пособие. Еще с довоенного времени Павел Алексеевич оказывал помощь двоюродной племяннице, неродной тетке, старой хирургической сестре, с которой когда-то начинал работать, и другу студенческих лет Илье Гольдбергу, который с тридцать второго года пребывал то в лагерях, то в ссылках, то в

каких-то провинциальных дырах, где делал неизвестно что, но имевшее отношение к его любимой генетике.

До женитьбы Павла Алексеевича, собственно, никакого списка не было, вспоминал и посылал, а теперь, когда его молодая жена завела этот список, прибавив, помимо мужниных имен, своих дальних родственников, школьную подругу, застрявшую в Ташкенте, и каких-то Василисиных старух, Павел Алексеевич стал даже с некоторым уважением относиться к своей большой зарплате. Поскольку круг лиц был довольно обширным и от месяца к месяцу видоизменялся, Павел Алексеевич, заглядывая в список, иногда спрашивал:

— Муся — это кто? — и, выслушав разъяснение, кивал головой.

Затем Елена объявляла общий итог, и тогда Василиса скоренько шла к нему в кабинет и выносила торжественно старый кожаный портфель, принадлежавший еще Алексею Гавриловичу, о чем и сообщала серебряная пластинка в уголке. Павел Алексеевич раскрывал портфель, отсчитывал дензнаки, и наутро Василиса, завернув отдельно каждую порцию в газетку, а все газетные свертки почему-то в старое полотенце, уцепившись жесткими пальцами за Еленин рукав, шла на почту, и они отправляли почтовые переводы.

Василиса шевелила губами. Елена думала, что она считает деньги. Василиса же читала свои любимые молитвы. Собственных слов у нее было немного, и со своим Богом она привыкла разговаривать отрывками из псалмов и молитвенными формулами. Но когда очень уж хотелось добавить что-нибудь от себя, то она взывала к Пречистой Деве: «Голубушка, дорогая, сделай так-то и так-то, чтобы по-хорошему...»

Мир Василисы был прост: на небе Господь Бог, Пресвятая Богородица со ангелы, со всеми святыми и с матушкой игуменьей посреди, потом — Павел Алексеевич, а потом уж они, семья, и все остальные люди, злые по одну сторону, добрые — по другую. Павел Алексеевич был в ее глазах почти святым: он у себя в больнице всем подавал помощь — и злым и добрым, как Господь Бог. Даже последним преступницам, погубительницам жизни... О том, что главной заботой Павла Алексеевича было законное разрешение на эту пагубу, ей и в голову не приходило.

## 7

На шестом году жизни Танечка сильно вытянулась, ушла детская припухлость, личико обострилось, влажные голубые тени пролегли под глазами. И кашель то прекращался, то снова нападал. Вызвали Исаака Вениаминовича Кецлера, друга и однокашника покойного отца Павла Алексеевича. Ему было за восемьдесят, с девятьсот четвертого года он работал в детской больнице на Русаковке и, уйдя на пенсию, продолжал ежедневно ездить в свое отделение, где и кабинет за ним оставили.

Исаак Вениаминович славился божественными ушами. Даже с виду они были необыкновенными: разросшиеся от старости, дряблые и сухие, как у слона. Из самой середины уха бил фонтан седых волос, а большие удлиненные мочки морщились продольными складками. При всем при том Исаак Вениаминович был глуховат до той минуты, пока не вдевал в ухо короткую черную трубку и не приставлял ее расширенным концом к детской спине. А уж особенно его слух обострялся, когда он прижимался стариковским ухом к передергивающемуся от щекотки телу малолетнего пациента.

— Здесь мы имеем первичный процесс, — произнес Исаак Вениаминович, ткнув Таню пальцем пониже ключицы. — Верхушечка справа. Пойдите в Институт педиатрии, доктор Хотимский сделает вам снимочек... На Солянку, на Солянку...

Павел Алексеевич кивнул — он прекрасно знал это старое здание возле Устьинского моста, построенное еще в начале девятнадцатого века, Воспитательный дом для подкидышей, рожденных запутавшимися деревенскими девками, горничными и швеями московского Вавилона, не сумевшими вовремя избавиться от прижитых младенцев...

Павел Алексеевич глядел на раздетую до пояса дочку своим специальным взглядом, сфокусированным на несколько сантиметров глубже поверхности ее молочной кожи, но ничего, кроме своего собственного суетливого беспокойства, не ощущал.

— К сожалению, это теперь массовое явление, — шамкал Исаак Вениаминович, гуляя пальцами около Таниного уха, вниз по шее, останавливаясь под подбородком и влезая в самую глубину подмышек. — Лимфатик, лимфатик. Возможно, щитовидочка чуть увеличена. А как аппетит? Конечно, плохой. Откуда быть хорошему? А рвоты? Рвоты случаются? Нераус?

— Очень часто, — кивнула Елена. — Одна лишняя ложка — и рвота. Мы никогда и не уговариваем.

— Ну вот, — с удовлетворением отозвался старик. — Спастика. — Он приложился ухом к животу. — На боли в желудке жалуемся? Вот тут? — Он ткнул пальцем в какую-то точку. — Остренько так тянет, да?

— Да, да, — обрадовалась Танечка. — Остренько тянет.

«Ах вот в чем дело, — обрадовался Павел Алексеевич. — Уши-то у старика ясновидящие. Не глаза, не пальцы...»

Сам он, как ни напрягался, ничего на этот раз не видел. Не разворачивалась перед ним привычная картина — вид человека изнутри, таинственный пейзаж органов, повороты рек, туманные пещеры, полости, лабиринты кишечника...

Не выключая собственного обескураженного взгляда, он посмотрел на Исаака Вениаминовича — багровый свет раковой опухоли охватывал желудок. Очаг был в привратниковой части, а по средостению полз росток метастаза. Павел Алексеевич закрыл глаза...

Снимок Тане сделали. Кое-что нашли. Анализ крови все подтвердил. Рекомендации старого педиатра оказались изумительно старомодными. Ребенку была предписана Швейцария, в разумных, разумеется, пределах. То есть Швейцария подмосковная. Многочасовые гуляния, сон на свежем воздухе — к ужасу Василисы, которая, как простой человек, выросший в деревне, в свежий воздух не верила. А также, разумеется, питание, рыбий жир. Словом, «Волшебная гора» Томаса Манна, о которой Исаак Вениаминович и слыхом не слыхивал. И никаких медикаментов типа новомодного ПАСКа — зачем надрывать печень, нагружать почки?

Павел Алексеевич кивал, кивал, а потом резко спросил, не хочет ли старый педиатр обследовать собственный желудок. Старик твердо отказался:

— Коллега, в моем возрасте все процессы замедленны, у меня есть хорошие шансы умереть от воспаления легких или от разрыва сердца...

«Все знает. Прав», — согласился в душе Павел Алексеевич.

Сняли под Звенигородом большую зимнюю дачу, принадлежащую карьерному адмиралу, отправленному за мелкий грех крупного воровства в почетную ссылку в Канаду, на должность военного атташе в посольство. Той же осенью в академии распределяли дачи, и Павлу Алексеевичу предложили подать заявление. Он почему-то отказался. И сам не смог бы объяснить толком, но было инстинктивное ощущение: много много дают, не сдерут ли потом три шкуры? Даже Елене не сказал об этом дачном предложении.

На снятой даче поселили Таню с Василисой. Как ни уговаривал Павел Алексеевич Елену бросить наконец свою никчемную работу и сидеть на

даче, она отказалась наотрез: не хотела ни работу бросать, ни Павла Алексеевича одного в городе оставлять на всю неделю.

Дача была огромная, двухэтажная, с псевдоготическими буфетами и поставцами, заполненными фарфором и всякой никчемной мелочью. В двух залах, верхней и нижней, среди стада окаменевших кресел и стульев с резными спинками стояло по роялю. Наверху — черный концертный, внизу — кабинетный с треснувшей декой, из палисандрового дерева, с бронзовыми накладками. Настройки он не держал, но это выяснилось уже после того, как Павел Алексеевич со сторожем внесли его в одну из двух обжитых комнат — для Тани. Пригласили учительницу из Звенигорода, и она три раза в неделю приезжала на дом.

Уже через несколько недель, воскресными вечерами, жарко натопив дом, Павел Алексеевич и Елена садились в резные германские кресла, от которых пахло воровством, как и от всей прочей обстановки этого дома, и Таня играла им робкие пьески, выученные на этой неделе...

Так прошло два года. Зимы запомнились Тани гораздо лучше, чем лета. Может, потому, что зима в России в два раза длиннее лета. Свое детство Таня вспоминала впоследствии как время белизны, а не болезни. Утренняя чашка сладкого козьего молока в белой фарфоровой кружке, заоконные сугробы, толстые и волнистые понизу, и маленькие, округлые, празднично разложенные подушки на спинах еловых веток поверху, и белый костяной блеск клавиш, к которым Таня переходила после завтрака, пока Василиса мыла посуду. Потом Василиса давала ей деревянную лопатку и велела чистить дорожки. И Таня возила лопатой снег, пока Василиса не предлагала ей нового задания — покормить птиц.

Участок был огромный, Павел Алексеевич устроил четыре кормушки, и Таня часами наблюдала, как кормились на деревянном столике, под козым навесом красногрудые снегيري и темнощекие синицы. Иногда они с Василисой брали по бидону — большой и маленький — и шли на дальний родник, метрах в пятистах, за вкусной водой. Ближний родник пробивался на самом краю огромного дачного участка, но, бывало, в снегопады его заваливало, и вода не протискивалась на поверхность. Каждый день ходили в деревню за козьим молоком, навещали знакомую старушку, ее козу и собаку с черными щенятами, жившими в сенцах.

Таня постоянно была занята. Разницы между делом и развлечением она не знала. Ничего насильного в ее жизни не было — даже рыбий жир, которого она прежде не выносила, стал ей нравиться после того, как Василиса угостила хлебом, сбрызнутым рыбьим жиром, черных щенят и они набросились на него, как на невиданное лакомство.

В счастливой дачной жизни они пропустили первый школьный год. Программу первого класса Таня прошла дома. Она хорошо читала и освоила счет. Труднее было с чистописанием. Таня расстраивалась, что у нее не получается так красиво, как в прописях. Здоровье ее совершенно поправилось. Исаака Вениаминовича, который мог бы это засвидетельствовать, уже не было в живых.

С осени Таню перевезли в московскую квартиру, и она пошла в школу, сразу во второй класс. Собирали ее со старанием и большой тщательностью. Сшили коричневую форму с воротом-стоечкой, белыми пришитыми воротничками и манжетами, черные нарукавники, два черных фартука и белый парадный, с плиссированными оборками на плечах.

— Как у ангела, — религиозно вздохнула Василиса. И стала уважать Таню своей детской душой — сама она в школу никогда не ходила, и форма эта, не перешитая из старого, а выкроенная из цельного нового куска шерстяной материи, казалась знаком особого отличия. Про себя она еще подумала: красота какая, хоть в гроб ложи... Ничего дурного она в виду не имела...



Еще закупили стопку голубоватых свежих тетрадок с розовыми рыхлыми промокашками, пахучий деревянный пенал с драгоценным содержимым — новые карандаши, ластик, перья... Даже ботинки для Тани сшили на заказ в закрытом ателье, которым никто в семье не пользовался.

О школе Таня долго мечтала — ей обещано было, что там она найдет себе подруг, которых не хватало в туберкулезно-счастливым звенигородском детстве.

Первого сентября Елена привела дочь в школу. Нашла учительницу и оставила Таню в классе с тяжелым портфелем и толстоногим букетом упитанных астр, одинокую и растерянную. Девочек, с которыми Таня собиралась дружить, оказалось слишком уж много. Они были шумными, и с этим еще можно было смириться. Самым неприятным было то, что они все трогали Таню руками, кто за косу, кто за оборку фартука. Одна даже ухитрилась схватить ее за белый носок...

Класс оказался точно таким, как Таня его себе представляла. Учительница указала ей место рядом с толстой девочкой с бубликами косичек над ушами. В середине урока соседка толкнула ее под локоть, и Таня поставила большую кляксу на первой странице тетради. Таня обмерла. С ней случилось такое и прежде, когда она заполняла свои одинокие тетради в Звенигороде, но теперь она ужаснулась. Она еще не успела прийти в себя от потрясения, как соседка, нагнувшись под парту, больно ущипнула ее за ногу. Тогда Таня поняла, что и под локоть та толкнула ее нарочно, и заплакала. Учительница подошла к ней и спросила, в чем дело.

— Можно я пойду домой? — прошептала Таня.

— После четвертого урока ты пойдешь домой, — твердо сказала учительница.

Первый раз в жизни Таня столкнулась с чужой волей, с насилием в его самой легкой форме. До этого момента желания окружающих и ее собственные случайно совпадали, и ей в голову не приходило, что может быть иначе... А это и была взрослая жизнь — подчинение чужой воле... С этого момента оказалось: чтобы по-прежнему быть счастливой, надо быть уверенной, что ты сама желаешь именно того, чего от тебя требуют взрослые... Она, разумеется, этого не думала, скорее эта идея накрыла ее сверху и начала подминать под себя...

До конца четвертого урока она просидела за партой в столбняке, не выходя даже на перемены. Девочки, от которых она ждала дружбы, оказались злыми обезьянами: они скакали вокруг нее, дергали за косы, тыкали пальцами и обидно смеялись. Таня силилась понять, за что они ее невзлюбили, и не догадывалась, что они таким способом лишь выражают свой интерес к ней. Она и представить себе не могла, что через несколько месяцев эти же самые девочки будут отчаянно ссориться между собой и даже драться за право стоять с ней в паре, дежурить по классу и просто идти по коридору.

Таня, как выяснилось, обладала редким и трудно определимым качеством: все, что она ни делала — завязывала бант, обертывала тетрадь, стряхивала с рук капли воды после мытья своим собственным размашистым жестом вверх кистями, морщила нос при улыбке, — каждое ее движение сразу становилось заметным, популярным, а сама она — образцом для подражания. Даже ее манеру, задумавшись, прихватывать зубами пушистый хвостик косы переняли все, у кого были косы...

Несмотря на возникшее девчачье обожание, школу Таня так и не любила. Окруженная десятками девочек, добивающихся ее внимания и дружбы, она чувствовала себя более одинокой, чем в Звенигороде. Еще более одинокой чувствовала себя только Тома Полосухина, забитая, с малиновой шелушащейся обводкой вокруг рта двоичница с последней парты. Съездившаяся, сутулая девочка, с которой никто не хотел сидеть... Тома не принадлежала к числу Таниных обожательниц — межзвездные расстояния пролегли между ними...

## 8

Скромную, очень скромную специальность выбрала себе Елена. Но никогда не пожалела о своем выборе. Нравилось ей в этой работе все: специальный стол с подсветкой, кульман и разные сорта бумаги, с которой приходилось работать, — мутноватая льдистая калька, рыхлый полуватман, сизые скользкие синьки. Нравился и запах туши, и шорох карандаша. И даже мелкие незначительные операции, без которых не обойтись, но которые тоже требуют умения, вроде заточки карандашного грифеля...

Все эти первоначальные вещи она поняла еще во время обучения. Потом, поработав год-другой, она полюбила и более существенную, очень успокоительную сторону чудесной профессии чертежника — каждый предмет, показывая себя, поворачивался в трех проекциях, и этого было совершенно достаточно, чтобы он был описан полностью, не оставляя в себе никакой тайны, никакого уединенного места. Все как есть...

Порой Елене казалось, что все явления, как и все предметы, можно описать в трех позициях — анфас, профиль, вид сверху. Не только деталь танкового мотора, но и ветер, и боль в животе, и любое сказанное слово.

Ее учителем был первый муж, Антон Иванович Флотов, великий мастер чертежного дела, даже можно было сказать, искусства. Они познакомились в укромном и незначительном месте, на курсах черчения, где Елена была студенткой, а он — преподавателем. С виду он был старообразен, опрятен и сух, хотя было ему всего двадцать девять. Ей едва исполнилось семнадцать, и она только-только вырвалась из подмосковной сельскохозяйственной коммуны, удивительного и в высшей степени странного места, где проходило ее детство. Община эта была толстовская, и руководил ею родной отец Елены, Георгий Иванович Мякотин.

Девочка, выросшая в столь особых, совершенно уникальных обстоятельствах, грамоте обученная по толстовским детским книжкам, с детства доившая кровом, не в шутку, а всерьез работавшая и в поле, и на общественной кухне, молчаливая слушательница застольных дискуссий о Вивекананде и Карле Марксе и согласного пения народных и народнических песен, чувствовала себя в Москве одинокой в окружении чуждого и опасного мира. Бабушка Евгения Федоровна была единственным человеком, которого Елена не дичилась.

С Антоном Ивановичем, будущим мужем, соединило Елену более чем любовь, подспудное чувство иррациональной вины за свою «отдельность», «неслиянность» с веселой и дружной общностью невинных людей. Оба они ощущали свою социальную неполноценность, но не прикрывались защитительной политической активностью, с биением себя в грудь и проклятиями в адрес неудачных родителей. Они принадлежали к другой, смиренной породе людей, предпочитающих тихое уползание в периферию жизни, под кустик, под камешек, в теневое, незаметное место.

Антон Иванович происходил из семьи архитекторов и строителей, частично эмигрировавшей, частично уничтоженной, и все его наследство составляла именно его профессия чертежника. Он из-за революции не успел получить немецкого инженерного образования, которое давали мальчикам в их семье. Чертежник же он был первоклассный, работал на большом заводе конструктором, а также вел курс черчения в заводском рабфаке.

Осторожный и внимательный, Антон Иванович год присматривался к Елене, прежде чем подойти, потом год встречался с ней по воскресеньям и женился лишь на третий год знакомства — без пылкой любви, но серьезно и обдуманно, как все, что он делал.

Родители Елены на свадьбу не приехали: отец был занят посевной и матери ехать не разрешил. Георгий Иванович приглашал дочь с зятем переезжать к ним, на Алтай. Дела в коммуне шли неплохо, и хотя с властями было много разнообразных трений, не могли коммунары предполагать,

что через год-другой всех арестуют, посадят по тюрьмам и лагерям, сошлют в такие места, где землю кайлом не расшибешь.

Тихо и мирно жили Антон и Елена в бабушкиной квартире. Зарплаты хватало на скромную жизнь, а другой Елена и не знала. Во всяком случае, после ее коммунарского детства московская жизнь казалась ей легкой и привольной. Самый интересным для нее было, пожалуй, черчение.

Начальство Елену хвалило, отмечало как старательную и способную девушку. Поскольку в бумагах ее было написано, что она из коммуны (это по недоразумению выглядело хорошо — что коммуна толстовская, не было нигде сказано), Елене даже предложили учиться дальше, на рабфаке, но ей этого совсем не хотелось. Она с удовольствием сидела за кульманом, и даже Антон Иванович удивлялся ее рвению к работе.

Однажды ей приснился сон, что Антон Иванович говорит ей какую-то простую обыденную фразу, а она видит эту фразу не обыкновенным образом, анфас, а как бы в профиль: узкая, как рыба мордочка, слегка волнистая и вытянутая кверху острым треугольником. Жаль только, что, проснувшись, вспомнить фразу она так и не смогла. Но самый этот сон сохранился, не выветрился. После него осталась догадка, что каждая фраза имеет свою геометрию, только надо напрячься, чтобы ее уловить.

«Есть в словах что-то чертежное, — размышляла она. — Есть „чертежность” во всем существующем, но высказать это невозможно».

Она пыталась поговорить об этом с Антоном Ивановичем, тот лишь покачал головой:

— Ну и фантазии у тебя, Елена...

Сны эти, однако, изредка повторялись. Они были совершенно бессмысленны, не сообщали ничего такого, что поддавалось бы пересказу, но после них оставалось неопределенно-приятное ощущение нового.

И теперь, когда прошло столько лет и не было на свете Антона Ивановича, и даже фотографии его Елена упрятала подальше — как бы ее подрастающая девочка не узнала случайно, что Павел Алексеевич ей не родной отец, а отчим, — всякий раз, усаживаясь на свое рабочее место, она раскрывала старинную немецкую готовальню, флотовскую готовальню, и вздыхала о покойном Антоне Ивановиче. Свою вину перед ним она никогда не забывала. Да и чертежные сны время от времени снились — зачем, для чего...

Павел Алексеевич Елениной работы не любил — к чему это утомительное сидение в конструкторском бюро? Недоумевал. Елена оправдывалась:

— Это хорошая работа. Я в ней понимаю.

— Да чего же в ней хорошего? — искренне удивлялся Павел Алексеевич.

— Не могу тебе объяснить. Это красиво.

— Пожалуй, — лукаво соглашался Павел Алексеевич. — Да только очень уж простенько, — поддразнивал.

— Ах, Паша, что ты говоришь! — обижалась Елена. — Ничего не простенько. Иногда очень даже сложно бывает.

Павел Алексеевич ловил эту минуту, когда менялось ее обыкновенно кроткое выражение. Она слегка встряхивала головой, пушистые завитки с боков лба, всегда выбивающиеся из пучка, подрагивали, губы морщились в уголках.

— Я имею в виду, что там все механическое, никакой тайны нет. — Он выставлял перед ней указательный палец: — В одном человеческом пальце больше тайны, чем во всех ваших чертежах.

Она забирала в горсть его палец:

— Может, это только в твоём пальце есть какая-то тайна. А в других — нет. Может, в чертежах не тайна, а правда содержится. Самая необходимая

правда. Ну, пусть не вся, а часть. Одна десятая или одна тысячная. Вообще-то я знаю, что у каждой вещи есть еще и другое содержание, не чертежное... Я сказать не умею. — И она отпустила его руку.

— Уже до тебя сказали, — усмехался Павел Алексеевич, — Платон сказал. Называется «эйдос». Идея вещи. Ее божественное содержание. Божественный шаблон, по которому все наши земные изделия отливают...

— Ну, это не для меня. Это слишком умственное, — отмахнулась Елена. Но слов Павла Алексеевича не забывала. Это была она, философия. Что-то подобное говорили и в коммуне, но тогда она была мала для таких разговоров и под них засыпала.

Павел Алексеевич смотрел на нее с горделивой нежностью: вот такая у него жена — тихая, молчаливая, говорит только по необходимости, но если уж принудить ее высказаться, суждения ее умны и тонки, и глубокое понимание...

Елене иногда хотелось бы поделиться с мужем своими соображениями о «чертежности» мира, о снах, которые снились ей время от времени — с чертежами всего на свете: слов, болезней, даже музыки... Но нет, нет, описать это невозможно...

Два тайновидца жили рядом. Ему была прозрачна живая материя, ей открывалась отчасти прозрачность какого-то иного, не материального мира. Но друг от друга они скрывались, не от недоверия, а из целомудрия и оградительного запрета, который лежит, вероятно, на всяком тайном знании, вне зависимости от того, каким образом оно получено.

## 9

Научные проблемы, которые интересовали Павла Алексеевича, всегда были связаны с конкретными медицинскими задачами, будь то борьба с ранними выкидышами, разрешение бесплодия, новые хирургические подходы к иссечению матки или кесарево сечения при неправильном предлежании плода.

Словосочетание «буржуазная наука», все чаще появляющееся в газетах, вызывало у него брезгливую усмешку. Область науки, которой он отдал многие годы жизни, совершенно не имела с его точки зрения классового подтекста.

Безукоризненно честный в житейском смысле этого слова, Павел Алексеевич прожил всю свою профессиональную жизнь в советское время, давно привык пользоваться в статьях и монографиях некоторым условным языком, казенными зачинами с застывшими оборотами типа: «В кругу наук сталинской эпохи...» — или: «Благодаря неустанной заботе Партии, Правительства и лично товарища Сталина...» — и умел в пределах этой «фени» высказывать свои дельные соображения. Это была для него формула вежливости данного времени вроде «милостивого государя» прошлого, и содержательной части работ она не касалась.

В начале сорок девятого года началась борьба с космополитизмом, и с первой же газетной публикации Павел Алексеевич как будто проснулся. Это было новое наступление на здравый смысл, и прошлогодняя сессия ВАСХНИЛа, ударившая по генетике и евгенике, теперь не казалась ему зловещей случайностью. Павел Алексеевич, как академик и директор института, находился теперь на таком служебном уровне, что от него требовались уверения в лояльности. Следовало публично высказаться, поддержать хотя бы словесно новую кампанию. Высокое начальство настойчиво намекало ему, что пора. Было также многозначительно упомянуто о его проекте, уже несколько лет лежавшем под сукном...

О выступлении подобного рода не могло быть и речи — для Павла Алексеевича это значило бы лишиться самоуважения, переступить границы обыкновенной, самой что ни на есть буржуазной порядочности.

При всем своем относительном свободомыслии, Павел Алексеевич все-таки получил традиционное естественное образование, копирующее немецкий образец, да и все мышление его было организовано на немецкую колодку. Так уж исторически сложилось, что гуманитарные влияния в России приживались скорее французские, а в области науки и техники с петровских времен первенство оставалось за немцами. Сама идея универсализма, в латинском ее истолковании, была для Павла Алексеевича привлекательна, так что в собственно «космополитизме» не видел он никакого мирового зла.

Накануне большого собрания в академии, в одно из последних воскресений весны он поехал в Малаховку, к своему другу Илье Иосифовичу Гольдбергу, медику и генетику, — посоветоваться. Менее подходящего советчика трудно было найти.

Еврейский Дон Кихот, всегда успевавший сесть прежде полагавшегося ему процесса и совершенно не за то, за что следовало бы, к этому времени Гольдберг успел отсидеть два ничтожных, по масштабам тех лет, срока и готовился к третьему. Между этими ходками было еще несколько необыкновенных удач, когда по случайности он не оказывался в нужное время в нужном месте, и беда его обходила.

Первый заход был в тридцать втором году, за выступление, сделанное им тремя годами раньше, в двадцать девятом, на домашнем семинаре, представлявшем собой остаток давно не существовавшего Общества вольных философов — Вольфилы. Тема выступления была отнюдь не генетическая. Гольдберг, любитель порыться в западных журналах, выкопал в «Nature» или в «Science» статью Альберта Эйнштейна о временно-пространственных отношениях. Статья ему чрезвычайно понравилась своей математической строгостью — до этого времени он никогда не встречал работ, где философские понятия интерпретировались математиками, — и он сделал о ней сообщение.

Дело было уж совсем плевое, ему дали всего три года. А сколько бы дали, если бы могли вникнуть в то, чем он в те годы сам тогда занимался, — популяционной генетикой человека?

Когда он вышел, то некоторое время проработал в Медико-биологическом институте, где успел опубликовать несколько работ по генетике популяций и дрейфу генов. Но и тут его несносный характер помог избежать большой неприятности — накануне разгона института он насмерть разругался с одним из ведущих сотрудников, разумеется, по глубоко принципиальным научным вопросам. Ссора была столь эмоциональной, что дело дошло до драки. Свидетели инцидента говорили, что более комичного зрелища, чем эта рукопашная, нельзя и вообразить. В пылу научной полемики Илья Иосифович выбил своему оппоненту зуб, и тот, униженный и оскорбленный, подал в суд. В результате Гольдберг получил год за бытовое хулиганство.

Через две недели был арестован директор института, крупнейший генетик Левит, и несколько ведущих сотрудников, среди которых был и научный оппонент с выбитым зубом. И Левита, и Гольдбергова врага в тридцать седьмом расстреляли, а Гольдберг — несусветный бред советской жизни! — освободился ровно через год... Хулиганам советская власть благоволит...

Счастливым образом Илья Иосифович увернулся и от следующего неминуемого ареста: после освобождения он уехал в Среднюю Азию, где занялся совершенно новой для себя областью — генетикой и селекцией хлопчатника. Хотя мракобесное наступление на науку было уже широко развернуто — генетические лаборатории разогнаны, многих посадили, но еще не знали, сколь многих из них расстреляли, — с хлопчатником дело обстояло особо: он был сырьем для военной промышленности. Лаборато-

рия, в которой пристроился Илья, оказалась полусекретная, и до него, по халатности, по недоразумению или в силу туподумства администрации, не добрались... В этот недолгий, относительно спокойный для него период Илья успел жениться на своей лаборантке, хорошенькой Вале Попковой, в тридцать девятом году родились — ироническая усмешка небес! — однояйцевые близнецы, которым отец выбрал многозначительные имена: Виталий и Геннадий.

Семья прожила в запретной зоне секретной лаборатории несколько лет, пока не началась война. А когда война началась, пылкий Гольдберг, окончивший медицинский факультет в начале двадцатых годов вместе с Павлом Алексеевичем, но, в отличие от друга, никогда практической медициной не занимавшийся, записался на скорые курсы переквалификации и оказался в госпитале, в должности заведующего клинической лабораторией. Так, военврачом, он и прошел всю войну от звонка до звонка, без ранений и даже с наградой не пустяковой — с Красной Звездой, полученной за эвакуацию транспорта с ранеными из захваченного немецкими войсками городка. Самый комичным, но и характерным для Гольдберга было то обстоятельство, что из-за ссоры с начальником госпиталя он грузил лабораторное имущество последним, когда город был уже взят, о чем он и не знал, а единственным раненым, которого он вывез, был штабной полковник, за которым должны были прислать машину, но она не дошла — дорога была уже отрезана.

Когда Гольдберг закончил погрузку, он увидел колонну немецких танков и, дождавшись сумерек, сел за руль крытого грузовичка с имуществом и полковником и выехал беспрепятственно из города, вовсе не проявив свойственного ему шумного героизма, а, напротив, исключительное хладнокровие, совершенно ему, бешеному и горячему, не присущее...

По милости судьбы арестован он не был даже тогда, когда в самом конце войны написал гневное письмо на имя члена Военного совета о мародерстве и массовых изнасилованиях немецких женщин, о недостойном поведении советских солдат и даже офицеров, носящих высокое звание воинов-освободителей... Начальник госпиталя, узнав о содержании письма, через знакомого смершевского капитана остановил послание и, получив на руки, немедленно уничтожил, после чего провел Гольдберга через срочную демобилизацию и велел убираться на все четыре стороны, желательно подальше. Честный Гольдберг, ничего не знавший о маневре своего благородного начальника, еще и запрос писал в Военный совет, требуя ответа на изъятое письмо.

Однако в глуши хорониться Гольдберг не собирался. Приехал в Москву, выписал семью из Ферганы и начал поиски работы по специальности. Через некоторое время обнаружил, что науки, столь его увлекавшей, почти не существует. Он помыкался какое-то время без работы и пристроился под крыло великой женщины, Маргариты Ивановны Рудомино, взявшей безработного генетика старшим библиографом в Библиотеку иностранной литературы, где он почти три года и просидел с каталогами, картотеками, немецким, английским, польским, литовским и латынью, выученной им в немецкой Питер Пауль шуле, лютеранской школе, которую успел окончить Гольдберг. Школа эта чудом просуществовала в Москве до середины двадцатых годов.

Пребывание Ильи Иосифовича в служебном помещении на улице Разина, в пяти минутах от Кремля, в недрах библиотеки, почти не тронутой цензурой, несколько изменило его научные устремления. Он перечитал тонны книг по истории — его заинтересовала genialность как феномен и ее наследование. Однако сама genialность плохо поддавалась определению, формализации, — генетика же была наука строгая и оперировала явлениями качественными, а не количественными. Как провести границу между хорошими способностями, блестящими способностями и genial-

ностью? Гольдберг сличал энциклопедии всех времен и народов и для начала составил достоверный список гениев — на основании их встречаемости в энциклопедиях. Каким-то хитрым статистическим приемом доказал правомерность такого выбора. Далее он уже работал со своими избранниками, которых насчитывал по сотне на каждое столетие. Сети свои разбросал он так широко, что туда попали и золотой век Афин, и итальянское Возрождение, и дворянский период русской литературы.

Следующим этапом его работы был поиск какого-то признака-маркера, связанного с гениальностью. Он был совершенно уверен в существовании таких маркеров, и вопрос заключался для него в том, как их найти. Он искал что-то вроде дальновзоркости в сочетании с родинкой на правом плече или леворукости — с диабетом... И Гольдберг жадно ворошил биографии великих людей, скрупулезно выискивая упоминания о болезнях, которыми болели гении, их родители и дети, о физических особенностях, дефектах и отклонениях...

Эта на редкость завиральная книга была бы им написана десятью годами раньше, если бы сам он, по своей дикой воле, не вылез на заседание ВАСХНИЛа с невнятным ревом в адрес сталинского любимца Трофима Денисовича. Прорывав свои обличения пополам с фронтовым матом, никогда прежде и никогда позже им не используемым, он был увезен с известного заседания непосредственно на канатчикову дачу... Именно там, временно отпустив своих гениев на свободу, он и написал обличительный документ — с развернутыми мотивировками, ясной и четкой аргументацией и совершенно уничтожающей критикой в адрес академика Лысенко — для предъявления в Отдел науки ЦК и отдельный экземпляр товарищу Сталину лично...

И снова ему повезло: заведующий отделением, куда его поместили по «скорой помощи», старый психиатр Шубников, почувствовавший к нелепому герою интерес и симпатию, поставил ему спасительный диагноз «шизофрения» и выпустил с третьей группой инвалидности.

Прошло уже несколько месяцев, как Илья Иосифович отправил свой трехсотстраничный шедевр в вышестоящие адреса, он вернулся к своим гениям и их наследственным заболеваниям и ждал ответа на свое послание. Или ареста. Вот к такому товарищу и в такое время поехал Павел Алексеевич, чтобы обсудить «текущий момент».

Жил Гольдберг с семьей в деревянном двухэтажном доме барачного типа. Когда-то в нем было фабричное общежитие, потом фабрику закрыли, рабочих выселили, а дом распродали по квартирам. Одну из квартир и купил, вернувшись с фронта, Гольдберг. Купил, собственно, Павел Алексеевич. Илья Иосифович, невероятно щепетильный в денежных делах со всеми, делал исключение для своего друга и позволял ему благотворительствовать на том основании, что Павел Алексеевич, в отличие от всех прочих, должен был понимать, что, помогая ему, он помогает всему человечеству — своим изысканиям Гольдберг придавал огромное значение. Наука, по его глубокому убеждению, была призвана спасти мир.

Великий идеалист от материализма, посмеивался над ним Павел Алексеевич в редкие часы их мирных бесед. Но часы мира были в самом деле довольно редкими. Илья Иосифович совершенно не терпел возражений, защищал свои самые завиральные идеи с большой страстью и быстро переходил границы корректного научного спора. Даже терпимого Павла Алексеевича он умел вывести из себя, и их встречи обыкновенно кончались ссорами, криками, хлопаньем дверями. Илья Иосифович укорял Павла Алексеевича в приспособленчестве, тот пытался оправдываться: он спасал не мир, а несколько десятков, в лучшем случае сотен брюхатых баб и их приплод, и, по его мнению, дело того стоило.

Илье Иосифовичу этого было мало — полет его мысли был высок до писка, и он пророчил полную переделку мира с помощью хорошо постав-



ленной генетики: через двадцать лет генами можно будет пользоваться как кирпичиками, строить из них новый мир, с многократно увеличенными полезными качествами растений и животных, и самого человека можно будет конструировать заново — вводить ему те или иные гены и сообщать новые качества.

— Какие качества? — сдержанно интересовался Павел Алексеевич.

— Да какие угодно! — размахивал руками Илья Иосифович, и остатки тонких волос взлетали над головой. — Мы научимся вычленять из генома отдельные гены, ответственные за гениальность, и можно будет создавать математиков, музыкантов, художников в таком количестве, какого и Возрождение не знало!

— Погоди, но это как раз и называется евгеникой, — останавливал его Павел Алексеевич. — Гениев много не надо. А то их будут сажать и расстреливать.

— Паша, мы переживаем теперь времена инквизиции. Это неизбежно пройдет, как прошли времена испанской. Будущее за нами, за учеными. Другой силы, которая могла бы спасти мир, не существует! — Худые длинные руки метались в воздухе, выпуклые серые глаза блестели большим огнем.

Желтоватый ястребиный нос, большой кадык, сутулая костлявая фигура — спаситель мира!

Павел Алексеевич мотал головой, жмурился, старался смолчать: безумец, святой безумец, бритвенного тазика не хватает...

На этот раз долгого обсуждения не понадобилось. Илья был мрачен. После первой бутылки водки он впал в монолог:

— Мы теряем время. Мы теряем преимущество! В последние годы в Америке вышло несколько работ первостепенной важности. Альфред Стеревант на пути к объяснению возникновения новых генов! Где Кольцов? Где Четвериков? Завадовский! Вавилов! Гениальный Лев Ферри! Неужели ты не понимаешь, что это вредительство? Вся кампания с Лысенко — вредительство! Эта кампания по борьбе с космополитизмом, она на руку империализму, Паша! Они хотят уничтожить таким хитроумным способом советскую науку... Наука должна служить человечеству, а у империалистов она будет служить голой наживе, золотому тельцу...

Голос его сначала грохотал, потом снизился, как будто высох, — влага наполнила светлые, в красных прожилках глаза и потекла из-под очков...

Павел Алексеевич испытывал ужасную неловкость от глупого пафоса, вертел пустую рюмку и все никак не мог вставить ни единого слова. Наконец, пока Илья Иосифович временно молчал, шаря по карманам в поисках платка, он произнес тихо:

— Илюша, я думаю, ты, как всегда, преувеличиваешь. Не интересуется их космополитизм. Я думаю, все проще — наш Хозяин просто хочет скрутить голову евреям.

Валя, когда-то худенькая девушка, потом толстая баба, а теперь снова сильно похудевшая, время от времени засовывала кудрявую голову в мужнин узкий кабинетик, напоминающий тюремную камеру, где и происходило дружеское собеседование, и умоляюще шептала: «Илюша, дети...», или: «Илюша, соседи...», или просто: «Умоляю тебя, потише...» Они выпили еще одну бутылку и, как всегда, перед расставанием разругались. Илья Иосифович горой стоял за всемирную справедливость, начиная с ее научного конца, и готов был за это сложить голову. А Павел Алексеевич в справедливость несколько не верил, его интересовали исключительно мелочи — какие-то беременные посудомойки, гнусные операции, о которых еще Цицерон выступал в Сенате. На последнее обстоятельство как раз и указал Илья Иосифович. Павел Алексеевич оживился — он всегда ценил неисчерпаемую эрудицию своего друга:

— Так что Цицерон говорил?

— А то, — кричал Илья Иосифович, — что этих баб надо казнить, потому что они крадут у государства солдат! Тысячу раз прав был!

Тут-то Павел Алексеевич побелел, встал и, натягивая пальто, зло сказал единственному другу:

— Умная у тебя голова, Илья, только жаль, дураку досталась. Бабы, что же, для того рожать должны, по-твоему, чтобы мерзавцы их сыновей в такие мясорубки отправляли?

Он хлопнул дверью. Черт его, дурака, подери! Но про Цицерона запомнил, хотя и был изрядно пьян.

На следующий день пришли с обыском и арестовали Илью Иосифовича Гольдберга. Его обвинительный документ в адрес Лысенко дошел-таки по назначению. Об этом аресте Павел Алексеевич узнал только через неделю, когда Валя, после многих колебаний, все же решилась ему позвонить.

А в тот последний их малаховский вечер пьяный Павел Алексеевич долго искал станцию, домой добрался за полночь и еле помнил происшедшее. Наутро он чувствовал себя настолько плохо, что развел полстакана спирта и похмелился. На душе полегчало, даже какая-то не свойственная ему беспечность взошла, как солнышко, не информированное о кровожадной глупости газетных статей, людей, их пишущих и их читающих.

Елена, выбитая из колеи вчерашним ночным возвращением пьяного мужа, полночи не спавшая, натягивала в прихожей фетровые ботики на старые туфли — собиралась на работу. Павел Алексеевич, в солдатском исподнем, какое носил с войны, вышел в коридор и, распахнув руки, крикнул:

— Девочка моя! Поехали на конюшню! К лошадам!

Елена, поняв, что муж пьян, растерялась. Никогда не видела его в таком распоясанном виде, да еще и поутру.

— Пашенька, что с тобой?

Таня, успевшая уже надеть школьную форму и причесаться, счастливо взвизгнула:

— Папа, ура!

И повисла на его руке. Он подхватил ее.

— Мы сегодня прогуливаем! — подмигнул он дочери. — Звони на работу, Леночка, скажи им, что не придешь. Больна. За свой счет. Что угодно!

Происходило что-то непривычное, новое. Он был такой надежный, и сомнений не было в его всегдашней и заведомой правоте, и подчиняться ему было приятно и радостно... И Елена, растерянно улыбаясь, слабо возражала:

— Какая конюшня... какие лошади... Прогул же будет... — Но уже тянула руку к телефону, чтоб позвонить сослуживице и предупредить, что на работу сегодня не выйдет...

Павел Алексеевич стягивал с нее серую козью шубу и объяснял:

— Сейчас в Институт коневодства поедем. Меня Прокудин давно звал на лошадок посмотреть. Давай, давай! Танька, лыжный костюм надевай!

— Пап, правда? — не совсем еще верила Таня.

Василиса, слышав суету в коридоре, выглядывала из кухонного проема.

— Гавриловна! Яичницу! Королевскую! — приказал Павел Алексеевич громким веселым голосом, и Василиса в полном недоумении пошла исполнять. Королевская была на самом деле деревенская, с жареным луком и с картошкой, и ел он ее только по воскресеньям, в будние же дни по-прежнему не завтракал...

— И мне королевскую! — радуясь приключению, подхватила Таня.

Сели и позавтракали по-воскресному, хотя был самый что ни есть понедельник. Павел Алексеевич еще и выпил стопку водки, и Елена смотрела с недоумением: прежде такого не бывало — пить с утра...

Что-то ей мерещилось тревожное в этом утреннем приключении и, виновуясь чутью, ни на минуту не задумавшись, она спросила:

— Паш, да у тебя ж сегодня собрание в академии... Ты же должен...

— Не должен! — взревел Павел Алексеевич. — Никому ничего не должен! Пусть все идут к ... матери!

И это матерное слово, сорвавшееся с его крупных губ, было крепким и полновесным, как и все в нем. Полотно, обтягивающее алюминиевые пуговицы рубахи, стиралось, тусклый металл сквозил в седом нагрудном барашке, лез из распахнутого ворота, на бычьей шее темнели вздутые жилы...

Елена обняла его за шею:

— Тише, миленький...

И он затих, прижал ее к груди:

— Прости.

Когда они, тепло одетые, с санками для Тани, уже стояли в дверях, Павел Алексеевич приказал Василисе Гавриловне:

— Звонить будут, скажи: запил хозяин.

Василиса смотрела непонимающим глазом.

— Так и скажешь: запил.

Она понять не поняла, но поручение исполнила с точностью.

Экспромт оказался гениальным. Павел Алексеевич был не единственным, кто сказался в тот день больным. Но он был единственным, кому это сошло с рук. Две недели он не ходил в клинику, а в академии не появлялся четыре месяца, пока за ним не закрепилась репутация запойного пьяницы.

Прежде пьющий охотно на банкетах по случаю защиты диссертаций, на семейных торжествах и на поминках, теперь он стал пить по иному случаю: всякий раз, когда страсти накалялись и от него требовали уверений, или подписи, или публичных выступлений. Он честно напивался, и Елена, догадавшаяся об истинной причине его внезапного пьянства, сама звонила в президиум и нежным голоском сообщала, что Павел Алексеевич прийти не сможет, потому что у него обычный его приступ, вы же понимаете...

И Павел Алексеевич в особенно гнусные времена оставался дома, выпивал с утра стакан водки, играл с Таней, учил Василису делать пельмени или просто слонялся по квартире, натываясь то и дело на маленькие записочки, которые его жена Елена писала сама себе. Трогательные записочки, начинавшиеся всегда одними и теми же словами: не забыть... А дальше шло: купить яблоки, сдать белье в прачечную, отдать в починку сумку... Забавно было, что записочек этих было много, и написано все было одно и то же: яблоки, прачечная, починка...

Он знал, что Елена не была хорошей хозяйкой, и это ее старание ничего не забыть, все успеть умиляло Павла Алексеевича. Достоинства жены восхищали его, а недостатки умиляли. Это и называется браком. Их брак был счастливым и ночью, и днем, а взаимное понимание казалось особенно полным оттого, что, будучи скрытными и молчаливыми по натуре и обстоятельствам воспитания, оба нисколько не нуждались в словесных подтверждениях, которые так быстро изнашиваются у разговорчивых людей.

Запой Павла Алексеевича, несмотря на их изначально дипломатический характер, отнюдь не были фиктивными. Елена, хоть и тревожилась о здоровье своего немолодого мужа, не делала никаких попыток как-то его остановить. Не разум, а женское чутье, как всегда, руководило ею. Она ничего не знала о природе пьянства, в особенности пьянства русского, когда не находящая выхода душа получает легкое и доступное утешение: ни лжи, ни стыда.

В такие запойные времена Елена иногда брала отпуск, и они с Павлом Алексеевичем отправлялись на дачу. Однажды краткий отпуск пришелся на осень, два раза — на зиму. Не было у нее лучших дней в жизни, чем эти запойные каникулы, когда он отбрасывал от себя все свои многочисленные заботы и полностью принадлежал ей. Упущенная ими обоими первая молодая горячка, незамысловатые открытия кажущейся бездонности, где все кончалось, — об этом Павлу Алексеевичу хотелось бы забыть, и иногда удавалось, — несколькими миллиграммами секретов да отмеренной дозой таинственного вещества, упакованного в белковую оболочку... И когда сил уже не было руку за стаканом воды протянуть, на дне холодело: все напрасно, все напрасно, — оставалась непереходимая граница, через которую вдвоем переступить невозможно. И лекарство от этого было одно: снова и снова пытаться...

Елена к третьему запою уже знала, что следующий за ним период трезвости будет для нее испытанием. Она и боялась, и в глубине души ждала того утра, когда Павел Алексеевич, выпив первый освобождающий стакан, скажет ей:

— Собирайся-ка, душа моя, съездим на дачу...

В академии между тем от него отвязались: репутация пьяницы была своеобразной индульгенцией. Ни к одному пороку в нашей стране не относятся так снисходительно, как к пьянству. Все пьют — цари, архиереи, академики, даже ученые попугаи...

## 10

В двадцатых числах мая резко наступила преждевременная жара, и все сделали от нее немного больными. До конца школьных занятий оставалось еще несколько дней, но вся программа уже была пройдена и оценки — и четвертные, и годовые — выставлены. Известно было, кто прошел в отличники, кто оставлен на второй год. Школьницы и учителя изнывали от пустоты времени, от его сонной неподвижности.

Галина Ивановна, старая школьная учительница, изношенная лошадь с обвисшим крупом, пришла в класс в новом платье — в летнем, грязновато-бежевом, в прерывистых черных линиях, которые то теряли друг друга, то снова находили, выкидывая кривые отрезки.

Галина Ивановна вела этот класс уже четыре года, учила их всему, что сама знала: письму, арифметике, рисованию, и девочки за эти годы выучили также наизусть оба ее шерстяных зимних платья, серое и бордовое, а также синий парадный костюм в налете серого кошачьего волоса.

С первого урока будущие пятиклассницы горячо обсуждали учительницу обновку — и поясок простоватый, без пряжки, и покрой рукава «японка». Большинство девочек были двенадцатилетние, это был самый неравномерный возраст, когда одни уже обзавелись округлостями и порослью кудрявых волос в укромных местах тела, а другие еще были худые, неопределенные дети с обкусанными ногтями и расцарапанными коленями. Впрочем, новое платье занимало и тех, и других.

Не менее сильно занимало оно и саму Галину Ивановну. Она пошла это платье не просто потому, что старое износилось, а еще и потому, что как раз сегодня, после окончания уроков, назначено было праздничное чаепитие по поводу сорокалетия ее учительского стажа. На большой перемене Галина Ивановна даже пошла в уборную взглянуть на себя в зеркало, поправить воротник. Звание заслуженной учительницы у нее уже было, и теперь она в глубине души мечтала, что ей дадут настоящую награду — медаль или даже орден. А почему нет?

Последний, четвертый урок она отвела на внеклассное чтение. Сначала девочки читали по очереди, но все, как одна, плохо. Если не запиная

лись, то тараторили так бессмысленно, что невозможно было уловить содержание. Галина Ивановна, уставшая делать замечания, взяла в конце концов книгу и стала читать сама. Голос ее, немного высокий для такой крупной и толстой особы, слегка гнусавил, но был выразительным. Особенно проникновенно и сочувственно получилось про страдания Каштанки, замерзавшей на неприятной улице.

До конца урока оставалось всего несколько минут, и самые нетерпеливые уже бесшумно собирали портфели. Солнце палило в полную силу прямо в окно, девочки дружно потели в своих шерстяных платьях, впившихся в мокрые подмышки.

«Никакого сочувствия не вызывает замерзающая собачка в такую жару», — подумала Таня и в ту же минуту услышала тонкий вскрип, еще один и задушенный рукавом плач.

Галина Ивановна остановила чтение. Весь класс обернулся в дальний от окна угол, где на последней парте все четыре года просидела совершенно бесчувственная и ко всему равнодушная Тома Полосухина. Она-то и заплакала над непростой судьбой потерявшейся и замерзшей Каштанки.

Захлопали парты, девочки повскакали с мест.

— Урок еще не окончен, — напомнила Галина Ивановна и, профессионально улыбаясь углами выцветшего рта, обратилась к Томе: — Ты что это, Тома, так расстроилась? Дома-то не прочитала? Дальше все хорошо будет, — успокоила она девочку.

— Не будет, не будет, — прохлюпала Тома, отрывая щеку от липкой парты и вытирая нос фартуком.

Она была из самых мелких, из недоростков, невзрачная и неценная, как воробей или подорожник...

Зазвенел наконец звонок. Галина Ивановна решительно закрыла книгу. Сонливость у всех как рукой сняло, томный невыносимый жар за окном мгновенно превратился в хорошую погоду, в отличную погоду, все дрожало от нетерпения, все страшно торопилось на улицу, чтобы скакать на расчерченном асфальте, скакать через веревочку поодиночке, вдвоем или целыми группами, скакать просто так, без всяких приспособлений, прыгать, брыкаться, как молодые жеребята или козлята, кувыркаться, толкаться и бессмысленно носиться...

Тома еще шмыгала носом, собирая свои грязные учебники, когда к ней подошла Таня. Зачем подошла, и сама не знала.

— Ты чего? — спросила Таня.

Таня была не воробей и не подорожник, она была что-то редкостное, вроде королевской лилии или большой прозрачной стрекозы. И обе они отлично знали, кто есть кто...

Но в этот день у Тома было нечто огромное и ужасное, чего не было и не могло быть у Тани, и это равняло их и даже, может, поднимало Тому над всем миром, и потому она, никогда ничего о себе не говорившая, да никому не было интересно знать про нее, сказала:

— У меня мамка помирает. Домой боюсь идти...

— Я тебя провожу, — бесстрашно предложила Таня.

Будь это вчера, Тома бы гордилась и радовалась, что Таня провожает ее домой, но сегодня это было почти все равно...

Они прошли через звенящий девчачьими криками и бликующий зеленым золотом школьный двор, пронырнули через два проходных двора, в одном месте перелезли через изгородь и остановились перед входом в «фатеру». Так Томина мать называла их служебное жилье, которое еще перед войной дали ее мужу, погибшему в сорок четвертом. Это был бывший гараж, с прорезанной во въездных воротах дверью. Тома топталась у входа, Таня решительно толкнула дверь.

Первый удар пришелся по обонянию. Запах кислой сырости, мочи и керосина, но все это протухшее, сгнившее, смертельное... Две веревки, на-

тянутые через помещение, были завешаны мокрым бельем. В глубине, под горизонтально вытянутым окном, выходящим на кирпичную стену, стояла огромная семейная кровать, на которой, как на русской печи, спала обыкновенно вся семья: мать, Тома, двое младших братьев.

Сначала показалось, что кровать пуста, но когда глаз привык к полумраку, на подушке различилась маленькая голова в толстом платке. Рядом с кроватью стоял таз, полный бурого белья. Девочки подошли к постели — она была средоточием ужасного запаха.

— Мам, мама, — позвала Тома.

Из-под платка что-то застонало.

— Может, тебе поесть или попить? — плачущим голосом спросила Тома.

Но никакого ответа не последовало, даже и стона.

Тома отодвинула в сторону пахучее одеяло — женщина лежала на красной простыне. Таня не сразу сообразила, что это кровь. Бурое белье в тазу тоже было окровавленным, но потемнело на воздухе.

— «Скорую помощь» надо, — решительно сказала Таня.

— Она не велит «скорую», — прошептала Тома.

— Так ведь кровь, кровотечение же, — удивилась Таня.

— Ну да, кровотечение. Ковырнулась она, — объяснила Тома. И не уверенная, что Таня ее правильно поймет, пояснила: — Она водит к себе кобелей-то, вот и ковыряется. Доковырялась.

Тома всхлипывала. Таня зажмурилась: грохот, скрежет, обвал... Шатались стены, смещались пласты, разверзлись смрадные пропасти... Рушилась вся жизнь, и Таня понимала, что с этой минуты прежней она уже не будет никогда...

— Я папу моего вызову, вот что...

— Сказала тоже... Не пойдет он к нам.

— Жди... Я скоро.

За пять минут Таня добежала до дома. Мамы не было, открыла Василиса:

— Ты что как ошалелая?

Таня не ответила, кинулась к телефону, звонить Павлу Алексеевичу. Долго не отвечали, потом сказали, что он на операции.

— Да что случилось-то? — допытывалась Василиса.

— Ах, да ты не поймешь, — отмахнулась Таня.

Ей казалось, что она никому не должна открывать это ужасное знание, потому что кому ни скажешь, и у того тоже жизнь рухнет, развалится, как у нее самой. Эту тайну надо хранить...

— Я скоро! — крикнула она уже с порога и, хлопнув дверь, понеслась вниз по лестнице.

Таня плохо помнила, как, не дождавшись троллейбуса, добежала до метро, как доехала до «Парка культуры», а потом снова бежала по длинной Пироговке. Казалось, что бег ее был бесконечным, многочасовым. В проходной отцовской клиники ее остановили.

— Я к папе... к Павлу Алексеевичу...

Ее сразу же пропустили. Бегом она поднялась на второй этаж, толкнула стеклянную дверь — навстречу ей шел отец, в белом халате, в круглой шапочке. Вокруг него толкся целый выводок врачей и студентов, но он шел впереди всех, самый высокий, самый широкий, с густо-розовым лицом, в больших бровях с седой подпушкой. Он увидел Таню. Казалось, что самый воздух расступился перед ним:

— Что случилось?

— У Тома Полосухиной мать помирает. Ковырнулась она! — выпалила Таня.

— Что такое? Кто тебя сюда пустил? — взревел он. — Вниз! В приемный покой! Ждать меня там!

Таня кинулась вниз, глотая слезы.

Несмотря на всю свою храбрость, он все-таки испугался. Одного доноса достаточно — и вся жизнь в тартарары...

Через три минуты Павел Алексеевич спустился в приемное отделение. Таня рванулась к нему:

— Папа!

Он снова остановил ее взглядом:

— Спокойно объясни, что там у вас случилось.

— У Тома Полосухиной, пап... скорее... мама ее помирает...

— Чья мама? Кто? — холодно спросил Павел Алексеевич.

— Дворничиха наша, тетя Лиза. Они в гараже живут, за нашим домом.

Она ковырнулась, вот что... Пап, там у них так ужасно... Пап, столько крови...

Он снял очки, потер переносицу. Слово «ковырнулась» в Таниных устах...

— Значит, так... Немедленно поезжай домой.

— Как?

— Как сюда приехала, так и обратно.

Таня сама себе не верила. Отца как будто подменили. Никогда он не разговаривал с ней таким железным голосом.

Сгорбившись, она вышла на улицу...

Через тридцать минут Павел Алексеевич вошел в полосухинский гараж. С ним был его ассистент Витя. Шофер санитарной машины, на которой они приехали, из кабины не вышел.

С первого же взгляда Павел Алексеевич оценил все здесь происходящее: это была она, его главная, его несчастная пациентка. Военная вдова или мать-одиночка, скорее всего, пьющая, возможно, гуляющая... Он тронул широко холодную руку маленькой дворничихи, пальцем оттянул веко. Делать здесь было уже нечего. Возле кровати стояли трое детишек, два маленьких мальчика и девочка, смотрели на него во все глаза.

— А где Тома? — спросил Павел Алексеевич.

— Я Тома.

Павел Алексеевич посмотрел на нее внимательно: он сначала принял ее за семилетнюю, теперь, приглядевшись, понял, что она и есть Танина одноклассница.

— Тома, ты сейчас забери малышей и поднимайся в двенадцатую квартиру. В сером доме, знаешь?

Она кивнула, но все стояла на месте.

— Иди, иди. Откроет Василиса Гавриловна. Скажешь, Павел Алексеевич вас прислал. Скажи, чтоб стол накрывала. Я сейчас приду.

— А в больницу мамку заберете?

Он загоразживал своей могучей фигурой кровать и несчастную женщину, которой уже не было.

— Иди, иди. Все сделаем, что нужно...

Дети ушли.

— Ну что, мы вляпались в историю... В морг надо ее везти... — полупросительно сказал ассистент.

— Нет, Витя. Мы ее в наш морг не можем брать. Я сейчас пришлю Василису Гавриловну. Она вызовет «скорую», милицию... Нас здесь не было... — сморщился Павел Алексеевич. — Сам знаешь, живую я бы взял...

Витя это хорошо знал. Собственно, все врачи знали, как близко здесь проходит статья Уголовного кодекса.

Смерть Лизы-дворничихи всколыхнула весь крещеный мир по нечетную сторону Новослободской улицы до самого Савеловского вокзала, вы-



звала целую бурю страстей и многих людей рассорила навеки. После того как Василиса Гавриловна вызвала «скорую» и милицию и скрюченное тело умершей увезли в судебно-медицинский морг на экспертизу, скандал развился в двух основных направлениях — в жилищном и в медицинском.

На «фатеру» претендовали три значительных фигуры, первой из которых был сам домоуправ Костиков, возмечтавший поселить в бывшем гараже свою сестру, жившую с дочкой на его площади уже третий год — все ожидала жилья на заводе, где работала, но как-то безнадежно. В самый день смерти, ловя мгновенье, Костиков оформил сестру на должность покойной Лизы и считал, что теперь-то жилье никуда от них не уйдет. Вторым претендентом был электрик из домоуправления Костя Сичкин, который замаялся жить в девятиметровке с тремя наличными детьми, тем более что четвертый был уже на подходе. Еще был один человек, тоже не со стороны, — участковый милиционер Куренной, занимавший в общежитии самую большую комнату, но собиравшийся жениться и находившийся в боевой готовности. Прочий мелкий люд из бараков тоже был не прочь улучшиться, но у тех и шансов не было.

С медицинской дело обстояло еще более серьезно. Экспертиза показала, что Лиза-дворничиха умерла от кровотечения, начавшегося в результате перфорации стенки матки, и злосчастная подпольная медицинская сила вытащила через это нечаянное отверстие неизвестным инструментом половину кишечника...

Уголовный кодекс оценивал это неудачное вмешательство сроком от трех до десяти лет, в зависимости от квалификации производившего аборт: врач в случае летального исхода получал десятку — вдвое больше, чем любитель. В чем была своя справедливость.

Всему кварталу были известны имена двух женщин, которые промышляли этим небогоугодным занятием: бабка Шура Зудова и молдаванка Дора Гергел. Первая была попроще и подешевле. Делала вливание и вставляла катетер. Обычно помогало. Иногда у особо крепких или у нерожавших дело не выходило. Тогда Зудова разводила руками и денег не брала.

Дора была медработник, все делала по науке, без осечек. Она переехала в Москву из Кишинева после войны. Чернявая красавица с огненными глазами — подозрительные, но не проницательные соседи принимали ее за еврейку. Всяческого рода ловкость была ей присуща: и замуж сумела выскочить за майора, несмотря на то что была уже с ребенком, и хозяйка была сметливая — в Москве, на новом месте, даже и при карточках быстро сообразила, что где берется. И на работу устроилась сестрой в больницу, хотя и диплом-то ее медсестринский был какой-то липовый, даже не на русском языке написан. Она-то и делала на дому аборт настоящие, даже с обезболиванием, но дорого брала. Ходили к ней кто побогаче, и Лизка вряд ли до нее дотянулась бы. Так что двор без колебаний решил, что это Зудина все дело так неловко состряпала.

На второй день во двор пришел следователь. В «фатере» сделали обыск, но не нашли ни инструмента, ни медикаментов.

— Ищи дураков, так вам и оставят, — насмеялся двор.

Следователь, молоденький парнишка с тонкой шеей, допрашивал соседок и краснел. Все молчали. Но доносчица, как всегда, нашлась. Ближайшая зудинская соседка, Настя-Грабля, за стенкой, не стерпела, потому что была прирожденным борцом за правду.

— Чего не знаю, не скажу. Про Лизку сама не видела, а другим она вставляет, очень даже помогает, — прошептала следователю прямо в ухо.

— А сами-то прибежали? — поинтересовался следователь.

— Упаси боже, мне этого давно не надо, — отговорила Грабля.

— Так откуда же вы знаете?

Тут Грабля подвела его к фанерной перегородке, стукнула ногтем и тут же услышала в ответ:

— Чего тебе, Наська?

— Да так, — с задором ответила Грабля и тихо, прямо в следовательское ухо, зашептала: — Слышно ведь все — до последней копейки. От соседей ни вздохнуть, ни пернуть...

Следователь записал в тетрадь и ушел — у него теперь была версия.

Дух сыска, ссоры и вражды был так силен, что проник даже в мирный дом Павла Алексеевича. Началось это вечером того дня, когда увезли Лизавету. Детей Полосухиных уложили спать в Таниной комнате, а ее саму перевели в родительскую спальню.

За поздним ужином собрались одни взрослые: Павел Алексеевич, Елена и Василиса, которая хоть и неохотно, но изредка садилась с ними за стол. Для этого требовались особые обстоятельства: праздник или какое-то происшествие вроде сегодняшнего. Она предпочитала есть в своей комнате, в тишине и с молитвой.

Закончив еду, Павел Алексеевич отодвинул тарелку и сказал, обращаясь к Елене:

— Теперь ты понимаешь, почему я столько лет трачу на это разрешение?

— На какое? — переспросила рассеянно Елена, погруженная в свои мысли. Дети Полосухины не давали ей покоя.

— На разрешение аборт.

Василиса едва не выронила чайник. Она была потрясена. Почитаемый ею Павел Алексеевич был, оказывается, на стороне преступников и убийц, хлопотал за них, за их бесстыжую свободу. Может, и сам... Но это и представить себе было невозможно... Как это?

Павел Алексеевич подтвердил, пустился в объяснения — это был его конек.

Василиса сжала свои темные губы и молчала. Чаю пить не стала, чашку отодвинула, но в свою каморку не ушла. Сидела молча, глаз не поднимая.

— Ужасно, ужасно, — опустила голову на руки Елена.

— Что ужасно? — раздражился Павел Алексеевич.

— Да все ужасно. И что Лизавета эта умерла. И то, что ты говоришь. Нет, нет, никогда с этим не смогу согласиться. Разрешенное детоубийство. Это преступление хуже убийства взрослого человека. Беззащитное, маленькое... Как же можно такое узаконивать?

— Ну конечно, пошло толстовство... вегетарианство и трезвость... — Павел Алексеевич сделал брезгливое движение в сторону жены.

Она неожиданно обиделась за толстовство:

— Да при чем тут вегетарианство? Толстой не это имел в виду. Там в Танечкиной комнате три таких существа спят. Если бы аборт были разрешены, их тоже бы убили. Они Лизавете не очень-то нужны были.

— Ты что, слабоумная, Лена? Может, их бы и не было на свете. Не было бы теперь трех несчастных сирот, обреченных на нищету, голод и тюрьмы.

Впервые за десять лет надвигалась на них серьезная ссора.

— Паша, что ты говоришь? — ужаснулась Елена. — Как ты можешь такое говорить? Пусть я слабоумная, но не в уме дело. Они же убивают своих детей. Как можно это разрешить?

— А как можно этого не разрешить? Себя-то они тоже убивают! А с этими что делать? — Он указал на стену — за ней спали жалкие хилые дети, от которых матери в свое время не удалось избавиться. — С ними что прикажешь делать?

— Не знаю. Я только знаю, что убивать их нельзя. — Впервые слова мужа вызвали в ней чувство несогласия, а сам он — протест и раздражение.

— Ты подумай о женщинах! — прикрикнул Павел Алексеевич.

— А почему надо о них думать? Они преступники, собственных детей убивают, — поджала губы Елена.

Лицо Павла Алексеевича окаменело, и Елена поняла, почему его так боятся подчиненные. Таким она его никогда не видела.

— У тебя нет права голоса. У тебя нет этого органа. Ты не женщина. Раз ты не можешь забеременеть, не смеешь судить, — хмуро сказал он.

Все семейное счастье, легкое, ненатуженное, их избранность и близость, безграничность доверия, — все рухнуло в один миг. Но он, кажется, не понял. Василиса уставила свой единственный глаз в Павла Алексеевича.

Дрожащей рукой Елена опустила чашку в мойку. Чашка была старая, с длинной трещиной поперек. Коснувшись дна мойки, она развалилась. Елена, оставив обломки, вышла из кухни. Василиса, понурившись, шмыгнула в свой чулан.

Павел Алексеевич двинулся было за женой, но остановился. Нет, пусть это будет жестоко. Но почему же бродячих кошек она подбирает, а к несчастной Лизавете не испытывает сострадания? Судья нашлась... Пусть подумает...

Елена думала всю ночь. Плакала, и думала, и снова плакала. Рядом, на всегдашнем мужнином месте, лежала теплая Танечка. Павел Алексеевич ушел в кабинет.

Не спала и Василиса. Она не думала. Она молилась и тоже плакала: теперь Павел Алексеевич выходил злодей.

Павел Алексеевич несколько раз просыпался, тревожили какие-то неопределенно неприятные сны. Он вертелся, сбивая скользящую простыню с кожаного дивана.

Утро началось очень рано. Василиса вышла из каморки сразу же, как только услышала, что Павел Алексеевич ставит чайник. Объявила ему, что уходит от них. Это было уже не в первый раз. Случалось, что Василиса, обидевшись неизвестно за что, просила расчет. Обычно же, накопив в душе недовольство, она исчезала на несколько дней, но вскоре возвращалась.

Павел Алексеевич, со вчерашнего еще не отошедший, буркнул:

— Поступайте, как вам будет угодно.

Он чувствовал себя отвратительно и даже открыл буфет, искал там бутылку. Бутылки не было. Посылать Василису не хотелось, да и рано было. Он налил стакан чаю и ушел в кабинет. Елена из спальни все не выходила. Василиса собирала вещи. Лизаветины дети шуршали в Таниной комнате чужими невиданными игрушками и ждали завтрака. Тома им внушала, чтоб ссорились потише.

Когда Елена вышла на кухню варить утреннюю кашу для всей оравы детей, Василиса Гавриловна в новой кофте и новом платке появилась возле плиты со скорбным и торжественным лицом:

— Елена, я уезжаю от вас.

— Что же ты со мной делаешь? — ахнула Елена. — Как же ты меня оставишь?

Стояли, глядели друг в друга, обе высокие, худые, строгие. Одна старуха, на вид более старая, чем на самом деле, вторая — под сорок, тоже уже в возрасте, а на вид — все те же двадцать восемь.

— Ты как знаешь, а я с ним жить больше не стану. Уеду, — отрезала старуха.

— А я как же? — взмолилась Елена.

— Он муж тебе, — насупилась Василиса.

— Муж... объелся груш, — только и сказала Елена.

Жизнь без Василисы Елена себе совсем не представляла, особенно в этой неожиданной ситуации, с чужими детьми-сиротами в доме. И Елена

уговорила Василису Гавриловну отложить отъезд хотя бы до того времени, пока с полосухинскими детьми не образуются.

— Ладно, — хмуро сказала Василиса. — А как похороним, я уйду. Ищи себе, Елена, другую прислугу. Я с ним боле жить не буду.

Похороны Лизаветы состоялись лишь на шестой день, когда закончили экспертизу и научно убедились в том, что и так было ясно. Съехалась родня, почти одни только женщины: мать, две сестры, несколько старух в разной степени родства, от золовки до кумы. Единственный косенький мужичонка назывался деверь. Таня, один раз заглянувшая вместе с Томой на «фатеру», дивилась этим людям и тихонько спрашивала у Тома разъяснений, кто кем приходится.

Вся полосухинская родня была тверская, но из разных деревень — из материнской и отцовской. Томин родной отец погиб в войну, и младшие братья были не его, неизвестно чьи, только фамилию погибшего даром носили, и отцовская родня Лизавету не жаловала.

Можно даже сказать, родня враждовала. Эти люди шумно и дружно ссорились, плакали и обвиняли друг друга в каких-то довоенных потравах и покражах, поминали какую-то таинственную осьмерицу и потолок... Все происходящее между этой Томиной родней было отчасти как бы на иностранном языке... Но на Монтекки и Капулетти было мало похоже. У Тани создалось впечатление, что они играют в какую-то взрослую игру — делят что-то понарошку... Но делили взаправду...

Таня хотела пойти со всеми на отпевание и на похороны, но Павел Алексеевич не разрешал. Елена собиралась взять с собой Таню. Она считала, что Таня должна пойти из-за Тома — не оставлять же несчастную девочку в такую минуту одну. Ссора между супругами усугублялась. Елене, кроткой и вовсе не мстительной, удалось уязвить Павла Алексеевича ответно и столь же глубоко. Он настаивал, он громыхал, он требовал оставить Таню дома:

— Она впечатлительный ребенок! Зачем ты вовлекаешь ее во все это? Мракобесие какое-то! Я понимаю — Василиса! Но Танечке что там делать?

— А почему ты думаешь, что у тебя есть право голоса? — жестко спросила Елена и, чтобы не оставалось ни малейшей недомолвки, добавила: — Ты ведь не отец Тани...

Это была низкая месть. Тот редкий случай, когда оба дуэлянта проиграли — в живых не осталось никого.

Но на похороны Таня тем не менее не пошла — у нее поднялась температура и она осталась в постели.

На другой день после похорон старшая сестра Лизаветы Нюра уехала, забрав двух племянников. Тому по уговору должна была взять младшая, Феня. Но у той что-то не получалось, она должна была менять какие-то венцы, и Тане, которой обо всем рассказывала Тома, представлялся цветастый деревенский хоровод и рослые девушки, обменивающиеся сплетенными из васильков и ромашек венками. В чем заключается препятствие с венцами, Таня не поняла. Но вскоре пришла сама Феня, большая черноволосая женщина, похожая на покойную мелкую и белобрысую Лизавету разве что своей редкостной некрасивостью.

Она долго сидела на кухне с Василисой и Еленой, плакала, потом чему-то смеялась, выпила два чайника чаю. Сговорились на том, что она пока оставит Тому здесь, в городе, а как покончит с венцами, так и забрет. Во все время разговора Тома, сгорбившись, стояла в коридоре с зимним пальто в охапке и набитым школьным портфелем, ожидала решения.

Поздно вечером, когда все разошлись, Тома пробралась к Василисе в чулан — с прислугой она все-таки чувствовала себя свободнее, чем со всеми остальными членами семьи, включая и Таню. Тома заглядывала в Василесин живой глаз, теребила ее за подол:

— Теть Вась, я полы могу мыть и стирать. И печь топить могу... Я у Фени не хочу жить-то, у нее своих полно...

Василиса прижала ее голову к своему боку:

— Эка ты глупыга. Печи у нас нет. Полы мы сами не моем, полотер приходит, натирает. Но ты не бойся, делов в доме на всех хватает...

Елена за похоронными хлопотами как-то из виду упустила Василисины слова об уходе. Ссора ее с мужем за эти дни очерствела, стала старой, как будто коркой покрылась. Они почти не разговаривали, только по домашней необходимости. В первый же вечер, когда дети Полосухины появились у них дома, еще до ссоры, Елена постелила мужу на кушетке в кабинете, Таню взяла к себе в спальню — тогда это было не обозначение ссоры, а бытовая необходимость: некуда было уложить трех детей... И так оно было всю неделю, до самых похорон Лизаветы.

Как знать, не случись этой необходимости, может, нашел бы Павел Алексеевич слова или жесты, смягчающие обиду, жена поплакала бы на его широкой густоволосой груди, удостоверившись в мужней любви, и все пошло бы своим обычным порядком...

На следующее после похорон утро Елена обнаружила на кухне Василису Гавриловну в шелковом, подаренном на Рождество новом платке, в новых туфлях... Она прямо сидела на стуле, а в ногах стоял маленький фибровый чемодан и большой узел с бельем и подушкой.

Елена села рядом и заплакала. Василиса опустила зрячий глаз, рот собрала в горстку, руки прижала к груди, крестом, как перед причастием. Молчала.

— Да куда же ты, Васенька? — Елена не ожидала от Василисы такой твердости.

— А откуда пришла, туда и уйду, — сурово ответила Василиса. — Бог с тобой, Елена.

Смотрела Василиса прямо, один глаз белый, другой голубой. Неприятный взгляд.

«Неужели она нас совсем не любит?» — ужаснулась Елена. Вынула из сумки все деньги, что у нее были, и молча отдала Василисе.

Василиса поклонилась, взяла свои пожитки и пошла... Так просто. Как будто и не прожила вместе с Еленой двадцать лет. Исчезла, не простившись с Таней, с Павлом Алексеевичем. Не оглянувшись.

## 11

Занятия в школе окончились, как и преждевременная жара. Пошли холодные дожди. Стали собираться на дачу. Василиса уехала, и Елена чувствовала себя совершенно растерянной — вся жизнь без Василисы перекосилась, не говоря уж о переезде на дачу — обычно все сборы тихо и загодя организовывала Василиса, и теперь Елена никак не могла сообразить, сколько брать с собой макарон и керосину, сахару и соли, куда все это складывать и как паковать...

Тома старалась изо всех сил всем быть полезной, услужить, особенно Тане. Таня и раньше в ее глазах была существом высшего порядка, а теперь, когда они все дни проводили вместе, она чувствовала Танино к себе расположение, готова была на нее молиться.

Павел Алексеевич переехал на дачу вместе со всей семьей, но в то лето он там почти не жил, только приезжал по субботам. Воспитательная ссора его с женой, которая казалась ему поначалу не такой значительной, выросла в полный внутренний разлад. Слова Павла Алексеевича о ее женской неполноценности сидели занозой в душе Елены. Препятствие оказалось непреодолимым — ночевала теперь Елена на диванчике на закрытой террасе. Павел Алексеевич, когда приезжал, оставался в кабинете наверху,

спальня их пустовала. Он тоже был несказанно оскорблен: Елена своими словами как будто лишила его отцовства.

Оба страдали, хотели бы объясниться, но повиниться было не в чем — каждый чувствовал себя правым и несправедливо обиженным. Объяснения между ними были не приняты, да и обсуждать интимные стороны жизни они не умели и не хотели. Отчуждение только возрастало.

По воскресеньям Павел Алексеевич вставал рано, поднимал девочек и вел на речку. Они до обеда полоскались, он учил их плавать. Потом возвращались, обедали. Тома старалась не скрести ложкой по тарелке, пользоваться вилок и не набрасываться на хлеб...

Несмотря на весь внутренний разлад, семейная машина ехала по накапанной дорожке: Павел Алексеевич приносил в дом свои немеренные деньги, Елена зачитывала списки, отправляла переводы и посылки, но без Василисы этот праздничный и торжественный ритуал как будто терял смысл. Два случайно совпавшие события — семейная ссора и приход в дом Тома — как-то соединились вместе, и Елена с глубоко запрятанной неприязнью наблюдала за мышевидной девочкой, едва достающей Тане до плеча...

В самом конце лета вернулась Василиса — как ни в чем не бывало. Увидев ее на дорожке, ведущей к террасе, Елена заплакала. Заплакала и Василиса. Была она до черноты загорелой и еще более худой, чем обычно. Не объяснила ничего, а Елена и не стала ничего спрашивать. Обе были счастливы. На другой день пришло письмо от Томиной тетки — она просила «передержать племянницу хотя бы до Рождества». Елена читала письмо, а Василиса кивала сухой головкой в такт словам. Помолчали. Потом Василиса сварила кофе — это была ее единственная пищевая слабость, и она в своих скитаниях более всего, кажется, по кофе и стосковалась... Василиса налила большую кружку жидкого коричневатого напитка и первой начала разговор, который давно уже висел в воздухе:

— Ну что же, надо с Томочкой-то решать... Не щенок, не кутенок. Феня-то ее брат не хочет. Либо в детдом определять, либо оставлять.

— Да я уж думаю, — нахмурилась Елена. Сердце ее никак не лежало к этой девочке, но она уже знала, что сердце ее не имеет никакого значения: ребенок этот уже пристал к дому и деваться некуда...

— А я думаю, оставлять надо. Уж больно она нехороша. — Такова была непостижимая логика Василисы Гавриловны.

— Вася, что ты говоришь? — изумилась Елена. — Потому брат, что нехороша?

— Так кому она нужна будет, Елена? Ни рожи, ни кожи, еле учится. А у нас будет сыта, обута, одета. За Таней вон сколько всего остается. А там Господь досмотрит... Не наше дело...

— Выходит, удочерить... — кивнула Елена обреченно.

— А с ним поговори. — Со своего возвращения Василиса имени Павла Алексеевича не произносила, только «он».

У Павла Алексеевича оказалось, как ни странно, готовое решение. Видно, он еще раньше об этом подумал: оформить опеку.

«Ну конечно, как я сама не догадалась», — радовалась Елена, которая никак не могла увидеть себя в роли матери малосимпатичной девочки. И Василиса радовалась, не вникая в тонкости юридических различий между опекуном и удочерением.

Радовалась и Таня — Тома заняла в ее жизни особое место, что-то вроде говорящей собачки, о которой надо заботиться. Она в рот куска не брала без Тома, всегда готова была отдать ей все лучшее, но временами, устав от ее молчаливого и робкого присутствия, ускользала одна погулять или в соседские гости... Тома не обижалась, но ходила за Таней хвостом, боялась упустить ее из виду.

Перед самым отъездом с дачи Павел Алексеевич сам объявил Томе, что приглашает ее пожить у них в доме, пока она не подрастет и не получит образование.

— Хорошо, поживу, — с достоинством приняла предложение девочка.

В глубине души она была ужасно разочарована. Ей бы хотелось, чтобы Павел Алексеевич был ей настоящим отцом, как Тане.

К сентябрю вернулись в Москву. Томочка была теперь принята в дом окончательно, и все потекло обычным порядком. Только семейное счастье Елены Георгиевны и Павла Алексеевича сникло и увяло. Неуклюжие попытки Павла Алексеевича восстановить супружеские отношения успехом не увенчались. В особенности последняя, когда он, в один из своих запойных периодов, среди ночи вошел в спальню, где Леночка смотрела свои одинокие и поучительные сны, и, не замечая ни ее протеста, ни отворачивания, совершил безрадостное насилие и только утром, опомнившись, ужаснулся ночному происшествию.

Он пытался просить прощения, она кивнула и, не поднимая головы, сказала ровно, безо всякой интонации:

— Здесь нечего обсуждать. Я только прошу, чтобы этого больше никогда не было.

Он видел пружинистую прядь, всегда выбивавшуюся из пучка и петель висящую ото лба к уху, видел скулу и кончик носа, сгорал стыдом и желанием и отдал бы в этот миг без колебаний лучшее, чем владел, — свой безымянный дар, — чтобы вернуть счастливую простоту и легкость, с которой еще недавно он мог положить указательный палец в ямку под мягким пучком волос и провести от шеи вниз, по узкому позвоночнику, уложенному в ровном желобке вдоль спины, до чуть выпуклого крестца, — *Os sacrum*, сакральная кость... почему, кстати, сакральная именно эта? — и ниже, раздвинув плотно сжатые *Musculus gluteus maximus*, миновав нежно-складчатый бутон *Anus*, проскользнуть в тайную складку *Perineum*, развести закрытые *Labium majus*, робкие *Vestibulum vaginae*, коснуться атласной влажной слизистой — уж он-то знал всю эту анатомию, морфологию, гистологию, — приласкать пальцем продолговатое зернышко *Corpus clitoridis* — пропуск, пробел, сердцебиение... дальше, дальше, — пройти по редколесью волос, под которым изгиб *Mons rubis*, перешагнуть через косметический, двойного шитья шов — не знал, что для себя старался, — подняться к маленькому, с мелкой воронкой пупку, пройти между разбежавшихся в разные стороны, заостренных к соску грудей и остановиться у подключичной ямки так, чтобы под ладонью расходились фигурные скобочки ключиц...

Он сморщился всем лицом и застонал — все ушло, все пропало. Молча вышел он из спальни, прошел в кабинет, вынул из-за шторы непечатую бутылку и откупорил... Выпил. И улыбнулся — это мстила ему удаленная десять лет тому назад больная, нагноившаяся матка. Гадина.

Непонятно, как родились в голове эти дурацкие слова, сказанные сгоряча и в раздражении... Как угораздило это сказать ей: «не женщина»? Это она-то, предел женственности, само совершенство. Потеряно. Все потеряно. Он выпил еще полстакана и понял, что заснуть сейчас не сможет. Достал из нижнего ящика стола свою любимую папку с синей надписью «ПРОЕКТ». И раскрыл. Прочитал первую страницу — имя Сталина упоминалось дважды. И опять его перевернуло.

«Как это я ухитрился прожить до старости лет в счастливом заблуждении, что я порядочный человек?» — задал себе Павел Алексеевич жестокий вопрос. Он вынул первую страницу рукописи, сложил вчетверо и вчетверо сложенную бумажку разорвал дважды. Аккуратные обрывочки опустил в корзину для бумаг. Просмотрел рукопись до конца — больше имя вождя в ней не упоминалось. Он зевнул, потряс головой, но избавиться от отвратительного душевного скрежета не смог и понял, что ничего не остается, как заснуть.



Жену свою Павел Алексеевич больше не беспокоил. Равно как и не пытался вернуться к обсуждению нового печального положения вещей.

Последний ночной эпизод, совершенно не укладывавшийся в Еленино представление о собственном муже, на самом деле мало что изменил: ее обида была столь глубокой, что она уже ничего не могла с собой поделать. Как будто сказанная мужем сгоряча фраза убила в ней все желания и отравила саму почву, из которой произрастает потребность в нежном прикосновении, в ласке, не говоря уж о супружеской близости.

Обида эта со временем не росла и не уменьшалась, она проникла на глубину, и Елена жила с ней, как живут долгие годы с родимым пятном или опухолью.

Даже внешне Елена стала постепенно меняться: похудела, заострилась. Медленно-округлые движения, мягкий, с наклоном поворот головы, кошачья повадка устроиться в кресле, на кушетке, легко вписываясь телом в любой мебельный угол, — естественная, ей одной свойственная пластика, столь привлекавшая всегда Павла Алексеевича, — все это уходило от нее.

Одежда, которая прежде была ей к лицу — круглые воротнички, сборчатые рукава и невинные вырезы, открывавшие чуть одрябшую, но высокую шею, — стала тем временем немодной, и она с удовольствием перешла на девочек свои светлые, в мелкий цветочек, в веночек, в букетик платья и купила костюм летний и костюм зимний, преобразившись в школьную учительницу.

Павел Алексеевич, сидя за воскресным семейным обедом рядом с женой, принюхивался — среди грубоватых запахов Василисиной простой стряпни явственно проступало нечто новое: от Елены вместо прежнего цветочно-телесного аромата пахло вдовством, пылью и постным маслом. Почти как от Василисы, но к Василисиному запаху был еще подмешан не то пот, не то душок старой засаленной одежды... И он отводил взгляд от жены, и смотрел на Таню, и улыбался ей — прелесть какая девочка, вся в мать, вся в Леночку... В прежнюю Леночку...

Счастливый период их брака окончился. Теперь остался просто брак, как у всех, и даже, может быть, лучше, чем у многих. Ведь многие живут кое-как, изо дня в день, из года в год, не зная ни радости, ни счастья, а лишь одну механическую привычку.

Никогда, никогда — понимали оба — не войдут они больше в ту счастливую воду, в которой плыли десять лет...

Взгляд Елены то и дело натывался на шуплую девочку с повадками мелкого грызуна, беззловонную, безответную, жалкую донельзя, косвенную виновницу семейного крушения, которое оказалось для Елены горше всех пережитых несчастий: смерти родителей, бабушки, мужа, больше смертельной болезни и даже больше самой войны. Невозможно было жить вместе с ней, но так же невозможно и отделаться от нее, отослать к родственникам, сдать в детдом. И Василиса тихонько бурчала как будто в стену:

— А ты думала, просто? Все не просто... Потрудись-ка теперь... О-хо-хо... Такого не отмолить...

Какие Еленины грехи имела она в виду? Счет у Василисы Гавриловны был особый, непростой, но стояла за этим счетом странная, даже, может, и глуповатая, правда.

## 12

### Тетрадь Елены

Жизнь моя сама по себе столь незначительна и сама я столь незначительна, что мне никогда бы в голову не пришло что-то записывать, если бы не одно обстоятельство — память моя делается все хуже и хуже. Нуждается в каких-то подкреплениях извне: запахи, звуки, предметы, вызыва-

ющие воспоминания, указатели и отсылки... Пусть будет хоть эта тетрадка, и, когда память моя вовсе сносится, я смогу заглянуть в нее, вспомнить. Так странно, взрослеешь, умнеешь, и прошлые события приобретают совершенно иной смысл, и глубину, и Божий промысел, и свою собственную жизнь хочется раскопать, как археолог вскрывает глубокие пласты, и понять, что же такое происходит со мной и с моей жизнью. Куда она клонит, на что намекает. Понять не могу, не умею. А самое ужасное в том, что мозги мои стали как старая фарфоровая чашка — все в трещинках. Мысли вдруг пресекаются, теряются, и долго ищешь хвоста. Какие-то выпадения. Иногда лицо человека начинает жить отдельной от имени жизнью. Родной, знакомый человек, много лет знакомый — а имя выскочило, и, хоть плачь, не найдешь. Иногда, наоборот, возникает имя, а за ним ничего не стоит.

Пишу постоянно себе записки — не забыть то, не забыть это. Записки теряю, а тут недавно нашла и просто испугалась — моей рукой написано, но, Боже, какая орфография! То буква пропущена, то слоги переставлены.

В глубине души я подозреваю, что это начало какой-то ужасной болезни. Написала своей рукой и теперь окончательно в этом уверилась. И так страшно стало. Ни у кого в нашем роду такого не было. Хотя у бабушки, кажется, была сестра старшая, которая к старости лет впала в состояние детства. Ужасно, что тогда вся прожитая жизнь делается бессмысленной. Если человек все про свою жизнь забыл — и родителей, и детей, и любовь, и все радости, и все потери, — тогда зачем он жил? На днях я вспомнила бабушку Евгению. Ну вот, отчества вспомнить не могу. Напрочь забыла. Так расстроилась. А на второй день имя само собой всплыло — Евгения Федоровна.

Надо все-все записать. Для себя. А может, для Танечки. У нее сейчас такой период отдаления. Она поглощена учебой, хочет стать биологом, близка к отцу необыкновенно. Да и всегда они друг друга обожали. Только он ее так не чувствует, как я. Ведь когда у нее голова болит или живот, я совершенно точно знаю, как оно болит... И то, что Танечка как будто не интересуется особенно моей жизнью, а больше льнет к отцу, не имеет особенного значения. Я уверена, что еще очень буду ей нужна. И ей нужно будет знать все то, что я знаю. Ведь важны не только большие, значительные события. Удивительно, но каким-то образом маленькие, незначительные события по мере удаления оказываются важнейшими. А особенно сны... Мне всегда снились сны, и такие яркие, что сейчас ранние воспоминания и детские сны как будто переплетаются, и я не всегда могу с уверенностью сказать, какая из картинок взаправдашняя, а какая — из сна...

Отец мой Георгий Иванович, человек недюжинный, фантазер, одаренный редкой способностью внушать свои идеи, доморощенный философ, был смолоду ярым революционер, даже с террористами знался, но после событий девятьсот пятого года обратился в толстовцы. Став толстовцем, он уже исповедовал другие идеалы, земледельческий труд стал его религией. С тех пор в городах он больше не жил, организовывал в разных землях толстовские сельскохозяйственные общины, которые одна за другой распадались, кроме последней, тропаревской...

Ненасилие он исповедовал горячо и яростно, как все, что делал. Теперь могу судить о нем трезво — он был сторонник «ненасилия» в общественной жизни, а в домашней — страшным деспотом. Но он был одарен редкой особенностью внушать свои идеи, была в нем большая заразительность — у него самого, как у Толстого, было много учеников и последователей. Я думаю, что мама была на самом деле жертва его редкостно обольстительного характера. Она за ним повсюду следовала, во всем ему доверялась. Он уже успеет свои убеждения переменить, а она за ним не поспевает. Но у нее все было поверхностное, главное было то, что она его безмерно любила и ради него поменяла свою городскую жизнь скромной

учительницы музыки на деревенскую. И в деревне она не музыку преподавала, а кашеварила на десяток человек, стирала, доила коров. Всему научилась. И все ей было не по силам, но она старалась ради папы, ей хотелось еще к тому же быть самой лучшей его ученицей. Во всем его слушалась. Кроме одного: рожать приезжала в Москву к родителям. И оставляла там совсем маленьких детей — на подрост. Я была последняя, третья. Отец очень из-за этого на нее сердился. Потому что другие толстовцы растили детей на земле. Но это было единственное, в чем мама отцу не покорялась. Меня до четырех лет растила бабушка, а потом, по настоянию отца, забрали.

Со времени коллективизации на коммуну пошли от властей страшные нападки, хотя, казалось бы, она и была тем идеальным колхозом, которые большевики намеревались развести по всей стране. Отцу, как человеку опытному в коммунальном управлении, в первый год коллективизации даже предложили идти в начальники, организовывать колхозы. Но он отказался.

— Наши общины добровольные, на том они и держатся, а вы предлагаете организацию проводить на принципах насилия, что не согласуется с моими взглядами, — так объяснил он партийному начальству.

Поначалу их оставили в покое, но было ясно, что ненадолго. После размышлений и обсуждений решено было искать новые места для коммуны, подальше от центра, уж больно близко к столице располагалась деревня Тропарево. Начали поиски в тридцатом году, к тридцать второму они не только нашли место, но уже поставили первые бревенчатые дома в предгорьях Алтая. Перед самым переездом мама умолила отца оставить меня в Москве. Мне было пятнадцать лет, и бабушке удалось меня удочерить. Я стала Нечаева. Вероятно, это и спасло меня от ареста — бабушкина фамилия.

Жизнь их на Алтае, в Солонках, сложилась ужасно. С тех пор я никого из них не видела. Брата Сергея призвали служить в армию, но он отказался из идейных соображений, не хотел в руки ружья брать. Его судил трибунал и приговорил к расстрелу. Он был как отец — несгибаемый. А Вася был мягкий, ласковый мальчик, его пастушком звали. Из всех нас единственный, он действительно любил и землю, и сельское хозяйство не отвлеченно, из теоретических соображений, а от души. Его скотина слушалась. Бык Мишка за ним шел, как щенок. Васенька в Оби утонул, через пять дней после того, как ему вручили повестку о призыве. На другой день он должен был ехать в город на призывной пункт. Тридцать четвертый год. Вскоре и родителей арестовали. Дали десять лет без права переписки. Бабушка пыталась их разыскать, еще до войны все ходила стоять по разным очередям. Но никакого ответа не было получено. Она молчаво считала, что отец всех погубил. Вообще все толстовцы как вымерли. Я ходила на Маросейку, где прежде была вегетарианская столовая. Но там все неузнаваемо. Никакого их издательства, никакой столовой...

Коммуна, в которой я жила с четырех лет, тропаревская, в недалеком московском пригороде, была небольшая, всего человек восемнадцать — двадцать. И детей с десятков, все разного возраста. Но была своя школа. Читать нас учили по азбуке Льва Толстого. И первые книжки, конечно, толстовские. Про сливовые косточки — лгать нехорошо. Про деревянную площадку для дедушки — к родителям надо хорошо относиться. Еды почти всегда мало, но поровну разделена. А когда много, такое тоже бывало, все равно стыдно было много брать.

«Учение Христа, изложенное для детей» с раннего детства помню. Четвероангелие настоящее я гораздо позже прочитала, у бабушки... Взрослые в коммуне Льва Николаевича мало сказать любили — обожествляли. Мне же оскомины набили с малолетства. Я, смешно сказать, романы его прочла уже после войны, — в детстве и юности меня так закармливали его

статьями и рассуждениями, что ни «Казакон», ни «Анны Карениной», ни даже «Войны и мира» я тогда и в руки не брала.

Но я не об этом. О другом. С раннего детства со мной происходит изредка какое-то выпадение из здешнего мира. Думаю, что многие имеют этот опыт, но не хватает ни слов, ни понятий в нашем бедном языке, и потому никто и не пытается поделиться с другими этим опытом.

Самое страшное, что я в жизни переживала, и самое неопишемое — переход границы. Я про ту границу, которая проходит между обычной жизнью и другими разными состояниями, которые мне знакомы, но столь же невозможны для объяснения, как смерть. Ведь человек, который еще никогда не умирал, что может сказать об умирании? Но мне кажется, что каждый раз, выпадая из обыкновенной жизни, немного умираешь. Я так люблю свою специальность чертежника как раз потому, что в ней есть точный закон, по которому все можно построить. Есть ключ перехода из одной проекции в другую. А тут переход есть, но каждый раз — неизвестно по какому закону он происходит, и оттого так страшно.

Боже милостивый, какие же там путешествия... Разные... Самый страшный переход я пережила вскоре после смерти деда. Чтобы понять это, надо рассказать еще немного о моей семье.

Деда моего все боялись, и мама, и бабушка. Что я боялась, это вполне понятно. Я вообще была девочка боязливая. Когда он умер, мне было лет семь. В двадцать втором году. Он был строительным подрядчиком, когда-то был очень богат, но еще до революции все потерял. Я мало знаю об истории моей семьи, особенно в этой ее части. Сохранилось только в бабушкином пересказе, что обвалился вокзальный павильон, который он строил, погибло несколько человек, и сам он тоже пострадал, ему ногу тогда ампутировали. Потом был судебный процесс, он его и разорил. Дед после этого процесса так и не оправился. Он сидел обыкновенно в глубоком кресле, спиной к полукруглому окну, и лицо его против света было темным, особенно в солнечное время. Бабушка с дедом жили в Трехпрудном переулке, в Волоцких домах. Дед и строил их году, кажется, в одиннадцатом. Мансардная квартирка. Лифт никогда не работал. Долго поднимались по широкой лестнице. Дед вообще из дому не выходил. Он всегда был болен, хрипло дышал, курил вонючий табак, по квартире ходил с двумя палками. Костыль в руки не брал. Только держал рядом с диваном.

В те годы мы, я имею в виду нашу коммуно, держали коров и из Тропарева возили молоко в Первую градскую больницу, по Калужскому шоссе. Подвода была, лошадка коммунальная. Мама иногда брала меня с собой, и мы, сдав молоко, от Калужской заставы ехали в вегетарианскую столовую на Маросейке. Морковный чай с сахарином и котлетки соевые помню... В том же доме было издательство и толстовское общество. Отец был не в очень хороших отношениях с тамошним начальством. Как ни странно, но, насколько сейчас могу судить, толстовцы все время ссорились, спорили, что-то доказывали друг другу. Отец был азартный спорщик. Со своим тестем, моим дедом, он был в глубокой вражде по политическим каким-то вопросам. А бабушку Евгению Федоровну он слегка презирал за ее православную веру и, пока не рассорился с ней окончательно, все учил ее правильно веровать, по-толстовски... Он, как Толстой, не признавал чудес и всякой мистики, для него главным было нравственное содержание. И Христос был идеалом нравственности. Я теперь смотрю на это вроде бы с улыбкой, потому что у меня постоянно перед глазами наша Василиса, у которой нравственного понятия нет ни малейшего, она так и говорит — это по-Божьему, это не по-Божьему, и никаких размышлений о добре и зле, одним своим глупым сердцем определяет. У папы же была на все теория.

Родителей своих мама навещала почти тайком. Во всяком случае, я понимала каким-то образом, что о наших поездках в Трехпрудный отцу говорить не надо. Это было вроде нашей общей с мамой тайны. Как и про несколько ложек творогу, которые мама утаивала от продажи, — гостиниц

родителям. Молочное было не для потребления. Только больным и малым детям давали молоко.

Бабушка принимала нас всегда на кухне, которая была сразу возле входной двери. Дед из дальней комнаты не выходил, и я не понимала, что бабушка скрывала от него наши приходы. Нелюбовь к моему отцу он перенес на мою маму и страшно сердился, если до него доходило, что мама бывала в Трехпрудном. Очень, очень жестоким и нетерпимым был дед. Внуков еле терпел.

Я увидела себя на задах нашего тропаревского дома, ярким летним днем, в бликах солнца и тени. Большой поваленный недавним ураганом тополь лежал поперек дорожки, и я шла по нему, перешагивая через обломанные сучки, соскальзывая с влажного ствола, и вдыхала сильный запах увядающей листвы. Все слегка пружинило: и ствол под моим малым весом, и пласты подсыхающей листвы. Сон наоборот, отсюда туда.

Здесь, где я теперь находилась, вовсе не было ни настоящего света, ни теней. Там, за тропаревским домом, где лежало поваленное дерево, где подошва скользила по бархатистому стволу, были тени, блики, безмерное богатство оттенков. Здесь все было зыбким, коричневым, но реальным. Там — нереальным. Здесь совсем не было теней. У тьмы не бывает теней. Тени возможны лишь при свете...

Я лежала как в параличе, не могла даже пошевелить губами. Я захотела перекреститься, как бабушка меня учила, но уверена была, что не смогу и руки поднять. Но рука легко поднялась, я сделала крестное знамение и начала читать «Отче наш»...

Ко мне подошел и уставился на меня человек в глиняной маске, похожей на обыкновенный печной горшок. В прорезь маски, из глиняных глазниц, на меня смотрели яркие синие глаза. Эти глаза были единственным, что имело здесь цвет. Человек ухмылялся.

Молитва моя ощутимо зависла над моей головой. Не то что она была слаба. Она была недействительна. Она была здесь отменена. Это темное место находилось в таком отдалении от Божьего мира, в такой невыносимой глуши, что сюда вообще не доходил свет, и я догадалась, что молитва вне света все равно что рыба без воды — дохлая...

До меня доносилось жужжание чужого разговора, тоскливого, гнилого, лишённого смысла. Одно только вялое раздражение, вялый спор ни о чем. И голос деда: я ВЕЛЕЛ, ты ВЕЛЕЛ, я не ВЕЛЕЛ... И «ВЕЛЕЛ» этот был существом...

Тот, что в глиняной маске, наклонился надо мной, заговорил. Что говорил, не помню. Но помню, что речь его была неожиданно грубо-простонародной, неправильной, он ёрничал, даже издевался надо мной. Слова его, как и бурая глина на лице, тоже были маской.

Он может говорить другими словами, он обманывает меня. «Обманщик», — подумала я. И как только я это произнесла про себя, он исчез. Я, кажется, одной своей мыслью его разоблачила...

Тени все колыхались туда-сюда, все это длилось безвременно долго, до тех пор, пока я не разглядела, что нет у этого помещения никаких стен, а только сгустившаяся тьма создает подобие замкнутого пространства, а на самом деле это тесное и темное место огромно, бесконечно, заполняет собой все, и ничего, кроме него, вообще и не существует. Это была западня, откуда не было никакого выхода. Мне стало страшно. Не за себя, за деда, и я закричала:

— Дедушка!

Он как будто посмотрел в мою сторону, но то ли не узнал, то ли не захотел узнать, а все продолжал бормотать, глядя на меня блекло-коричневыми глазами: я ВЕЛЕЛ, он ВЕЛЕЛ...

И вдруг все стронулось и стало утекать. Как тень от облака пробегает по полю, так это темное пространство стало сдвигаться, и я увидела сначала

ла часть стены в полосатых обоях, а потом и всю дедову комнату в серой предрассветной мгле.

Я не проснулась — я просто не спала. Утренняя мгла, тягостная и неприятная в обыкновенные дни, казалась теперь живым жемчужным светом, полным обещания, потому что даже ночной мрак этого, нашего мира — оттенок нашего земного света. А то, что мне было показано там, было отсутствие света, печальное и бесприютное место. Это была она, сень смертная... И когда самый край тьмы уплывал из комнаты и проваливался куда-то на север, я услышала ясный свежий голос, несомненно мужской, который произнес:

— Средний мир.

А что это, я до сих пор не знаю... В одном только я почти уверена — все это мне было показано ради того, что там мелькнул в толпе теней мой хромой дед с сумрачным лицом.

Есть какие-то кусочки жизни, которые как водой смыло. Такое пустое место образовалось, как после просыпания, когда приснилась очень важная беседа с кем-то не по-человечески умным, а в дневную жизнь ничего не вытаскивается, не протискивается, и все важное остается во сне. Возникает ужасное чувство, что твои лучшие драгоценности лежат в замурованной комнате и войти туда невозможно. Хотя в старый сон иногда вернуться удастся, и к тому же собеседнику, и продолжить разговор с прерванного места. И он отвечает, как светом все заливают. А проснешься — и опять одно гладкое место.

Вот такая плешь образовалась там, где я совершила предательство. Я это еще помню, но только как факт. Ни раскаянья, ни стыда давно не ощущаю. Видимо, сама себе простила. И ведь как я это предательство совершила — легко, безо всякого мучения, даже и колебания, даже и размышления. Я о покойном Антоне. Было такое стихотворение военных лет, страшно популярное, Константина Симонова — «Жди меня, и я вернусь...». И там в конце: «Будем знать лишь ты да я, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня...» А я погубила неожиданием.

Влюбилась я в ПА даже не с первого взгляда, а так, как будто я его любила еще до своего рождения и только вспомнила заново старую любовь. Антона же забыла, как будто он был просто сосед, или одноклассник, или сослуживец. Даже не родственник. А прожила я с ним ни много ни мало — пять лет. Отец моей единственной дочери. Твой отец, Танечка. Ничего не вижу в тебе от Антона, ни от его породы. Ты действительно похожа на ПА. И лоб, и рот, и руки. А про жесты и выражение лица, мимику, повадки — и говорить нечего. Но сказать тебе, что ПА не родной отец, — невозможно. Так что, выходит, я Антона сперва предала, а потом и ограбила, лишила его дочери. Сможешь ли ты мне простить?

Вообще, я уверена, что ПА для Тани значит больше, чем я. Так ведь и для меня он тоже значит больше, чем я сама. Даже теперь, когда все между нами так безнадежно испорчено, надо по справедливости признать, что человека благородней, умней, добрей я не встречала. И никто на Божьем свете не сможет мне объяснить, почему лучший из всех людей служил столько лет самому последнему злу, которое только существует на свете. И как в нем это совмещается? Все предчувствовала, все знала заранее моя душа — еще в эвакуации, когда он Ромашкиных котят унес. Я сначала не поверила даже, что он их утопил. Теперь уж верю всему. Ведь смог же он одной фразой перечеркнуть всю любовь, все наши счастливые десять лет. Все уничтожил. И меня уничтожил. Жестокость? Не понимаю. Но об этом как раз я не хочу вспоминать. Для меня важно сейчас восстановить все то, что ускользает от меня, что всегда, еще до появления в моей жизни ПА, играло такую большую роль. Мои сны и ранние воспоминания.

К области самого важного, но никак не принадлежащего настоящему относится и мое переживание — или видение? или то, что я условно на-

зывают третьим состоянием? — Великой Воды. Назову так, потому что надо же какими-то словами обозначить это состояние или событие — что почти неразлично... ПА, во всяком случае, еще не было, это было до него... Вообще до его появления я побывала во многих местах, в том числе и в Великой Воде... Но мое Я тогда было несколько иным, чем теперь: мутноватым, маленьким, то ли детским, то ли недоразвитым. И, кажется, слепым. Потому что никаких картинок, никаких изображений от этого пребывания не сохранилось в памяти. Там не было ничего твердого, жесткого, угловатого — только влажное, обволакивающее или льющееся, да и себя я ощущала скорее влагой, чем твердым телом. Но влагой не растекающейся, а собранной, вроде неразошедшегося кусочка крахмала в жидком киселе или медузы в прибрежной пене. Богатство впечатлений, воспринимаемых мною в этой слепоте, было огромным, но все они располагались по поверхности моего не вполне определенного в своих границах тела, а само мое Я — в середине, глубоко укрытое... Впечатления ближе всего к пищевым — вкусное, невкусное, нежное, шероховатое, густое и клейкое, иногда сладкое и столь острое, что вызывало дрожь и озноб, и просто сладкое, и особенно сладкое, от чего невозможно оторваться, и оно засасывало как будто всю меня и куда-то вело. И были разного рода движения вроде плаванья, но более хаотичные и с большим усилием, и были в этом движении встречи разнообразных потоков, которые омывали то ласково, то очень энергично, вроде массажа. Гладили, касались моей поверхности щекотно, нежно засасывая и отпуская...

Самое главное — удовлетворение. Голода, жажды, потребности касания и взаимодействия жидкостей. Наверное, это было первично-половое удовлетворение, но не связанное с каким-то определенным другим существом. Это была ласкающая, плодородная среда, вся состоящая из набухания, излияния и частичного растворения меня в другом, другого во мне...

Состояние блаженное. Но длинные редкие нити боли иногда вплетались в это блаженство и побуждали к движению, и новое движение приводило к новому блаженству... Приблизительно вот так...

А потом наступило нечто новое и ужасное. Если бы и так не было абсолютно и беспросветно темно, можно было бы сказать — наступил Мрак. Он был больше любого сознания, всепроникающий, как вода или воздух, неудержимый, как стихия. И мое маленькое Я в сердцевине зыбкого тела все скорчилось от муки страха.

Это — не боль человеческая, у которой есть свои пределы — начало, конец, нарастание, спад. Мука, которую я испытывала, не имела протяженности. Она была абсолютна, как геометрическая точка. И вся была нацелена в меня.

Кому и зачем я пишу эти «записки сумасшедшего»? Кто поверит мне, если я и сама себе не вполне доверяю? Дочитаешь ли ты все это до конца? Прочитает ли это вообще кто-нибудь? И зачем? Может, и не надо вовсе... Вроде обращаюсь к тебе, Танечка, но временами забываю и пишу что в голову приходит, только чтобы не растворилось.

Вчера пришла с работы, Василиса говорит — тебе звонила ... Через пять минут я уже не помню, какое имя она назвала. Переспрашиваю. Василиса снова называет имя. А сегодня утром я опять не помню. Более того, мне кажется, что я с кем-то из подруг вчера разговаривала по телефону, но не могу вспомнить с кем... Какая-то странная рассеянность, полное отсутствие внимания. Стараюсь, чтобы не замечали. Мне кажется, что меньше всего это несчастное качество проявляется на работе. Там я ничего не забываю, ничего не путаю. Только вот никак не могла запомнить имени новой чертёжницы. Пришлось написать записочку и положить в стаканчик для карандашей — «Валерия». Правду сказать, сразу и запомнила.

Мне кажется, ПА замечает, что со мной что-то не в порядке. Иногда я ловлю на себе его «медицинский» взгляд. Со дня смерти Лизаветы-двор-

ничихи, уже больше полугода, наши отношения совсем разладились. Он несколько раз пытался со мной объясниться, я вижу, он страдает из-за нашего разлада, но я ничего не могу с собой поделать. Слова, которые он тогда сказал, все стоят между нами, и я не знаю, смогу ли я это когда-нибудь забыть. «Ты — не женщина. У тебя нет этого органа». Это правда. Но почему это так оскорбительно?

В доме стало совсем плохо. Всем плохо. Только маленький наш приемыш чувствует себя отлично. Посыпает сахарным песком белый хлеб с маслом. И съедает каждый день по батону. Со счастливым самозабвенным лицом. Но смотрит при этом вкось — виновато и воровато. Она поправилась. Танечка подогнала ее в учебе. В конце концов, в этом какая-то смешка — из-за этой бедной сиротки я потеряла ПА.

Танечка, зачем я пишу это тебе? Тебе только двенадцать лет! Но ты вырастешь и кого-нибудь полюбишь и тогда мне все эти глупости простишь.

Он много пьет. От него все время пахнет водкой, то свежей, то перегаром. Он очень мрачен, но я уверена, что дело не только во мне.

На старый Новый год — Василиса признает только старый календарь — она приготовила стол, испекла свой нескладный пирог с капустой, толщиной в ногу, сделала картофельный салат с колбасой. Сварила студень из ног. Весь день воняло в доме ее варевом. Кончился на время ее нескончаемый пост. Вечером ПА вышел к столу, положил газету передо мной. Статья отчеркнута — о врачах-убийцах. Я посмотрела в список — половина его друзей. В большинстве евреи. Он налил стакан водки, закурил пирогом. Потом подмигнул Танечке, погладил по голове Тому — она вся расцвела — и ушел в кабинет... Очень хотелось с ним поговорить, но невозможно.

Легла спать и перед сном попросила — объясните мне, что происходит, что со всеми нами будет. Но мне ничего не показали.

### 13

С тринадцатого января нового, тысяча девятьсот пятьдесят третьего года Павел Алексеевич ушел в очередной запой. Но в этот раз не было ни веселого разгула, ни дачи. Он был хмур, молчалив, к телефону не подходил. В клинику ездил не чаще трех раз в неделю, часам к двум уже возвращался. Танечка, с которой он всегда проводил много домашнего времени, теперь постоянно находилась в обществе Томи.

Оба они, и Павел Алексеевич, и Таня, стеснялись оставить Тому одну, обидеть ее, и только ранним утром Таня совывалась на несколько минут к отцу в кабинет — пошущукать, похихикать, шепнуть в ухо одно из глупых детских прозвищ.

Еще двое детей часто появлялись в доме — сыновья Ильи Иосифовича Гольдберга, Геннадий и Виталий, худые, нескладные, с ломкими голосами и буйными прыщами, они почти ежедневно приезжали обедать. Их пригласила Елена, зная, как тяжело живет семья: Гольдберг сидел еще с сорок девятого года, а теперь Валу, работавшую в лаборатории еврейского врача, только что арестованного, сократили в один день. Оставшись без работы, она заболела — теперь из одного сердечного приступа уходила в другой, делая перерыв только для поездки с передачей. Сама не переставала удивляться, с чего это она оказалась такая болезненная...

Василиса, через корявые и благотворительные руки которой протекли сотни денежных переводов и посылок, была недовольна обеденными визитами: по ее понятиям, милостыню следовало подавать хлебом и мелкими рублями, а не господскими котлетами. Елена догадывалась о причине Василисиного недовольства, но помалкивала...



По всей стране шли собрания возмущенных граждан, а уж в системе здравоохранения все эти мероприятия проводились с особым вдохновением. Все сколько-нибудь заметные люди обязаны были высказаться и заклеить преступников. Павла Алексеевича впервые озарило простой мыслью, что всех, поголовно всех врачей вовлекают в соучастие в позорном обвинении. У него самого не было ни малейших сомнений в полной невинности врачей. Павел Алексеевич переживал сильнейшую депрессию и впервые в жизни задумался о самоубийстве. Толстый, переплетенный в красную кожу том Моммзена с его тщательнейшей историей Рима лежал постоянно на его столе и нашептывал свое: в постантичном мире, столь любимом Павлом Алексеевичем, самоубийство почиталось не грехом, а мужественным шагом из безвыходности, для сохранения чести и достоинства. Эту соблазнительную мысль Павел Алексеевич примерял на себя.

Расхождения с женой, которые никак не штопались, а скорее всего только углублялись, удручали его. Любимая дочь была слишком мала, чтобы делать ее наперсником. Ближайшие друзья оказались почти все арестованы: генетик Илья Гольдберг, патанатом Яков Шапиро, офтальмолог Петя Кривошеин... Кроме, пожалуй, одного Саши Маклакова, старого университетского товарища, давно уже из практической медицины ушедшего в чиновники и совершенно неожиданно оказавшегося в числе вдохновенных гонителей евреев...

Но самый большой сюрприз ожидал Павла Алексеевича в собственном доме — Василиса, истинный и убежденный ненавистник советской власти, впервые в жизни клюнула на ее крючок: идея тайных врагов, хитроумных врачей, евреев-колдунов нашла отзыв в ее средневековой душе. Складывалась общая картина жизни — евреи сделали революцию, убили царя, разорили церковь. Чего же еще ожидать от тех, кто Христа распял?

Василиса ужасалась, охала, молилась. С улицы, из магазинных очередей приносила интереснейшие истории о врачах, заражающих больных трупной кровью, ослепляющих новорожденных младенцев и прививающих рак лопухим пациентам русского происхождения. Появилось огромное количество очевидцев и жертв. Люди отказывались лечиться у еврейских врачей, начался массовый психоз страха отравления и порчи... Сокращения штатов, чистки, правилки... Разоблачительница подпольной банды Лидия Тимашук получила орден Ленина...

В эти месяцы Василиса вынужденно осталась единственной собеседницей, а вернее, слушательницей Павла Алексеевича. Елена уходила на работу, девочки в школу. Василиса, после утреннего продуктового рейда, возвращалась домой и заставляла на кухне Павла Алексеевича, поджидавшего ее со сваренным кофе. Он проявлял крайнюю степень нечувствительности и совершенно игнорировал явный неинтерес и полную неспособность Василисы хоть как-то поддерживать разговор. Пока она разгрудала латаные кошелки, он располагался с чаем или чем покрепче и начинал неторопливую лекцию...

Собственно, лекция эта была рассчитана на иную аудиторию, более просвещенную и более многочисленную, но таковой не было — не студентам же было рассказывать о своих исторических изысканиях, касавшихся на этот раз не медицинских проблем, а истории антисемитизма и его религиозных и экономических корней. Моммзен послужил первым источником, после чего Павел Алексеевич пошарил у Иосифа Флавия и настоящих античных авторов, почитал Блаженного Августина, кое-кого из отцов церкви... Устремился по направлению к средневековью... Антисемитизмом, к его удивлению, страдала вся христианская цивилизация.

Василиса хмуро чиркала ножом по морковке, перебирала пшено и гречку, рубила капусту. Нельзя сказать, чтобы она совсем не слышала Павла Алексеевича, но блестящие его лекции были для нее как на ино-

странном языке. Извлекла она лишь некую общую мысль, что Павел Алексеевич не верит в злокозненность евреев, а, напротив даже, осуждает тех, кто на евреев нападает. Павел Алексеевич, распаясь, цитировал что-то на латыни и по-немецки, чем вводил бедную Василису в еще большее смущение. Уж не еврей ли сам? Еще недавно она верила в Павла Алексеевича как в Господа Бога, но после рокового открытия, после его собственного признания, что он все силы кладет, чтобы государство узаконило детоубийство, она не знала, как к нему относиться. Сколько всего роздал, без счета, скольким помог, имени даже не зная, — и детей вырезает из чрева, убивает деточек... А уж не Антихрист ли? Всех оттенков между черным и белым, не говоря уже о розовом и зеленом, она как будто и не замечала, а потому, пождав губы, жарила лук и хранила полное и неодобрительное молчание.

Как-то, допив в процессе двухчасового монолога бутылку водки, Павел Алексеевич заметил, что Василиса не притронулась к сваренному им собственноручно кофе.

— Василиса, голубушка, что же вы кофе не выпили? Уж не отравы ли боитесь? — пошутил он.

— А хотя бы и так, — буркнула Василиса.

Павел Алексеевич было засмеялся, но смехом своим подавился. Настроение его, как бывает у пьяных, мгновенно переломилось. Отвращение к жизни захлестнуло его. Он помрачнел, обвис:

— Великий народ, черт бы его побрал...

Василиса перекрестилась и зашептала охранительную молитву: Павел Алексеевич был теперь у нее на подозрении...

## 14

Павел Алексеевич так никогда и не узнал о судьбе чудовищного препарата, занесенного им на Старую площадь в высокий партийный кабинет. Осторожный чиновник, хотя и был под большим впечатлением от общения с безумным медиком и пресловутым препаратом, не решился поднять на Политбюро вопрос о столь щекотливом предмете.

Несколько лет стеклянная банка простояла завернутой в бумагу на нижней полке большого шкафа и была вынесена уборщицей перед очередным Первым мая, в горячке генеральной уборки по поводу светлого праздника в большой мусорный бак в подвале.

Мыльное лицо, как ни странно, оказалось впечатлительным, и через несколько месяцев после смерти вождя проект о разрешении абортов был рассмотрен и обсужден. Государство, убившее за тридцать пять лет своего существования бесчисленные миллионы своих граждан, позволило женщинам решать судьбу анонимной жизни, завязавшейся в утробах без их на то желания. Поставлено было несколько полубожественных подписей, верховный клапан открыли, по медицинским учреждениям разослали соответствующее циркулярное письмо, разрешающее искусственное прерывание беременности.

Бывший высокий партийный чиновник, совершивший свое последнее олимпийское восхождение, — дальше уж было некуда, — до самой своей смерти, вскоре и последовавшей, считал себя благодетелем рода человеческого, сам же Павел Алексеевич так никогда и не узнал, какую роль сыграла злосчастная банка, привезенная им на Старую площадь...

Судьба несчастных заложниц пола не переставала беспокоить Павла Алексеевича, он по-прежнему выступал на всех конференциях, связанных с охраной детства и материнства. Он не считал, что одержал победу, — состояние родильных домов и детских учреждений было, по его мнению, катастрофическим. Он снова вернулся к своему главному проекту, безнадежно пытался убедить руководителей страны пересмотреть принципы финан-

сирования здравоохранения, произносил гневные речи об охране среды обитания, о множественности факторов, ведущих к ухудшению здоровья будущего поколения людей... Слово «экология» тогда еще не употреблялось.

К середине пятидесятих годов научные интересы увели Павла Алексеевича в неожиданном направлении. Исследуя некоторые виды женского бесплодия, Павел Алексеевич обнаружил неизвестные прежде фазы в пределах месячного цикла. Он обратил свое пристальное внимание на женщин, родивших ребенка после многолетнего бесплодия. Деток таких он называл «Авраамовыми», а женщин, родивших первого ребенка от первой беременности после многолетнего бездетного брака, тщательно исследовал, опрашивал...

Параллельно с этим он через работы знаменитого Чижевского подошел к рассмотрению космических природных циклов, к теме биоритмов. Из эмбриологических исследований было известно, что клеточные деления зародыша происходят действительно с точностью часового механизма. Сопоставив суточную активность человека со скоростью процессов, происходящих в организме женщины, он, теоретически рассуждая, пришел к выводу, что существует некоторый процент женщин, которые не могут забеременеть в ночные часы.

В его рассуждениях было много интуитивного, не поддающегося на современном научном уровне исследованию, но в основе лежала догадка о существовании яйцеклетки с необыкновенно короткой фазой активности.

В конце пятидесят третьего года на поликлинический прием к Павлу Алексеевичу пришла изумительной красоты немолодая уже супружеская пара, азербайджанцы из Карабаха. Он был художник, из знаменитой семьи ковровщиков, утонченный, смугло-седой, тонкий. Жена была похожа на мужа как его уменьшенная копия — та же тонкость, тот же персидский рисунок лица. Красно-лиловый шелк платья, изумрудной зелени шаль, украшения из темного старинного серебра...

Анализы их были в полном порядке. Два здоровых человека, не родившие за двадцать лет брака даже одной маленькой девочки... Горе и бесчестие жены.

Павел Алексеевич смотрел на них до неприличия долго и все вслушивался: тайный его советник настаивал.

— Вы будете ложиться с женой, когда солнце в зените, — сказал Павел Алексеевич строгим голосом. — А через год приедете...

Парочка эта приехала не через год, а через полтора. И привезли с собой замечательный живот, тугий, высокий, с красивой маленькой девочкой внутри, которую принял сам Павел Алексеевич, а потом, через два года, еще и мальчика...

Азербайджан, Армения, Средняя Азия — первые пациенты приезжали из тех краев. Потом появились и русские. Приблизительно половина из них были безнадежны, и Павел Алексеевич всегда видел таких и говорил, что ничем не может помочь. Нескольким парам он порекомендовал уехать на несколько лет на восток, в Новосибирск или даже в Хабаровск, — это было продолжение и развитие его мыслей, связанных с природными ритмами и часовыми поясами... Теперь стол его кабинета был покрыт какими-то никому не понятными графиками, напоминавшими скорее астрологические карты, чем бланки анализов.

«Авраамовых» деток все прибывало. И про каждого Павел Алексеевич говорил в глубине сердца — ныне я родил тебя... Ребенок полдня, ребенок рассвета, ребенок закатного часа... Богатые дары заваливали его строгий дом — драгоценные ковры, китайские вазы и французская бронза... Он никогда не назначал гонораров, но и не отказывался от приношений. Испокон веку лекари и священники брали плату за свои услуги натуральным

продуктом. Пациенты его были, как правило, людьми состоятельными, которым не хватало для полного счастья только ребеночка. Бедные то ли бездетными не бывали, то ли по докторам не ходили...

Медицинские книги, и самые современные западные, и классические, перестали его интересовать, и он проводил много времени в Исторической и Иностранной библиотеке, читал средневековые трактаты, античные редкости, переводы древних жреческих книг... Что-то выискивал в этих Сивиллиных иносказаниях... Тайна зачатия — вот что его интересовало. Не более и не менее.

Его собственная жена плотно затворила для него двери спальни, на все часы суток. Он давно уже и не пытался восстановить прервавшееся супружеское общение. После памятного оскорбления она как будто и впрямь перестала ощущать себя женщиной. А было ей немного за сорок, красота ее с годами становилась все более выразительной. Лицо ее как будто было теперь заново нарисовано — художником более строгим и опытным. Ушла материнская припухлость рта и щек, в глазах появилось новое выражение — напряженного внимания, направленного не вовне, а внутрь... Временами Павлу Алексеевичу казалось, что даже отвечая на его редкие вопросы она думает о чем-то другом.

Отношения супругов никак нельзя было назвать плохими — они, как и прежде, угадывали желания друг друга, иногда и мысли читали, да только взглядом старались не сталкиваться. Она смотрела ему в шею, он — ей в переносицу...

## 15

Таня родителям была отрада. Павел Алексеевич, лаская и балуя дочку, выражал тем самым и свою затаенную любовь к жене. И Елена чувствовала это, была ему благодарна, но каким-то странным образом отвечала ему тем, что с особым вниманием и старанием общалась с Томой. Эмоциональный баланс какой-то соблюдался, а Василиса осуществляла общую суровую справедливость, раскладывая ровные порции по тарелкам. Смысла в этом давно уже никакого не было: еды было в изобилии и все, кроме Василисы, забыли о пайках, карточках и распределителе.

Из Тани выросла красивая девушка, очень живая, очень способная к учению всякого рода: и к музыке, и к рисованию, и к наукам...

Школьное обучение уже подходило к концу девятого класса, и следовало выбрать профессию, но Таню все бросало из стороны в сторону: до появления в доме Тома она собиралась поступать в музыкальное училище, но, как только Тома у них поселилась, Таня, к большому огорчению Павла Алексеевича, музыку забросила. Не было у него более приятных минут в доме, чем созерцание ее стройной спины с движущимися под свитером тонкими лопатками перед новым инструментом, специально для нее купленным. Павел Алексеевич все хотел допытаться, почему это Таня наотрез отказалась ходить в музыкальную школу, но она отмалчивалась, а потом обнимала его за шею, щекотала за ушами, бормотала что-то про Слоника Ушастого, хохотала, визжала — и ни одного внятного слова.

Существенно позже и Павел Алексеевич, и Елена поняли, что же с Таней произошло, — ей, видимо, казалось, что музыкальные ее успехи обидны будут Томе, отродясь никакой музыки, кроме как из репродуктора, не слышавшей...

Отцовская библиотека приобретала для Тани все большую притягательность. Работал Павел Алексеевич, как всегда, много, допоздна задерживался в клинике и, приходя домой и наскоро поужинав в обществе молчаливой Василисы или сдержанной Елены, все чаще заставал у себя в кабинете Таню, расположившуюся в уютном гнезде из двух пледов, диванных подушек, с кошкой и книжкой в руках... Поблизости от Тани устраи-

валась безо всякого комфорта на краешке стула Тома, все такая же маленькая, как в двенадцать лет, только растолстевшая. Она вышивала двойным болгарским крестом подушку за подушкой, воздвигала в окошке плетель то жирную сирень, то корзину с преувеличенными фруктами. Давно забытый и, казалось бы, утоленный голод побуждал в ней любовь к этой роскоши бедных...

Девочки были очень привязаны друг к другу, и в их привязанности было взаимное удивление: как Тania не могла понять, что за удовольствие в протягивании ниток через жесткую канву, так и Тома недоумевала, как можно полдня сидеть, уткнувшись в скучную книжку.

Павел Алексеевич, наблюдая за столь разными девочками — обожаемой Танечкой и необаятельной Томочкой, плохоньким дичком, занесенным в дом особыми обстоятельствами, — следуя своей манере рассматривать все явления мира исключительно с научной точки зрения, и здесь впадал в теорию, и здесь замечал проявления великих природных законов, может быть, еще не сформулированных, но объективно существующих.

«Подобно тому, как человеческий зародыш, с самого момента оплодотворения, по минутам и по часам совершает все этапы своего развития, — рассуждал Павел Алексеевич, — так и в родившемся ребенке более сложные функции, психофизические, пробуждаются в строго назначенные сроки, в строго определенной последовательности. Жевательный рефлекс не может предшествовать сосательному. Однако стимуляцию и тот, и другой получают извне: прикосновение соска или даже случайного предмета, будь то край простыни или собственный палец, побуждает к сосанию в первые сутки жизни, а попадание кусочка твердой пищи на распухшие от прорезывания зубов десны — к жеванию в полугодовалом возрасте.

Таким же точно образом стимулируются и процессы высшей нервной деятельности, — размышлял Павел Алексеевич, наблюдая за взрослыми девочками в собственной семье. — Потребности, пробуждающиеся в определенном возрасте, не получив подтверждающей поддержки извне, из окружающей среды, ослабевают, а возможно, и угасают. Потребности, таким образом, предшествуют необходимости».

«Обвинят в ламаркизме», — ухмылялся про себя Павел Алексеевич.

«Возможно, прежде губ уже родился шепот, и в бездревесности кружились листы...» — строки эти уже были написаны, автор их уже погиб в лагерях, а до Павла Алексеевича они так никогда и не дошли. Но не было другого человека, которому это поэтическое гениальное прозрение было столь внятно — как перевод насущной мысли с языка познания на язык лирики...

Вот Томочка. Мать оставляла ее спеленутой в кроватке до двух лет, потому что бедняге надо было идти на работу, и некому было присмотреть за девочкой, и никаких детских садов в затемненной эвакуированной Москве в помине не было. А когда Томочку спустили на пол, ей ходить уже не хотелось. Она сидела в углу, на горке тряпок, с тряпками и играла. Первую книжку она увидела только в школе, в семь лет. Все запаздывало, все тормозилось. Бедная девочка...

Но Тома вовсе не ощущала себя несчастной. Напротив, она была совершенно уверена в том, что вытянула счастливый билет. Через год после водворения ее в доме Кукоцких по просьбе тети Фени Тому отправили на лето в деревню, и Тома, еще при жизни матери не раз проводившая лето в Фенином доме, на этот раз возненавидела деревенскую жизнь всей душой. Ее ужаснула бедность, грязь и, главное, трудность ежедневной жизни, в которой она должна была вовсе не отдыхать, как отдыхала бы с Таней на даче, а с утра до вечера то кормить поросят, то нянчить Фенину трехмесячную дочку, то стирать в холодной воде грязные тряпки... Молча и нехотя она все исполняла, ни разу не послушавшись Фени. Дважды она ездила на автобусе в дальнюю деревню навещать братьев. Братья показа-

лись ей ужасными — они стали совсем деревенскими, в рванине, босые и чумазые, дрались и матерились, как взрослые мужики. В Томе они не вызвали ни сочувствия, ни жалости. А уж о любви и речи быть не могло.

Ко времени возвращения в город Тома твердо решила, что никогда в жизни не приедет больше к тетке и сделает все возможное, чтобы навсегда остаться в семье Кукоцких.

Тому совершенно не занимало, любят ли ее в новой семье. Она имела в доме свое место, скорее напоминающее место домашнего животного. В этом не было ровным счетом ничего обидного: в иных домах весь домашний миропорядок крутится вокруг собачки, которую поутру надо вывести, или кошки, которая ест только один определенный сорт рыбы.

У Тома была своя постель в общей с Таней комнате, свое место за столом, между Таней и Еленой Георгиевной, и множество других предметов, которых прежде, в жизни с матерью, у нее никогда не было: собственная расческа и зубная щетка, собственные полотенца в ванной комнате, ночная рубашка, о существовании которой она прежде и не слыхивала. За все за это с нее ничего не спрашивали. Как ни удивительно, с Тани спрос был гораздо больший — и за шалости, и за опоздания из школы, и за неряшливость, которой Таня постоянно грешила. Тома Таню покрывала. Иногда подтирала за ней лужу в ванной или мыла оставленную на столе чайную чашку, иногда, когда они задерживались в школе, брала опоздание на себя:

— Тетя Вася, меня оставили задание переделывать, а Таня меня дожидалась...

И Василиса, второй раз согревавшая девочкам обед, переставала ворчать. Она даже лишней раз Томе замечаний не делала, хотя была очень приметлива и прекрасно понимала все эти маленькие обманы...

А об учебе и говорить было нечего. Таня была почти отличница. Ей не хватало только тщеславия, чтобы получать одни пятерки. Тома за время жизни в доме стала твердая троечница. И неловкость была в том, что Таниными четверками в доме были недовольны, а редким Томиным — радовались. От всех домашних требовалась и деликатность, и постоянная память о том, что равенство — вещь исключительно теоретическая и даже в такой прикладной области, как воспитание, не может рассматриваться как серьезный принцип. Идеи равенства слегка беспокоили Елену, это была обостренная память о ее толстовском детстве. Василиса Гавриловна на эти крючки не клевала:

— Танечка — особо дело, а Томочка — так совсем другое.

И потому она попросту говорила Томе:

— Давай-ка подучу тебя, как капусту квасить, оладьи печь и всякое такое, а то ведь я-то ведь помру, а ты ничего и не сможешь...

Отсутствие этих самых умений у Тани Василису не беспокоило, но Тому она явно рассматривала как свою преемницу в той неопределенной домашней должности, которую сама несла терпеливо и с некоторой гордостью. Зато именно с Томой Василиса могла завести вдруг разговор о самой важной и заповедной части своей жизни, о том, что было запечатано в ее чуланчике, по старому запрету Павла Алексеевича. Именно он еще в раннем Танином возрасте запретил Василисе всякие разговоры с ребенком о божественном. И потому Тому, а не Таню научила Василиса двум первейшим молитвам и велела обращаться к Божьей Матери по всяким трудным случаям.

— И по математике тоже? — простодушно поинтересовалась Томочка, когда Василиса объясняла ей, что покровительница ее и заступница — Божья Мать, которая печется о всех сиротах.

— А как же святая царица Тамара? — напоминала Тома, которой еще прежде Василиса говорила о ее заступнице царице Тамаре, в честь которой она была крещена.

Василиса сердилась и невнятно, но убедительно объясняла:

— Как это ты не понимаешь, то одно, а то другое...

В семье Кукоцких Тома вела себя в точном соответствии с жанром воспитанницы-приемыша. Высоко оценивая жизненные блага, на нее свалившиеся, она боялась их потерять и старалась, чтобы пребывание ее было в доме приятно и полезно. Хотя некоторая доля искательности в ее манерах всегда присутствовала, это совершенно искупалось тем, что Павла Алексеевича она боготворила, Танечкой искренне восхищалась и только Елену Георгиевну в глубине души неизвестно почему опасалась.

Взаимоотношения ее с Василисой были гораздо более сложными. С одной стороны, Василиса была такая же, как и она сама, не господской породы, с другой — Василиса видела Тому насквозь, и даже самый взгляд Василисы поверх веревочкой подвязанных очков был не очень-то приятен, как будто она знает про Тому какую-то тайную и неприятнейшую вещь. И при всем при том была между старой прислугой и маленьким приемышем особого рода близость, и Василиса даже совершенно ошибочно пыталась образовать себе из Тома преемницу не только в посудохозяйственной части, но и в области духовной. Но этого как раз и не получилось. Если поначалу послушливая Тома и молитвы наипервейшие выучила, и с сонным вниманием выслушивала Василисины сбивчивые проповеди, то годам к пятнадцати она от Василисы стала ускользать, поняв, вероятно, что в Василисиных подпольных драгоценностях не нуждается, и паслась исключительно возле Тани, а та — возилась в отцовских книжках, таскала ее в театры и на концерты, а то и в библиотеку, в кино, и походы эти были не просто так, культуры ради, присутствовали в них также мальчики, и Тому это чрезвычайно волновало.

Она играла при Тане роль незавидную, но ей, собственно, и не нужно было своего отдельного кавалера, ее вполне устраивала сама атмосфера похода куда бы то ни было с молодыми людьми. Как наслаждалась она в свое время несметными бутербродами с маслом и сахарным песком, зубной щеткой и ночной рубашкой, так и теперь она радовалась, что мальчики им покупают билеты, ведут в буфет и угощают лимонадом и пирожным...

Мальчики и не думали скрывать перед Томой, что она представляет собой принудительный ассортимент в празднике похода с Таней куда бы то ни было, но Тома по этому поводу и не огорчалась: ни один из них не нужен был ей сам по себе, а все вместе они свидетельствовали, что Тома занимает в обществе очень хорошее положение, коли была и в Большом, и в Малом, и в Художественном, да к тому же и угощена была бесплатными гостинцами...

Среди молодых людей, привлеченных Таниной простой веселостью, доходчивой красотой и кудрявостью, самыми постоянными и наиболее верными были братья Гольдберги, прикипевшие к Тане с тех самых пор, как в ужасную зиму пятьдесят третьего года ездили в дом к Павлу Алексеевичу на подкормку. Подкормка, собственно, с тех пор и не прекращалась: мать мальчиков умерла вскоре после освобождения Ильи Иосифовича, и старый генетик, мужественно перенесший последний арест, не подписавший ни одной лживой бумаги, смертью сорокалетней жены был совершенно сражен.

Он физически развалился, исхудал до самого лагерного состояния. Спасался одной только работой, которую взвалил на себя без всякой меры. Он реферировал во всех реферативных журналах, куда его брали, и все писал свою гениальную книгу о гениальности. Домашняя жизнь Гольдберга тоже развалилась, менялись домработницы, одна крала, другая пила. В третьей, интеллигентной еврейке, приходящей три раза в неделю, он заподозрил агента КГБ. Словом, котлетки с жареной картошкой, любимая еда Гольдбергов, в отсутствие покойной Вали либо вовсе не получались, либо

были отравлены ядом подозрения, для жизни неопасного, но для пищеварения неблагоприятного.

И в который уже раз Василиса проявила большую проницательность и первая обратила внимание на то, что Таня составляет котлетам сильную конкуренцию, и надо еще разобраться, чего это мальчики повадились ходить каждое воскресенье, да еще раз-другой на буднях...

Братья Гольдберги были похожи до неразличимости, но Таня явно предпочитала того из них, который был медиком. В воскресные вечера они иногда задерживались от обеда до ужина, и Виталий, энтузиаст медицины, подливал в огонь масла, рассказывая о сложности и увлекательности учения в медицинском институте, о страстях анатомии и тайнах физиологии... Второй брат, Геннадий, определившийся по физической части, довольствовался созерцанием этой живой беседы, молчал и изредка отвечал на невнятные вопросы, которые задавала ему Тома, уверенная, что Гена честно приходится на ее долю...

Кончился девятый класс, на последнее школьное лето решено было свозить девочек в санаторий в Ялту. Павел Алексеевич сначала планировал ехать вместе с семьей, но в последний момент ему помешала неожиданная почетная командировка на конференцию по проблемам бесплодия. Павел Алексеевич ухмыльнулся про себя — бесплодие интересовало именно Швейцарию, самую богатую страну мира, но не Китай, не Азию, не Африку... Павел Алексеевич отбыл в Цюрих, а Василисе было предложено поехать вместо него в Ялту. Она долго отбивалась, даже поспорилась слегка с Еленой по этому поводу, и в конце концов согласилась, но с условием, что прежде отъедет по своим делам дня на три. И уехала...

Из-за этого экстренного отъезда все опоздали на сутки к началу санаторного срока, поскольку Василиса не вернулась к означенному дню. Но это опоздание компенсировалось той нотой божественного восторга, которую испускала Василиса остальные двадцать три дня, проведенные ею на берегу Черного моря.

Все курортницы увидели море первый раз в жизни. И каждая — свое. Василиса получила свидетельство великого Господня могущества и мудрости. Горы произвели на нее большее впечатление, чем море, но и то и другое вызывало восторг пред Творцом, создавшим весь этот грандиозный инвентарь. Неслезливая и суховатая, она часто отирала скормленным платком непонятные слезы, и обычным ее занятием — за неимением стряпни, стирки, уборки — было праздное сидение на терраске, обращенной в сторону гор, с лицом неподвижным, взглядом остановившимся, как будто за этими горами были еще и другие, видимые только ей одной... Время от времени она впадала в экстатическое бормотание, и Елене, знающей давным-давно весь ее молитвенный репертуар, удавалось уловить обрывки псалмов, из которых Василиса твердо знала только пятидесятый, а остальные — кусками, клочками, отдельными фразами, но умела составлять из них вдохновенное попури...

Кормили в санатории преизобильно, как-то оскорбительно для Василисы, так что, чуть освоившись, она отказалась ходить на завтрак и на обед, а приходила с семьей только на ужин, занимала место за отведенным им отдельным столиком и наслаждалась обслуживанием. Официантки ставили ей еду, спрашивали, почему опять не приходила на обед и не подать ли чего еще... Одновременно с удовольствием она еще испытывала некоторое беспокойство, потому что по своему невеликому, но цепкому уму твердо знала, что если у кого-то излишки, то есть и такие, у кого жестокие недостатки... И христианская ее душа, несмотря на роскошь отдыха, испытывала легкий стыд. В конце концов она призналась Елене, что если в раю будет вот так же вот, то придется ей на какое другое место попроситься, потому что делается совестно.



Зато свою пожизненную и глубокую любовь обрела в Крыму Тома. Здесь, на экскурсии в Никитский ботанический сад, на нее снизошла благодать: она влюбилась в ботанику, как девушки влюбляются в принцев. Произошло это в самом конце их пребывания в Крыму, за два дня до отъезда. Поездка, в общем-то, была неудачная: по дороге сломался автобус, его долго чинили, потом испортилась погода, и хотя до дождя дело не дошло, но солнце посреди дня померкло и нарядный глянец Южного берега замутился. Перед входом в Ботанический сад пришлось ждать экскурсовода, из-за их опоздания ушедшего по своим делам. Стояли возле темной бронзовой доски, на которой было выбито, что Ботанический сад основан в 1812 году Х. Х. Стевенем, воспитанником Санкт-Петербургской медицинской академии... И некому было рассказать им, что Христиан Христианович Стевен человек не чужой, ближайший друг Никиты Авдеевича Кукоцкого, прямого предка Павла Алексеевича, и начало этому государственному делу было положено во время их первого совместного путешествия еще по Кавказу в 1808-м, что Никита Авдеевич не однажды навещал здесь, в Крыму, своего друга, они совершали замечательные многодневные экскурсии по Внутреннему Крыму, и среди семи тысяч листов большого гербария флоры Таврической губернии немало образцов, собранных руками Кукоцкого...

Наконец пришел экскурсовод, толстый человек в украинской расшитой рубашке и в золотых очках, отдаленно напоминающий Никиту Хрущева в его добродушной ипостаси, и повел их вниз по тенистой аллее. Было прохладно и таинственно. Экскурсовод рассказывал о богатейшей крымской флоре, о редких растениях-эндемиках, живущих исключительно в здешних местах, о древних мифах, связанных с растениями...

Тома была городской девочкой, деревню ненавидела, можно сказать, по личным причинам. Проводя в детстве летние месяцы в деревне, она не заметила там никакой природы, все казалось обыденным и оскорбительно бедным. Лес, поле, пруд соединялись в ее опыте с тяжелой работой: в лес посылали собирать ягоду для продажи, в поле — помогать на уборке, на пруд — полоскать белье. Здесь, в Крыму, в Ботаническом саду, природа была бескорыстна, не требовала от нее никаких трудовых усилий. И даже море, соленая вода, которую никому не надо таскать в ведрах из-под горы, создано было исключительно для радости плавания и ныряния.

Тома украдкой гладила глянцевиные, и мохнатенькие, и сухие, как старая бумага, и хвойчато-игольчатые листья кустарников, охраняющих дорожки Ботанического сада, и пальцы ее наполнялись неведанной прежде радостью. Недоласканная в младенчестве, не знающая любовного прикосновения в детстве, и теперь, обеспеченная всеми необходимыми вещами, она была по-прежнему лишена любовного прикосновения, без которого все живое страдает, болеет, хиреет... Может быть, и ее малый рост объяснялся тем, что трудно расти без любовного прикосновения, как без какого-то специального неведомого витамина...

У хрущевообразного экскурсовода оказался совершенно волшебный голос, и то, что он говорил, было настоящей сказкой.

— Вот акация, — указывал он на небольшое, цветущее сладким желтым цветом дерево, — одно из великих деревьев. Египетская богиня Хатхор, Великая Корова, рождающая солнце и звезды, по верованиям древних египтян, имела также ипостась дерева акации, дерева жизни и смерти. Акация была оракулом одной из великих богинь плодородия Передней Азии, и даже древние евреи, отвергавшие идолопоклонство, соблазнились акацией — они называли ее дерево ситтим и еще в древние времена построили из нее ковчег Завета...

Понятно было изо всего сказанного только одно слово — корова. Все остальное было непонятно, но здорово. И оказывалось, что каждое дерево, каждый куст и даже самый маленький цветок имеют иностранное имя, историю, географию и, самое удивительное, легенду своего пребывания в

мире. А она, Тамара Полосухина, ничего подобного не имеет и даже по сравнению с елкой или ромашкой ничего не значит...

И еще возникло чувство — оформленных мыслей у Тома не было, только чувства, приправленные мыслью, — взаимной симпатии с растениями и равенство в незначительности.

«Наверное, среди них есть какое-то одно, точно такое же, как я... Если бы я его увидела, я бы сразу узнала», — думала Тома, касаясь на ходу рододендрона и самшита...

Ни в мыслях, ни в чувствах Таня с Томой почти никогда не совпадали, а если и совпадали, то исключительно благодаря Томиному умению подстроиться на Танину волну. На этот раз они думали об одном и том же: а если бы я была растением, то каким именно?

Из карманных денег, которые Таня тратила немедленно и нерасчетливо, а Тома слегка зажимала, Тома купила в ларьке на выходе из Ботанического сада два набора открыток с местными и средиземноморскими видами растений и скучную книгу «Флора Крыма».

Проблема выбора для Тома подходящей профессии, над которой задумывалась и Елена Георгиевна, и Павел Алексеевич, и только Василиса считала вполне определенным, что Тома должна пойти по ее следу, решила в этот день.

Впереди еще был десятый класс, целый год, чтобы все определить в деталях, подготовиться к экзаменам. Таня нацелилась на биофак, к удивлению Павла Алексеевича, не представлявшего для дочери никакого иного пути, кроме медицинского. Но Таня лепетала что-то о высшей нервной деятельности, об изучении сознания, — первые научно-фантастические американские книги уже были переведены, и мальчишки Гольдберги усердно Таню ими снабжали. Это было очень романтично, гораздо более романтично, чем ежедневная рутинная работа врача. Что же касается Тома, Павел Алексеевич отвез ее в Тимирязевскую академию. Там их встретили с почетом, полагающимся Павлу Алексеевичу, показали опытные поля с кукурузой и соевыми бобами и лаборатории. На Тому впечатление произвела лаборатория искусственного климата, оранжереи с южными растениями, все остальное напомнило о скучной колхозной жизни, с севооборотами, руганью в правлении колхоза и деревенской тоской. На обратном пути она сказала Павлу Алексеевичу, что Тимирязевская академия ей не больно понравилась, а ей бы хотелось в такое место, где с южными растениями работают. Павел Алексеевич попытался объяснить приемышу, что, получив образование, она сможет работать в Ботаническом саду, или в Институте лекарственных растений, или еще где-нибудь, но Тома глухо замолчала: она не понимала, зачем ей нужно получать образование, если в Ботанический сад она и так может пойти работать. Ей всего-то и хотелось — любоваться красивыми растениями, ухаживать за ними, трогать иногда руками и вдыхать их запахи... Пока суд да дело, она развела на подоконнике целое семейство глиняных горшков всех размеров и возилась с лимонными и мандариновыми зернышками...

## 16

Так и получилось, что годом позже Таня сдавала экзамены в университет, преодолевая высокий конкурс и собственную, неизвестно откуда взявшуюся экзаменационную застенчивость, а Тома просто подала заявление на курсы озеленителей при Мосгорисполкоме, чтобы ровно через полгода получить белесую справку, сообщающую о приобретении ею профессии.

Таня на дневное отделение не прошла, недобрала одного балла, но ее зачислили на вечерний. Ей надо было теперь устроиться на работу по специальности, чтобы предоставить к первому сентябрю справку. Павел Алексеевич, не считавший возможным помочь Тане при поступлении телефонным звонком одному из университетских китов, равных ему по рангу, те-

перь снял телефонную трубку и позвонил своему старинному коллеге, профессору Гансовскому, врачу и ученому, заведующему клиникой мозговых нарушений у детей и лабораторией по изучению развития мозга. Просьба Павла Алексеевича была скромной — принять дочку, вечерницу биофака, на работу в должности лаборанта. Профессор Гансовский хмыкнул и сказал, что ждет их хоть завтра.

Павел Алексеевич привел свое сокровище через несколько дней. Таня знала это здание возле Устьинского моста с детства: сюда приводили ее то на рентген, то на прием к детскому кардиологу... Но теперь она входила в обшарпанную дверь с заднего двора, через проходную с черной доской, увешанной номерками. Это было совершенно иное ощущение. Она шла наниматься на работу...

Профессор Гансовский жил почти круглый год на даче, приезжал на работу не каждый день, но в этот день он назначил свидание Павлу Алексеевичу с дочерью еще и потому, что одна из ведущих его сотрудниц, Марлена Сергеевна Конышева, подготовила ему на прочтение рукопись своей докторской диссертации и должна была передать свой пухлый том.

У старого профессора Гансовского отношения с его сотрудницами были богатыми. Ему было уже за семьдесят, лысина отливала веселеньким оттенком хны пополам с басмой, зато бордюр волос, окружающий темечко от уха до уха, был густо-каштановым. Брови он носил натурально черными, и весь его курятник постоянно по этому поводу дискутировал: красит ли он брови и чем... Несмотря на недостойное пола кокетство, он был настолько и безусловно мужествен, что раскраска, не то боевая, не то брачная, вызывала скорее досаду, чем насмешку. Невысокий, широкогрудый, с крупными родинками на щеках, он был похож на старого боксера — и в собачьем смысле тоже. В своей женской лаборатории он царствовал, и все сотрудницы, за исключением уборщицы Марии Фоковны, санитарки Раиски и двух аспиранток (одна осетинка, вторая туркменка, склонные рассматривать индифферентность шефа как дискриминацию) прошли через его мощные, непропорционально длинные руки, и недовольных, надо признаться, не было. Все эти пикантные подробности биографии Павлу Алексеевичу не были известны. Чтобы знать сплетни, надо все-таки иметь к ним известный интерес. Павел Алексеевич не знал даже, что первая жена Гансовского работает всю жизнь в лаборатории, и вторая, более молодая, кончила здесь же аспирантуру и осталась ординатором в клинике, и еще была одна, в ранг жен не восшедшая, полная миловидная лаборантка Зина, немолодых лет, которой Гансовский помогал всю жизнь воспитывать сына, и Галя Рымникова, колокольного роста, с кукольной головкой, которая проработала два года его личным лаборантом, а потом ушла с большим, едва заштопанным скандалом, и еще кое-какие мелочи, интересные в основном участникам этого многолетнего спектакля... Зато Павел Алексеевич знал прекрасные работы Гансовского по эмбриогенезу мозга и считал его на этом основании подходящим для Тани учителем.

Таню ввели в кабинет. Здесь стояли шкафы с породистыми книгами, два бронзовых бюста неизвестно кого, несколько больших стеклянных банок с препаратами мозга — застывшими завитками цвета детского мыла... В простенке между окнами висели черно-красные таблицы и фотографии подкрашенных пейзажей, где реки были микронными капиллярами, берега — волокнами поперечно-полосатой мускулатуры, и громоздились горы, разверзались впадины, и все это геологическое по виду действие разыгрывалось в окуляре микроскопа с не бог весть каким увеличением...

— Я передам вас, Татьяна Павловна, на руки к моей ученице, Марлене Сергеевне. Она вас научит необходимой гистологической работе. Она большой мастер по изготовлению препаратов. С этого мы начнем... А там посмотрим...

Он встал, оказался коротконог, на полголовы ниже Тани, но двигался быстро и резко, как теннисный мяч. И махнул рукой, чтобы шли за ним...

Лаборатория помещалась в старом доме, занимала два этажа и какие-то межэтажные закоулки с окнами, вписанными то возле пола, то возле потолка, как будто из прежних двух этажей было выкроено три. Два почтенных академика вели за собой стройную кудрявую девушку, и сердце ее замирало ото всего — от запахов вивария, чего-то химического, вареного, горячего, противного, притягательного. То же самое чувство испытывает, наверное, обреченная театру ученица, впервые попадая за кулисы...

Коридор сделал последний поворот около пожарного шланга, свернутого змеей за стеклянной дверцей, и они вошли в святая святых... Там было стекляннно-хрустально, прозрачно и прекрасно. Старый лабораторный стол с мраморной столешницей, вполне пригодной для надгробья, широкоплечий шкаф с тяжелыми выдвижными стеклами и прозрачные шкафчики с разложенными внутри сверкающими инструментами, стеллажи с химической посудой, со стерильным нутром. Прелесть мелких стеклянных трубочек, шарообразных и конических колб...

На обычных письменных столах стояли микротомы на приземистых чугунных подставках, с предметными столиками и чудовищными треугольными лезвиями, с выведенными до бритвенной остроты режущими поверхностями. Микроскопы, сверкающие медными детальками и разнообразными винтами, задирали свои рога. Под круглым прозрачным колпаком из неравномерно утолщающегося книзу стекла сияли торсионные весы... И было еще великое множество незнакомых предметов, притягивающих зачарованный взгляд Тани.

У лабораторного стола стояла высокая женщина с черно-седой челкой, узкоглазая и некрасивая, со слишком коротким расстоянием между кончиком носа и верхней губой. В лице ее была брезгливость, чистоплотность, тщательность и еще что-то специально для Тани притягательное — не то уверенность, не то безукоризненность... Халат ее сверкал высокогорной белизной, руки были хирургически отмыты, а пальцами она совершала какие-то мельчайшие движения.

Обернувшись на мгновенье, она снова уткнулась в свою ювелирную работу, извинившись, что еще несколько минут ей понадобится, чтобы закончить...

— Старое немецкое оборудование, — с удивлением заметил Павел Алексеич.

— Да, все довоенное. Вывезли из Германии. Но пока что ничего лучше не научились производить. Йенская оптика, знаете, золингеновская сталь... — ухмыльнулся Гансовский. — Я сам и вывозил. Здесь у нас оборудование из Гумбольдтовского университета...

Но Таня не слышала, о чем они говорили, — она глаз не могла отвести от того, как Марлена Сергеевна крошечными, какой-то изысканной формы ножничками и тонким пинцетом прикасалась к атласно-розовому округлому пузырю, лежащему на предметном стекле. Рядом на мраморном столе лежала целая шеренга таких же стекол с розовыми пузырями и отталкивающего вида зубообразный лоток.

— Марлена Сергеевна, я привел вам дочь нашего уважаемого доктора Кукоцкого. Молодой биолог, — захекал профессор довольно противно, — к вам на выучку. Побеседуйте, пожалуйста, с девушкой, а я пока проведу Павла Алексеича по лаборатории...

И они вышли, а Таня осталась.

Марлена Сергеевна кивнула ей:

— Подойди поближе и посмотри, что я делаю...

И Таня увидела. Ученая дама, которой предстояло на несколько лет стать Таниным кумиром, маникюрными ножницами надрезала розовый пузырек, который оказался крохотной головкой новорожденного крысенка, отогнула края надреза пинцетом и аккуратнейшим образом сняла тон-

чайшую, толщиной в детский ноготок, пластинку черепной кости, чтобы не повредить нежное белое вещество, самое сложное из всего, что создала природа, — ткань мозга...

Подрезав пластинки у основания, Марлена Сергеевна легким прикосновением пинцета сняла их, и обнажилось два удлинённых полушария и две обонятельные доли, выступающие вперед. Ни одной царапины, ни одного пореза не было видно на этом сдвоенном зерне. Мозг перламутрово блеснул. Тонким пинцетом Марлена Сергеевна перекусила продолговатый мозг там, где он соединялся со спинным, специальной лопаточкой приподняла эту мерцающую жемчужину, и в тот момент, когда мозг укладывался на лопаточку, Таня заметила легчайшую сетку сосудов, еле видимых глазом. Только что мозг помещался, как в чаше, в своем природном ложе и казался архитектурным сооружением, а теперь соскользнул тяжелой каплей с хромированной лопаточки в стеклянный бюкс, наполненный прозрачной жидкостью... В бюксе уже лежало несколько таких же горошин, успевших немного съежиться...

— Здесь требуется большое внимание и аккуратность, — сказала Марлена Сергеевна. — Собственно, мелкие порезы с боков допустимы, нас интересуют не поверхностные, а более глубокие слои мозга...

Разговаривая, она приподняла марлевую салфетку с лотка: в нем шевелилось несколько новорожденных крысят вперемешку с уже обезглавленными туловищами, головки от которых пошли в жертву высокому и кровожадному богу науки... От этого незаконного сочетания живого, слепешевелящегося, теплого и доверчивого и обезглавленного, декапитированного, как говорила Марлена Сергеевна, тошнота поднялась от желудка к горлу. Таня проглотила слюну...

— Крыски мои, — заворковала ученая дама, взяла крысенка двумя пальцами, погладила по узкой хребтинке и другими ножницами, покрупнее, лежащими справа от лотка, точно и аккуратно отрезала головку. Слегка вздрогнувшее тело она сбросила в лоток, а головку любовно разложила на предметном стекле. После чего испытующе посмотрела на Таню и спросила с оттенком странной гордости:

— Ну, а ты так сможешь?

— Смогу, — ни минуты не промедлив, ответила Таня. Она вовсе не была уверена, что действительно сможет.

«Надо», — сказала она себе и, мужественно справившись с позывом к рвоте, взяла в левую руку нежную атласную пакость, новорожденного крысенка, оказавшегося на ощупь очень теплым, а в правую — холодные, прекрасно подогнанные к руке ножницы и, зажавши просвещенным, рвущимся к науке разумом глупую бессмертную душу, надавила на верхнее кольцо большим пальцем. Хрумс — и головка упала на предметное стекло.

— Молодец, — одобрительно сказал мягкий женский голос.

Жертва была принята, Таня прошла испытание и была посвящена в младшие жрицы.

## 17

С годами Павел Алексеевич находил все более смысла в чтении древних историков.

— Это единственное, что примиряет меня с сегодняшними газетами, — постукивал он твердым, в йодистой рамке ногтем по кожаному переплету «Двенадцати цезарей».

Василиса убирала у него в кабинете, он сидел в комнате девочек, ожидая конца ежемесячного мероприятия. Таня удивленно поводила тонкой, с фамильной кисточкой у основания, бровью:

— Не вижу никакой связи, пап.

— Как тебе сказать? Юлий Цезарь был гораздо талантливее Сталина как полководец, Август во сто крат умней, Нерон более жесток, а Калигула более изобретателен на всякую мерзость. И все, решительно все, и самое кровавое, и самое возвышенное, становится исключительно достоянием истории.

Таня приподнялась с подушки:

— Но как-то грустно думать, что все так бессмысленно и все жертвы напрасны.

Павел Алексеевич усмехнулся и погладил шагреновый переплет:

— Какие жертвы? Не бывает никаких жертв. Есть только инстинкт самооправдания, оправдания действий, иногда глупых, иногда бессмысленных, чаще злых и корыстных... Через какую-нибудь тысячу лет, Танечка, а может, через пятьсот, старый гинеколог вроде меня — уж нашу-то профессию никакой прогресс не отменит — будет читать старинную русскую историю двадцатого века, и там будет две страницы про Сталина и два абзаца про Хрущева. И несколько анекдотов...

«Надо будет потом у Тани спросить, что он имеет в виду», — решила Тома. Что будет после коммунизма, про это ей не говорили. Хотя, в конце концов, какая разница, нас-то уже не будет... У нее была серьезная забота — бледные пятна появились у основания листьев и на них восковой слой как будто немного размягчен. Она провела кончиками пальцев по листовой поверхности — ну точно, размягчен. И кажется, такое же пятно намечается у драгоценной юбки...

«Неужели вирус?» — ужаснулась она и навеки забыла про коммунизм. Она была уже довольно опытной сотрудницей Мосгорозеленения, и два раза ей приходилось сталкиваться с вирусными заболеваниями растений, но то были растения казенные, один раз в скверике у Большого театра, второй — в теплице, откуда им присылали рассаду. И в обоих случаях справиться с вирусом не удалось, он погубил-таки и бархатцы, и левкой. А здесь цветы были свои, любимые, и Тома засунула в рот большой палец левой руки и начала сосредоточенно подгрызать под корень ноготь... Она отгрызла какую-то микроскопическую малость и принялась за обследование своих джунглей — к концу пятидесятых годов ее стараниями квартира Кукоцких совершенно преобразилась: не осталось ни одной поверхности, не занятой горшками и банками с вечнозелеными растениями.

Поначалу жесткая зелень радовала глаз Елены, потом она начала слабую борьбу с жестяными консервными банками и старыми кастрюлями, в которые Тома высаживала своих питомцев. Елена покупала горшки, кашпо, но помочных банок все прибывало. Подоконники были плотно заставлены, и глянцевиная армия перебиралась на обеденный и письменные столы, опускалась на пол. Детская, Танина когда-то комната, выглядела давно уже подсобным помещением цветочного магазина.

Таню это растительное изобилие мало беспокоило, она дома почти не появлялась. Убегала рано на работу, к своим крысам и кроликам, операциям и препаратам, с работы неслась в университет и приходила в половине двенадцатого, валясь с ног. Дни, свободные от учебы, она тоже где-то пропадала, то в гостях, то в развлечениях. Тома постепенно перестала участвовать в Таниной вечерней жизни. Какие-то новые друзья завелись у Тани, мальчики Гольдберги уступили место другим, более интересным молодым людям, которые в доме не появлялись.

Елена приходила обыкновенно с работы в начале седьмого и вместо Тани находила Тому с детской лейкой в руках, все шушукующую со своими горшками. У Тома рабочий день кончался рано, в половине пятого она уже была дома. Василиса, ворча, кормила всех по отдельности.

Павел Алексеевич вкалывал как рабочий горячего цеха, в две смены. Кроме института и клиники он взялся преподавать на курсах повышения

квалификации врачей, что всех и удивляло, и раздражало: это было вовсе не дело академика — три раза в неделю допоздна читать лекции провинциальным акушерам, старым повивальным бабкам, которые если и получили когда-то медицинское образование, то уже и сами не помнили, в чем оно заключалось. Своими обязанностями академика он как раз пренебрегал. Как школьник, прогуливал заседания президиума, отстранился от начальства. К его репутации пьяницы добавилась еще и молва о чудачливости.

Давно уже сменилось руководство в министерстве, на место Коняги заступил сперва старый кагэбэшник с ветеринарным образованием, потом знаменитый хирург, беспощадный карьерист и вор. Павел Алексеевич распрощился безо всякого сожаления со своим великим проектом переделки здравоохранения, и переделка эта происходила без его участия, хотя давным-давно забытые им самим бумаги лежали в сейфе нового министра и он изредка их пробегал глазом — было небесполезно...

Медицинское влияние Павла Алексеевича, несмотря на холодные отношения с начальством, было необыкновенно широким. Все эти провинциальные тетки, приезжавшие с окраин огромной страны, перенимали от него и старые приемы родовспоможения, и новые подходы к сохранению беременности, лечение воспалительных процессов и послеродовых осложнений... Он написал несколько учебников для среднего медицинского персонала — считал эту категорию незаслуженно пренебрегаемой, — монографию по вопросам бесплодия.

Но главным делом всегда оставалась больная — брюхатая пациентка, приносившая ему свое чрево с червоточинкой, с неполадком, с тревогой. Приемы разного уровня — еженедельные консультации, просьбы знакомых, частные консультации. Хотя давно уже существовала кремлевская больница, именно к нему часто обращались жены и дочери первейших лиц государства — кому рожать, кому оперироваться...

Одно из отделений клиники с эвфемистическим названием «Диагностическое» занималось выскабливаниями, среди которых порой случались и диагностические... Это было чуть ли не единственное место в городе, где операцию обезболивали, в прочих грех наказывали жестоко — дерзкое решение избавиться от нежеланного ребенка уже включало в себя почти автоматически испытание болью... Четыре хирурга этого отделения и четыре квалифицированные сестры не покладая шестнадцати рук скребли и скребли. Анестезия самая примитивная: местный наркоз, новокаин, двадцать пять минут работы, пузырь льда на замороженный живот — и следующая...

Павел Алексеевич редко заходил в это отделение. Искусственное прерывание беременности он считал самой тяжелой из гинекологических операций в моральном отношении и для женщины, и для врача... Но разве не здесь пролегает существенная граница между человеком и животным, возможность и право выхода за пределы биологического закона — производить потомство не по воле природных ритмов, а по своему собственному желанию? Не здесь ли реализуется человеческий выбор, право на свободу, в конце концов?

Позицию противоположную, крайнюю представляла Василиса. С тех пор, как она сменила свое обожание Павла Алексеевича на полное его неприятие, он даже как-то серьезнее стал к ней относиться. У нее оказалась нелепая, с точки зрения доктора, тупая и бесчеловечная, но по-своему нравственная позиция. Печально только, что она своим мракобесным ужасом перед абортными повлиять на Елену, внушила ей церковно-христианскую нетерпимость. Василисина малограмотность и ее воззрения вполне гармонически сочетались. Но Елена? Как объяснить ей, что не Молоху он служит, а несчастным людям гнусно устроенного мира... К тому же практически он никогда и не занимался сам искусственным прерыванием бере-

менности. Может быть, единственное, что его теоретически интересовало во всем мероприятии, это утилизация ценнейших биопродуктов, которые возникают в данном случае как отход. Но это разрабатывали гематологи, целая лаборатория, которую возглавлял его толковый ученик... Нет, был еще один аспект, занимавший Павла Алексеевича, он даже рекомендовал одному из своих сотрудников поразмыслить над гормональным послеабортным сворачиванием, то есть процессом, совершенно не изученным: как женский организм проживает искусственное прерывание беременности, какие гормональные последствия имеют место и как помочь организму с наименьшими потерями выйти из этого состояния...

Этот разлад между его разумной профессиональной деятельностью и каменной стеной неприятия, на которую он наталкивался дома, — разумеется, речь шла о жене, а не о безмозглой Василисе, — побуждал его к размышлениям, и он, словно оправдываясь, постоянно писал об этом заметки, записки, комбинировал медицинские случаи с самыми отвлеченными соображениями — доморощенная философия медицины. Эти разрозненные мысли он и не пытался оформить в нечто стройное и внятное... Илья Иосифович Гольдберг, постоянно производящий бесчисленные мелкоописанные листы бумаги и каждый раз оповещавший друга о грандиозных своих замыслах, полностью отбил у Павла Алексеевича охоту строить всеобъемлющие концепции и возводить планетарные планы...

В отличие от Гольдберга, загоравшегося как сухой хворост на каждом новом повороте научной мысли, Павел Алексеевич десятилетиями наблюдал все тот же объект, разводил бледные створки затянутой в резину левой рукой, вводил зеркальце на гнутой ручке и пристально вглядывался в бездонное отверстие мира. Оттуда пришло все, что есть живого, это были подлинные ворота вечности, о чем совершенно не задумывались все эти девочки, тетки, бабки, дамы, которые доверчиво раскидывали перед ним изнанку ляжек.

И бессмертие, и вечность, и свобода — все было связано с этой дырой, в которую все проваливалось, включая и Маркса, которого Павел Алексеевич никогда не смог прочитать, и Фрейда с его гениальными и ложными теориями, и сам он, старый доктор, который принимал и принимал в свои руки сотни, тысячи, нескончаемый поток мокрых, орущих существ...

Когда Илья Иосифович, давно уже освобожденный из предпоследней, как выяснилось впоследствии, отсидки, вдохновленный новым расцветом своей возлюбленной науки, увлекшийся теперь молекулярной генетикой, разглагольствовал о тайном шифре жизни, открытом в ДНК паршивыми англичанами, как называл он Уотсона и Крика, и негодовал, что нас, то есть советских, так обошли, Павел Алексеевич, упершись подбородком в большие сложенные плетенкой ладони, осаживал его на горячем бегу:

— Ты, Илюша, ученый — хер печеный, а я простой пиздяных дел мастер, мне не очень понятно, чего ты так кипятишься. Ну, ясное дело, что бусурманы твою спираль изобрели. У них финансирование хорошее. А у меня оборудование в клинике швейцарское, сказать, какого года? Одна тысяча девятьсот четвертого. А у тебя, скажи, пожалуйста, центрифуга в лаборатории какого года производства?

— Так в том-то и дело, Паша. Нам бы их деньги, мы бы всех обштопали. Молодежь у нас талантливейшая, такой потенциал! — Озабоченность его на мгновение сменялась теплой тенью. — Знаешь, у Витальки отличная голова оказалась. Отличная! Жаль, что его куда-то в биофизику затягивает. Блюм его соблазнил... Так вот понимаешь, Павел, нам бы их деньги...

— Откуда же у них деньги берутся, Илья? — слегка подзадоривал Павел Алексеевич Гольдберга, и тот мгновенно клевал:

— Колонии, Паша, английские колонии, империализм и чудовищная эксплуатация. Ты как ребенок, Павел, просто удивительно.

Павел Алексеевич кивал головой:



— Ребенок, ребенок. Сам ты ребенок, Илюша. Приступ старческой ветрянки. Прописываю тебе Spiritus vini три раза в день по сто пятьдесят грамм. Как у тебя после восьми лет лагерей язык поворачивается произносить это ужасное слово «им-пе-ри-а-лизм»?

Павел Алексеевич наливал точнехонько сто пятьдесят граммов в стакан и укладывал толстый кусок сала на грузный ломоть хлеба — Василиса любила так вот стebухать, избыльно... На этот раз выпивали они у Павла Алексеевича в кабинете. Теперь Гольдберг довольно часто заезжал к Кукоцким, дорога в Малаховку была неблизкая, засиживался он в лаборатории допоздна и ночевал иногда по московским квартирам друзей.

Гольдберг вскакивал, переворачивал стул, или сшибал лампу, или хотя бы сталкивал со стола тарелку.

— Из-за таких, как ты... из-за таких, как я... — вопил уязвленный Гольдберг. — У моего отца был счет в швейцарском банке, он был лесоторговец! Дом на Мойке, дом на Лубянке! Дача в Ялте! Я в социальном смысле труп. Я не могу им говорить, что они нарушают ленинские принципы. Кто услышит меня? Я перед этой страной пожизненно виноват.

— Ну хорошо, ты виноват. А я-то в чем перед страной виноват? — интересовался Павел Алексеевич, хотя прекрасно знал, какое обвинение предъявит ему лучший друг.

— Как? Твой отец был в генеральском чине! От него зависело...

Павел Алексеевич зевал, мотал головой и просил Елену дать раскладушку и белье. У нее все было наготове. Она Илью Иосифовича любила и жалела.

Илья Иосифович храпел на раскладушке, сраженный усталостью и алкоголем, а Павел Алексеевич от этой носовой трехступенчатой музыки долго не мог уснуть, размышлял ясным ночным размышлением: какое нравственное величие и какая непроходимая глупость совмещаются в одном человеке! Джигит еврейский! Что это, какая-то особая еврейская болезнь — синдром российского патриотизма? Вроде псориаза или болезни Гоше...

Павел Алексеевич вспомнил о недавней пациентке, молодой еврейке, родившей второго ребенка с болезнью Гоше. Наследственное заболевание... Гольдберг что-то говорил о накоплении рецессивных генов у древних народов с высокой частотой родственных браков. И выдал что-то об оздоровлении человечества через смешанные браки. Чуть ли не о создании новой расы людей бредил... А в действительности, если взглядеться, все больны. Все вокруг больны. Ассистент теперешний, Горшков, болен ненавистью к теще. У него даже тембр голоса меняется, когда он о ней говорит. А что говорить о ней — вздорная старушка, сердечница, диабетик... Медсестра Вера Антоновна помешана на микробах — собственное белье в автоклаве выжаривает... А Леночка? С ее снами... Глаз смотрит внутрь, что она там видит? Спрашиваешь ее о чем-нибудь, она как будто просыпается. В лице испуг, напряжение. Тома шепчется с цветочными горшками, Василиса крестит плиту, прежде чем конфорку зажечь... Большой сумасшедший дом. Одна Танечка здоровый человек с нормальными реакциями. Впрочем, в последнее время она плохо выглядит. Бледная. Круги под глазами. Или переутомляется, или... Может, снимок сделать?

«В воскресенье с ней поговорю», — решил Павел Алексеевич.

Воскресные утра были обыкновенно их собственные, совершенно отдельные. Василиса еще с вечера уезжала куда-то за город на богомолье. Елена, никогда прежде в церковь не ходившая, тоже стала в последнее время богомольничать, как будто назло Павлу Алексеевичу. Правда, ходила в другое место, не с Василисой. Нашла на Пречистенке, в старом московском храме, какого-то священника из архитекторов, с которым и обсуждала свои чертежные сновидения. Тома же отправлялась на поклонение к рододендронам и олеантрам в Ботанический сад.

Воскресные утра принадлежали безраздельно Тане с Павлом Алексеевичем. Они завтракали вдвоем, часа по два обсуждали все на свете — и рабочие дела, и литературу, и политику. Павел Алексеевич прилежно слушал по ночам свой старинный ламповый «Телефункен», все враждебные голоса, которые пробивались через воюющие заслоны, Таня почитывала первый самиздат — неизвестные стихи известных поэтов и какие-то новые, свежеспеченные. Иногда совала и отцу что-то особо ей понравившееся. Им важно было обо всем друг другу рассказать. Политика их до некоторой степени занимала, но обоим интереснее были сосуды и капилляры.

Таня освоила специальность гистологического лаборанта играючи — дело тонкое и кропотливое, в котором все ей нравилось. Она варила красители-гематоксилины по старинным, чуть ли не средневековым прописям. Часами выпаривала, отстаивала, фильтровала, перегоняла. Рассказывала Павлу Алексеевичу о своих достижениях, а он усмехался — ничего не меняется, все то же самое. И в его студенческие годы они изучали препараты, окрашенные теми же способами. Гематоксилин Эрлиха. Жидкость Кульчицкого...

Тане нравилась вся процедура приготовления препарата, подчиненная точным законам, начиная от того момента, когда крысиный мозг плавно соскальзывал в фиксирующую жидкость, вплоть до резки тяжелым микротомным ножом матового парафинового кубика, содержащего внутри себя равномерно пронизанный парафином мозг. Тонкая ленточка микронных срезов оставалась на ноже, и легкой кисточкой Таня смахивала их на предметное стекло, приклеивала, закрепляла и красила тем самым гематоксилином, который сама три дня готовила... Только у старухи Виккерс, личного лаборанта Гансовского, препараты были лучше Таниных. Но Виккерс пятьдесят лет ничем другим не занималась. К тому же Каролина Ивановна не могла самостоятельно освоить ни одной методики, а Таня с наслаждением и азартом бралась за каждую новинку...

Лаборатория изучала строение и развитие мозга. Морфологи и гистологи наблюдали в окуляры примитивных микроскопов за растущими деревьями капилляров мозга, выслеживали тайные процессы проторивания новых проводящих путей в мозге взамен пораженных или дефектных. Часто они использовали методику экспериментальной наливки туши в кровеносную систему. Кровь постепенно замещалась тушью, и на приготовленных впоследствии препаратах можно было наблюдать отчетливые темные веточки, набитые зернистой темно-серой икрой, — именно так выглядела тушь под микроскопом. Наиболее эффективен этот метод был в случае, когда наливку производили на живом животном. Сердце его билось, не успев еще разобраться, что вместо живой крови гонит мертвую тушь, и лишь постепенно, изнемогая от кислородного голода, сердце замедлялось и останавливалось. Чаще, однако, наливку производили на умершем животном, подвергнутом предварительно разным научным воздействиям. Делать было несколько проще, но сосуды так хорошо тушью не заполнялись. Наборы необходимых для этих процедур инструментов различались — что существенно для дальнейших событий.

В одно из воскресений Танечка с гордостью сообщила отцу, что ее назначили ответственной за хирургическую комнату и она теперь заведует ключами от шкафчика, в котором хранится весь лабораторный инструментарий. Теперь каждый, кому предстояло спуститься в операционную, находившуюся в полуподвальном этаже, обращался к Тане за корнцангами, зажимами, скальпелями и пилами — страшными и красивыми орудиями резки и пилки костных тканей. Там внизу, в операционной, резали, кроме крыс, еще и кошек, собак, кроликов... Но основная Танина работа заключалась в изготовлении тончайших гистологических препаратов, и эта работа ей очень удавалась.

Таня наслаждалась новым для нее ощущением профессионализма, когда глаза и руки живут в согласии, нисколько не нуждаясь ни в командах, ни в присмотре высшей инстанции, делают свое дело независимо и автономно, а дело льнет к рукам, словно радуясь происходящему творению... Из Таниных восторженных вздохов, из горячности ее рассказов именно о деталях он узнавал в ней человека родственной ему природы — дельного...

В заветном своем ночном писании в те месяцы он отметил: «Такое засилие болтунов настало, какого прежде не было. Развелось множество людей, профессия которых — исключительно пустое и даже подлое словоговорение. Весь народ заметно поделился на говорящих и делающих. Целые учреждения, специальные должности — ужасная зараза. Какое счастье, что Танька из породы дельных людей. Дело, профессия — единственная точка опоры. Все прочее весьма колеблется».

Весной шестидесятого года Таня сдала отлично сессию, и ей предложили перейти на дневное отделение. Она отказалась, даже не посоветовавшись с домашними. Хотя вечерняя учеба действительно была трудной, но оставлять лабораторию она не собиралась: настоящая ее жизнь происходила именно там, среди колб, крыс, препаратов, в тесном общении с Марленой Сергеевной. Сам Гансовский к ней присматривался. Старуха Виккерс собиралась на пенсию, и он подумывал о том, не взять ли на ее место Таню. Марлена Сергеевна догадалась о намерении шефа и, дорожа Таней как лаборантом, сообщила ему на всякий случай, что та собирается переводиться на дневной. Затевалась небольшая, но совершенно классическая интрига на производственной почве. Таня, как водится, об этом ничего не знала.

Детская клиника, существовавшая при лаборатории, в летние месяцы обыкновенно сворачивалась, оставляли только острую патологию и отдел развития, в котором содержались здоровые дети, оставленные в роддомах отказавшимися от них матерями. До трех лет их содержали здесь, под присмотром педиатров и физиологов, изучавших развитие «нормального» ребенка, потом распределяли по детским домам. В эти летние месяцы, когда клиника почти прикрывалась, аспиранты и научные сотрудники имели возможность сосредоточиться на той работе, которая в диссертациях шла в раздел «Экспериментальная часть». Жизнь лаборатории становилась интенсивней, в хирургической оперировали каждый день, по жесткому графику. Прибавлялось работы и Тане — она отвечала за стерилизацию и выдачу инструментов.

Событие, ставшее самым значительным в ее жизни, начиналось очень невзрачно и обыденно. Миловидная, припадающая на полиомиелитную ногу лаборантка Рая, держа в цепких руках лоток, укрытый пожелтевшей от многих стерилизаций пленкой, попросила выдать ей набор инструментов для наливки тушью.

— Кого наливаєшь? — деловито спросила Таня.

— Плод человеческий, — ответила Рая.

Таня звякнула ключом, отпирая стеклянный шкаф с мелкими металлическими драгоценностями, вытащила из сломанного бимса пинцеты, скальпели, пересчитала всю эту старую дребедень поштучно и, подбирая зажимы, спросила как бы между прочим:

— Живой, мертвый?

— Мертвый, — спокойно отозвалась миловидная Рая, расписалась в тетрадке за полученный инструментарий и стала неровно спускаться в полуподвал по круто прорубленной вниз лесенке...

Она уже успела прогромыхать донизу и шваркала рукой по стене в поисках выключателя, когда Таня поняла, что именно она спросила... А поняв, положила ключ от операционной на место, сняла белый халат, повесила его на вешалку и вышла из лаборатории. Больше она туда не вернулась. Не вернулась она и в университет. Роман ее с наукой закончился в этот самый час и навсегда.

Неделю она молчала. Утром, как обычно, уходила из дому, шла пешком куда глаза глядят — то в центр, то в Марьину рощу, то в Тимирязевскую академию. Сроду не было у нее такого пустого времени. Лето было поздним, и, хотя был уже конец июня, зелень парков была еще новой, необтрепанной, и липа цвела запоздало, и особенно обаятельными были за-коулки, проходные дворы, ветхость деревянных домов казалась милой и домашней, и Таня бродила до усталости, потом покупала хлеба, плавленый сырок, бутылку теплого лимонада и устраивалась в каком-нибудь укромном, уютном месте, возле дровяных сараев, на откосе заброшенной ветки железной дороги, в парке на лавочке...

Состояние ее было весьма странным, раздвоенным. Кажется, что она вовсе ни о чем не думала, только ходила и смотрела по сторонам, но мысль сидела внутри ее, сама поворачивалась с боку на бок, так и эдак, и даже не отчетливая какая-то мысль, а это поразившее ее до глубины событие, что она, Таня Кукоцкая, спросила у Раи Пашенковой, живой ли плод, то есть живой ли ребенок, и если бы он был живым, то она выдала бы Рае необходимые инструменты, чтобы налить в вену тушь и умертвить в процессе этого мероприятия живого ребенка... не крысенка, не котенка и не крольчонка, а существо с именем, фамилией и днем рождения... Неужели каждый человек так близок к совершению убийства или это нечто особое, что произошло только с ней?

Пробуждаясь по городу с утра до вечера, она возвращалась домой, ужинала, ложилась спать, быстро засыпала, но вскоре просыпалась и маялась без сна. Однажды среди ночи она, не выдержав пустоты бессонницы, оделась и тихонько выскользнула на улицу. Прошла по окрестным знакомым дворам, преобразившимся в огромные театральные декорации. Вышла луна, быстро пробежала по небу и закатилась над Бутырской тюрьмой. Потом подул ветер, посветлело небо, дворничиха, нанятая взамен Лизаветы Полосухиной, начала мести сухой метлой двор, поднимая облачко пыли...

К половине седьмого Таня вернулась домой, легла и заснула. Когда Тома стала ее будить, она пробурчала, что куда-то сегодня не идет... Потом Елена склонилась над ней:

— Танюш, что случилось? Не заболела?

Натянув простыню на голову, Таня ответила ясным голосом:

— Не заболела. Сплю. Оставьте меня в покое.

Елена удивилась: что за ответ? Таня никогда не грубила...

Проснулась Таня к обеду. В доме никого не было, даже Василиса куда-то ушла. Таня обрадовалась, что никому ничего не надо объяснять, и опять пошла шататься без цели и без смысла... Палиха, Самотека, Мещанские... Деревянные дома, остатки слободской жизни...

Она, пожалуй, уже была готова поговорить обо всем с отцом и послушать, что скажет ей он, самый главный, самый умный, самый ученый... Но отца не было, он был в срочной командировке, и Таня сердилась и готовила для него длинную ехидную фразу: когда ты нужен, то всегда либо на операции, либо на консультации, либо в Праге, либо в Варшаве...

Еще можно было бы поговорить с Виталькой Гольдбергом, но он шабшил на каком-то коровнике в Костромской области... Говорить с матерью, Томой или Василисой — все равно что с кошкой советоваться...

Когда Таня вернулась домой, Тома уже завалилась спать, матери почем-то не было дома, а Василиса сидела на кухне, перебирала гречку.

— Есть будешь? — спросила Василиса.

Есть Тане не хотелось. Она налила себе чаю, села напротив Василисы и огорошила ее вопросом:

— Вась, как ты думаешь, когда душа прикрепляется к ребенку — сразу при зачатии или только при рождении?

Василиса вылупила на нее свой пуговичный живой глаз и ответила без малейшего колебания:

— Знамо дело, при зачатии. А как иначе?

— Это церковное учение или ты сама так думаешь?

Василиса честно наморщила лоб. У нее было упорное заблуждение: именно то, что она думала, и казалось ей церковным учением, но теперь она вдруг засомневалась — второй вопрос оказался сложнее первого.

— Да что ты меня пытаешь, у отца спроси, ему-то виднее, — рассердилась вдруг она.

— Спрошу, когда приедет. — И Таня, оставив грязную чашку на столе, ушла.

Василиса закрыла глаз, задумалась: а неспроста... чего это вдруг ей надо знать про это? Может, Елене шепнуть? Впрочем, и сама Елена в глазах Василисы в этом отношении не была вполне благополучна.

## 19

Павел Алексеевич приехал из Польши с целым чемоданом подарков. Он, по своему обыкновению, зашел в первый попавшийся магазин и закупил все, включая чемодан. Магазин оказался по случайности специализированным — для новобрачных, и потому все покупки были белыми, кружевными, пошлейшими. Василиса с Томой ахали над красотой, а Таня с матерью только понимающе улыбнулись друг другу... Промаяхнул отец. Впрочем, туфли белые оказались впору и Елене, и Тане... Прошло еще три дня, прежде чем настало воскресное утро, которого Таня так ждала. К этому времени в бессмысленных прогулках она выходила целую теорию отрицания мира, дурацкого, бредового, поганейшего мира, жить по законам которого она решительно отказывалась.

За завтраком она рассказала отцу о главном происшествии. Очень сдержанно и точно. Ему ничего не надо было разжевывать, он мгновенно понял самое зерно.

— Ты понимаешь, о чем я хочу с тобой поговорить? — закончила она свой рассказ.

Он сидел молча, и Таня молчала, ждала, что он скажет. А он вспоминал ее трехлетнюю, пятилетнюю, примерял на взрослую, с несчастным лицом молодую женщину все ее глупые детские прозвища — бельчонка глазастого, вишенку, котика... Неужели и здесь ожидает его крах?

— Ты хочешь говорить о профессионализме? — спросил он дочь.

— Именно, — кивнула она.

— Видишь ли, профессия — это угол зрения. Профессионал очень хорошо видит один кусок жизни и может не видеть других вещей, которые его профессии не касаются.

— Пап, я читала об эсэсовских врачах. Они проводили опыты по воздействию на человека, кажется, низких температур или какой-то химии. Они ставили опыты на пленных, все равно приговоренных к расстрелу. Ну, к уничтожению.

— Да, да. Знаю. Ужасно. Их потом судили на Нюрнбергском процессе. Ты права. Конфликт этот принципиально существует. — Он потер глаза, которые враз устали от этого разговора. — Ты только не забывай о том, что приговор в некотором смысле всем подписан заранее — и врачам, и пациентам.

Таня вскинула брови:

— Ты хочешь сказать, что все люди смертны? Если это принимать во внимание, то получается еще хуже. Еще гнусней. Ни в чем нет ни капли смысла. У нас в патологии сейчас лежит ребенок — тельце крошечное, а

головка девяносто сантиметров в диаметре. Пленка растянутой кожи на водяном пузыре. И никакие крысы его не спасут! Значит, лучше убить его, взять в острый опыт?

— Ну, это вообще в расчет не берется. Идиотское рассуждение. — Павел Алексеевич пожал плечами. «Зачерпнула семейных предрассудков», — подумал с раздражением, но решил, что разговор надо довести до конца. — В нашем деле, Таня, профессионал тот, кто берет на себя ответственность, выбирает из имеющихся возможностей наиболее приемлемую, иногда это выбор жизни или смерти. В медицине есть своя этика, возьми Гиппократ, почитай, уже он об этом писал. Есть готовые решения: в моей профессии, когда надо выбирать между жизнью ребенка и жизнью матери, обычно выбирают жизнь женщины. Это не так уж редко происходит. Что же касается твоей истории, то вопрос этот совершенно умозрительный: тебе на минуту показалось, что ты можешь оказаться убийцей...

Таня перебила отца:

— Пап, мне не показалось. Что я эти два года делала? Убивала крыс. Целую гору крыс порезала. Это оказалось очень просто. Хрясь, хрясь... А в результате... Какой-то барьер размылся...

— Нет, нет, нет. Это — к маме. Про эти барьеры я ничего не знаю и знать не хочу. Есть определенная иерархия ценностей, и человеческая жизнь — на самой вершине. И если для того, чтобы спасти жизнь одного человека, научиться лечить одно только человеческое заболевание, надо уничтожить в лабораториях сто тысяч, да сколько угодно животных, вопросов нет.

— Пап, ты не понимаешь, я о другом. Бог с ними, с крысами. Я о себе. Со мной-то что произошло? — выставила Таня перед собой удивленные худые руки.

— Никакой трагедии не вижу. Это был профессиональный ход мыслей, и он дал собой. Такое бывает.

— Ничего себе собой! Ты что, не понимаешь, что ли? Я режу, режу своих крыс, полные корзины дохлятины, чтобы получить результат. Чтобы что-то там узнать, что-то вылечить, а по дороге со мной происходит такое, что я теряю какие-то основные понятия, разницу между человеческой и крысиной жизнью потеряла... Я не хочу больше быть хорошей девочкой, которая крыс режет! — Таня почти кричала, а Павел Алексеевич все больше хмурился, так что морщины собрались на голом лбу чуть ли не до затылка.

— Извини, деточка. А кем ты хочешь быть?

Таня уже прыскала слезами. Павел Алексеевич этого не выносил.

— Я хочу быть плохой девочкой, которая никого не режет!

— Ты с Ильей Иосифовичем поговори. Он философ. Докажет тебе, что все есть материал. И мы с тобой, и крысы, и дрозодилы — все едино. Меня не интересует философия. Я занимаюсь прикладными вопросами — поворот на ножи, двойное обвитие пуповины... Я отказываюсь решать вопросы мирового значения. У нас и так полстраны только этим и занимается... Это безответственное занятие. А всякий, кто вообще что-то делает толковое, несет ответственность. Большинство людей старается не делать вообще ничего...

— Не хочу я такой ответственности! — Злые слезы уже текли по Таниному лицу. Она ждала от отца сочувствия и понимания, но ничего подобного в нем не находила. Павел Алексеевич смотрел на нее чужим и недобрительным взглядом:

— Тогда надо было играть на пианино. Или пересаживать кактусы. Или, если хочешь, чертить чертежи... а не наукой заниматься...

— А я ничем таким больше и не занимаюсь. Все. Я бросила. — Медленными и не вполне уверенными движениями Таня собрала со стола чашки, сложила в мойку...

Павел Алексеевич смотрел в ее напряженную спину с отвратительным чувством, что это с ним уже было. Ну конечно, обидел, обидел девочку, старый дурак! Так же, как было с Леночкой... И оскорбленная Таня такими же точно медлительными и неуверенными движениями собирает со стола чашки...

Он схватил ее за острые плечи, обнял:

— Таня! Не надо делать из эксперимента трагедию.

Стройная молодая женщина, так похожая на свою мать в эту минуту, что у Павла Алексеевича сердце защемило, обернула к нему залитое слезами злое лицо и тихо сказала:

— И даже ты как все... Ничего не понимаешь...

Вышла из кухни, крепко хлопнув дверью и оставив Павла Алексеевича в глубоком огорчении и недоумении: что сказал он такого несуразного, чем оскорбил свою любимую девочку?

Павел Алексеевич сел на свое хозяйское место за большим столом, положил бритую голову на руки. Задумался... Есть множество причин, которые удерживают людей от приближения друг к другу: стыдливость, страх вмешательства, равнодушие, физическое отвращение, в конце концов. Но есть и поток противоположный, влекущий, притягивающий до полной, самой возможной близости. Где эта граница? Насколько она реальна? Очертив условный магический круг, больший или меньший, каждый живет в самом собой ограниченной клетке и относится к этому умозрительному пространству тоже по-разному. Один своей воображаемой клеткой дорожит безмерно, другой тяготится, третий желает впустить в свое личное пространство своих избранных любимых и выставить тех, кто туда напрашивается...

Среди множества людей, знакомых Павлу Алексеевичу, большинство вообще не выносили никакой самоизоляции, более всего боялись остаться наедине с самим собой и готовы с кем угодно чай пить, беседовать, делать разнообразную работу, лишь бы не оставаться в одиночестве. Пусть даже неудобства, боль, страдания, но лишь бы публично, лишь бы на людях. Они и придумали пословицу: на миру и смерть красна... Но люди мыслящие, созидающие, да и вообще чего-то стоящие всегда ограждают себя этой защитной полосой, зоной отчуждения... Каков парадокс! Самые тяжкие обиды как раз из-за того и происходят, что даже самые близкие люди по-разному проводят внешние и внутренние радиусы своей личности. Одному человеку просто необходимо, чтобы жена его спросила пять раз: почему ты сегодня бледен? как ты себя чувствуешь? Другой излишне внимательный взгляд воспринимает как посягательство на свободу...

«Какая странная, редкостно странная семья у нас, — размышлял Павел Алексеевич, — может, оттого, что только двое из нас — Елена и Таня — связаны настоящими узами крови... все остальные собрались вместе по прихоти судьбы».

Вообще-то Павел Алексеевич планировал на сегодня кое-какую работу: просмотреть американские журналы, дать отзыв на диссертацию, которая уже две недели лежала... Но настроение его было испорчено, читать безграмотную диссертацию чьего-то сына было неохота. Он открыл дверцу буфета — бутылка стояла на месте, — скovyрнул с нее металлическую крышечку... «А виноват во всем я, старый дурак. Всех обидел: Елену, Таню, Василису...»

## 20

Таня вылетела из дому и понеслась чуть ли не бегом к Савеловскому вокзалу, потом метнулась вправо, влево, прошла по путанице проулков и проходных дворов и огляделась только на задах Минаевского рынка. Разбитый дощатый прилавок, который еще не успели сжечь, горы рыночного мусора — гнилых овощей, битого стекла.

Солнце припекало из последних предзакатных сил. И слезы, и злость выветрились. Таня присела у стены сарая. Рядом трое мальчишек лет семи играли в карты. Один из них был с заячьей губой, второй — с обрубком правой руки, третий более или менее нормальный, но лицо в крупных прыщах. Они шлепали картами и матерились. Смотреть в их сторону было неловко. А в другой стороне сидела пьяная парочка. Невообразимо грязные и очень радостные странные существа, слишком тепло одетые для летнего времени — в тренировочных штанах, в зимних, разлезшихся на составные части ботинках. Половая принадлежность неопределенная. Пустая бутылка стояла перед ними. Им было хорошо. Серый батон и плавленый сырок лежали на картонке, довольство прямо-таки струилось над ними розовым паром. Они смотрели на Таню и о чем-то переговаривались. Одно из неопределенных существ поманило Таню и, когда она двинулась им навстречу, вытащило из махристой сумки непечатую бутылку дешевого вина и подмигнуло...

Лыжные шерстяные шапочки исчезнувшего от грязи цвета были натянуты на лбы, так что волос не было видно, и, только взглядевшись, по небритой щеке того, что был помельче, Таня определила его как особь мужского пола.

— Иди налью тебе, — предложено было Тане.

Теперь стало ясно, что второе существо — женщина. Лицо ее было рябоватым, темень старого синяка лежала под глазом.

Таня подошла поближе. Женщина старательно потерла черной рукой стакан и налила почти доверху. Таня взяла стакан и выпила залпом. Женщина удовлетворенно засмеялась:

— Ну точно, вот он говорит, что ты не станешь, а я говорю: някто не откажется!

Таня почувствовала себя жертвой эксперимента и радостно засмеялась в ответ. Вино показалось ей очень вкусным, сразу же забрало, и впервые с того момента, как вышла из дверей лаборатории неделю назад, она испытала облегчение...

— Спасибо, очень хорошее вино, — поблагодарила Таня, вернув стакан.

Пьянчужка встрепенулась:

— Ты ня пей вина, дочка.

Говор у нее был не московский, с сильным «я» вместо «е».

— Да я и не пью, — отозвалась Таня, но добродушный с виду мужик разгневался ни с того ни с сего:

— Знаем, как не пьешь. Ишь стаканюгу-то высосала, не подавилась.

— Да ты ня смотри на него, он дурной, — опять подмигнула женщина, но спутник ее рассердился еще сильнее, медленно вытащил синюю ручищу и, пытаясь сложить ее в кулак — не получалось, распухшие пальцы не складывались, торчали враслопырку, — сунул женщине под нос...

Она с неожиданным кокетством шлепнула его по руке:

— О, испужал!

— Смотри, я тя проучу, — пригрозил он.

— А ну-ка вот. — Женщина дипломатично пошла на попятный, налила проворной рукой в грязный стакан и поднесла мужичку.

— Вот так и лучше, — принял он стакан в корявую руку и выпил. Потом вдумчивым замедленным движением поставил пустой стакан рядом с невостребованным питанием и обратился к Тане: — Чем так сидеть, сходила бы да еще взяла.

Таня послушно встала:

— А какого?

— Какого! — передразнил он. — Финь-шампаньского! На какое хватит, такое и бери... Знаешь, куда иттить? В «деревяшку» надо, все магазины закрыты.



Сначала Таня купила одну бутылку сухого вина «Гурджаани», но покупка получилась неправильной, мужик просто руками развел от возмущения. Тем не менее выпили. Потом, едва успев, уже перед самым закрытием, она сходила и купила еще две бутылки портвейна, который оказался в самый раз. Между «Гурджаани» и портвейном пришел милиционер и всех прогнал. Они устроились неподалеку, в уютном, заросшем лопухами слепом углу двора, между тремя осыпающимися строениями, которым слово «дом» было не по чину...

Благодать прибывала. Парочка на Таню особого внимания не обращала. Мужик за все время, кроме междометий, изрек только три членораздельных слова:

— Летом хорошо. Тепло...

Из-под шерстяных шапок лил на их грязные лица банный светлый пот, и летний день все длился. Это была не лень, не праздность — отдохновение.

За всю свою почти двадцатилетнюю жизнь Таня никогда не попадала в столь счастливое место, где отменены работа, забота, долг и спешка. Эта спившаяся парочка обладала такой изобильной свободой, что и на Таню ее хватало.

Тетка разулась, выпростала из остатков обуви грязные босые ноги. Раскорячившись, поставила ступни на теплую траву. Хорошо... Потом отошла на пару шагов в сторону, спустила штаны. Зад сверкнул неожиданной белизной. Мужик благостно прокомментировал событие:

— Ссыт, сучка...

И сам надумал. Встал, оттянул резинки многочисленных тренировочных портков, вытащил мелкую снасть, и лопух затрясся от здоровой струи.

Тане было хорошо и даже, по мере опьянения, становилось все лучше и лучше, пока она не заснула здесь же, в тени орошенных лопухов.

Проснувшись она, когда уже стемнело, от резкого приступа тошноты. Она не сразу поняла, где находится. Пошевелилась. Встала на колени. Ее сильно вырвало. Она вытерла рот куском грубого лопушиного листа. Парочки никакой не было. Надо было отсюда выбираться. Она двинулась — снова ее настигла рвота. На этот раз хлестало из нее ужасно, и желудок, казалось, рвался на части. Отблевав, пошла через темные, освещенные только слабым законным светом дворы. Миновала один, другой, третий. Зазвенел невдалеке трамвай, и она пошла на его привычную музыку. Улица оказалась знакомой. Тихвинская. Совсем близко от дома.

Ей снова стало хорошо, как будто что-то прекрасное с ней произошло. А, эти бродяги... Симпатичные, свободные ото всех забот люди...

«Какая жизнь прекрасно простая! Я что-то над собой такое сделала — хрясь! хрясь! Больше не хочу. Никаких беременных крыс, гидроцефалии, никаких растущих капилляров!»

И на Таню снизошло то безмятежное спокойствие, райская минута довольства и радости, которая сияла над пьяной бродячей парочкой...

## 21

Елена Георгиевна сидела на узкой деревянной скамье позади церковного ящика и ожидала знакомого священника. Служба уже окончилась. Прихожане разошлись. Уборщица позвякивала ведром. Гулкой тишине храма шли эти мелкие металлические позвякивания... В трапезной обедали священники, церковный староста и регент, и до Елены доносился запах жареного лука. Освещение в храме было самое что ни на есть театральное — полумрак разрубали толстые столбы солнечного света, падающие от довольно высоко расположенных окон, и попадающие в эти световые потоки иконы сияли отчищенными окладами, горели медные подсвечники, а куда свет не доставал, оттуда шло только загадочное мерцание, блики, ко-

лхание догорающих свечных огней... На душе у Елены был мир и тишина. Ради этих минут и приходила она сюда: беспокойства ее казались сейчас суетными, проблемы — несущественными и ожидаемый давно разговор неловким и фальшивым... Может, напрасно просила она отца Владимира о встрече? Может, и не надо никому ни о чем рассказывать? И как рассказывать? Да, мир распадается на куски. Но ведь она и сама прекрасно понимает, что распадается не мир, а ее сознание, и отбиваются драгоценные осколки со знаниями, воспоминаниями, навыками жизни... Она бы пошла к невропатологу, к психиатру, а не к священнику, если бы в трещины расколотого сознания не проникало нечто постороннее, точнее, потустороннее, голоса и лица, все нездешнее, тревожное, но иногда и невыразимо прекрасное... Прелесть? Обман? Как сказать это?

Священник уже направлялся к ней, вытирая на ходу клетчатый платком рот, потерявший в усах и бороде...

— Ну вот, моя дорогая, весь к вашим услугам, — сказал совершенно по-светски, как в давние времена, когда он работал еще в Моспроекте, а Елена время от времени делала для него чертежную работу. — Какие проблемы?

Не было у Елены таких проблем, которые могли бы обсуждаться таким бодрым, деловым способом.

— С дочкой сложности... — выдавила из себя Елена.

Она не собиралась разговаривать с ним о Тане, но поскольку с Таней вопрос был конкретным, общепонятным, она и сказала о ней. Ощущение предательства захватило Елену, — не поручала ей Таня обсуждать ее дела с кем бы то ни было, но деваться было некуда, и она продолжала:

— Она очень способная девочка, училась хорошо, а теперь вдруг ушла с работы, ничего не делает, гуляет с утра до ночи и ничего не говорит...

— Сколько ей, двадцать? — Отец Владимир сокрушенно покачал грубым толстым носом, глаза под сросшейся на переносье бровью глядели сочувственно. — И с моими то же... Коля институт бросил, Наточка от мужа ушла... Вырастили мы своих детей без церкви, и вот самые плачевные результаты...

Елене Георгиевне стало нестерпимо скучно, но уйти сразу было невозможно, и они еще минут двадцать проговорили о вреде атеистического воспитания, о необходимости приводить детей в церковь с малолетства, о пользе чтения Евангелия, о молитве и других хороших и правильных вещах. Это было на удивление похоже на то, что своими, гораздо менее складными словами говорила Василиса.

В начале четвертого Елена вышла на улицу. Солнце все сияло, и все еще было лето, но место показалось ей совершенно незнакомым, и она испытала дикий страх, какой испытывает ребенок, потерявший мать в вокзальной толпе... Она постояла, подождала: вдруг пройдет... Такое с ней иногда случалось, но только на мгновение, как затмение. Теперь это забытье мира длилось, и надо было к нему приспособиться...

«Это город, — сказала себе Елена. — Я в Москве. Я приехала сюда на метро.... Или на троллейбусе... Надо спросить, какое здесь метро поблизости... Около моего дома есть метро. Как называется, не помню. Стеклопанные цветные витражи... У меня есть дом. Дома есть телефон... Номер... не помню... Надо спросить у того, с кем я сейчас разговаривала...» Но вспомнить, с кем она только что говорила и о чем, она не могла...

Высокая женщина в светлом костюме, в шелковом с серо-голубыми разводами шарфике на седеющих волосах стояла на паперти, пытаюсь найти хоть какую-то шероховатость в пустынном зеркале мира, который только что был полон цветными и разнообразными подробностями, у каждой из которых было название, имя... Она медленно пошла по переулку. И шла долго, по местам незнакомым и скорее приятным, но совершенно не-

узнаваемым. Старалась не переходить улиц — было страшно. Устала, посидела на лавочке в каком-то сквере. Захотела спросить у сидящей рядом женщины, который час, но не смогла задать вопрос — слова и не складывались, и не произносились. Потом кто-то знакомый тронул ее за плечо:

— Елена Георгиевна? У вас что-то случилось?

Голос был женский, участливый. Кто это был, Елена так никогда и не вспомнила. Этот ангел проводил ее до дома, помог справиться с ключом. Был почему-то уже поздний вечер. Куда делось дневное время, совершенно непонятно. Елена села в свое кресло на кухне и сидела в нем долго-долго, пока не уснула... В доме спали еще два человека — Павел Алексеевич в своем кабинете и Тома в детской. Рядом с кушеткой Павла Алексеевича стояла порожняя водочная бутылка. Тома спала, не помыв выпачканных землей рук и не погасив света. Василиса в тот вечер домой не вернулась. Так же, как и Таня... Но Елена этого не заметила.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1

Песок, подхваченный током воздуха, тонко звенел, ударяясь на лету о прозрачные стебли сухих ломких растений. Все стороны горизонта были затянуты дымкой, и никаких признаков светил в небе не было. Маленькие вихри заворачивались вокруг слабых мелких холмов, рассеивались, снова возникали. Песок медленно перекатывался с места на место, тек, как сухая вода, но очертания этой бледной земли почти не менялись.

На одном из плоских холмов, полузанесенная песком, лежала женщина. Глаза ее были закрыты, но пальцы ощупывали песок и, ухватив в горсть, просыпали тонкими струйками.

«Наверное, я уже могу открыть глаза», — подумала женщина. Помедлила и открыла. Мягкий полусумеречный свет был приятен. Она еще немного полежала и приподнялась на локте. Потом села. Песок защекогал, ссыпаясь с ее одежды. Она посмотрела на рукав своей белой, в мелкий зеленый цветочек, рубахи. «Новая, пакистанская. Подарили, я такую не покупала», — отметила она про себя и почувствовала, что ей мешает узел белого в горошек платка, повязанного по-деревенски под подбородком. Она улыбнулась и скинула его. Села, подтянув колени почти под подбородок: как хорошо... как легко...

Она просунула руки под подол рубахи и ощутила грубую шершавость своих ног. Провела ладонями по икрам, посыпался песок. Женщина задрала подол и удивилась, увидев свои ноги, — они были в грубых трещинах. Кожа около трещин заворачивалась розовыми пересохшими трубочками. Она стучала по ним, и они отлетали, точь-в-точь как краска со старых манекенов. Она с удовольствием начала обскрести эту засохшую краску, из-под которой сыпалась грязная гипсовая пыль, и внутри открывалась новая молодая кожа. Особенно ужасными были большие пальцы ног — на них выросла желто-серая кора, из которой торчал разросшийся, как древесный гриб, ноготь.

«Фу, гадость какая», — потеряла она с некоторой брезгливостью эти почти известковые наросты, и они неожиданно легко отслоились и упали в песок, мгновенно с ним смешавшись. И высвободились пальцы ног — новые, розовые, как у младенца. Откуда-то взялись оливковые парусиновые туфельки на костяных пуговках, такие знакомые... Ну да, конечно, бабушка купила их в Торгсине, туфли ей и синюю шерстяную кофту маме — за золотую цепочку и кольцо...

Руки тоже были покрыты сухой пыльной коркой, она потеряла их, и выпростались тонкие длинные пальцы, без утолщений на суставах, без выпуклых темных вен, — как из перчаток...

«Как славно, — подумала она. — Я теперь как новенькая».

И нисколько не удивилась. Она встала на ноги и почувствовала, что стала выше ростом. Остатки старой кожи песчаными пластами упали к ногам. Она провела рукой по лицу, по волосам — все свое и все изменившееся. Песок хрустел под ногами, каблуки увязали в песке. Было не холодно и не жарко. Свет не убывал и не прибавлялся — ранние сумерки и, казалось, ничего и не собирается здесь меняться.

«Я осталась совсем одна», — проскользнуло в мыслях. И тут же она почувствовала легкое движение у ног: серая, с извилисто-темными полосками на боках простонародная кошка коснулась ее голой ноги. Одна из бесчисленных мурок, сопровождавших ее всюду. Она наклонилась, погладила выгнутую спинку. Кошка отзвучиво мурлыкнула. И вдруг все изменилось: оказалось, что воздух вокруг нее населен. В нем происходило движение теплоты, переливы какого-то качества, которое она не умела правильно назвать: «Живой воздух, и этот воздух ко мне не безразличен. Пожалуй, благосклонен...»

Втянула в себя — пахло чем-то знакомым, приятным, но несъедобным. Откуда забрела память об этом запахе, неизвестно.

Она взошла на вершину маленького холма и увидела множество таких же плоских перекатов.

«Довольно однообразно». И пошла вперед без ориентира, которого, собственно, в этой местности и не было, без намеренного направления, куда глаза глядят. Кошка шагала рядом, слегка увязая лапами в сухом песке.

Идти было хорошо. Она была молодой и легкой. Все было совершенно правильно, хотя и совсем не похоже на то, к чему она так долго готовилась. Все происходящее не соответствовало ее забытым теперь ожиданиям, шло вразрез и с лубочными представлениями церковных старух, и со сложными построениями разнообразных мистиков и визионеров, но зато согласовывалось с ранними детскими предчувствиями. Все физические неудобства ее существования, связанные с опухшими проржавельными суставами, осевшим и искривившимся позвоночником, отсутствием зубов, слабостью слуха и зрения, вялостью кишечника — все это совершенно исчезло, и она наслаждалась легкостью собственного шага, огромности обзора, дивной согласованности тела и мира, раскинувшегося вокруг нее.

«Как там они? — подумала она, но на месте „там“ было совершенно голо и безлюдно. — Ну и не надо», — согласилась она с кем-то, кто не хотел показывать ей никаких картинок. И «они» тоже не расшифровывались до отдельных лиц...

В руке она что-то держала. Посмотрела: черная кружевная косынка, слежавшаяся по швам, жесткая — как новенькая. Развернула: узор знакомый — не то колокола, не то цветы — колокольчики, сплетенные между собой извилистыми усиками. Как будто прорвало невидимую стену, пробилось откуда-то воспоминание, и женщина улыбнулась: наконец-то нашлась... Эта была та самая косынка, которую она долго искала, когда умерла бабушка. Бабушка велела хоронить ее в этой косынке, а запрятала ее так далеко, что никто найти не мог. Так и похоронили, покрыв голову белым платочком... Она набросила косынку на голову, привычным движением повязала сзади на шее.

Шла долго — ничего не менялось ни в пейзаже, ни во времени, но усталости она не чувствовала, только стало вдруг скучно. Она заметила, что кошка исчезла. И тогда она увидела взявшихся неизвестно откуда людей, сидевших у маленького костра. Прозрачный бело-голубой огонь был почти невидим, но вокруг него заметно колыхались потоки воздуха.

Она подошла — навстречу ей, поблескивая лысиной и радостной, лично к ней направленной улыбкой, поднялся высокий худой мужчина с еврейской внешностью.

— Вот Новенькая, — приветливо сказал он. — Иди сюда, иди. Мы ждем тебя.

Люди около костра зашевелились, освобождая ей место. Она шагнула поближе и села на песок. Еврей стоял рядом с ней, улыбался как старой знакомой. Она же испытывала неловкость, потому что не могла вспомнить, где она его прежде видела. Он положил ей руку на голову, приговаривая:

— Вот и хорошо, хорошо... Новенькая...

И она поняла, что Новенькая — это ее теперешнее имя. Он же был Иудей. Сидящих было человек десять, и мужчины, и женщины. У некоторых тоже были знакомые лица, но она так давно уже привыкла гнать от себя это мучительное ощущение давно знакомого и ускользающего, так бесплодны были усилия вспомнить, выкопать корешок воспоминания, связать его с тканью существования, что она по привычке отмахнулась. «Они тоже не могут вспомнить», — догадалась Новенькая, заметив, с каким напряженным вниманием смотрит на нее плотный, наголо бритый человек, сидящий по-восточному чуть поодаль. Еще были две собаки и странное животное, какого женщина никогда прежде не видела.

— Ты сиди, сиди, отдыхай, — посоветовал Иудей.

Возле огня происходило что-то, прежде ей неизвестное. Более всего было похоже на то, что они загорают — это в сумерках-то, при свете маленького костра... Огромная рыхлая женщина, укутанная с ног до головы в грубый байковый халат, зашевелилась, повернулась к огню боком, старик с мрачным лицом протянул руки, вывернув ладони наружу. Высокая старуха в черном куколе, закрывавшем лицо, жалась к огню... От костра шло, кроме тепла, еще и иное излучение, очень приятное... Собака перевернулась на спину и подставила поросший редкой белой шерстью живот. Блаженство было написано на дворняжьей морде. Вторая, лохматая овчарка, сидела скрестив перед собой лапы — совершенно по-человечески.

Посидели, помолчали. Потом Иудей протянул руку над костром, сделал такое движение рукой, как будто зажал что-то в руке, и огонь угас. На месте только что горевшего огня Новенькая заметила не золу, не угли, а легкий серебристый прах, который на глазах смешался с песком.

Люди встали, отряхнули песок с одежды. Иудей шел впереди, за ним, вразряжку, поодиночке и парами, потянулись остальные. А Новенькая все сидела на песке, разглядывая их со спины: общая печать странной целеустремленности и сосредоточенности при полнейшей неопределенности движения... Последним ковылял Одноногий, опираясь на палку. И палка, и нога увязали в песке, но он, хоть и шел последним, не отставал...

Они отошли уже довольно далеко, когда Новенькая поняла, что ей не хочется оставаться одной, и тогда она легко догнала вереницу, обогнала Одноногого, Старуху в куколе, Военного в странном мундирчике, как будто с чужого плеча, странное существо, которое все-таки было скорее человеком, чем животным, но уж точно не обезьяной, и поравнялась с Брито-головым.

— Вот и хорошо, — сказал он.

## 2

Время отбивалось здесь, как заметила впоследствии Новенькая, не чередованием дней и ночей, не круговоротом времен года, а исключительно привалами возле костра да последовательностью событий, которые казались Новенькой поначалу одно странной другого. Но никто не требовал от нее выражать свое отношение к происходящему, и постепенно она перестала к разнообразным и странным событиям как бы то ни было относиться, а лишь наблюдала и иногда соучаствовала. Она не всегда понимала суть происходящего, однако ей ничего не приходилось делать против воли.

Иногда возникали ситуации, требовавшие некоторого напряжения, но общий ритм движения был таков, что привалы происходили всякий раз, когда ей приходило в голову, что неплохо бы отдохнуть.

Ей давно уже стало ясно, что усталость в здешних местах появляется не от самого движения через плоские песчаные холмы, движения довольно медлительного, но не ослабленного, а именно от нехватки особого рода тепла, которое излучал бледный костерок.

Местность была однообразной, и постепенно создалось впечатление, что кажущаяся целеустремленность лишь маскирует движение по кругу.

«Да здесь что-то не то с системой координат», — догадалась в какой-то момент Новенькая и обрадовалась, как радовалась всегда, когда в ее теперешнее существование вплеталась нить из прошлого, постоянно маячившего неподалеку, но находившегося как будто под замком, скорее как предмет веры, чем как реальность вроде здешних сухих растений, вполне осязаемого мелкого песка, который иногда попадал в глаза и долго раздражал своим присутствием слизистую.

Однажды к ней подсел Иудей, положил руку на плечо. Он вообще, как она заметила, довольно часто прикасался к путникам — к голове, к плечу, иногда ко лбу...

— Хочешь задать мне вопрос?

— Хочу... Здесь какая-то другая система координат?

Он посмотрел на нее с удивлением:

— Совсем другая.

— То есть... не трехмерная?

— Она множественная здесь — у каждого своя. — Он улыбнулся тонкими губами, ветер шевелил остатки серых волос, росших немного над ушами и на затылке, под голым темечком.

— Значит ли это, что каждый из нас находится в отдельном, своем собственном, с собственными координатами, пространстве?

— Не каждый. Я знаю, где ты или вот он, — Иудей указал на Бритоголового, — а вы пока не попадаете в мое... Но это не окончательно. Здесь вообще нет ничего окончательного. Все очень изменчиво и меняется с большой скоростью...

— Ага, время, выходит, есть...

— А ты как думала? Есть, конечно, и не одно. Их, времен, несколько, и они разные: время горячее, время холодное, историческое, метаисторическое, личное, абстрактное, акцентированное, обратное и еще много всяких других... — Он встал. — С тобой приятно разговаривать... — И отошел.

Очень скоро, уже на следующем привале, появился новичок, длинноволосый молодой человек. До момента встречи он в полном одиночестве довольно долго брел по чахлой белесой пустыне, глубоко проваливаясь в песок рыжими ковбойскими сапогами. Он нес с собой причудливой формы чемоданчик и с холодноватым любопытством потребителя всякой экзотической дури размышлял о том, куда это его угораздило проскочить. Память отшибло начисто. Он не знал о себе по меньшей мере трех вещей: где находится, зачем несет эту нелепую ношу — тяжелый чемоданчик столь неправильной формы, что его никак нельзя было поставить, а только набок положить, и третье, самое неприятное: что это за темный смерч, время от времени на него налетавший... Этот одушевленный воздушный поток ерошил ему волосы, залезал под одежду, был он то слишком горячим, то слишком холодным, неприятно-назойливым и чего-то от него требовал, умолял, скулил... Кроме этих более или менее определенных ощущений, в которых он отдавал себе отчет, было еще смутное чувство огромной утраты. Утрата намного превосходила все то, чем он сейчас обладал, и вообще все, имеющееся в наличии, так сказать, было совершенно ничтожно в сравнении с тем, что он утратил. Но что именно он утратил — этого он не знал.

Иудей подошел к нему, постучал по черному чемоданчику и сразу же обнаружил осведомленность:

— Эта штука тебе вряд ли здесь понадобится.

— Не выбрасывать же, — пожал плечами Длинноволосый.

— Само собой...

— А что в нем такое? — впервые пришло в голову Длинноволосому. — Что в нем такое, что я его таскаю?

— Открой да посмотри, — посоветовал Иудей.

Длинноволосый устался на собеседника с изумлением: как это ему раньше не приходило в голову? Но ведь не приходило же... Отчасти это тоже было утешительным, напоминало незатейливое сновидение, которое даже кошкам снится: хочешь двигаться, бежать, спастись, даже просто стакан воды взять, а тело тебя не слушается, ни одной мышцей не можешь двинуть...

Чемоданчик был закрыт на два замка, и Длинноволосый не сразу сообразил, как они открываются. Пока он размышлял об устройстве этих затейливых замков-защелок, руки сами нажали на боковую скобку, и чемодан раскрылся. Это был не чемодан, а футляр для предмета невероятной красоты. У Длинноволосого даже дыхание перехватило от одного его вида: металлическая труба с раструбом, желтого благородного металла, не теплое золото, не холодное серебро — мягкий и светоносный. На овальном клейме удлинненными буквами выбито «SELMER», и Длинноволосый сразу разобрал эти мелкие буквы. Он прошептал это слово, и во рту от него стало сладко... Потом он коснулся пальцами деревянного мундштука. Дерево было матовым, нежным, как девичья кожа. Изгиб был такой пронзительной женственности, что Длинноволосый смутился, словно ненароком увидел голую женщину.

— Какая прекрасная... — Он запнулся, подыскивая слово: игрушка, машина, вещь? Отбросил неподходящие слова и повторил с окончательной интонацией: — Какая прекрасная!

Что-то хотелось с ней сделать, но неизвестно что... И он оторвал подол своей клетчатой шерстяной рубашки и, нежно дохнув теплым воздухом, провел красно-зеленой тряпочкой по изогнутой золотистой поверхности.

Теперь он шел со всеми, и это кружение, которое кому-то казалось бессмысленным или однообразным, приобрело для него смысл: он нес дивный предмет в черном футляре, огрубленно повторявшем его плавные и легкие очертания, оберегал его от всех возможных опасностей, а особенно от наглого черного смерча, который тянулся за ними в отдалении и все ожидал момента, чтобы напасть со своим жалким скулежом и неприятными прикосновениями... Казалось, что смерч этот как-то заинтересован в черном футляре, потому что норовил коснуться и его. Длинноволосый хмурился, говорил про себя «кыш!», и смерч испуганно отскакивал в сторону. На привалах Длинноволосый доставал из заднего кармана джинсов клетчатую тряпочку и все время, пока сидели, ласково тер металл...

Иногда он ловил на себе взгляд высокой сухощавой женщины в черной косынке на пышных волосах. Он улыбался ей, как привык улыбаться симпатичным женщинам — взгляд его умел обещать полное счастье, любовь до гроба и вообще все, чего ни пожелаешь... Но ее лицо, несмотря на милость, казалось ему слишком уж озабоченным...

Поднялись на очередной холмик. Иудей остановился, долго смотрел себе под ноги, потом присел и начал разгребать песок. Там, в песке, лежала человеческая кукла, серый манекен, грубо сделанный и местами попорченный. Из прорванной груди лезла какая-то пластмассовая темно-синяя проволока. Иудей надавил пальцем на грудь, пощупал шею, положил пальцы на едва обозначенные глазницы, бросил на лицо манекену горсть

песка. Все остальные тоже бросили по горсти, потом молча сбились в кучу.

— Может, попробовать все-таки? — спросил Бритоголовый у Иудея.

— Пустой номер. Не вытянуть, — возразил Иудей.

— Надо попробовать. Нас много, может, удастся, — попросил Бритоголовый. — Что скажете, Матушка? — с надеждой обратился он к худой старухе. Матушка, не поднимая куколя, с сожалением покачала головой:

— По-моему, незрелый.

Новенькой очень захотелось взглянуть еще раз на эту человеческую куклу, но песок уже засыпал корявую фигуру.

— А ты что скажешь? — неожиданно обратился Иудей к Новенькой.

— Я бы раскопала, — сказала она, вспомнив, как сама вот так же лежала на вершине холодного холма...

— И на себя возьмешь? — Он смеялся, но смех его был необидный, дружеский.

— Ну как тебе не стыдно, — укорил его Бритоголовый. — И шутки твои, как всегда, дурацкие...

— Ну ладно, ладно, настрой свой фонарь да посмотри. — Иудей присел и быстро, почти по-собачьи, стал разрывать сухой песок...

— Но имей в виду, если не получится, будет на тебе висеть.

Бритоголовый посмотрел отчужденно в сторону и пробурчал что-то.

Иудей, озабоченно ошупав манекену шею и тронув живот, поморщился:

— Материал непроработанный. Дохлое дело. Мы все потеряем ступень и ничего не достигнем.

Бритоголовый помолчал, подумал и сказал тихо, так что Новенькая и не услышала:

— Ты со своей еврейской осторожностью мешаешь мне мое дело делать. Я же врач все-таки... Я должен делать все, чтобы спасти больного.

Иудей засмеялся и коротко двинул Бритоголового кулаком в живот:

— Дурак! Я говорил тебе, что врачи — падшие жрецы. Ты всю жизнь занимался секулярной медициной и хочешь ее сюда протащить.

— Сам ты дурак, — беззлобно и совершенно по-школярски огрызнулся Бритоголовый. — У вас, у верующих, нет чувства профессионального долга. Все свои проблемы взвалили на плечи бедного вашего господа бога...

— Хорошо, хорошо, я не возражаю, — согласился Иудей с улыбкой, и Новенькая догадалась, что они очень близкие друзья и связь между ними какая-то иная, чем у всех прочих здесь присутствующих...

### 3

Воздух бывал разным: иногда легким, сухим, «благорасположенным», как определяла его Новенькая, иногда тяжелел, густел и, казалось, наливался темной влагой. Тогда все двигались медленнее и скорее уставали. Да и ветер, не оставлявший их караван ни на минуту, тоже менялся: то бил в лицо, то лукаво заглядывал сбоку, то дышал в затылок. Свет же всегда оставался неизменным, и это более всего создавало ощущение томительного однообразия.

— А не надоел ли тебе здешний пейзаж? — спросил тихо Иудей у Бритоголового.

Новенькая, которая старалась на стоянках держаться возле этих мужчин, поблизости от которых чувствовала себя уверенной и защищенной, не повернула головы, хотя и расслышала тихую реплику.

— Ты можешь мне предложить что-то повеселей? — рассеянно отозвался Бритоголовый.

— Маленькую экскурсию в сторону от главного маршрута. Не против?



— О, вот новость для меня! Оказывается, есть маршрут? Я-то считал, что мы топчемся здесь по кругу из каких-то высших соображений, — хмыкнул Бритоголовый. Он давно уже устал от однообразного тускловатого света — промежуточного, обманчиво обещающего либо наступление полной темноты, либо восход солнца... — Пейзаж-то можно еще стерпеть, пустыня и пустыня... Вот если бы солнышка...

— Тогда пошли. — Иудей осмотрел дремлющий у огня отряд, поискал глазами Новенькую. Она была рядом. — И Новенькую возьмем.

Новенькая благодарно улыбнулась.

— А остальных? — встрепенулся Бритоголовый, движимый благородной тягой к справедливости или по крайней мере к равенству...

Иудей засмеялся:

— Да при чем тут... Не путевки же в профкоме распределяем... Поверь, остальных тащить бессмысленно.

Бритоголовый пожал плечами:

— Как знаешь...

— Пошли пройдемся, — пригласил Новенькую ласково-повелительным тоном, и она встала, отряхивая одежду.

Втроем они зашагали по скрипучему песку. Здешние расстояния были произвольны и неопределенны, измерялись лишь чувством усталости и происходящими событиями, и потому можно сказать, что началась эта экскурсия с того момента, как Бритоголовый, а следом за ним и Новенькая заметили на горизонте какой-то дребезжащий столб света, который то ли сам приближался, то ли они его быстро достигали...

Столб светлел и наливался металлическим блеском. И вот они уже стояли у его основания, превратившегося постепенно в закругленную стену из прозрачного светлого металла...

— Ну вот, — сказал Иудей, сделал в воздухе неопределенный жест, и на поверхности стены обозначилась прямоугольная вмятина, вокруг которой мигом вырос наличник и образовалась дверь. Он нажал кончиками пальцев.

«Я знаю, я знаю, как это делается, я это уже где-то видела», — обрадовалась Новенькая про себя.

Там, за дверью, свет стоял столбом, сильный и плотный, почти как вода. Вошли. Дверь, конечно, исчезла, как будто растворилась за их спинами.

Внутри был яркий солнечный день. Нераннее утро. Начало лета. Стеной стояли большие южные деревья, и не как попало, а в осмысленном порядке. Новенькая поняла, что и здесь есть какая-то простая формула их взаиморасположения, угадав которую поймешь сообщение, заключенное в них, и сообщение это они несут собой, в себе и для себя. Это сообщение также заключалось и в оттенках зеленого — от бледного, едва отслоившегося от желтого, до густого, торжественного, как хорал, со всеми мыслимыми переходами через цвет новорожденной травы, блекло-серебряную зелень ивы, пронзительный и опасный цвет болотной ряски, матовый тростниковый, простодушно-магометанский и даже тот технологически-зеленый, который встречается только в хозяйственных и строительных магазинах...

Новенькая зажмурилась от наслаждения.

«Как счастливы сейчас глаза», — подумал Бритоголовый, которому открывались иногда ощущения отдельных чужих органов... Теперь и его собственные глаза ликовали и радость свою передавали всему телу.

Молодая женщина, сидящая на корточках между двумя криптомериями, встала, увидев Иудея, подошла к нему, и они крепко расцеловались.

«Всех, буквально всех знает», — удивился Бритоголовый. Они с Новенькой стояли чуть поодаль, не мешая встрече.

— ...ландшафтная архитектура, о чем и мечтала... Последний курс я не успела закончить, оставалось два экзамена и диплом. А здесь, видишь, все-

му научилась. — Женщина погладила криптомерию, и та потерлась о ее ладонь, как хорошая кошка. — Эта парочка все ссорится между собой, никак не могут друг к другу приспособиться. Я их все примиряю.

Лицо ее было привлекательным, хотя и грубоватым: глубоко вматая переносица, курносый нос, крупный рот... глаза же были большущие, серые, в двойной черной обводке, одна вокруг радужки, вторая — из густых черных ресниц под широкими мужскими бровями.

— Сейчас, сейчас покажу вам, — обратилась она уже к Бритоголовому и Новенькой. — Катя меня зовут.

Новенькая заметила, что на Кате мужская майка-безрукавка, в каких выступают боксеры, и натягивалась эта майка большой молодой грудью. Многорядное коралловое ожерелье сплошь покрывало шею... Бритоголовый же увидел то, что именно скрывали веселенькие кораллы, — неряшливый прозекторский шов от самой надключичной ямки вниз...

— У меня лучше всего с деревьями получается, на одном языке говорим. — Катя указала на два отвернувшихся друг от друга дерева. — А эти криптомерии у меня любимцы... Может, вы помните, была такая дурацкая игра — почта цветов. Желтый нарцисс — к измене, красная роза — к страстной любви, незабудка — верность до гроба... — Она улыбнулась, показав неплотно подогнанные один к другому зубы. — Так вот, самое смешное, что все более или менее так и есть... Соответственно этому и высаживать их надо, чтобы текст не нарушался... Садик-то этот для безымянных детей.

Бритоголовый и Новенькая переглянулись: каких безымянных детей?

Иудей шел чуть сбоку, бормоча под нос:

— Уж мог бы догадаться сам, без подсказки... И твои там...

Аллея из криптомерий вела вниз, к воде. Воды не было видно, но был запах, обещающий воду, тот сильный запах, который за десятки километров чувят животные и несутся к водопою...

Озеро было совсем небольшим, округлым и как будто слегка выпуклым. Его синяя вода была подвижной и искрилась.

— Трудно смотреть? — догадалась Катя. — Я тоже первое время мучилась, пока глаза не привыкли. Надо смотреть как бы немного мимо, не в упор. Ну что, показать поближе? — последний вопрос адресовался к Иудею.

Он кивнул. Катя взошла на легкий мосток, дугой висевший над озером, легла на живот и опустила обе руки в воду. Она поболтала немного руками, что-то тихо сказала и поднялась, держа в руках нечто, как сперва показалось, стеклянное. Оно искрилось. Катя сунула этот слиток света, воды и голубизны в руки Бритоголовому. Он принял его в сомкнутые ладони и прошептал:

— Ребенок...

Никакого ребенка Новенькая не видела.

Озеро было полно, просто кипело от шаров — прозрачных, голубоватых. Новенькая вспомнила про длинный картонный ящик, в котором хранились рождественские елочные игрушки ее детства, и среди них, завернутые каждый в отдельную бумажку, самые любимые — шары...

«Ну конечно, все правильно», — заволновалась Новенькая. Что именно правильно, она не смогла бы объяснить...

— Здесь и нерожденные, абортированные... Иногда они созревают и опять восходят, — деловито объяснила Катя. — Вон, кстати, совершенно созревший. — И она сунула руку, пытаясь выудить нечто, что явно не хотело быть выуженным.

— Мы же с тобой в философии хорошо пошарили, — начал было Иудей, но Бритоголовый его перебил:

— Нет, нет. Я больше историей интересовался.

— Да ладно. Помнишь лейбницевские монады? Очень близко, надо признать. И Блаженный Августин догадывался... Ну, про каббалистов я и

не говорю, они, надо отдать им должное, при всей невыносимости их метода, много накопили... — Он вдруг хмыкнул: — Что там ваш Федор Михайлович насчет слезинки ребенка говорил? Всевышнему замечания делал, что гуманизма в нем мало...

А Новенькая глаз не могла отвести от Кати — та выудила совершенно прозрачный шар размером с большой апельсин, подула на него, уложила на ладони и замерла. Шар чуть качнулся, слегка дернулся, начал было неуверенное движение вверх, но, как будто испугавшись чего-то, снова приник к ладони.

— Боится, маленький, — со счастливой улыбкой сказала Катя. — Им сейчас страшно очень... Трудиться идут. Кто на подвиг, кто на подлость... Но этот, этот очень хороший...

— А есть плохие? — изумилась Новенькая.

Катя вздохнула:

— Да все разные. Есть напуганные, травмированные... А чем больше страху они натерпелись, тем больше от них будет зла...

Звучало это убедительно, тем более, что у Новенькой опять возникло ощущение, что она об этом что-то и сама знает.

— Возьми-ка его, — сказал Иудей Бритоголовому.

Бритоголовый почувствовал, что и сам очень хочет подержать в руках это существо. Он накрыл ладонью шар, прижавшийся к Катиной руке. Катя повернула ладонь так, что шар плотно лег в руку Бритоголовому. По весу, по ощущению живого тепла, беспокойства и доверчивости это был ребенок. И несомненно, мальчик.

— Ну, благослови, — сказал Иудей.

— Это не по моей части, это по вашей, по еврейской. Я про это ничего не знаю, — улыбнулся Бритоголовый, но не Иудею, а запечатанному в шаре существу, обещающему стать младенцем.

— Он тебе не чужой. Да и мне... А не хочешь благословлять, не надо. Просто пожелай ему, чтобы он стал хорошим врачом.

— Это да, — согласился Бритоголовый. — Пусть будет.

Шар легко оторвался от ладони и, как пузырек воздуха в воде, поплыл вверх... покуда не достиг какой-то невидимой преграды, возле которой замедлился, уперся в нее, с усилием пробил и исчез, оставив после себя звук лопнувшей пленки и унося в сердцевине своего существа воспоминание о преодолении границы раздела двух сред...

#### 4

Манекен, несмотря на свое улучшение, беспокоил Бритоголового, хотя иногда он сам на себя сердился: так получилось, что друг ему их поручил... Но, в сущности, кто он сам-то? Такой же, как они, попавший неизвестно куда, неизвестно зачем, растерянный и одинокий...

Странное поведение Манекена Бритоголовый заметил еще до первого приступа: тот стал проявлять не свойственные ему признаки беспокойства — то оглядывался, то приседал, укрывая голову кое-как сделанными лапами. В какой-то момент Манекен остановился, прислушиваясь, — откуда-то из большого отдаления на него налетел тонкий и страшный звук, направленный ему в лицо наподобие тонкой и злой иглы...

В первый раз ожидание этой иглы было довольно коротким, она вонзилась ему в лоб, и он упал, громко крича. Припадок был похож на эпилептический, и Бритоголовый сразу же сунул ему в рот — откуда взялась? — черенок серебряной ложки и пристроил его голову к себе на колени, чтоб твердокаменная башка не билась о землю... Никаких медикаментов. Сейчас бы хоть кубиков пять люминала...

Он пытался сжаться и уничтожиться, но вместо того делался все более огромным, становился открытой мишенью для всех несущихся на него

стрел. И чем сильнее было это безумное расширение, разбегание тела, тем острее было желание сжаться в песчинку, уничтожиться... И тогда его настигал удар... Сначала один, по голове — сокрушительный, прожигающий насквозь. Удар был острым, сабельным, сверкающе-черного цвета. Потом еще и еще. И они падали один за другим, и обозначали все уменьшающиеся границы тела, и лупили, как молнии, в уже обугленное, но еще содрогающееся дерево тела...

А Бритоголовый, не давая сомкнуться его сведенным челюстям, придерживал бьющуюся голову. Иногда ему помогал Длинноволосый: зажав своими рыжими сапогами неустойчивый футляр, с которым не расставался ни на минуту, он обхватывал двумя руками выгибающееся дикой дугой тело, смягчая удары, которые наносил себе безумец...

Потом Манекен поднимался, совершенно пустой и легкий, как мешок, и все это повторялось снова и снова... Бритоголовый смотрел внутрь его черепа и видел: два небольших полушария были покрыты темной блестящей пленкой, не совсем определенной локализации, то ли под оболочкой *Dura mater*, то ли непосредственно по *Pia mater*, и после каждого приступа эта пленка покрывалась новой сетью трещин, и маленькие участки этой пленки отпадали, рассасывались и проступали блекло-серые, с розовой сетью сосудов здоровые участки мозга...

«Постоянные аналогии, — отмечал Бритоголовый, — у нас ведь тоже есть электрошоковый метод лечения шизофрении...»

И он гладил присмирившего дебила по голове, а тот по-детски поворачивал под рукой голову так, чтобы не оставалось на ней места, до которого бы не дотронулась докторская рука...

## 5

Раздался длинный низкий вопль, опускающийся до утробного рычания. Источником вопля оказалась оседающая на землю Толстуха. Бритоголовый профессионально подхватил ее сзади. Помог упасть поудобнее. Толстуха лежала согнув ноги в коленях и пыталась обхватить свой огромный живот. Лужа растекалась под ее спиной...

«Неужели рожает? — изумился Бритоголовый. — Странно, что здесь можно рожать... Впрочем, почему нет?»

На тетке был фланелевый халат в крупных махровых цветах, несколько пуговиц успели отлететь от напора ее ворочающегося тела, остальные он расстегнул ловкими пальцами. Задрал подол рубахи к стекающим под бока огромным жидким грудям, и дух его захватило: сначала ему показалось, что тело ее обвязано множеством толстых жгутов розового и лилово-багрового цвета, на которых растут крупные морские моллюски, похожие на *Niton topicella* или *Neopilina*, размером почти с чайное блюдце каждый. Он тронул одну из раковин — это было не отдельное существо, а какой-то нарост-паразит. Все эти веревки и ракушки проросшими тяжами держались в ее животе. В этой живой сети была даже какая-то уродливо-привлекательная художественность.

Никогда ничего подобного не видел Бритоголовый за всю свою долгую медицинскую практику. Инструментов при себе не было — только серебряная ложка. Он принялся обследовать пациентку хотя бы наружно, попытался сдвинуть один из ракушечных наростов и пальпировать живот. При первой же пальпации ему показалось, что он нащупал ручку плода. Очень высоко, под самой диафрагмой.

«Еще и ягодичное предлежание», — огорчился он, предвидя дополнительные трудности с поворотом на ножки, и хотел продолжить ручное обследование, но произошло нечто чудовищное: только что прощупанный им кулачок, пробив напряженную стенку живота, выскочил на поверхность. Толстуха испустила вопль.

— Потерпи, потерпи, голубушка, — успокоил он роженицу.

Что это? Прободение стенки матки, стенки брюшного пресса, кожных покровов? Немыслимо! Какой же степени мацерации должны быть ткани, чтобы прорваться под нажимом ручки плода? Он еще раз нажал на живот — он был тугой и плотный.

И тут заработало «внутривидение», открылась картина: все чрево женщины было набито младенцами до отказа — как рыба икрой. Кулачок же, который он держал в своей руке, принадлежал вполне сформировавшемуся девятимесячному плоду, о чем свидетельствовали плотные ноготки на пальцах, важный показатель его зрелости...

Двумя пальцами он расширил отверстие, откуда высунулась ручка. Роженица застонала.

— Ты уж потерпи, потерпи, богатыря родишь, — автоматически бодрым тоном поддержал он женщину.

Отверстие подалось легко, и Бритоголовый, взяв ручку ребенка в свою, исчез в нем чуть ли не до локтя — он надеялся развернуть ребенка головкой. Тот развернулся очень легко, но не затылком, а лицом. Доктор заставил его нырнуть и подвел руку под затылок.

Женщина стонала, но уже не кричала, Бритоголовый же бормотал что-то привычное, успокоительное, не отдавая себе в этом отчета:

— Вот и хорошо, мамочка. Ребеночек первый? Второй? Опытная, значит... Дыши поглубже, поглубже... И пореже, не части так... считай до десяти...

Все получилось быстро, просто замечательно, мальчик выскочил. Нормальный, живой, в густой смазке младенец лежал на руке доктора... без пуповины. Без рук, без ног, без головы может родиться ребенок. Но не без пуповины же! Пупочная впадина была глубокая, чистая, вполне зажившая...

Бритоголовый, несмотря на удивление, делал то, что было в этот момент необходимым, — прочистил нос, ротовую полость и, повернув младенца вниз головкой, шлепнул по мокрым ягодицам. Раздался низкий обиженный крик: уа-уа...

Как давно не слышал Бритоголовый этого горестного звука новой жизни... Жалкая музыка, хрипящая песня только что развернувшихся легких, пугающая самого исполнителя проба первого звукоизвлечения из хрящевой флейты гортани... Младенец плачет от страха перед новым звуком.

Но все здесь было иначе, вопреки правилам, привычкам, ожиданиям. Младенец легко отделился от ладони доктора и, как пузырек воздуха отрывается от подводного растения и поднимается вверх, все еще звуча на двух нотах, плавно проплыл вверх около метра и исчез, оставив после себя звук лопнувшего резинового мяча и крутой водоворот в воздухе...

Бритоголовый еле успел проводить его взглядом, как раздался новый вопль роженицы, и он стал рядом с ней на колени: среди радужной сетки наростов зияло два прорыва — из одного торчала ножка, из другого пробивалась серая головка. Место, из которого только что был извлечен младенец, сошлось складчатым пупком, так что и зашивать не было надобности. Бритоголовый пытался прощупать, принадлежит ли головка и ручка одному ребенку или двум.

Роженица закричала. Бритоголовый, пытаясь засунуть ножку обратно, надавливал на живот женщины так, чтобы головке легче было прорезаться. Ракушечный нарост мешал расширению отверстия, и Бритоголовый оттягивал нарост серебряной ложкой, а пальцами левой руки раздвигал дорожку... Второй мальчик тоже был без пуповины, но Бритоголовый думал теперь лишь о том, чтобы и этого ребенка не упустить в небо. Но происшествие повторилось в точности: ребенок закричал, зашевелил ручками и, хотя Бритоголовый держал его на этот раз крепко, прикрывая сверху вто-

рой рукой, выскочил из-под его руки и мыльным пузырем, с тем же самым чмокающим звуком отлетел, оставив очередную, быстро затягивающуюся воронку.

С третьим Бритоголовый провозился гораздо дольше, он шел ногами, развернуть его не удалось, к тому же он, крепко сжав кулачок, тянул за собой обрывок тяжа, проросшего внутрь живота роженицы. Зато на этот раз Бритоголовый уже и не удивился, когда спинка светленькой безволосой девочки отлепилась от его мокрой ладони и ребенок взлетел в небо.

Трудность с двойней заключалась в том, что они оказались в одном околоплодном пузыре и никак не проходили в отверстие, так что Бритоголовому пришлось перекусывать не пуповину, как делают звери и рожающие без посторонней помощи женщины, а упругую синюю веревку, обхватывающую живот, который хоть и несколько уменьшался, но продолжал оставаться огромным.

Еще один ребенок удивил Бритоголового тем, что вышел самым естественным образом, через родовые пути, но и он не порадовал его наличием пуповины. Это был шестой. Седьмой родился следом за ним, тоже древним способом, но был он довольно сильно недоношен и с руки доктора слетел неохотно — тот даже слегка пожалел, что не попытался его удержать. Строго говоря, последние двое были близнецами, но один отставал от другого не менее чем на семь недель. Такого не бывает... Впрочем, среди близнецов довольно часто один угнетает другого в период внутриутробного развития... Но рассуждать было некогда, потому что из живота торчала ручка следующего клиента, жаждущего выскочить наружу...

Когда множественные роды наконец окончились, роженица спросила, где ее дети. Бритоголовый разглядел ее лицо — это была она, его главная пациентка, ради которой он сражался с медицинскими чиновниками, с коллегами, с друзьями, даже со своей семьей... Измученная непосильной работой, голодом, родами, одиночеством, ответственностью, безденежьем... И он объяснил как мог, что дети ее, надо думать, на небесах. Она горько заплакала:

— А мне-то что же, никого, ни одного дитеночка...

Она лежала, а он стоял перед ней на коленях. Путаница наростов и тяжей ослабла и болталась вокруг ее бедер, покрытых сплошь растяжками и ссадинами. Он потянул за одну их ракушек, она осталась в его руке. Только что плотные и живые, как черви, тяжи крошились в руках, и вся эта путаная сеть слетела с ее тела сухой шелухой. Какая-то кожистая пленка, напоминающая змеиный выползок, сошла с бедер роженицы. К телу ее вернулось человеческое достоинство. Да и глаза ее, обведенные темными кругами страдания, смотрели на доктора с благодарностью. Он хорошо знал этот утомленный, немного отрешенный взгляд только что родившей женщины...

— Идти можешь? — спросил Бритоголовый.

— Я здесь останусь, — ответила она.

Тогда Бритоголовый зарыл в песок остатки чудовищных наростов, подобрал с земли несколько сухих растений и зажег огонь.

— Отдыхай, деточка, отдыхай. Все будет хорошо...

Она зашевелилась, привстала, опершись на руку:

— Как же хорошо...

Бритоголовый оглянулся — его ждали. Впервые за все время путешествия, уходя, он не угасил огня.

Они пошли дальше, обычным своим порядком, по одному, по двое, и Бритоголовый, оглядываясь, все видел вдали голубоватый огонь. Потом он услышал позади себя чмокающий гулкой звук и, обернувшись в последний раз, уже не увидел ничего, кроме песчаных холмов и собственных следов, быстро затягивающихся песчаной легкой поземкой...

## 6

Они все шли и шли по однообразному пустому пространству, печальному и всхолмленному, пока наконец не пришли. Песчаная пустыня закончилась. Они остановились на краю заполненного серым туманом гигантского провала. Где-то вдаль мерещился другой берег, но это могло быть и оптическим обманом, так зыбко и неверно темнела зубчатая полоса, напоминающая не то прильнувшие к земле тяжелые облака, не то далекие горы, не то более близкие леса...

— Надо отдохнуть, — сказал Бритоголовый и протянул над горстью сухих веток свою огненосную руку. Как всегда, тепло и свет крошечного детского костра намного превосходили возможности жалкого топлива.

Воин, сам себе назначивший обязанность приносить несколько сухих скелетов бывших растений, которые он подбирал еще в дороге, тихо спросил Бритоголового, глядя в огонь:

— А зачем ему топливо? Он и так прекрасно горит, твой огонь.

— Да. Я и сам недавно это заметил, — кивнул Бритоголовый и протянул руку над пустым местом. Загорелся еще один костер. Сам собой, без всякой пищи... — Видишь, как мы все поумнели за последнее время...

— Даже слишком, — мрачно отозвался Воин.

Бритоголовый вынул из кармана горсть сухого квадратного печенья в точечных, как старые письма, знаках и дал каждому по одному:

— Ешьте. Надо подкрепиться.

Новенькая давно уже перестала удивляться. Вкус печенья был невзрачный, травяной, напоминал лепешки, которые пекла мать в голодные годы из сушеной сныти с горстью муки. Есть их было приятно.

— Здесь мы отдохнем немного, а потом будем перебираться на ту сторону.

Сидели, впитывая усталыми телами проникающее тепло.

Бритоголовый подозвал Длинноволосого, тот нехотя за ним последовал. Вдвоем они начали копать на вершине ближнего холма. Через некоторое время они принесли ворох бело-желтого тряпья, как будто только что вынутого из автоклава. Бросили на землю — из кучи торчало во все стороны множество завязок.

— Наденьте рукавицы и бахилы, — распорядился Бритоголовый.

Стали нехотя разбирать эти странные вещи: у рукавиц были длинные тесемки на запястьях, холщовые чулки завязывались под коленями. Предметы были столь же нелепыми, сколь и неудобными, особенно трудно было завязать тесьму на правой руке. Новенькая помогла Длинноволосому управиться с мотающимися завязками...

Бритоголовый связал две бахилы и помог Длинноволосому укрепить футляр за спиной.

Оба костра догорели. От провала шел холод, и было совершенно непонятно, как Бритоголовый собирался всех переправлять. Он подошел к самому краю. Остальные стояли овечьим сбившимся стадом за его широкой спиной.

— Мы пойдем по мосту. Подойдите к краю.

Опасливо шагнули. Вытянули шеи — никакого моста не было.

— Вниз, вниз смотрите. — И люди увидели в сером тумане провала металлические конструкции, вырастающие из неведомой глубины.

Бритоголовый спрыгнул вниз, вся чудовищная конструкция качнулась, как лодка. Снизу смутно белело его запрокинутое лицо. Он махал рукой. Каждый из стоявших на берегу содрогнулся, почувствовав себя зажатым между необходимостью и невозможностью.

Конструкция снова качнулась. Одновременно Новенькая почувствовала, что песок под ее ногами заколебался и потек. Песчаная почва позади

сбившейся горстки растерянных людей стала оседать, таять, и за их спинами начался сыпучий обвал. Он рос, расширялся, целая песчаная Ниагара хлестала за их спинами...

Нырнул Длинноволосый. Потом парочка, скованная цепочкой, — сначала метнулась длинная, следом за ней с визгливым воплем провалилась вниз Карлица. Бывший Хромой подошел к краю с большим достоинством, присел и опустил вниз, как опускаются в бассейн или в ванну. Воин. Собака. Еще одна женщина в спортивном костюме. Человек с портфелем. Странное Животное. Девочка с завязанными глазами. Новенькая шагнула вниз одной из последних...

Никто из них не летел камнем — все опускались замедленно. То ли воздушный поток мощно поднимался кверху и поддерживал их, то ли сила тяжести здесь ослабевала. Внизу дул сильный ветер. Их отнесло довольно далеко друг от друга. Кто-то опустил на большие переходные площадки, другим, как Длинноволосому, повезло меньше. Он стоял на перекрещении тонких труб, а ближайшая к нему вертикаль находилась на приличном расстоянии — рукой не дотянешься. Он слегка покачивался, балансируя. Футляр ему страшно мешал.

Ветер то затихал, то вырывался из провала с бешеной силой. Конструкция вздрагивала, неравномерно раскачивалась и отзывалась, как живая, на каждое прикосновение. Туман понемногу стал рассеиваться, и люди смогли рассмотреть хитроумный стальной лабиринт, построенный не то сумасшедшим троллем, не то художником Эшером. Новенькая вглядывалась в конструкцию с интересом профессионала — она не взялась бы за рабочий чертеж этого сооружения, в котором, она видела, были странные разрывы и выворачивания, как будто изнанку и лицо произвольно перемешали.

«Фиктивное пространство, — пришло ей в голову, — этого в природе быть не может. А если оно фиктивное, значит ли это, что невозможно упасть? Тогда падение тоже будет фиктивным... Но я-то не фиктивная...»

Бритоголовый проявлял цирковое проворство, перепрыгивая с трубы на трубу, меняя уровни. Он подбирался к каждому, слегка касался руки, головы, плеча. Что-то говорил, объяснял, упрасивал. Был ласков и убедителен:

— Надо двигаться. Мы должны перебраться на другой берег. Не торопитесь, пусть медленно. Пусть по сантиметру. Никто из вас не пропадет. Мы все туда переправимся. Только не бойтесь. Страх мешает двигаться...

Слова его обладали повышенной действенностью, и люди, сперва замершие в тех нелепых позах, в которых поймала их конструкция, понемногу зашевелились.

Та часть лабиринта, куда попала Новенькая, представляла собой хаотическое скопление небольших площадок, отстоящих друг от друга на расстоянии хорошего прыжка, в то время как вертикали находились под площадками и спуститься по ним было невозможно. Новенькая довольно успешно продвигалась вперед, пока не достигла площадки, с которой можно было только повернуть обратно: до следующей допрыгнуть мог разве что очень хороший спортсмен.

Она села в растерянности. Смотреть вниз было страшно. Она подняла голову и посмотрела наверх. Поверху шла почти параллельная цепь площадок, их несущие опоры оказались довольно близко, и она решила, что, отдохнув немного, попробует сменить маршрут. Правда, создавалось впечатление, что эта верхняя дорога идет несколько вбок. Но, кажется, другого выхода не было. Изумляясь легкости и послушности своего тела, она обхватила шершавый металлический шест и, прижимаясь к нему всем телом, полезла вверх. Холщовые чулки и рукавицы защищали ее от прикосновения холодного металла. Но что самое удивительное, занятие это ока-



залось увлекательным, и все тело ее радовалось. Чему радовалось? Может быть, тому, как легко оно обучается сжиматься пружиной, выстреливать, группироваться на лету и чуть-чуть расслабляться перед самым приземлением. И каждый следующий прыжок все легче и свободнее, и она уже напроць забыла о чувстве скованности и опасности...

«В этом, наверное, и заключается прелесть спорта», — догадалась она, подтягиваясь на верхнюю площадку. Здесь было светлее, и противоположный берег не казался отсюда таким уж мутным...

А Длинноволосый все качался и качался, и некуда ему было перебраться — до ближайшей площадки метров десять. В движении труб, на которых он стоял, был какой-то сложный ритмический рисунок, но уловить его он никак не мог, несмотря на всю чуткость музыкального уха. Он знал почему-то, что сможет управлять движением, как только поймет числовую формулу. Он вслушивался ступнями, берцовыми и бедренными костями, тридцатью двумя позвонками-проводниками и резонатором черепа. Что-то улавливал... почти политемпия... наложение... Есть пять к трем... Определенно есть. Тело отозвалось, настроилось. Он попал в ритм и, попавши, почувствовал, что качели под его ногами стали до какой-то степени управляемыми. Амплитуда движения вдоль оси возрастала. Но движение это было направлено параллельно ближайшей площадке и никак его к ней не приближало. К тому же мешал второй ритм, все более узнаваемый... Попал: семь восьмых! И тут же появилась вторая ось движения...

Его сильно качнуло — он едва не выронил футляр. Удержал. Прижал к груди. Погладил. Холщовая рукавица мешала хорошему прикосновению, ему захотелось снять ее. Раскачиваясь по нервной ломаной траектории, он пытался развязать тесемки на левой руке. Узел был крепкий и запутанный, он вцепился в него зубами... И почувствовал неожиданную помощь прямо из воздуха. Так и есть. Вокруг него снова вился знакомый смерч, но теперь в нем ощущались пальцы, губы, даже женские распущенные волосы, завивающиеся под собственным ветром. Воздушная эта воронка изнутри оказалась женщиной.

Узел ослаб, развязался. Длинноволосый опустил левую руку вниз, сбросил рукавицу и почувствовал, что и на правой узел ослаб.

— Скорее же, раскрывай, раскрывай, — пел живой жгут одушевленного воздуха. Он был теплый, даже горячий, ластился, ласкал, принимал, топил...

Движение само собой выправлялось, определялось и мало-помалу приближало его к площадке. Длинноволосый нажал на скобу, замок щелкнул, вихрь вытянул из футляра чудесную вещь и сунул в руки Длинноволосому:  
— Играй же...

В руках его был инструмент. Инструмент для... С помощью которого... Это было самое важное для него, но он не знал, как... Правая рука сама легла куда надо: пальцы прищлись по месту, узнали клапы. Левая искала... Но дальше — одно глубокое мучительное недоумение.

Горячие пальцы пробежали по шее, по подбородку, тронули губы:

— Ну играй же, пожалуйста. Еще можно вернуться.

К его губам приник деревянный мундштук...

А качели все носили его туда-сюда, и ритм их движения пронизывал тело и настойчиво требовал соучастия. Полного соучастия. Он набрал воздуха через нос, до отказа подняв диафрагму — полные легкие.

Смерч замер, завис. Длинноволосый сжимал губами деревянный мундштук — это было обещание наслаждения, но уже и самая тонкая его часть. Нижняя губа приникла к деревянному стеблю, язык тронул пластмассовую трость. Все вместе это было как недостающая часть его тела, собственного органа, с которым он был разлучен. Его распирало изнутри — он должен

был наполнить собой, своим дыханием это диковинное создание из металла и дерева, принадлежащее ему в той же мере, что легкие, гортань и губы... И он выдохнул — осторожно, чтобы не спугнуть возникающее чудо... Звук был и музыкой, и осмысленным словом, и живым голосом одновременно, от него сладко заныло в середине костей, словно костный мозг радостно отзывался...

Бедный человек, голова — два уха! Молоточек-наковальня... Стремечко-узdechka... Улитка о трех витках, среднее ухо, забитое серными пробками, и евстахиева труба с чешуей отмершей кожи внутри... Десять корявых пальцев и грубый насос легких... Какая там музыка! Тень тени... Подобие подобия... Намек, повисающий в темноте...

Самые чуткие смазывают слезу, распластанную по нижнему веку... Тоска по музыке... Страдания по музыке...

Бог и Господь, явися нам! Явился. И стоит за непроницаемой стеной нашей земной музыки...

А Длинноволосого почти и не было. Он весь был растворен в музыке, он сам был музыкой, и от всего его существа остался лишь единственный кристалл, пригодный только для того, чтобы осознавать совершающееся чудо, оставалась лишь одна точка — острого наслаждения, перед которым все яркие земные радости оказались даже не прообразом совершенного счастья, а похабным обманом вроде надувной женщины с пахнущим резиной отверстием...

Он не заметил, как ласковый смерч поднял его вверх, над зыбкими конструкциями, а потом еще выше, так высоко, что не было вокруг ничего, кроме белесого тумана. Музыка же все росла, и заполняла собой мир, и была самим миром, и точка, остававшаяся где-то на ее краю, делалась все меньше и меньше, пока совершенно не исчезла. Одновременно он уперся всем своим существом в упругую мембрану, с некоторым напряжением пробил ее и вышел наружу, храня в себе отзвук лопнувшей пленки...

## 7

На берегу происходило утро. Оно было крепким, как неразведенный спирт, голым, как свежеснесенное куриное яйцо, безукоризненным, как алфавит. За спиной Новенькой дымился провал, и она ощущала его как грубый шов двух разноразных материй. К тому же он не представлял теперь ни малейшего интереса. Мир, разворачивающийся перед ее глазами, был похож на все лучшее, что она видела в своей жизни. Она помнила теперь все свое прошлое, от самого раннего детства, от печки, обжигающей детские ладони, до последней страницы школьной тетради, в которой хромающими мучительными буквами был исписан десяток последних страниц...

Свет двух прожекторов — воскресшего во всех деталях прошлого и совершенного утра — освещал это мгновенье. Долгая мука неразрешимых вопросов — где я? кто я? зачем? — окончилась в одно мгновенье. Это была она, Елена Георгиевна Кукоцкая, но совсем новая, да, Новенькая. Теперь ей хотелось собрать воедино все то, что она знала когда-то и забыла, то, чего никогда не знала, но как будто вспомнила.

Она сделала несколько шагов по траве и удивилась богатству впечатлений, полученных через прикосновение голой стопы к земле: чувствовала каждую травинку, взаимное расположение стеблей и даже влагалищные соединения узких листьев. Как будто слепая подошва прозрела. Нечто подобное происходило и со зрением, слухом, обонянием. Елена села на бугре между двух кустов. Один, собравшийся зацвести, был жасмином, с простым и сильным запахом, второй — незнакомый, с плотными листьями, обведенными по краю светлой каймой. Запах его, кисловатый и холодный,

был диковинным. От земли поднималось множество запахов: влажная земляная прель, сок раздавленного травяного стебля, земляничный лист, воск, горькая ромашка... И даже запах недавно здесь проходившего человека... Она мгновенно узнала, какого именно человека...

«Звериное чутье, вот оно что», — отметила Елена. Звуков тоже было слишком много для такого тихого утра — громко шелестели травы, и в шелесте различалась их фактура: жесткие травы звучали более шероховато, мягкие издавали скользящие звуки. Листья кустарника терлись друг о друга с бархатным шуршанием, и слышно было тугое кряхтение, с которым разворачивался бутон. Вспорхнувшая с дерева синица с помощью крыл и хвоста произвела трезвучие, оставившее за собой легкий искривленный свист воздуха, обтекающего расправляемые в полете крылья. И при этом видно было то, чего Елена прежде никогда не замечала: хвостовое оперение пролетевшей птицы встало почти вертикально, а заостренные концы крыльев опускались книзу, спичечные темно-серые ножки плотно прижались к серому брюшку... Она скользнула вниз, потом как будто раздумала, повернула хвостик — и взмыла... И геометрия, и аэродинамика полета — хоть в школе изучай... «Как это я никогда раньше этого не замечала», — удивилась Елена.

Она сидела на бугре, вдыхала, смотрела и слушала — привыкала к новой земле и к самой себе, тоже новой. Она никуда не торопилась. Вскоре она почувствовала, что устала от непривычной силы звуков и запахов, вытянулась во весь рост на траве и закрыла глаза.

Глупо спать, когда так хорошо... Но может, сон приснится? И она заснула на голой земле, даже не заметив, что и сама голая...

Бритоголовый, как капитан корабля, сошел на берег последним. Что куда двигалось, было совершенно не ясно — то ли провал уходил от берега, то ли сама земля дрейфовала в неизвестном направлении. Похоже, ветер тянул конструкции вдоль берега... Все, кому он помогал выбраться, перекидывая алюминиевую, заляпанную краской стремянку между последней площадкой и краем обрыва, куда-то исчезали. Последней, скользая лапами по железным перекладинам, выбралась на берег большая овчарка. Собаку встречали — целая бригада маленьких, в белых коконах фигур, человекообразных, но немного и птичьих. Они взяли ее на руки и потащили к большому, обгоревшему с одной стороны дереву. Площадку, на которой стоял Бритоголовый, качнуло и отнесло от берега. Он едва не уронил стремянку. Неведомая тяга поволокла его вперед по течению воздуха, потом качнула, развернула и прибила его площадку к краю обрыва.

Бритоголовый ступил на землю. Первое, что он заметил, были кости его собственной плюсны, все двадцать девять, как на рентгене. Они неназойливо просвечивали через кожные покровы. Неприятная деформация — Бритоголовый заметил увеличенные суставы сочленения между *Os metatarsi* и костью большого пальца. И обратился к тому, кого привык называть «внутривидением»:

— Что ж, спасибо, что ты меня не оставляешь...

Место это было прекрасным, хотя бы по одному тому, что солнце стояло в зените, указывая на полуденный час, и Бритоголовый обрадовался, что снова оказался там, где есть запад и восток, север и юг и, в конце концов, верх и низ. Он оглянулся и обнаружил, что провал исчез, затянулся, как будто его и не было. Бритоголовый улыбнулся, покачал головой — не больно и нужно...

Мир, в котором он пребывал, вызывал полное доверие, но требовал отказа от прежних навыков мышления, и он, по своей давней способности к ученичеству, был к этому готов. Все вокруг было зелено, мирно и тепло. Ветер принес запах костра и какой-то пищи. Он пошел на восток, куда его позвал ветер.

## 8

Сон ей действительно приснился. Очень простой сон — вода. Она плескалась у шиколоток, потом поднялась выше. Сначала этот подъем воды был медленным, потом вода стала хлестать сбоку и сверху, и она уже не стояла на дне водоема, а плыла. Вода же все прибывала, лила на голову, заливала нос и рот, и дышать стало трудно. Невозможно.

«Теперь я утону, — поняла она в тот момент, когда погрузилась в воду с головой. Задержала выдох, потом медленно через нос выпустила последние остатки теплого воздуха и увидела, как они гроздью пузырьков ушли вверх. — Как же глупо тонуть, когда все так хорошо кончилось...»

Когда задерживать вдох стало невозможно, она открыла рот и выпустила в себя воду. Но то ли вода была не совсем водой, то ли она — не совсем собой, только ничего страшного не произошло, она не захлебнулась, хотя и ощутила сначала в горле, а потом в груди прохладное течение.

Она нырнула — и поплыла. Вода проникала ее насквозь, и это было так же естественно, как если бы это был воздух. Ее обтекали плавучие острова водорослей и стаи разноцветных мелких рыб. Над головой слои воды были бледные, цвета северного неба, внизу — густо-синие, до черноты, и никакого дна видно не было. Зато, приглядевшись, можно было различить тонкое мерцание звезд. Более теплые струи мешались с холодными, возникало скользящее движение вроде ветра.

Тело ее слушалось, но она не могла вспомнить, когда ее научили плавать. Кажется, прежде плавать она не умела. Она свела руки над головой, соединила кончики пальцев, быстро пошла наверх и вынырнула на воздух. Тут и проснулась.

Сделала выдох — из ноздрей и изо рта вылилось немного воды. Вокруг колена запуталась скользкая гирлянда водорослей. С волос текло. Она отжала их двумя руками, как отжимают белье, и отошла от куста на солнечное место. Волосы на солнце сохли быстро, но сразу же начинали кудрявиться на висках и надо лбом, чего она не любила. Расправив пряди волос, стала пропускать их через пальцы, как через грубый гребень.

— Елена, — услышала она свое родное имя и обернулась. Перед ней стоял ее муж Павел — не старый и не молодой, а ровно такой, с каким она познакомилась, — сорокатрехлетний.

— Пашенька, наконец-то. — И она уткнулась лицом в самое родное место, где сходятся ключицы.

Он ощущал, как очертания ее влажного худого тела точнейшим образом соответствуют пробитой в нем самом бреши, как затягивается пожизненная рана, которую нес он в себе от рождения, мучился и страдал тоской и неудовлетворенностью, даже не догадываясь, в какой дыре они гнездились.

Елене же, всему ее существу, того только и хотелось, чтобы укрыться в нем целиком, уйти в него навсегда, отдав ему и свою ущербную память, и бледное, ни в чем не уверенное Я, блуждающее в расщепленных снах и постоянно теряющее свои неопределенные границы.

Это не он по-супружески входил в нее, заполняя узкий, никуда не ведущий проем, входила она и заполняла полое ядро, неизвестную ему самому сердцевину, которую он неожиданно в себе обнаружил.

— Душа моей души, — шепнул он в мокрые завитки над ее ухом и крепко прижал ее к себе.

Там, где кожа соприкасалась, она плавилась от счастья. Это было достижение того недостижимого, что заставляет любящих соединяться вновь и вновь в брачных объятиях, годами, десятилетиями, в неосознанном стремлении достичь освобождения от телесной зависимости, но бедное человеческое совокупление оканчивается неизбежным оргазмом, дальше ко-

того в телесной близости пройти нельзя. Потому что самими же телами и положен предел...

С ними происходило небывалое. Но из того, что было еще в пределах человеческого разума, оставалось чувство тел, своего и чужого, однако то, что в земной жизни называлось взаимопроникновением, в здешнем мире расширилось необозримо. В этой заново образующейся цельности, совместном выходе на орбиту иного мира, открывалась новая стереоскопичность, способность видеть сразу многое и думать одновременно многие мысли. И все эти картины, и мысли, и ощущения представляли им теперь в таком ракурсе, что лишь улыбку вызывал прежний страх Елены пропасть, заблудиться в пространствах, растянутых между неизвестными системами координат, и потерять ту ось, которую она однажды действительно потеряла, — ось времени...

При последнем всплеске внутривидения замечено было, что две извилистые веточки яичников укромно лежат на положенных местах, изъятая в сорок третьем году матка находится на прежнем месте, а от шва поперек живота не осталось и следа.

Но это вовсе не значит, что бывшее сделалось небывшим, догадались они, мужчина и женщина. Это значит, что преобразению подлежит все: мысли и чувства, тела и души. И также те маленькие, почти никто, прозрачные проекты несостоявшихся тел, волею тяжелых обстоятельств корявой и кровавой жизни прервавших земное путешествие...

Когда они расположились друг в друге вольно и счастливо, душа в душу, рука к руке, буква к букве, оказалось, что между ними есть Третий. Женщина узнала его первой. Мужчина — мгновение спустя.

— Так это был Ты? — спросил он.

— Я, — последовал ответ.

— Боже милостивый, какой же я был идиот... — застонал мужчина.

— Ничего страшного, — успокоил его знакомый с юности голос.

Страшного не было ничего...

*(Окончание следует.)*



---

---

ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВ

\*

## ПОЙМАННЫЙ ГРОМ

\* \*  
\*

Сквозь наплывы янтаря и разводы позолоты  
на исходе октября лес просвечивал, как соты,  
обнажая синеву, отпуская на свободу  
отгоревшую листву влажной вечности в угоду.  
Вот — граница бытия, за которой мы не властны.  
Для кого-то смерть моя будет легкой и прекрасной,  
мимолетной, словно грусть. Скажут: «Музыка умчалась  
вместе с ветром». Ну и пусть. Лишь бы что-нибудь осталось, —  
след какой-то на земле, звук, который отзовется,  
уголек в ночной золе, блеск звезды на дне колодца...  
Потому что только так можно выжить, не иначе, —  
сквозь молчание и мрак свету радуясь и плача.

\* \*  
\*

Я где-то прочитал, что человек  
из лабиринта выбраться на волю  
способен, лишь придерживаясь свято  
одной стены. Тогда в конце концов  
он выйдет, как Тезей, на свежий воздух,  
к высоким звездам, морю, кораблю.  
Жаль, я всю жизнь мечусь и не внимаю  
чужим советам. Впору поумнеть,  
остепениться... Вот недавно встретил  
приятеля в Таврическом, и он,  
не видевший меня считай лет двадцать,  
пытался разузнать, как поживаю.  
Что ж, врать пришлось, придумать на ходу  
карьеру журналиста, жизнь в Москве,  
престижный брак с художницей, что, кстати,  
и вправду было некогда со мной,  
но только вперемешку. Для чего  
я врал, как будто снова примеряя  
иную жизнь, которая тесна?

---

Дмитриев Виталий Владимирович родился в 1950 году. В 70-х годах участник неформального литературного сообщества «Московское время» (вместе с А. Сопровским, Б. Кенжеевым, Т. Полетаевой, С. Гандлевским и другими), опубликовался в «Знамени», «Октябре», «Континенте» и других журналах. Живет в Петербурге.

И море знает, почему шумит,  
и небо помнит, для чего бездонно,  
и ни одна звезда не говорит,  
но мы их окликаем поименно.  
Вот Сириус, вот Марс, а вот Венера.  
Произношу нелепые слова.  
Ни разу в жизни их на небосфере  
не наблюдал. Лишь в юности, когда  
ходили оттянуться в «Планетарий».  
По небу звездному идет прогулка,  
темно и тихо. Мы портвейном булькаем.  
Скользит над нами звездная указка...  
О, женщина, экскурсовод по звездам,  
жива ли ты? И жив ли звездный мир?

\* \*  
\*

Раскрывая глаза в соленой воде,  
промывая, за неимением слез,  
этой мутной влагой, видишь везде  
только муть и взвесь, и нельзя всерьез  
уповать на прозрачность, вообще нельзя  
ни на что уповать, ибо застит взор  
эта муть и грязь, и нужна слеза  
или море, чтоб смыть надоевший вздор.  
Раскрывая глаза, рискуя прозреть,  
здесь читай — «ослепнуть, как Гомер»,  
понимаешь, что жизнь — это та же смерть,  
но с обратным знаком. Хлябь и твердь  
разделить еще можно, но в небесах  
все едино. Стоит ли различать  
первородный грех и смертельный страх,  
чтобы время жизни качнулось вспять.

\* \*  
\*

Я пытался жить, теребил судьбу по старинке,  
расплетая нить, перевозанным любуясь цветом.  
Не скопил в глазу ни одной золотой соринки,  
ничего не скопил, никогда не жалел об этом.  
Я всё бревна таскал да укладывал там, где надо.  
Я почти устал, но не жду от судьбы пощады,  
хоть давно замыслил изведать иную долю.  
Говорят же — есть на свете покой и воля.  
Только издавна рабское что-то во мне засело,  
все никак не дает оторваться душе от тела.  
Видно, я еще похожу по самому краю,  
видно, губы свои в вине еще искупаю.

\* \*  
\*

Хоромы сменив на полати, свершив переезда обряд,  
толкаясь на Старом Арбате, зачем я так выпукло рад,  
узнав на лубочной картинке ограду, двойной светофор  
в том месте, где улица Глинки впадает в Никольский собор?  
Зачем я цепляюсь за место, коль время едино для всех?  
Сквозь город, не стоящий мессы, почти презирая успех,  
иду то ли слаб, то ли болен. Но вот наступает тот миг,  
когда с четырех колоколен вещает единый язык.  
И вновь вдоль изгибов канала бреду неизвестно куда.  
Ты помнишь, ведь здесь протекала иная, живая вода,  
иные деревья шумели под теплым весенним дождем,  
где Росси, Ринальди, Растрелли рокочут, как пойманный гром,  
и даже не верится толком, что все это сходит на нет.  
Лишь ты, безмянным осколком в пространстве блуждая, поэт,  
еще не предвидишь, не знаешь, зачем и куда возлетишь,  
чьей кровью себя запятнаешь, чью душу безвинно спалишь.





---

---

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ

\*

## НАМ ЦЕЛЫЙ МИР ЧУЖБИНА

*Роман*

**В**ыждав просвет между вжикающими машинами, я пересек набережную Макарова увесистой трусцой. Тучков мост... Я даже вздрогнул, когда, не успев одеть его в привычный ореол, случайно увидел из троллейбуса Юру, шагающего по мосту сквозь редкую метель в слишком длинном (шинель Дзержинского), слишком давно купленном потертом пальто и шапке с пружинящими, словно подбитые крылья, опущенными ушами... Я сразу понял, что Юра шагает из фирменного, отделанного цветным деревом магазина на Петроградской, где продавались кубинские сигары: Юра желал быть Печоринным в демократическом обществе, принципиально не допускающем аристократизма. Юре-то и с самого начала было запаadlo, будто школьнику (тем более уже в третьем престижном вузе), ездить на занятия, выходить к доске, выслушивать неодобрительные замечания: чтобы держаться с преподавателями по-свойски, нужно было до этого пахать с не менее унизительным усердием. Но и после отчисления пришлось подкармливаться за счет наших батончиков, скрываться от коменданта, а потом уже и от милиции: «тунеядка» грозила тюрьмой...

Господи, уж не по этому ли самому поребрику я тогда никак не мог пробежать больше пяти-шести шагов (зато только подумал — и взлетел обратно) после стакана портвейна? (Была такая манера — шел мимо и шарахнул стакан.) Катька наблюдала за моими пробежками с умильным неодобрением взрослой тети. Чумадые весенние работяги откачивали из люка какую-то дрянь. Я, конечно, не мог не пробежаться и по глотательным вздрагиваниям их ребристого шланга. Делать, что ли, нечего, сквозь треск насоса рыкнул на меня один чумазий. Ты же неправильно лопату держишь, укориженно проорал я в ответ, и он, на мгновение остолбенев... Глупый мальчишка, с грустной нежностью сказала Катька, когда мы удалились из зоны акустической досягаемости.

Наконец-то я догадался взять у Катьки сумку. «Ого!» — «Да, тяжелая, одиннадцать метров». — «Уже и вес начали мерить метрами?» Оказалось, это были занавески для какой-то ее белорусской родни. Мы уже бессознательно нащупывали путь к физическому сближению — начинали осторожненько касаться изнанки наших жизней: родня, ее бытовые нужды и привычки... Мы как раз перебежали через набережную к этому вот устью Волховского, где теперь расположилось постоянное представительство новорожденной республики Саха «Бастайааннай бэрэстэбиитэлистибэтэ». А вот и тысячу раз истоптанная брусчатка — черные полукружия, как в переспелом подсолнухе, — Тучков переулочек. Эта арка — вроде бы проходная до Съездовской линии. На месте ли стойкий одноногий Аполлон?

Но от компашки тинейджеров прямо к моей подворотне направились потный волосатый птенец и отклеившийся от багровой девахи раскормленный загрывок под прозрачным ежиком. «...Посссать!..» — просвистело с та-

кой удалью, словно они намеревались вплавь пересечь Геллеспонт. Подружки проводили героев припухшими улыбками. Когда-то я ни за что бы не изменил маршрут — имею право! Но сегодня для всякой погани у меня нет чести: найду выгодным пробежаться на карачках — пробегусь, как на тренировке.

Помнится, эти ворота тоже сквозные... во дворе духовка с привкусом пыли, из окна забывает довольно красивое меццо. «Кто так *сладко* поет?» — радостно округлил бы глазищи Славка. «Балалайка!» — вдруг тренькнуло во мне. Славку же в детстве учили играть на балалайке! Отмывал его отец от космополитизма или в этом еврейском снабженце тоже таился романтик? Когда он отказался написать Славке разрешение на выезд — его дочь от второго брака работала на авиационном заводе, — Славка даже на похороны к нему не поехал. Понимаю: каждому своя шкура дороже. Не понимаю одного: как при этом можно считать себя *правым*?

Когда я разыскал Славку в Бендерах, после ошалелых объятий он со смехом рассказал, что время от времени к нему врывается милиция — якобы в поисках преступника — и у всех присутствующих переписывает паспорта. Я как раз ждал утверждения диссертации, а потому улыбался довольно натянуто. Славка же, ничего не замечая, переменил выражение на скорбно-презрительное: к ним теперь ходят одни отказники, остальным в КГБ пригрозили кому чем. Они потом поодиночке подходили, извинялись: просто исчезнуть считали непорядочным. «А слушаться *этих* не считали непорядочным».

Я в изумлении воззрился на него: а ты бы чего хотел? Ты печешься о своих интересах, а они о своих. Если я махнул к тебе с черноморского сборища по теории графов, упуская ценные связи с графологами и графоманами и вообще ставя под угрозу свою карьеру, то исключительно по собственной... Но ведь самое главное — объяснять бесполезно, можно только принимать или не принимать человека с его кривобокой решалкой.

Славка достоинства ампутации оценил раньше меня (и то сказать, мы постоянно были для него источником сомнений — источником сравнений: его Марианны с Катькой, его образа жизни с моим, его решимости уехать с нашей решимостью остаться), но зато не так последовательно. Разысканный мною, несмотря на конспирацию — в паспортном столе он оставил липовый будущий адрес: дом с таким номером приходился как раз на середину Невы, — он сиял, как умел сиять только Славка. «Здорово ты выглядишь — крепкий такой!» Мужчины друг другу подобного обычно не говорят. Да и не замечают. По крайней мере я лишь после этого его возгласа, который он как бы не в силах был сдержать, обнаружил, что он не только облысел, но и отек. Потом под отпущенной бородой отечность стала не так заметна, и в редкие его заезды я скорбно мирился с этой бородой фрондерствующего еврея, придававшей ему сходство с гениальным лириком Афанасием Фетом, но уж пластиковый-то пакет с пламенеющими ивритскими иероглифами он мог бы оставить в чемодане!

Славкин барак походил на наш заозерский, но с двумя комнатами, оставленными ностальгической послевоенной мебелью, с жизнерадостным седеньким тестем из железнодорожного депо (мы в первый же вечер дружно отправились туда в халянный душ вместо платной бани), с его иссохшей сицилийского вида сестрой в черном, близоруко вкальвавшей Славке инсулин в терпеливо, по-коровьему, подставленное плечо. Зато я не обнаружил пластинок: оказалось, закадычные Бах с Шубертом (ни дня без ноты) упакованы для отъезда лет на десять — пятнадцать. Славка — и без концерта для чембало с оркестром — невероятно!..

Они с Марианной все эти годы как будто не жили, а сидели на чемоданах. Правда, сидели довольно идилически: по кроткому зову супруги Славка самолично переливал растительное масло из бутылки в графин, радушно поясняя: «Они разливают, а я их ругаю», — споро изготавливал контрольные для заочников, ограждаемый от наглости деловых партнеров грустно-забот-

ливой Марианной: «Слава ему уже десять раз сказал!..» С заглянувшей в гости суперинтеллигентной (супереврейской) парой Славка держался обиженно, передернулся, когда нервно-красивая, будто кровная кобылица, гостя светски поведала, как ее ценят в музыкальной школе. «Они та-ак на американских посылках зарабатывают — они их распределяют аж до Новосибирска!» — обличил их, царственно откланявшихся, Славка. «Мы просто друг другу надоели», — мудро вздохнула Марианна, вообще-то склонная к выпренности: Додик, Марик, Зусман, Бляхман необыкновенно, божественно талантливы!.. «Как все у тебя», — иногда досадовал Славка. Даже совершенно обычные двоюродные ее братья (у нее просто «братья») с диковинными румынскими именами, прижимавшиеся с двух сторон к «Спидоле», чтобы сквозь писки и завывания слышать слабый голос Израиля, были у нее красавцы и почти атлеты. Казалось, только в Славке она не находила ни гения, ни атлетизма (а он играл в баскет за университет!). Зато о Славке она явно заботилась, кормила, и мы с нею подружились, несмотря на обоюдную ревнивую настороженность. В делах житейских она вела себя как нормальная умная женщина, не подводила свои дивные черные очи: «Как я завидую Фраерзону, его бесстрашию, его пламенности!» Фраерзон, вызванный свидетелем на процесс евреев-угонщиков, объявил, что разговаривать будет только на иврите, а когда для него наконец добыли переводчика, заявил через него, что показаний давать не будет. Славка за пределами диссидентской службы, состоящей наполовину из выпендривания перед органами, тоже на диво врос в тамошнюю жизнь, занялся шахматами, вышел в чемпионы города — при его памяти на частности он был рожден для прикладных наук. Он в отличие от меня превосходнейше помнил все количественные параметры годовалой дочки чуть не за каждый день, с доброжелательным любопытством наблюдал, как ее кормят кашкой, из-за спин восхищавшегося кагала: «Ест только густую — редкую даже не предлагай!», прогуливался с коляской по одноэтажной улице как прирожденный провинциал — это он, считавший Свердловск нестерпимым захолустьем.

Тот, кто не хочет кормить свой фантом, обречен кормить чужие. Славка вполне мог быть счастлив в Союзе — он увлекался почти любой работой, с окружающими сходилась хоть и не по-маниловски, но и не считал контакты с ними чем-то гадким: жить бы да жить. Славка не догадывался заметить над собой власть фантома, и, когда я наконец решился его спросить, чего ради он уезжает, он начал припоминать то, другое, явно не каждый день его волнующее... И только самым последним вспомнил: да, я же еще большой человек, от советского инсулина вырастают бельма — ну, это он прооперируется... Бывает еще гангрена. Хотя... Глупо, конечно, об этом думать заранее, но в Израиле, говорят, вшивают какую-то коробочку... Ни ему, ни мне было не догадаться, что он снова потянулся за чужим фантомом.

Собственное бордовое вино, мясистые китайские фонарики перца, слезливая молдавская брынза, запеченное в духовке сургучное мясо — Славке было почти уже ничего нельзя, но пронесло нас почему-то одинаково. Сортир у них был подалее нашего, в соседнем дворе... Правда, нашенских морозов здесь они не нюхали... Но тем не менее у Славки для неженков в кладовке стояло эмалированное ведро, накрытое деревянным квадратом с дырой посередине (когда Славка сделался важной персоной среди отказников, ему самолично звонил из Штатов какой-то прикидывающийся дурачком сенатор, никак не могший взять в толк, как это в доме может не быть ванной). Зато у нас в Заозерье каждое посадочное место круглилось в собственной кабинке, а у них приходилось рассаживаться парами. Я в таких делах не сторонник публичности, а Славка тархтел как ни в чем не бывало, хвастался, что только здесь у него рассосалась вода в колене, набитая в нерегулярных матчах в проклятом Сарове-16 (он уже игриво шепнул мне истинное название Псевдоарзамаса) — а то он стал бояться быть навеки прикованным к сидячему сортиру: нога не сгибалась... Через много лет Катька краснея призналась

мне, что среди бесчисленных Славкиных неотесанностей Пузя жаловалась и на такую: он мог из туалета попросить у нее бумажку. В «свадебном путешествии» — в поезде до Риги — одна подушка им попала лучше, другая похуже, — Славка честно разыграл их по жребии и выиграл хорошую. Она всю ночь протрадала, а потом еще ночей триста его прогрызла, так что (не трожь... как-то вырвалось у него) впоследствии он всегда внимательно оглядывал делимое и отдавал ей долю получше. Но — *поколебавшись*, чем полностью... Вот Юра всегда был на высоте — или широк, или жесток. Однажды Славка с чего-то вообразил, что Пузя заперлась с Юрой, — и выломал замок! Такие страсти, но после «этого дела» он никогда ее не целовал. Лишь усиленные попреки заставили его проделывать это *ровно* два раза. Пузя делилась с Катькой, что ничего с ним не чувствует — «он же такой свой, лопухий». Катька, сдуру чему-то радуясь, пересказала это мне: точно, точно, ты тоже мне такой свой!.. Я даже несколько дней обдумывал, с которой из тех, для кого я не свой, отплатить за это смертельное оскорбление. Потом мы объяснялись, Катька плакала и больше подобных ошибок не допускала: Пузя не зря твердила нашим общим знакомым, что Катька ужасно хитрая.

Пузя должна была безостановочно кого-то грызть — у крыс без этого зубы проникают в мозг, — поэтому Славка всегда должен был находиться под рукой. А потом в термоядерном Арзамасе-007 она на месяц уехала в командировку, и Славка зарулил к какой-то копировщице и с усилием вспомнил, что можно, оказывается, не ощущать себя каждую минуту виноватым... Но главное — он испытал невероятное счастье в столовой: хочешь — занимай очередь, а хочешь — приди через полчаса, и ни с кем не надо полдня собачиться. Потом Пузя приезжала к нам в Заозерье, по-прежнему хлестала водку наравне со мной, выклеывая на закуску какие-то таблетки из обширной мозаики, плакала, и Катька в пароксизме великодушия подарила ей чудом вымененного Камю. Пузя на это рассказала, что Славка при разделе совместно нажитой библиотеки не согласился без выкупа оставить ей свою половину, и когда Славка, наконец перебранный почти в Ленинград — на пригородную атомную станцию, — впервые заехал к нам, Катька по обязанности долго его ругала. Но Славка только сиял округлившейся физиономией, а потом повел нашу дочку в дощатый синий магазинчик и купил ей шоколадку. «Это мне?..» — не поверила она. «Тебе, тебе». — «Серьезно?!» — «Серьезно». — «А почему мама говорит, что вы жадный?»

Жадный-жадный, но Пузя клялась, что, если бы начать сначала... В тот вечер за бутылкой (особенно за второй) я ей даже верил, но — невозможность спокойно видеть рядом довольного человека терзала ее душу даже помимо ее воли. Какая корона, какой принц мог бы утешить (утишить) принцессу, способную отказать мужу в куске батона, когда он с другом в шесть утра отправляется на Бадаевские склады разгружать вагоны (на самом-то деле — порезвиться на воле да обожраться грушами-дынями без жены). «Почему я обязана идти в магазин!» И нам пришлось кидать ящики со сверхдефицитными бананами без маковой росинки (Катька почему-то отсутствовала), и меня затошнило от первого же мьльно-душистого куска. Долго бананов не мог в рот взять, даже когда они появились вместе с демократией. Это при том, что ко мне Пузя почему-то подлизывалась — вероятно, чтобы использовать против еще кого-то.

Одно время она наладилась покрикивать на Катьку — я терпел, пока она не покусилась на позу благородной правоты, — решила трактовать Катькину пылкость как авторитарность: «Нет, ты не сказала „мне кажется“!» — и прихлопнула нечеловечески крохотной ладошкой по столу. Неожиданно для себя я встал и вышел. Однако назавтра мы встретились как ни в чем не бывало — она поняла, что какой-то порог переступить не следует. Но я так долго не порывал с нею, уж конечно, не ради ее лести — нет, это было какое-то табу. (Общие фантомы? Да, она отчасти понимала в литературе — в разоблачительной ее стороне.) И я ее «прощал»: каким-то чудом переставал знать то, что

знал. А она следующую жертву — деревенского физика — оплела тем же приемом: сначала бесконечная кротость, «понимание» (Славка, еще гоняя ее из комнаты от Юры, затвердил, что она очень добрая); затем на какой-то задушевной попойке проникновенная просьба с закрытыми глазами: «Поцелуй меня...»; потом три-четыре недели смущенной влюбленности («Как я могла... С другим была бы такая стыдуха...») и слияния душ и тел — жертва сама не замечает, как вместо нежностей и ласк ее ночами напролет уже изошреннейше, подкрепляясь одними таблетками и сигаретами, избочивают в изошреннейших низостях. «Если бы мы писали друг другу письма, я бы ее, наверно, победил», — жалобно-юмористически округлял глаза Славка. Катка была убеждена, что Пузины уловки действенны только для тех, кто в детстве был обделен материнской любовью: Славка вырос с приемной матерью. «Сирот ловит!» — с невыразимым омерзением повторяла Катка.

Кормить Славку Пузя все-таки изредка кормила: варила дюралевую бадью супа-харчо в качестве и первого, и второго на завтрак, на обед и на ужин. Зато мыть эту бадью обязан был Славка. «Сразу же очень легко сполоснуть, а она ждет, когда все застынет, присохнет!..» — ужасалась Катка. «Как можно мужу жалеть?» — горестно мигая, вопрошала она, вероятно, господу бога, когда мы с нею смаковали гоголевский «Нос»: пусть дурак ест хлеб — останется кофию лишняя порция.

Марианна принимала Славку каков он есть, а Славка принимал жизнь какова она есть: оставаясь без чужого фантома, он сразу же переставал куда-то карабкаться. Но не карабкаться означает сползать. Марианна подогревала Славку хотя бы мифом новой родины, а с Пузей он мог зацветать даже в круглосуточном преферансе с какими-нибудь случайными сожителями Брундуковыми: Феликсом — невысоким строгим слесарем (умер) и Фрезеттой — слободской монголоидной толстушкой (еще жива), помиравшей со смеху, пересказывая чью-то свадебную шутку: «Он открывает коробку, а там... Две куклы!!!» Славка, будто и не он, прекрасно проводил с ними целые дни, начинал курить, забрасывал тренировки — правда, не удерживаясь от завистливых ядовитостей, когда мы с Каткой возвращались из театра или из библиотеки. Но о партнерах своих по болотцу отзывался по-доброму — в отличие от Пузи, для которой решительно все ближние служили полигоном для недобрых наблюдений, для обглаживания и оплевывания их косточек. Не зря она однажды призналась Славке, что больше всего на свете хотела бы полюбить людей.

Полюбить бы ей хоть одного — и то была бы разгрузка, но не знаю, сколько продержалась бы ее роковая страсть к Юре, если бы она хоть на три дня ощутила власть над ним. Любовь, увы, не имеет отношения ни к благодарности, ни к выгоде: Славка вытащил Пузю из полного дерьма — она была во второй раз отчислена и скрывала это от семьи: «Мать умрет, если узнает». — «От этого не умирают», — сомневался Славка. «У нее большое сердце». — «Значит, она и умрет от больного сердца. Правда же?» Короче, Пузя получала от родителей пятнадцать рублей в месяц, «добавку к стипендии», и кочевала с одной случайно свободной койки на другую, и что-нибудь раз в месяц выбиралась из общежития в пышечную возле матмеха — назад мы протаскивали ее мимо вахты чуть ли не в окно, коротенькую, яйцевидную, в расходящемся зеленом пальтишке. Славка же начал сдавать вместе с нею все экзамены — сперва накачивал чем успевал (она была далеко не дура, но запущенна чудовищно), потом ждал под дверью, покуда она выпросится в сортир, и лихорадочно набрасывал конспект ответа: «Поэтому предельная функция непрерывна почти всюду». — «Что значит „почти всюду“?» — «За исключением множества меры ноль». — «А что такое множество меры ноль?» — «Этого уже не спросят».

Добился он этим лишь того, что, приступая к аппетитному перечислению его пороков, она скороговоркой, как «Отченаш», проборматовала: ямуко-нечнооченьблагодарна...

Екнуло в груди: вдавленная плитка в сквозном подъезде все та же — и я выныриваю лицом к лицу с Первой линией. Ба, на месте родного подвальчика «Старая книга» — кафе «Реал»! А завтра здесь появится вывеска «Очки», послезавтра какое-нибудь «Аудио-выудио», а послепослезавтра — салон «Интим» с платой за право полюбоваться налившимися дурной кровью фаллосами и истошно розовыми, стоматологически вывернутыми вагинами при ухарски подвитых нафиксатуренных усиках. Нет, никакая реальность не превзойдет те сладострастные часы, что были здесь пролистаны, пока не решишься наконец овладеть каким-нибудь Багрицким или, скажем, Бернсом копеек этак за семьдесят. А при виде той аккуратненькой синенькой шеренги десятитомного Пушкина я, наверно, и сам посинел...

Угловые электротовары превратились в «Лайн» с пояснением «Орион» — мудрый Эдип, разреши. Хрусталеи вроде развесили побольше — прямо пещера горного короля... А вот низкое солнце вдоль Среднего проспекта лупит прямо в глаза, как всегда в эту пору дня. Ничего ампутировать невозможно — можно лишь перетянуть до бесчувствия стальной проволокой воли. Но стоит ей ослабнуть, и все — с болью, с мучительными мурашками — начинает оживать. Я могу с закрытыми глазами восстановить каждый дом и каждую вывеску — даже хорошо, что солнце не дает мне смотреть вперед (да еще и пот подсушивает). Здесь была булочная с кофейным стоячим уголком, где можно было после тренировки, в полутрансе от пропущенных ударов, навернуть ватрушку-блюдец — ага, здесь теперь *бистро*, наивный стилиста начала шестидесятых не додумался бы о таком и мечтать: помню, на каждом шагу — «Coca-cola», «Camel», «Marlboro»... Зазывают посетить Египет, Израиль, Канары — уже не вздрагиваешь даже от слова «Израиль», вечно сулившего какие-то неприятности. Как быстро все сделалось будничным... Ага, вот и «Интим». А вот муляжный готический собор — бывшее не то РЖУ, не то ЖРУ, — ныне евангелическая лютеранская церковь. А здесь стоял лоток с хурмой — Мишка сразу передразнил долгий захлебывающийся всхлип, который я еще только мог бы произвести. С Вальшой у них вышла целая разборка, когда она в ванной подавилась зубной пастой, — он считал, что так харкаться нельзя даже под гарротой. А вот полная обнова: через трамвайные пути рисуется новомосковская башенка «McDonald's» — здесь меня и догнала запыхавшаяся Катька с совершенно круглыми глазами под золотой уленшпигелевской челкой. Вон там, напротив нынешнего хрустального «Ориона», она вдруг потребовала дожидаться трамвая. «Да брось ты, пошли!» — побредем и дальше по воздуху, осторожненько сплетаясь... «Я же сказала, поедем!» — вдруг прикрикнула Катька, и я, на миг остолбенев, сунул ей сумку с занавесками и быстро пошел вдоль по Среднему. Я даже вздрогнул, когда она, запыхавшаяся, уже у Шестой линии придержала меня за локоть. Разумеется, после этого я сам потребовал трамвая — вот здесь, у «Макдоналдса», поскуцневшие, мы и стояли, и Катька растерянно пробормотала: вот не думала, что за кем-то буду бегать... Очень не скоро выяснилось, что у нее отстегнулся чулок — мир еще не знал колготок.

Пушистые лиственничные детеныши вдоль Шестой превратились в догвязых, изнемогающих от духоты подростков. На стене через улицу уже не проступают буквы НОМЕРА «ЛОНДОНЬ» — по диккенсовской закопченной растрескавшейся стене раскинулось агентство недвижимости «АДВОКАТ». В «Лондон» — солидную столовую с официантками — Славка иногда зазывал меня пообедать по-человечески: для меня-то «по-человечески» означало ухватить что под руку подвернется. Вот как сейчас, например: в подворотне мелькнул не виданный прежде в таких закоулках продовольственный ларек. Ба, *слойка свердловская* — сколько зим!.. Обтянута слезно-прозрачной тончайшей пленкой, вроде той, коей я окончательно добил Угарова. Ему необходимо было отбояриться от правительственного заказа на сверхтонкую сверхпрочную пленку (кодовое название — «гондон Брежнева»), а я, наворотив побольше плотностей распределения и дисперсий, доказал, что сегодняш-

ние приборы просто не позволяют измерить ее с нужной точностью. Именно после этого Угаров учредил для меня специальную должность Главный Запудриватель Мозгов, он же Главный Навешиватель Лапши. Угаров был членом горкома, имел лапу в ЦК — он обещал за год устроить мне докторскую защиту, за два — квартиру в центре, — и не солгал.

Я к тому времени уже давно считал, что велик в математике только пронизывающий ее дух честности, дух, способный принести истинно ценные плоды лишь в изучении человеческой души — в психологии, в социологии, в искусствоведении... Теперь-то я понимаю, что человеческая душа принадлежит к тем объектам, изучая которые разрушаешь их — разрушаешь фантомы, кои только и могут нас воодушевлять и утешать: реальность всегда ужасна, стоит заглянуть в нее поглубже, — наука — организованная честность — не позволит ничему живому ужиться рядом с собой.

Тогда-то я до этого еще не дорос, я еще почему-то верил, что знание с чего-то должно увеличивать не только нашу власть над материей, но и силу нашей души. Я не полез в психологию, в социологию исключительно из честности — или даже из чести: я не хотел хвататься за соломинку, я знал, что одинокий самоучка ничего ценного создать не может — я наглядился на бродивших по факультету заросших решателей теоремы Ферма, готовых раскладывать свои бумаги хоть перед вахтером. А пробиваться в какую-то гуманитарную контору, специально созданную для борьбы с истиной... Умоляю — мне прекрасно известно, что люди творили и в более безнадежных обстоятельствах, но я думаю, эти простаки не понимали, насколько они безнадежны, эти обстоятельства. Безумство храбрых, храбрость лунатиков, не видящих бездны под ногами... А я все видел слишком хорошо. Я ампутировал мечту о прорыве в иные сферы вслед за мечтой о корветах и фрегатах. Быть может, я упустил самое важное, самое прекрасное? Маловероятно, однако возможно. Но честность, достоинство, нежелание тешить себя фантазиями не оставляли мне выбора. Что мне было — идти на безнадежное дело, испытывая не гордость, а стыд?

Или — тем более — самоуслаждаться и дальше в полупрезираемой мною математике? Если не горишь, хотя бы зарабатывай. И я зарабатывал. И зарабатываю даже сейчас. Угаров щедро мне отваливает за мои аналитические записки: его восхищает, что я одинаково убедительно могу обосновать и повышение, и понижение таможенных пошлин, и сокращение, и увеличение рабочих мест, и поворот направо, и поворот налево. Он думает, что это какое-то особенное еврейское хитроумие, а я всего лишь вижу противоречивость всех наших целей. И когда почти все мои коллеги сосут лапу, я сосу свердловскую слойку.

Восьмая линия — трамвайное столпотворение. «Чувствую, кто-то меня толкает, оборачиваюсь — трамвай», — возбужденно рассказывал Цетлин, как обычно, ни к кому не обращаясь. Надо бы хоть издали взглянуть на желтую граненую часовенку на углу Восьмой и Малого, где заканчивал свои российские дни Мишка, но ведь трамваи только и ждут твоего зевка. Черт, подмышки уже расходятся кругами... Трамвайную остановку теперь перенесли к метро, но нам и отсюда лишние тридцать метров казались нетерпимы: мы отжимали дверь и спрыгивали на ходу. Славка однажды проехал носом — разбил часы на внутренней стороне запястья да еще и сточил хромированную кромку, так что ни одно стекло в них больше не держалось.

А вот и... Никогда не замечал, какой милый, украшенный цветной плиткой северный модерн предвяряет последний путь к былому матмеху — я в ту пору был убежден, что архитектура не должна служить человеку.

Иссушенное временем и бѣгом сердце все-таки снова начало наращивать удары — когда-то я готов был триста шестьдесят пять тысяч раз в году, замирая, перечитывать вывеску «Математико-механический факультет», — отколотый угол лишь добавлял ей ореола: у джигита бешмет рваный, зато оружие в серебре. Мемориальная доска «Высшие женские (Бестужевские)

курсы — Н. К. Крупская, А. И. Ульянова, О. И. Ульянова...» была на месте, а что за контора здесь сейчас расположилась — не все ли равно, кто донашивает тапочки из шкуры любимого скакуна.

За дверью открывается незнакомый, а потому нелепый розовый туф. Ирреально знакомые ступени. Последняя дверь, как и тогда, по плечу лишь настоящему мужчине: Юля, избегавшая некрасивых поз, всегда кого-нибудь поджидала, чтобы прошмыгнуть следом. Ощущение бреда полное — тесный вестибюль с громоздким пилоном посредине был запущенный, но *тот же*. Нов был только застарелый запах давным-давно вырвавшегося на волю сортира. Несмываемый позор...

Выходец с того света, влево удалялся полутемный коридор, нырявший под темные своды гардероба, предварительно выпустив узкий рукав, по которому аппендицитствующий Славка когда-то скособочась догонял прекрасную Люсю Андрееву. Дальше — отсюда тем более не видно — ответвление в столовую, близ которой подоконник был вечно завален охапищей польт и курток, что строжайше запрещалось, поскольку их время от времени тырили. Но не тратить же целую минуту на гардероб! Столовский котяра был жирен и ленив до такой степени, что даже лечь ему было лень — он брякался на бок со всего роста и замирал прямо среди шагающих ног. А вон там у большого подоконника Женька неукротимо пожирал дюралевой ложкой двойную порцию рыхлых котлет, а Мишка веско рассуждал о польской школе в кинематографе. «Привык в кино лихачить», — как бы огрызаясь — выдавший виды умудренный мужик — осудил он недавно погибшего Збигнева Цыбульского. «А ты смотрел фильм „Влюбленный пингвин“?» — заинтересованно придвинулся к нему Славка. «Я чешские фильмы не смотрю», — с достоинством ответил Мишка. «А польские?» — еще больше оживился Славка. «Смотря какие». — «Ну, например, „Влюбленный пингвин“?»

Узкая лестница от столовой поднималась к второзэтажным закромам «астрономов», ведущих замкнутый и таинственный образ жизни. А на третьем этаже, в глубоком захолустье, под низкими потолками нас учили таким ненужностям, как инглиш и эзэс (история КПСС). Правда, там как-то вел занятия сам Толя Григорьев — молодая алгебраическая звезда. Славка долго просил меня показать ему Григорьева, и вот, когда однажды мы расшумелись у него под дверью и Григорьев высунул свой полуармянский нос, который легко можно было принять за еврейский: «Товарищи, потише, пожалуйста!» — я сказал Славке, что это, мол, и есть Григорьев. «Григорьев?...» — почему-то изумился Славка, и в этот миг (поскольку шум продолжался) Григорьев снова высунулся, так что Славкин выкрик пришелся ему прямо в ухо. Григорьев оторопело на него уставился, а Славка резко повернулся и с независимым видом пошел прочь — вижу его тогдашние шоколадные брюки. Пузя просто наизнанку выворачивалась из-за Славкиной манеры внезапно ляпать, не подумавши. Когда нам, семейным парам, однажды понадобилось отселить четвертого лишнего — это был белобрысый коротконогий гигант по фамилии Шерстяной, отличавшийся глупостью и злобным нравом, а вдобавок произносивший не «наши», «шить», а «нащи», «щить», — мы подыскали ему хорошее место: третьим в четырехместной комнате. Только вот один его будущий сосед был слеп, а другой глух. Было решено про глухого не говорить — не заметили, мол... Мы с Пузей отправились уговаривать Шерстяного. «Слепой так слепой, мне плевать», — с подозрением согласился он. «Представляешь, один слепой, другой глухой!» — вдруг радостно вывернулся откуда-то Славка. «Так там еще и глухой?!» — сдвинул бесцветные брови Шерстяной. Татьяна, на мгновение замерев (мученически прикрыв глаза, чтобы не убить), повернулась и засеменила прочь — у нее не было слов.

Перила главной лестницы завершаются все тем же деревянным галачом, на который так любили надеваться карманы наших всегда распахнутых пиджаков. В глазах стоит мясистый регбист и щеголь Каменецкий, с абсолютно не свойственной ему растерянностью разглядывающий надорванный карман



своей тройки. У меня же при моих темпах оказались оторванными полполы, полезли какие-то парусиновые кишки... Я лишь через неделю сообразил, что вместе с изувеченным пиджаком запихал в фаянсовую урну и студбилет, и зачетку.

У сопроматического закутка шевельнулась чья-то тень — тень Славы Курочкина? Не может быть, этот сноб — и сопроматчики, по технарским меркам, высокие теоретики («Сопромат сдал — жениться можно»), но у нас что-то вроде трактористов: глаз невольно искал промасленную ветошку, которой они отирали с рук невидимый мазут. Вот и сейчас отсюда выступил седой, но явно неинтеллигентный вахтер. Он что-то жевал, и я почувствовал в руке неуместную надкушенную слойку. «Вам кто нужен?» Кто мне был нужен — Славка, Мишка? Дебелая (Славкино словцо) простодушная умница и восторженная дура Катька или я сам, тоже не умеющий сказать двух слов, не впадая в восторг или в ярость, — и при этом каким-то чудом еще считавшийся очень умным! «Я здесь когда-то учился», — скромно сказал я. «Тут недавно выпуск пятьдесят шестого года встречался — вы не оттуда?» — «Нет, я закончил Бестужевские курсы». — «Посторонним сюда нельзя». А я и не посторонний — я знаю, что вон в том закутке сопроматчики принимали экзамены у хвостистов, в которые Катька не попала только благодаря мне, — там, где приходилось иметь дело не с формулами, а с железом (если только это была не сковородка), Катька проявляла поразительную бестолковость, у вертикальной силы обнаруживала горизонтальную составляющую...

«Гражданин, я закрываюсь!» — вот и Слава Курочкин был такой же приставучий: вечно прохаживаясь взад-вперед по этому вестибюльчику, он вылавливал каждое новое лицо, особенно женского пола, и выпытывал, каковы его (ее) научные интересы (прийти в курятник и допытываться у пеструшки...). Кудрявый блондин, описывала мне его Пузя, и я долго не мог опознать этого златокудрого Аполлона в мелкоподвитом вислошке, толстоносом и толсторотом товарище, с гусиной походочкой... Говорили, когда-то на занятиях по дифуравнениям он учил, что дирижеры-евреи прячут от народа лучшие куски бетховенских симфоний, а потом еще участвовал в одноразовой стенгазете, в которой патриарх Фихтенбаум был обличен в доносе на русского ученого Кузьмичева. Говорили, Фихтенбаум, чей трехтомник и теперь служит все новым и новым поколениям, скончался чуть ли не у стенда, а Курочкина отстранили от преподавания. Но в мое время он уже снова читал спецкурс, Вячеслав Романович. Собственные результаты у него были не ахти, но знать в своей области он знал абсолютно все — беззаветно был предан нашей общей матери, будь ему пухом бетон колумбария. С каким трагическим пафосом, бедняжка, он известил нас о смерти московского Эльсгольца — невосполнимая утрата для дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. Возможно, отклоняющиеся аргументы вообще переберутся в Минск... В эту минуту на цыпочках пробрался за первый стол опоздавший Антонюк и, не замечая постных физиономий, принялся с живейшим интересом слушать о минских перспективах. Когда же Антонюк доброжелательно произнес: «Очень интересно!» — Вячеслава Романовича наконец прорвало: «Да уж куда интересней! Очень, оч-чень интересно!! А вернувшись из Москвы, я узнаю, что академик Колосов упал на эскалаторе с обширным инфарктом, — тоже очень интересно!!!» — и мне, несмотря на раздиравший мои внутренности неудержимый смех, ужасно было жаль его, одинокого Вячеслава Романовича, за его большое юдофобство как за дополнительное несчастье, повешенное на него склонным к экспериментаторству любознательным роком. Вот у этого выхода мы и пережидали ливень, когда внезапно треснул гром — и Вячеслав Романович с перекосившимся от ужаса лицом, как трехлетний ребенок, затрусил подалее от двери...

Не заглянуть ли все-таки к Мишке? Но раз уж стальная петля временно ослаблена, я и так прекрасно вижу последнее его российское пристанище —

сквозь пропилены двух желтых домов (ризница? трапезная?) вид на желтую же, тронутую классицизмом по всей долговязости квадратную колокольню (наверно, теперь уже отнятую у министерства самого малого машиностроения для возвращения прежним хозяевам). Мне и Мишку ничего не стоит восстановить — хотя бы и в первоначальном его облике. Чуть пониже меня, в плечах не дохляк, напористо склоненная голова с грифельно отливающими чуточку расположенными слипаться волосами, нос интеллигентный — с горбинкой, но щеки детски круглы и румяны, как у маменькиного сынка, куртка в порядке — болонья, но воротник не поднят, и книзу куртка не сужается, как положено, а висит юбкой. Брюки... цвет стерся, должно быть, оттого, что я первым делом проверял, узкие они или широкие: у нас в школе все еще боролись с ушитыми штанами. У Мишки были не широкие, не узкие, в коленях не пузырящиеся, а сабельно выгнутые. Сипловатый голос, внезапный саркастический хохот, новая для меня манера похвалиться слабостями — открывающая, однако, возможность презрительно хмыкать в лицо тем, кто осмеливается кичиться силой. Своего рода Москва (с другого конца), он постоянно проходил по моей крутости — для настоящего блатного действительно недостаточной, — и он же первым начал «не понимать» элементарных вещей — с подтекстом «уж с ваше-то я понимаю». «Что-о, ты понимаешь, что такое иррациональное число?!»

Тогда во мне еще возбуждали почтение личности, умеющие говорить о своих убеждениях и вкусах как о чем-то необыкновенно значительном. «У женщины должны быть могучие бедра», Мишка в ту пору был невинен, как шестнадцатилетняя поповна. «Почему-то я не нахожу со сверстниками общего языка — меня всю жизнь тянет к старикам», — с обескураженной улыбкой: прямо не знаю, что с собой делать. «Мои дяди по матери все страшно головастые, все хорошо учились, а по отцу — ужасно жизнерадостные, талантливые как черти, все могут изобразить. Дядя Залман как-то показывал лошадь — если ее перегрузить, она же не свезет! — и прямо вскочил на стол: вот так дергался и плечами, и грудью...» А у нас, у деревенщины, в лицах осмеливались изображать только шуты... Он еще запросто упоминал каких-то компрометирующих дядьев Залманов — при столь дивной русской фамилии: Березовский. (Такое невезение — сойдешься с человеком просто по интересности, а он глядь, и окажется евреем.) А уж со вкусом расписывать, как тебе били морду: в пионерлагерях меня всегда терпеть не могли, никто со мной не хотел корешиться...

Столько нового надо было переварить! Но уж наша старенькая, постная, скудно завитая эсэсница — тут сразу становилось ясно, что это не университет, а все еще школа: один глаз, блудливый, в учебник под столом, другой, преданный, ей в рот, на все случаи помнить одно — бедные и угнетенные всегда смелы и благородны, богатые и процветающие — жадны и трусливы. А применять научные критерии к «науке», явно ставящей целью скрыть истину, — здесь глупости хватало только у Мишки. Этот наследник Москвы усаживался за первый стол с видом заранее недовольного инспектора и раздраженно пожимал плечами: что значит «дряблость либералов»? что значит «разброд и шатания»? дайте точное определение! приведите факты! Будто речь шла о дедкиндовых сечениях... У бедной старушки на малообещающем личике выражалось такое страдание, что только садист...

Эсэсница просигнализировала в партбюро, и вечный парторг Митюхин (из сопроматчиков: нечистого серебра седой чубчик, вечная беломорина меж двух башмаков — носа и подбородка), усадив его напротив, распорядился: «Ну, рассказывай». — «Что рассказывать?» — с преувеличенно изумленным смехом изображал Мишка. В итоге он остался без стипендии, вынужден был выучить чуть ли не наизусть и «Что делать?», и «Как нам реорганизовать рабкрин?», а в довершение обвинил меня, получившего зачет-автомат, в низкопоклонстве. Хотя я вел себя с эсэсницей точно так, как полагалось вести

себя с баб Груней, сторожихой, не позволявшей прорваться на танцы без билета, — кто же держит сторожих за людей!

Нет, хвастаюсь: когда в весеннюю сессию ээсница обнаружила, что я ровно ничегошеньки не знаю о раскольничьей политике право-левацкого, почти каутскианского блока, ее измятое личико дрогнуло такой болью, что я — хотя она от растерянности была готова выставить предавшему ее любимцу четыре шара — поскорее схватил зачетку и поклялся к передаче выучить все съезды и пленумы. Но, к несчастью, я не умею даже вчитываться в бессмыслицу, и оправившаяся от моей подлости бабуся вкатила бывшему активисту тройбан даже с некоторой щедростью. Скольких повышенных стипендий я недополучил из-за марксистско-ленинской мути!.. Но я не сердился: ихнее дело ловить — наше воровать. Только уже на пороге блестящей дипломной защиты во мне вдруг проснулось нелепое достоинство: когда нам внезапно назначили госэкзамен по философии, я был близок к теракту или самосожжению. «Ведь мы сдадим и забудем, а этого забывать нельзя!» — повторял я таким пересохшим голосом, что теперь уже Мишка косился на меня с тем смущением, в которое его ввергала любая искренняя страсть.

До его монастырька квартал вправо — или хрен с ним? С Мишкой. Он первым нас ампутировал, так и я не позволю его призраку долго разгуливать в пределах ампутированных мною оборонительных сооружений.

И все-таки допусти я себя окинуть прошлое беллетристическим взором — помешанная на самоуслаждениях глубь моей души снова взяла бы свое: ей наплевать на меня, она готова наблюдать за мною чуть ли не глазами всего человечества — в ужасном она способна высмотреть великое, в непоправимом — трогательное, в... Ну чем не сюжет для небольшого романа: провинциальный пацан — абсолютно нормальный, только все в нем немножко чересчур — и восторг, и бешенство, и запойное чтение, и запойные мечты, и припадки деятельности — всегда бесполезной. Но этого, в общем, никто не замечает: в любой компании душа нараспашку — только слишком уж самозабвенно он хохочет и кидается от объятий к обидам и обратно. Кто бы мог подумать, что, оставшись один, он способен, сопровождаемый ревом «КрАЗов», шагать к бездонному кратеру карьера и часами бродить по исполинским брустверам щебенки над этим циклопическим антициркуратом, на уступах которого могучие экскаваторы понемногу начинают недотягивать и до детских игрушек. Почему люди всегда понимают величие как стремление ввысь, а не вглубь, прорастает в нем недоумение, едва различимое пока что в чаду клубящихся грез: сегодня вечером в ДК «Горняк» — он пожмет руку Москвы, завтра отправит в нокдаун, но не станет добивать Черноуса, послезавтра слабеющей десницей его благословит сам Колмогоров, а послепослезавтра он двинется на парусном фрегате в кругосветное путешествие через дебри Центральной Африки по льдам Антарктиды. Но более всего ему про все на свете хочется узнать, как оно устроено *на самом деле*. Он стремится совлечь покров с каждой тайны, развеять все унижающие человека иллюзии и фантазии и в конце концов выстраивает ясное, честное, достойное мироздание, обладающее лишь одним недостатком — в нем нельзя жить. Ради дела — нет, ради честности, ради достоинства — он отсекает все лишние ветви и только через много лет понимает, что это были не ветви, а корни...

Давай-давай, ты уже готов заклопать — теперь не от боли — от красоты: это она умеет, глубина, никак не желающая отучаться от подростковых пороков. Для меня всякая боль есть боль, всякая утрата есть утрата, а для нее все зависит от контекста, от пьесы, в которую она тебя поместит.

Мишка раньше меня принялся выстраивать свою невозмутимость — отвернувшись от журавлей в небе, получше приглядываться к лукам под ногами. Расставшемуся с незрелыми фантазиями уму становится предельно ясно, что в мире есть лишь два рода предметов: те, что доставляют удобство, и те, что причиняют неудобства. И дело взрослого человека — по мере сил идти к первым, по мере возможностей избавляясь от вторых. Еще в Кружке Пива

Мишка вдруг перестал есть грибы: *нездоровая пища*. Возможно, человек ищет утешений на земле, только когда его отвергнет небо, естественная его стихия — не факты, а фантомы: люди начинают искать пути на землю, когда собьются с дороги в небесах. Мишкин путь к невозмутимости начался с бунта (который лишь постепенно перерос в смирение перед реальностью). Мне рассказывали, что в Кружке Пива Мишку пытались пристроить к серьезным задачам, но... Питомцам ясных вершин земные дела представляются отвратительно неряшливыми и бесформенными: скульптору вместо глыбы мрамора предлагают груды хлама — сам я поначалу был повергнут прямо-таки в панику: первое задание Орлова — и на тебе!.. Зато со временем я насобачился упрощать с бесстрашием позднего Малевича: голову уподобить эллипсоиду, туловище — усеченному конусу...

Мишка же не снес подобной неопрятности — он и в жизни-то обожал давать точные определения там, где их заведомо быть не может: любовь есть то-то и то-то, политика есть сё-то и сё-то, — разумеется, он и в Кружке Пива потребовал точно сформулировать, чего от него хотят (от него ждали как раз того, чего он требовал от них). А пока суд да дело, он взъелся против тамошней манеры всем непременно отсиживать по восемь часов, тогда как любому букварю известно, что человек может что-то соображать только во время движения. «У меня задница болит!» — возмущался Мишка, каждую субботу навещая нас в Заозерье. Тогда мы с ним здорово сблизились — не в делах, их у нас не было, но в главном для романтиков-самоулаженцев, ставящих чувства выше дела, — в *понимании*. То мы в Рубенсе разом что-то открывали, то в «Казаках»: «Когда подумаешь, что это *тоже он* написал!..» Тем временем на работе задание ему сумели уточнить до того, что усадили его с циркулем измерять угловые расстояния на глобусе.

Хотя отношения в отделе остались вроде бы неплохие — на него, видно, смотрели как на ученого придурка. Он не отрывался от народа: с гадливостью отзывался, как один хмырь у них подарил сотруднице на Восьмое марта мочалку, и та чуть не заплакала; вместе со всеми выезжал на лыжный день здоровья, а на обратном пути, уже ничего не соображая, раздвинул на Финляндском сортире сомкнувшиеся спины и вывернул в желоб всю поглощенную во имя дружбы бормотуху. Потом пытался влезть в занятое такси и так получил по переносице, что даже запомнил свою залитую кровью куртку... Надо сказать, усилившаяся горбинка лишь придала его носу дополнительную аристократичность.

Рассказывал он об этом подчеркнуто буднично, как человек, решившийся держаться поближе к земле, — тогда-то и обрели первостепенное значение лужи под ногами. Со сдержанным негодованием Мишка принялся допытываться, существует ли в конце концов такая обувь, в которой ноги остаются сухими. Я легкомысленно вздохнул: в нашем, мол, климате мокрые ноги, скорее всего, есть неминуемая участь смертных. Но Мишка — ибо речь шла не о пустяке, не о фантазии — проявил удивительную настойчивость. Он начал обращаться к прохожим капитанам и полковникам и в конце концов обзавелся-таки облегающими хромовыми сапогами, внезапно выявившими изрядную кривоватость его ног. В партикулярном платье, при сапогах смотрелся он диковато, но мы уже привыкли к его научно обоснованной дури и лишь снисходительно улыбались. Однако если человек твердо решил превыше всего ценить реальные удобства, он может возвыситься над условностями (то есть опуститься) до размеров социально опасных.

В своей и поныне неудовлетворенной страсти всех кругом женить Катька свела Мишку со своей школьной подружкой Валькой — тонюсенькой блондинкой из сангига. Славка приучил меня обращать внимание на женские животы (он их терпеть не мог и, вероятно, именно поэтому выбрал обеих жен вполне в этой части представительных — Пузя так до сального лоска), и, однажды взглянув на Вальку сбоку, я поразился, до чего ее как будто и вовсе нету. Нынче при редких встречах я, наоборот, поражаюсь, где же в этой тугой техе

растворилась та девочка-прутик — и сохранилась одна из самых нежных, добрых и верных душ, когда-либо попадавших на моем пути. Беда ее и до сих пор состоит в чрезмерной снисходительности (можете назвать ее неразборчивостью): для нее все двуногие без перьев — люди, все естественное не безобразно... Сами понимаете, какие мухи слетятся на такое лакомство. Но перед Мишкой вина ее заключалась главным образом в том, что она была живым существом и постоянно, следовательно, чего-то желала, производила шум, движение... Нет, не просто шум, не просто движение — бессмысленный шум, бессмысленное движение. Ведь жизнь — это излишество, освобожденная от дури, она уже не жизнь, а выживание. Вальке хотелось побольше радостей — Мишке поменьше беспокойства. Валька обрадованно встречает его из командировки: «Мишик!» — а он передразнивает ее мычанием: «Ми-ышик!» Слезы, объяснения, примирение, объятия, докучные одежды отбрасываются прочь, юные тела готовы слиться... «Сейчас, минуточку», — что-то вдруг вспоминает Мишка и скрывается в ванной: начиная мерзнуть, юная супруга отправляется на поиски — молодой супруг стирает носки.

С прогулки Мишка всегда предпочитал возвращаться одним и тем же путем — Вальке же постоянно требовался новизна. Новая дорога заводила в тупик — это приводило Мишку в совершенно неадекватную ярость, вполне, однако, естественную для человека рационального, всегда ищущего наиболее простых путей. Я Мишку понимаю — вернее, когда-то понимал: до начала сеанса остается три минуты, но Катьке во что бы то ни стало необходимо в буфет; давимся пирожными, потом во тьме пробираемся по ногам, и я чувствую уже не злость, а отчаяние, бессилие перед мировой бессмыслицей. Славка тоже беспомощно округлял глаза: я не могу тратить деньги на ерунду, если знаю, что завтра придется сшибать. Но сегодня меня только радует, когда Катька изредка снова проявляет склонность к лакомствам, к легкомыслию или кокетливым капризам, — в эти минуты она живет, а не выживает, чувствует себя любимой девочкой, а не рабочей лошадью. Ну а ее совершенно невыносимое прежде стремление в конфликтных ситуациях побольше наговорить и поменьше услышать — так если в женщинах видеть вменяемые существа, то все они несносны.

Мишка же, пользуясь недельной Валькиной отлучкой, однажды упаковал все ее шмотки в два чемодана, кои и отвез в ее родительский дом. Я единственный, вспоминает она, сумел ее как-то утешить. Было, целую ночь ей что-то заливал с основным подтекстом: все от нее без ума, и я первый в этом ряду. Мне и врать особенно не приходилось — я тогда заводился с полоборота и на любовь, и на бешенство. Катька знает. Однако даже в мгновения самой лютой ненависти я не мог помыслить, что это достаточная причина расстаться *навсегда*. Чувства — одно, а дело — совсем, совсем другое. Мишкин брак с Валькой казался мне нерасторжимым, оттого что у них уже выработался общий запас воспоминаний, шуточек — сказать про некрасивую девицу «на нее нельзя положиться», выставить под стеклом блудливо косящего Ленина, которого Валька случайно изобразила на лекции...

Удалив от себя Вальку, Мишка продемонстрировал, как нужно обращаться с надоевшими фаворитами. Однако через некоторое время он обзавелся новой дурью — котенком. Но котенок, естественно, тоже причинял неудобства, и что-нибудь через полгодика Мишка упаковал его в полиэтиленовый мешок, перетянул резинкой и зашвырнул в одну из тех озерного размаха лужиц, которыми может гордиться каждая новостройка. Котенок тем не менее сумел выбраться из мешка и, мокрый, чесанул куда подальше. Поступок этот был настолько за пределами, что мог быть продиктован только каким-то принципом. Невольно уважаемый мною (как всякий принцип), звучал он примерно так: будь проще, ставь реальные цели и изыскивай для них наипростейшие средства. Катька же была убеждена, что действовал Мишка в состоянии умопомрачения — иначе знакомство с ним пришлось бы прервать.

Следующим пунктом Мишке стали мешать родители — все, как всегда, началось с точных определений: семья предназначена для воспитания детей — следовательно, когда эта задача выполнена... Он завел собственную кухню, «чтобы не обременять мать» — спокойно-ироничную, украшенную вьющимися рыжими волосами, очень естественно гармонизовавшими с ее бледными веснушками и белыми ресницами, а также благородной легкой лошадиностью в лице, в которой всегда невольно видишь еще не вполне открывшийся миру стандарт красоты. «Хитрая», — говорила о ней Валька, явно, по мнению Мишки недоговаривая последнего слова — «еврейка». Хитрая еврейка и теперь сохранила снисходительное хладнокровие, но пылкий, не сильно забравший умом папаша, способный за завтраком внезапно заорать: «Сколько раз вам говорить, чтобы не клали локти на стол!» — и одновременно убрать собственный локоть, этот подернутый черным пухом по бильярдной лысине пузатый здоровяк, напоминающий какого-то знаменитого итальянского певца, похожего на разбойника, и действительно обожавший потрясать сердца собравшихся своим квазиитальянским тенором, недостаточно все-таки хорошим для публичных выступлений, — папаша был в ужасе. «Чем мы его обидели?...» — буквально со слезами на черных индейских глазах зывал он ко мне, и мне оставалось только бормотать о Мишкином стремлении всегда быть последовательным, не смущаясь самыми странными следствиями принятого принципа... Простодушный потомок молдавских биндюжников, бывший метростроевец, а ныне сменный мастер в литейном цеху, папаша вслушивался с таким мучительным напряжением, что, кажется, даже кое-что понимал. (Более простое объяснение — бунт пай-мальчика, который слишком долго был слишком послушным, — еще не приходило мне в голову.)

А Мишку тем временем начало возмущать, что у него нет отдельного угла, куда он мог бы приводить кого хочет. Он разузнал, что при жилконторах существует должность воспитателя — управляющего «центром досуга» для болтающихся без дела подростков, — и что этому воспитателю полагается казенная «площадь»... Так Мишка одним сапогом шагнул в завершающую мечту — отдельную площадь. Разумеется, сразу же выяснилось, что надо погодить, и он стал годить. Однажды я заглянул в этот его «центр» — в задрипанную комнату, где за ободранным зеленым столом резалась в пенис (привет от Славки) полупьяная шпана. «Ребята, только не материться», — время от времени уныло зывал Мишка. Но это для них было все равно что вовсе не разговаривать. В дверь просунулась злобная пьяная харя. «Дычадик здесь?!» — злобно прорычала она. «Я начальник», — тревожно ответил Мишка. «Не дычадик, а Ё́йн-ча́-дйк!!!» — взвизвись до последнего градуса ярости, прохрипела харя. «А, нет Гончарика, нет», — заторопился Мишка.

Вскоре он приехал в Заозерье с деловым предложением: я должен был зайти к нему в «Центр» и вырубить одного окончательно зарвавшегося хама — но только непременно одним ударом, лишь это произведет нужное впечатление. Я смотрел на него как на окончательно рехнувшегося. Во-первых, с одного удара нокаут вообще редко удается, во-вторых, даже и он не всегда производит желательное впечатление на дружков «каутированного» — гениальному Черноусу не помогли целых два нокаута подряд, — а самое главное, невозможно походя одолеть в борьбе, которая для твоих врагов составляет дело жизни. У подонков есть свои тараканы углы, где они хозяева, и они готовы защищать их не щадя самой жизни — ты готов платить такую цену?

Когда фантом «отдельная площадь» окончательно раскрыл свою бесплотность, Мишка устроился в плохонькую «открытую» контору — открытую даже евреям с подмоченной трудовой книжкой. При своем вкусе к скучным подробностям он, естественно, скоро сделался важной персоной, и когда он наконец заговорил об отъезде, солидность его тона уже была кое-чем обеспечена: рынок программистов в США (ему очень понравилось, как кто-то проносил «Эс-ша-а») никогда не бывает полностью насыщен — как, скажем,

рынок шоферов, в Эс-ша-а можно купить загородный дом, выписать любую книгу, приобрести для фонотеки каких угодно исполнителей, можно обзавестись даже собственным кино — Феллини, Бергман, Вайда, — не надо шустрить по фестивалям или по кассам элитарного «Кинематографа»... Возразить вроде было и нечего. Родина? Мишка давно посмеивался над нашей с Каткой привязанностью к русской природе (а что, в Канаде хуже?), к каким-нибудь колокольным звонам (можно взять с собой пластинку, в конце концов), даже к священному «Борису Годунову» священного Модеста Петровича Мусоргского (ну да, гениально, но не гениальнее Бетховена — да и того вполне можно слушать за пределами Германии). Церкви новгородские хороши — кто спорит, но почему из-за них нужно отказаться от Кёльна, Рима, Пестума, Луксора? На улице он мог вдруг поморщиться от какой-то очень уж бесхитростной физиономии: «Ну тип...» — «Хороший мужик», — заводился я. «Я знаю, ты любишь русский народ», — хмыкал он. Он был прав — я мог злиться на Россию, в какой-то миг даже ненавидеть ее, как Катку, но расстаться *навсегда*... Возможно, мне нужна была иллюзия единства с чем-то вечным, но одна только мысль, что мои дети будут говорить по-русски с акцентом, приводила меня в ужас. Быть может, именно этот ужас Мишка истреблял в себе, все оттачивая и оттачивая невозмутимость и расчетливость. Валька, случайно встретившаяся с ним на улице, растерянно жаловалась, что первый его часно насмешливо-снихождительный вопрос был: «Ну что, ты меня ненавидишь?» — «Почему, мне просто обидно, но...» — «Знаешь, как я теперь живу? Все по расписанию. Встаю в семь пятнадцать. Сначала иду в туалет по мелочи. Потом чищу зубы, умываюсь, потом пью кофе. Потом иду в туалет по-крупному...» — «А почему не наоборот? Сначала по-крупному, а потом кофе?» — «Если бы я так мог, я был бы счастливым человеком». — «Знаешь, — подумав, сказала Валька, — кажется, я тебя действительно ненавижу».

Однако, подавши заявление на выезд, Мишка пригласил на отвальную к нам в Заозерье и Вальку. Тот напился, плакал, что ужасно любит русскую литературу, Катка тоже плакала, Валька тем более, и провожать ее на последнюю электричку отправился я. Потный бледный Мишка тоже рвался с нею, но я удержал его неотразимым заклинанием: хочу завтра с ним проконсультироваться по одной интересной задаче. Формулой «интересная задача» нас можно было поднять из гроба. Вздвигнутый водкой и великолепием трагического расставания среди снежного бора в отсветах станционных фонарей, я оказывал Вальке такие королевские почести, что, кажется, сумел несколько растворить ее горе в совместном экстазе. Возвращаясь к своему барраку (внезапная мучительная нежность к ждущей меня паре горящих окон), я увидел, как Мишка в одних трусах вырвался на крыльцо и мощно блеванул в голубой сказочный снег, — это было последнее открытое выражение его чувств, которое я наблюдал. В дальнейшем он держался со снисхождительной невозмутимостью обладателя какой-то окончательной истины — скорее всего той, что мокрое есть мокрое, а сухое есть сухое независимо от пьесы, участниками которой нам вздумается себя вообразить. Изредка перезваниваясь с Валькой, однажды скучающе попенял ей, что она слишком уж бурно на все реагирует: он вот понимает, что впереди его ничего хорошего больше не ждет, но из этого вовсе не стоит делать трагедию.

Нам он о себе рассказывал как о довольно забавном и симпатичном, но все-таки постороннем субъекте. В выезде ему, рассеянному хранителю государственных тайн, изучившему все дуги на глобусе, было отказано; отказники включили его в свою общину, он участвовал в их манифестациях, всячески давая нам понять, что делает это исключительно из практических, но отнюдь не идеалистических соображений. Они то что-то подписывали, то в какой-то еврейский день собирались в столовой «Лукоморье», где немедленно гаснул свет, и очень вежливый майор милиции просил всех в связи с ава-

рией освободить помещение, а они все сидели, ели бесплатный хлеб со столов и что-то такое пели (слова в еврейском гимне, морщился Мишка, очень плохо укладываются в мелодию, все время надо тянуть: а-а, а-а). Потом его вызвали в Большой дом по делу Щаранского, о котором он ничего не знал, но, получив детальные инструкции от собственного юриста, вдоволь поизмыкался над кротким следователем по фамилии Степанов. Я улыбался с на-тяжкой: я не люблю издевательств даже над самой последней сволочью, если в эту минуту у нее связаны руки.

С бабками у Мишки обстояло неплохо: с работы его почему-то не выгнали — только осудили на профсоюзном собрании, — при своих лингвистических дарованиях он скоро сам начал преподавать иврит и заработал аж на тачку. Да еще ему, как и прочим, присылали из Америки серые плащи и бурые свитера, которые он реализовывал через комиссионку, презрительно недоумевая, кто их соглашается носить. Себе он оставил только морозной пылью серебрящуюся искусственного меха шубу до пят да высокую боярскую шапку — с канонической бородой он был вылитый боярин из «Бориса Годунова», тем более что невозмутимость его к этой поре перешла в величавость. Однажды поздно вечером — «Слушай, друг, не знаешь, сколько время?» — его окликнул пьяненький мужичок, тут же одернутый спутницей за рукав: «Ты что, не видишь, кто это?» Мишка рассказывал об этом эпизоде с глубоким удовлетворением. Общался он, походило на то, с одними отказниками да сочувствующими американками, готовыми иной раз и перепихнуться; для них это знак дружеского расположения, неспешно пояснял Мишка, и Каткино лицо принимало выражение брезгливого непонимания: животные какие-то... Мишка и рассказывал о них тоном зоолога.

А потом Мишка внезапно исчез — как отрезало, хотя на новую квартиру он помогал нам перебираться с большим энтузиазмом. Стороной мы выяснили, что в тюрьме он не сидит, работает все там же, и гордая Катка не велела мне проявлять дальнейшую активность: пусть как хочет. Но через два-три года мы случайно встретили его в трамвае, и он — уже при одних только латиноамериканских усах — сиял как младенец: все-таки не совсем врал, однажды по пьянке с ухмылкой признаваясь нам, что мы с Каткой — единственные люди, которых он любит. Мишка повторял, что надо повидаться, записывал наш новый телефон и — снова канул. А еще через год-десять Славка написал нам, что Мишка «адаптируется» в Питсбурге. Обзавелся ли он, интересно, собственной кинотекой или уже и кино превратилось в пережиток детства? И я вот с тех пор дорос до унылой истины: даже самые гениальные книги, симфонии, фильмы не более чем потребление. А насытить нашу жизнь смыслом может только то, что мы отдаем.

Мы с Мишкой когда-то были похожи как никто — в книгах, фильмах видели одно и то же, а что может быть важнее, чем идентичные формы самоуслаждения. Я разве что был более снисходительным и терпеливым. И этот вот пустячок в конце концов разлился между нами Атлантическим океаном... Нет! Мишка оказался более последовательным в расправе с детскими фантазиями.

Хух-х! По Малому солнцу шпарит в глаза, как... Старинный Славкин каламбур: пойдём по Большому. Но все-таки видно, что чем ближе к Смоленскому кладбищу, тем меньше всяких *panasonic*'ов — старые добрые «Продукты», «Автозапчасти», «Обувь»... Парадные здесь простенькие — не Английская набережная Красного Флота, к которой меня приобщал Мишка. В одном аристократическом подъезде уборщица заорала на нас: «Ходят тут, ссат!..» — и мы разнеженно переглянулись, словно какой-нибудь Карузо взял в нашем присутствии самое верхнее «си»: в спектакле все сгонится. А потом мы забрели в круглый мощный двор особняка графа Бобринского и обнаружили там оставшуюся от киносъемки двуколку с крытым верхом. Естественно, мы принялись по очереди катать друг друга, и Мишка, изображая бари-на, гаркнул: «Ардалион, гони!..»



И *будет*. Орган, именуемый «Мишка», перетягивается заново для дальнейшего отмирания: думай о земном, сиюминутном — хоть ту же слойку жуй потщательнее, пропитывай слюной! Вот так же с булкой за щекой я и шагал из Горьковки к общежитию по родному микроленинграднику (один я никогда не тратил времени на дурацкие столовки), вот так же прикрывал глаза от солнца, но мозги в тот день у меня трещали от напряжения из-за «Общественного договора» Ивана-Якова де Руссо. Как же общая воля может существовать *всегда*, если люди так часто только и ждут случая проехать друг на друге? Скажем, в шесть утра заныла радиоточка, которую с вечера, точнее — с ночи, никто не подумал отключить, и вот все жмутся под своими болотными и свекольными дерюжками и выжидают, кто первым вылезет на более серьезный холод. Какая тут может быть *общая* воля, лопаются от перенапряжения неведомые подземно-картофельные нити у меня в голове, и вдруг — озарение. Ведь если бы дело не касалось меня шкурным образом, я сразу сказал бы, что выключить должен тот, кто ближе лежит. А если это его уже достало, значит, пора вводить очередность. Но если бы кто-то, вообще не пускаясь в подсчеты, просто от широты души встал бы да выключил — я, уж конечно, проникся бы к нему уважением. А если бы он пожертвовал жизнью — так даже и благоговением. Вот, вот в чем суть: наши чувства, мнения бывают двух совершенно разных видов. Одни — наши личные, мы их приобретаем, меняем, но даже в момент самой сильной захваченности в глубине души чувствуем, что они наша личная собственность: я рассердился, я могу и простить — мое дело. Но есть в нас чувства, убеждения совершенно другого рода — их мы не ощущаем своей собственностью: оскорбили твою мать, твой народ, Толстого, логику — ты-то лично, может, и наплевал бы, но чувствуешь, что не имеешь права, это и есть *святыня* — то, что хранится в твоей душе, но тебе не принадлежит, ты получаешь ее по наследству и по наследству же передаешь дальше: вот эта не зависящая от тебя решалка в тебе и есть *общая* воля. Свою частную волю мы переживаем со страстью, а общую — с благоговением. Вот это благоговение в себе люди и называют присутствием бога. То есть *не религиозные чувства происходят из бога, а, наоборот, бог из религиозных чувств*, — открытие кажется мне настолько потрясающим, что я немедленно решаюсь посвятить ближайшие годы разработке всех его следствий — воссозданию атеистических аналогов всех этих отмерших понятий: «бог», «душа», «святость»... «Вечность»...

Неужели это был действительно я? Чем же я был так пьян — просто молодостью? Или каким-то иным наркотиком? Может быть, неразличением возможного и невозможного, которое только и открывает дорогу к великому? Может ли вообще человек прожить без наркотиков? Интересно — математика, она же добросовестность, в собственной сфере сильнейший наркотик, а в чужих — убийца. Но что об этом толковать — опьянеть сознательно, уж во всяком случае, невозможно.

Опять «невозможно»... Это нас и погубило — мы слишком хорошо отличали возможное от невозможного. Но честность по-прежнему не оставляет мне иного выбора. Честность — это всеобщность: я признаю лишь такие доказательства, которые убедительны *для всех*. Хоть, опять-таки, и знаю, что для всех разом очевидным бывает только сверхпримитивное: сухие ноги лучше мокрых. А даже хваленые математические теоремы истинны только для тех, кого годами школили — да и то при наличии способностей. Даже математические истины являются плодом социальных усилий, в каждом поколении формирующей особую аристократию. Аристократию, которая учит повиноваться материи, подчинять суждения реальности, а не воспарять над нею. Ее кодекс — гордость подчинения. Требование не таить от себя даже самой тонкосенькой иллюзии, которой можно было бы согреться на беспощадном космическом морозе. Сам-то ты в одиночку (в одиночке), глядишь, еще бы и поверил во что-нибудь тепленькое, но аристократический кодекс не терпит

ничего индивидуального: чем дороже тебе «убеждение», тем с большей бдительностью ты обязан передать его в руки правосудия, для перепроверки независимыми наблюдателями. А уж они-то самое драгоценное для тебя, будь уверен, оценят в ноль, ноль и еще раз ноль.

Сверхдемократические аристократы, мы разрушаем наше личное во имя всеобщего, наш кодекс — это кодекс камикадзе. И когда ты наконец понимаешь, что тебя одурачили, тебе все равно остается только погибнуть с честью: вернуться назад уже не хватит бензина.

А душа-то ноет, скулит — не хочет погибать с честью. Ум востр — дух немощен. Но мы на него «цыц!» — и замер руки по швам.

Ба — угол Шестнадцатой линии, фанерные бельма, — а как любила Катька здешние рассыпчатые, бесконечно плоские пироги с лимоном! Там, где сходятся трамвайные пути, маячит еще один тархтящий автобусный проспект корейского КИМа промеж двух осененных издыхающими кронами кладбищ, нашего и армянско-лютеранского, ведущий в недра таинственного в своей провинциальности — ясно же, что такого в Питере быть не может! — Голодая Сони Бирман... Но с Соней постоянно требовалось быть тонким, ироничным, говорить правильными оборотами...

И снова дрогнула только что прихлопнутая, перетрепанная за сегодняшний вечер струна: завод имени Котлякова — последнее, так и недогнувшее Юру ленинградское иго. Милосердная милиция за тунеядствующее нарушение паспортного режима вместо тюрьмы отдала его в лимитчики. Вот он стоит перед мутным зеркалом у вахты меж двух унылых сержантов — напудренно-бледный, но нижняя губа по-прежнему надменна. Для чужаков он почти оборванец — только мы знаем, что в его грубых ботинках есть что-то амундсеновское, в пятирублевых джинсах — польское, а в вязаной шапочке — водолазное. Катька скручивает рулончиком все наши рубли и конспиративно сует ему в руку...

Лимитная прописка в первый миг была спасением. Но в третий — мучительнейшим испытанием, лишенным главного оправдания — трагической красоты. Завод имени Котлякова был настолько зауряден своей кирпичной оградой, кирпичными корпусами, похожими на коровники, что даже дореволюционные цифры «1915» на одном из них не могли вывести это унылое скопление из разряда советского. А уж бесконечный панельный цех, нависший над кладбищем... Юра был прав, что уехал в Магадан, — снимите шляпу, снимите шляпу. Не знаю, сумел ли он сохранить свой фантом у охладившего немало романтических голов Охотского моря, но я, траченный молью оплывший Фортинбрас, избравший дело, а не дурь, отсалютовал своей сломанной, переделанной в мухобойку шпагой перед Юриной мемориальной доской — новенькой чугунной плиткой «Акционерное общество „Эскалатор”». Надо же, эскалаторы, стало быть, делают... Нам вполне было достаточно, что завод, что Котлякова... Мне почему-то казалось, что Юра там безостановочно крутит какую-то промасленную стальную рукоятку. Навестив Юру в первый же его рабочий выходной, мы со Славкой обнаружили его в осыпанной пустыми консервными банками комнате на четверых, спящим в одежде под выбитым окном. Мы грустно улыбнулись его сохранившейся привычке зажимать подушку между колен. По общаге шел простой рабочекрестьянский гудеж — не наше полное остроумных выходок и высокоумных схваток веселье, в котором каждая удачная подача негласно отправлялась ему на экспертизу... Нет — в Магадан, в Магадан!

*И будет.* Цыц. Вечер самоудовлетворений подходит к концу.

Где-то слева должен быть стадион, который теперь погребен за новым зданием — слепящее стекло, крыша гармошкой, — Райт, мгновенно вообразил бы я. Воображение доставляло мне массу кайфа и массу страданий, пока я его не придушил. Во имя дела — во имя чести, разума, всеобщности. Я не гордился умом — я служил ему. А он оставил меня в исподнем на морозе,

как ловкий попутчик в поезде. А глупые мастурбаторы, огораживающие локтями неприкосновенный запас своих глупостей и лжей, сохранили свои шубы при себе: люди с убеждениями предпочитают сами раздевать соседей. Это же так просто: нужно только всегда говорить самому и никогда не слушать других — и твоя решалка все устроит к твоей выгоде. Дураки — они умные!

Впрочем, я и сейчас ничуть не сомневаюсь, что наука должна нас кормить, лечить... Но, обращаясь к миру наших чувств — в психологию, в социологию, она превращает нас в одну из железок. Десакрализуя все фантомы, она оставляет несомненными лишь такие очевидности, как «сухие ноги лучше, чем мокрые». Заставить ее исполнять наши желания, но не разрушать животворные иллюзии — это будет потрудней, чем оседлать термоядерную реакцию. Выявляя причины наших желаний, наука неизбежно рождает соблазн не добиваться их удовлетворения, а устранять их причины, — это и есть общая формула наркомании.

Или это я уже хватил? Стоп, справа сейчас... Но вместо саженого щитового забора взгляд ухнул в бесконечность — запущенную, неряшливо заросшую, захлавленную бесконечность сравнявшихся с землей могил, покосившихся и вовсе упавших ниц и навзничь крестов: какой-то рыцарь истинны из городской администрации решил открыть нам правду о нашем будущем, заменив трухлявый забор благопристойной металлической решеткой. Мы-то, впрочем, и не нуждались в заслонах: мы сами через проломы лазали на Смоленское загорать с конспектами, играть в волейбол, целоваться, — я сам не раз целовался на мраморе одного знакомого статского советника — с Катькой в том числе. Там, за чересчур разросшимися на этой перекормленной земле деревьями, поближе к церкви начинались надгробия вполне респектабельные. А у пирамиды погибших солдат Финляндского полка я всегда останавливался с глубоким почтением — не к их гибели, к подвигу Халтурина. Может, он был и не прав, но он же действовал во имя прекрасного фантома! Такие вот они, фантомы. Как все на свете: с ними опасно — без них невозможно.

Нет, не хочу я смотреть в глаза этой кладбищенской правде — пусть лучше слепит неутомимое солнце. И постороже следить за глубиной — а ну?! — чтобы не хлынула через край мертвая тоска. Но на этот последний уголок — волейбольный, вытоптаный еще пуще прежнего — взглянуть все-таки надо. Ладные парни, мы играли на майском солнышке в спортивных трусах; Славка, привычный к мячу, играл лучше, зато я, как в любой игре, себя не щадил, брал любые мячи с риском что-нибудь сломать. Через несколько лет она поведала, что во время одного гениального броска у меня из-под трусов кое-что сверкнуло. Но вид у нее оставался все такой же просветленный, хотя отношения у нас в ту пору были сверхчистые...

Очень скоро мы со Славкой будем провожать ее на каникулы к белорусской родне, а мы с Катькой перед разлукой смотреть друг на друга с такой серьезностью, что Славка, крикнув от досады, рванет вперед, перекосившись от Катькиного чемодана, и его совершенно идентичные моим расклешенки с широким, как тогда полагалось, поясом и горизонтальными карманами будут мотаться на зависть любому жоржику. И в полутемном купе мы все смотрели не отрываясь, и я не ощущал пошлости этой сцены, потому что она не была имитацией... Мы так ни разу и не прикоснулись друг к другу, и лишь когда проводник Хароныч провозгласил роковое: «Провожаящим покинуть вагон!», Катька смущенно дотронулась пальцем до кончика моего носа.

А я вдруг спросил адрес ее родни — мир тесен, кто знает...

На обратном пути мы со Славкой почти не разговаривали. Но назавтра все пошло как обычно. Внешне. Однако моя мифотворящая глубина вдруг алчно начала требовать все новой и новой пищи, все новых и новых предметов, чтобы неустанно перекрашивать их из серо-буро-малиновых в чарующе радужные, в космически непроглядные и в волнующе-таинственные. Неуга-

симыми белыми ночами, пометавшись на поющих пружинах, я, не дожидаясь раздраженных просьб уняться хоть на минуту, выпрыгивал в окно умывалки и, с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на рысь, устремлялся к свеченью вод — к заливу, к Неве, кротко плещущей в тиши под ступенями Горной академии, где оторванный от земли Антей, издыхая, давал бесплодный урок всем будущим мастурбаторам... Череда судов, доки, ужасно земные пачки бревен на палубах низких сухогрузов, целующиеся парочки, дремлющие бичи, бредущая невесть откуда розоперстая шпана, одноногие и двуногие оборванцы — всю эту чистоту и нечисть даже перекрашивать не требовалось, ее вполне мог преобразить и домысливаемый контекст.

Пожалуй что, и все наши возвышенные чувства — потрясения, благоговение — порождаются воображаемым контекстом, в который вещи незаметно для нас погружены. Самое простое: человек со шрамом. Если нам скажут, что он заработал свой шрам в кухонной драке, мы видим это лицо одним, в Чечне — другим, в застенках инквизиции — третьим. А если ничего не скажут — каждый все равно поместит его в свой личный контекст, который, сам того не замечая, как запах, носит на себе. Подлинные властители народов — те, кто создает опьяняющий образ мира, тот всеобщий контекст, который, не меняя ни единого предмета, запросто превращает мир из храма в мастерскую, из мастерской в базар, из базара в драку или химический процесс, и ни один из контекстов недоступен зубам научного анализа: только когда он почему-то перестает одурманивать нашу глубину, которая, кроме опьянения, ничего не хочет знать (в глубине души все мы наркоманы), — лишь тогда гиенам логики удастся додрать издыхающего Левиафана. Властвуют над миром те, кто опьяняет его, заставляя людей забыть будничную расчетливость. Наука сама долго была таким пьянящим фантомом, пока не разрушила свой контекст, внимательно исследовав его наготу. Таков наш удел: ставить свои иллюзии безоговорочно выше реальности — сумасшествие, ставить реальность безоговорочно выше иллюзий — беспросветность. Вот так мы и колеблемся между безумием и смертной тоской.

В неясном контексте, дурманившем меня в то лето, стипендиальную комиссию было просто не разглядеть, так что староста, может, и правда не терял мое заявление: раз уж я не пожелал для надежности остаться в Питере еще на один день, то мог и не отдать ему эту пустяковую бумагу. Поймав попутку у Средней Рогатки — меня пьянило даже это глупое название, — я рванул на юг, на юг — перекрашивать все новые и новые лица и пространства, а тем временем наш молодой замдекана дал мне урок уважения к социальной реальности: нэт заявления — нэт стипендии. Повышенной, гад такой, но я ничуть на него не сердился: в пьесе, разыгрывавшейся в моей голове, ему отлично удалась его роль, а мне моя. Целый семестр я забавлялся тем, что кормился серым хлебом с паренной на сковородке капустой — надо было беспрерывно брызгать на нее водой, чтоб не подгорала, — а раза три-четыре в неделю без билета ездил в Катькину туббольницу доедать ее непомерную пайку: в литровой банке она выносила в вестибюль куриную ногу, пяток кубиков масла, селедочный хвост... Хлеб шел без ограничений.

Но это уже лютой зимой, когда я в тонюсеньком пальтишке отплясывал в тамбуре, высматривая контролеров, — летом я выглядел куда эффектней, позвонивши в дверь Катькиной родни загорелый, как эфиоп, в выгоревшей пыльной бороде и линялой ковбойке, на которой были заметны следы всех ночлегов и разгрузок, поскольку стирал ее исключительно Илья-пророк своим кропилом. Вероятно, по мне было заметно и то, что я не видел в мире ни единой вещи, которая стоила бы забот и тревог: кончаются бабки — так всегда где-то на путях стоит неразгруженный вагон с углем, щебенкой или ботинками, где-нибудь под сараем свалены неколотые дрова, а, на худой конец, кусок хлеба на полдня тебе и так везде отвалят — в жизни нет ничего страшного или унижительного, если смотреть на нее как на приключение.

Но наверняка по моей осанке невозможно было догадаться, что я целых две недели спал с продавщицей кирпичного магазинчика под Киевом — точнее, спать она уходила домой, а я отрубался в тяжкий бормотушный сон на тех же самых пустых мешках. Напивался я, во-первых, потому, что так полагалось, если ставят, а во-вторых, чтобы отрезветь от иллюзорного контекста, не допуская интимных контактов — особенно поцелуев с хрюшкоподобной, нечистой на руку и все остальное хамкой: в пьесе она смотрелась изумительно, но, уж конечно, не в качестве мимолетной подружки веселого странника, играючи таскавшего с катера пятипудовые мешки и угловатые ящики по горячему песку, из-за которого начинало сводить икры. К третьему стакану я дурел, мешки, ведра, ящики становились диковато-нелепыми и вместе с золотыми зубами моей сообщницы превращались в воровскую малину (все не будничная реальность как она есть), и я уже без зазрения мог заваливать ее по-хозяйски, как беглый каторжник, которому трижды плевать, что каждого еврея она встречала певуче-радостным вполголоса: «Ми-иша!»

Похмелье будило меня часов в пять, я выходил на берег, тупо дивясь, насколько мне не интересен дивный восход, с ржавого корыта плавучей пристани нырял в перехватывающую дух глубину и там глотал холодную и чистую, как мне казалось, воду с большой осторожностью: в детстве меня напугали, что под водой пить нельзя — утонешь. Выныривал я уже далеко, с трудом догребал обратно — течение было очень быстрое — и, согреваясь разминочными движениями, спешил досыпать все еще утилитарно, ничего вокруг не замечая. Зато, когда я отсыпался, по мере протрезвления опьянение снова возвращалось ко мне: я не мог даже читать — уж до того реальность была ослепительнее любого вымысла. Перетаскав взад-вперед свои мешки и ящики и охладив сжигаемое потом лицо в днепровских струях, я уходил в одних плавках вдоль берега черт знает куда, переплывал через протоки, раздвигая ковры кувшинок на подводных лианах, перемахивал, как Тарзан, над заросшими вечно сырими расселинами в кручах и перед какой-нибудь мачтой электропередач застывал в окончательном экстазе: неужели все это есть *на самом деле?*..

Родня не сразу впустила меня — я слышал какие-то встревоженные переговоры, а потом вдруг выбежала самая настоящая ошалелая Катька во всегдашнем своем (единственном) статном летнем сарафане. Она чуть было не бросилась мне на шею, но в последний миг засмузилась и только положила мне конфузливую руку на плечо. Одна тетушка, посолидней, не хотела отпускать Катьку с неведомым гопником, но другая была попроще и поумней. Из Литвы мы извлекли вдесятеро больше кайфа, чем какой-нибудь дворянский сынок из всех святых камней Европы, вместе взятых: обомлелые, мы тихонько обходили костел святой Анны в Вильнюсе куда более потрясенно, чем я пару лет назад Кёльнский собор. Лайсвес, если не ошибаюсь — аллею в Каунасе, мы дружно объявили окончательной границей (о Чюрлёнисе я уж и не говорю — мы балдели от каждого подобия пылинки дальних стран). Небольшой шар нездешне свежего сыра «Лилипут» в брезентовом шатре пригородного кемпинга, пробуждение на соседних раскладушках, ожидания электричек, автобусов, внезапный среди ночи розовый артист Папанов, галантно подающий Катьке руку: «Дам вперед!» — и отъюркнувшая Катька, восторженно лепечущая: «Папанов, Папанов!..», ночевка на стройке под негнущимся одеялом двери, — я ни разу даже не помыслил до нее дотронуться (независимо от опасения, что я чего-нибудь подцепил от своей пахучей в паху подружки, — стенобитному орудию любви предстояло еще долго пробивать стену нашей дружбы): мы только говорили, говорили, говорили — сливались, так сказать, душами, стараясь показать, каковы мы не в делах, *а на самом деле*: в мечтах, в фантазиях, ибо нельзя же назвать реальным тот мир, из которого изгнано все мелкое, жестокое, грязное, неоднозначное. В наших эпосах все фигуры представляли химически очищенными — мой героический

отец с его гулаговской эпопеей, мать-декабристка, брат-кавалергард, коротенькая математичка Валентёша, тщетно пытавшаяся хоть чем-нибудь подкусить меня — победителя всех олимпиад в крае и его окрестностях, — а какой-нибудь Москва с его свитой оказывался вычищенным, как пятно со штанов. Катька же, гордость школы, переглядывалась с девчонками (любимая фраза «мы с девчонками»), когда на музыкальном вечере Химоза мечтательно произносила: все-таки у Бетховена грустная музыка; ее отец — могучий и щедрый, слесарюга, привозивший с заработков чемодан конфет для всего двора, всю получку в подпитии раздававший детям на пряники (мать потом обходила и собирала обратно на прожитье)... В главный, фантомный мир не попал тот слишком человеческий факт, что Катькин отец, во цвете лет (в наши нынешние годы) разбитый параличом, семь лет умирал в одной комнате на пятерых, с чужой помощью «ходил» на ведро, отчего весь дом был пропитан парашей, и Катька с утра до вечера тщетно старалась отскоблить этот дух — в чудовищной, невообразимой нищете. Мать-сердечница приходила с ночных дежурств в кочегарке серая, как ее ватник, и Катька старалась все делать сама: окучивать картошку, топить печь, таскать воду, доить козу... Временами на отца накатывали приступы безумия, действовавшей рукой он швырял что подвернется — годами никто не мог заснуть спокойно: можно было в любой момент быть подброшенным грохотом опрокинутого ведра, звоном стекла — у Катьки до сих пор виден рубец от трехлитровой банки... Она и через много лет время от времени принималась плакать, выворачивая роскошные губы, и клясть себя за то, что, когда отец требовал тишины, она во что бы то ни стало желала слушать «Пионерскую зорьку» — нужна была ей эта «Пионерская зорька!» Но ничего этого даже не брезжило на аванпостах наших внутренних миров — мы и вообще-то больше исповедовались по части совсем уж чистопородных фантомов: Печорин, Гамлет, князь Мышкин, Коврин из «Черного монаха»... А Гарри из «Снегов Килиманджаро»!.. От одного эпиграфа спянуть можно — эта божественная многозначительность: что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может... Сказали бы мне тогда, что через двадцать лет я буду раздраженно пожимать плечами: если знаешь, что сказать, скажи ясно, а не можешь — молчи. Завет Москвы. Стимулировать фантазию — самую важную вещь на свете — казалось мне чистым шарлатанством. Я изгонял из жизни все, чего нет, и когда Катька не в лучшую нашу пору, однажды на минутку размягчившись, вдруг пустилась в воспоминания о той волшебной — даже не поездке, полете (совсем не помню колес у нашего транспорта и с трудом, с трудом припоминаю сиденья), — я ответил, что почти все забыл, и у нее просто губы запрыгали: «Ты и это хочешь у меня отнять!» — «Как можно отнять то, чего нет? — пытался вразумить ее я. — Было, не было — какое это имеет значение: сейчас же этого все равно НЕТ!» Нет... Для моей глубины все всегда есть. Вот на каком-то ночном вокзальчике, не в силах (не желая) держать голову на плечах, я кладу ее на Катькины надувные колени и, когда приходит поезд, не хочу вставать, и Катька, явно любясь моей заспанностью, пугает меня как маленького: оставайся, оставайся — она, мол, уйдет одна... Вот я пытаюсь продать часы, когда у нас подходят к концу деньги, и Катька меня отговаривает. А потом внезапно отпускает, чтобы через полчаса снова встретиться с грустной умудренностью: я знала, что никто не купит. Я запросто могу в три мгновенья восстановить ночной вильнюсский вокзал и пьяного парня, который делает добрый глоток из стакана с горчицей и раздражается страшным раздражающим кашлем, а заодно его напарника, который заботливо колотит его по спине и утирает ему слезы, и новый глоток горчицы, и еще более страшный кашель, удаляющийся во тьму (мир полон загадок!), и поддатого старикашку, восхищенного Катькиной златовласой статью: «Ай, какая красавица, дай я тебя поцелую!» — и мое грозное: «Я тебя сейчас поцелую!» — и мгновенный стыд, когда он пугается: ладно, отец, извини, погорячился, бывает... Моя глубина

все консервирует навеки и, если ей не мешать, готова упиваться мертвым не хуже, чем живым.

Пожалуйста, полюбуйте: две сестры-горгоны, в крепко настоящей халупе которых мы устроили новую Семьдесят четвертую в резиновых сапогах колхозной осенью вблизи набоковских мест, о коем обстоятельстве нам суждено было узнать лет через двадцать. Бабки начинали ругаться уже часов с восьми, жалея керосин, но я обнимал их за горбы, вел к столу, щедро наливал гадостной водяры, которую я пил не морщась, зато Славка передергивался как младенец... Могу вызвать из небытия и Катькины желтые штаны с молниями вдоль щиколоток. Мы с Катькой уже всюю целовались под копами, но это меня еще не возбуждало (зато потом крепко подсел). Однажды я даже бестактно поддразнил Катьку насчет ее разгоряченности, и она обиженно ответила, что в ней, возможно, снова разыгрался «процесс». В ее рассказах — без лишних слизистых подробностей (неотселяемый чахоточный сосед при общей кухне) — когда-то просвечивали «очаги», завершившиеся туберкулезной больницей, но поскольку это не имело отношения к главной реальности, я про это забыл. К врачу катить она не желала: семенящая жирная такса Моськина из университетской поликлиники уже отказалась дать ей освобождение — как же, идет Большая Картошка! Ни малейшего опасения я не ощутил и целоваться продолжал, не думая о палочках Коха, — меня возмутило оскорбление фантома — Права. Я увлек Катьку на станцию и по привычке усадил на тормозную площадку (она пряталась от ветра очень серьезно, впервые соступив с тропы добродетели и законопослушания). Рентген обнаружил новые очаги, но Моськина здорово притворилась, что не чувствует ни малейшего смущения.

Мы проявляли беспокойство только потому, что так полагалось, и, покуда Катька добралась до царскосельской туббольницы, успело произойти много событий («Развратный мальчишка», — ласково укоряла меня Катька). В полутемном гулком вестибюле мы со значением попросились за руку, но конечно же эта мрачность лишь готовилась оттенить будущий триумф. Я был изрядно удивлен, узнав, что от туберкулеза до сих пор умирают не только у Ремарка. Однако половая жизнь на этом волшебном взгорке бурлила почище, чем у нас в общежитии, романы тлели на всех черных лестницах, а летом и в садах Лицея (помню одну знаменитую по этой части кризисную худышку с горящими глазами — она жива сегодня, завтра... — обращавшуюся ко мне всегда с подчеркиванием пола: вы как мужчина...). Хотя это, конечно, не относилось к многочисленным бабусям, иной раз даже нарочно нагонявшим себе температуру: в больнице кормят, а пенсия идет.

Катька в ушитых пижамных штанах бегала через ступеньку и с двумя перехваченными аптечными резинками рожками из остриженных волос выглядела очень оживленной. Но главврачиха быстро распекла ее за то, что со второго этажа было видно, как мы целуемся в нагом вороньем саду. Катька, роняя слезы, обещала больше так не делать. «И зачем вы ушили пижаму — расшейте». — «Разошью», — покорно повторяла Катька. Я был в бешенстве от стыда и бессилия, но сумел подчиниться реальности. Как истинный революционер, я гораздо сильнее ненавидел угнетателей, чем сочувствовал угнетенным. Когда Катьке делали бронхоскопию (вколачивали в легкие микроскоп), она единственная из теток не трусила, а еще подбадривала других, и ей единственной разодрали «дыхательное горло» так, что она, как тот горчичный парень, чуть не сутки кашляла с розовыми брызгами, — я же испытывал только неловкость: надо вроде бы что-то делать... Зато когда выяснилось, что Катька беременна, все медсестры приняли в нас живейшее участие.

Катька теперь часто мне напоминает, что я не хотел жениться, — иногда с состраданием к моей погибшей молодости, а если придется под настроение, то и с обидой. Однако у меня даже тень помысла после всего этого взять и исчезнуть вызывала почти мистический ужас. Но что было, то было — однажды я вдруг перепугался, что женитьба помешает мне совер-

шить кругосветное путешествие, и бесхитростно предложил Катьке не спешить, чтобы мы оба успели сделать по два-три добрых глотка свободы: вот вернусь и... Но женщинам не нужна свобода — Катька произнесла эти слова с такой горечью, что больше я об этом не заикался. Во Дворце бракосочетаний у Катьки из-под ее пальтишка открылся бурый байковый халат — морозные перроны и заледенелые электрички были не для чохоточных дев. Снизойдя к нашему бедственному положению, нас обвенчали без испытательного срока, и мы еще успели в общаге хорошенько встряхнуться. Добрые сестры все равно убедили нас сделать аборт: ребенок, мол, наверняка испорчен горстями Катькиных лекарств — помню какой-то «паск», который полагалось запивать молоком... (Избавлялась она от нашего первого наследника в том же самом вышитом крестиком красного кирпича по желтому роддоме на Четырнадцатой, откуда я, сжимая ритуальный рубль, впоследствии получал ее с атласным свертком на руках. А из-за ее спины под руку с расстроенным молодым парнем проскользнула опухшая от слез девушка без конверта — и растаяла на многие годы.) Но опьянение еще держалось — казалось, и это все еще не всерьез...

Ага, вот она, реальность во плоти: справа трамвайное кольцо, слева бензозолонка... Но я отчего-то задерживаю взгляд на все той же марганцовочной почте, прежде чем взглянуть в лицо выходцу с того света, всплывшей Атлантиде, возвращенному Эдему...

Языки копоты по ирреально родным стенам цвета бачкового кофе, и по этой разбавленной бурде, словно вышибленные зубы, черные дыры, дыры, дыры, дыры... Ни одной даже рамы. Подальше влево у бетонного крыльца по вечерней пыли какие-то восточные люди бродят вокруг бесконечного прицепа с откинутым бортом, открывающим многочисленные желтые дыньки, выглядывающие из мятой соломы. С этого крыльца сбегали Катькины полные ножи в войлочных ботиночках навстречу замершей в морозной ночи «скорой помощи». «Какая шустрая мамочка — так нельзя!» — пожурила Катьку немолодая медсестра. Для Катьки и поныне крайне важны не только реальные события, но и пьеса, в которой они разыгрываются: разбудила меня она с видом вовсе не испуганным подступающими родами, а скорее торжественным. Я даже ничего не понял и сказал изумленно: «Я совсем не выспался», — естественно, в три-то часа. Когда в звонкокирпичном роддоме чужие руки выдали мне ком Катькиных вещей, я и тогда шел по ночному Васильевскому, все еще ничего не чувствуя — с отключенным контекстом.

Когда в фанерной клеточке на свою букву я наконец обнаружил Катькин бумажный треугольник, я почти не понимал, что читаю. «Малышка вылитая ты», — но ведь малышками иногда, кажется, называют и мальчиков?.. Дочка вообще-то изменила фамильной традиции походить на барсука, но на первых неоформившихся порах, пожалуй, что-то общее со мною было. Катьке показалось, что у малышки нет отверстий в ушках, и она даже обеспокоенно советовалась с врачом, на что тот захохотал. А назавтра нового письма почему-то не оказалось, и я с чего-то решил, что дочка умерла. Я не ощущал никаких теплых чувств к ней — я вообще ничего не чувствовал, но тут, бредя по снежному месиву, едва удерживал слезы. «Вылитая ты», — одними губами повторял я в отчаянии, хотя в принципе не видел в этом сходстве большого достоинства. Но это была все-таки какая-то индивидуальная черта. Зато узнав, что все в порядке, я прислонился к стене и несколько секунд простоял с закрытыми глазами.

К появлению *жены с ребенком* я впервые в жизни сам заново заклеил окно и вымыл пол до корабельной чистоты — из угождения какому-то фантому: гигиена такого скобления, на мой взгляд, не требовала. Коричневая, как после йода, дочка, однако, ухитрилась орать до помидорного глянца. Катька кидалась к ней, не отличая дня от ночи и уважительные причины от неуважительных. Неуважительные меня раздражали, но Катька клялась, что



ни единого мига не испытывает каких-либо иных переживаний, кроме жалости и тревоги. Да, она словно всю жизнь готовилась стать матерью-кормилицей, ничуть не удивляясь, что в ней неизвестно откуда берется молоко. Довольно жиденькое — при том, что и его-то Катька дала мне попробовать очень неохотно, ощущая в этом, должно быть, некую профанацию. Хотя все-таки и меня немножко трогало, что дочка зевает и чихает серьезно, как большая, но в целом я просто терялся из-за отсутствия у себя отцовских чувств: Славка гораздо чаще меня и с более умильным выражением простаивал над детской б/у коляской, где дочка пачкала пеленки жидкой глиной (без нее наши отношения с Катькой были чище). В общежитии гулял грипп, и нужно было стараться, чтобы народу у нас толкалось поменьше. Но мы так долго были такими гостеприимными... Недели через две у дочки поднялась температура (градусник торчал из-под крохотной ручонки неумолимый, как кинжал), ее рвало... Сначала разбавленное молоко изливалось из ротика вяло, как из опрокинутой бутылки, а потом ударило шампанским — на обоях надолго остался кривой ятагановый след.

Пневмония, ночная «скорая» требует неукоснительной госпитализации — потерянные, мы трясемся в темном фургончике над ледяными клеенчатыми носилками... Фабричного кирпича темная больница где-то близ Ахерона — за Черной речкой можно было разглядеть могильные оградки с обведенными белой каймой крестами. Дочку мнут чужие руки, она пытается уползти. «Молодец, очень сильная», — одобряет пожилая врачиха, и Катька потом много лет этим хвастается. В отделение нас не пускают, и мы больше двух часов бредем по темному морозному Питеру — денег на такси у нас, естественно, нет, Катьку саму трясет, и даже температурой она назавтра побивает свое дитя. Вход в отделение по-прежнему воспрещен, средней тяжести, средней тяжести, средней тяжести... «Она хотя бы улыбается?!» — «Улыбается, улыбается». — «Ну вот, а я и не видела!..» Наконец нам снова выносят наш драгоценный сверток — личико расправилось во вполне человеческое, глаза бедово косят, она явно скрывает улыбку, намереваясь нас каким-то образом разыграть. Катька заходит над нею в кафельном приемном покое, а я выбегаю ловить такси и дикими глазамизираю на траурную Волковку, на Волково кладбище — что это, откуда, неужели это происходит со мной?!

Зато Катька, повторяю, с первой же минуты вела себя так, словно готовилась к ней всю жизнь и даже десяток-другой раз уже переживала нечто подобное. О родовых муках она вспоминала с благоговейным ужасом — в этой пьесе боль была не просто боль, — и когда Славка оживленно заинтересовался: «Больней, чем зубы?» — она с негодованием отмахнулась. Славка обо всем расспрашивал с обычной своей милой круглоглазой любознательностью, хотя в свое время, узнав, что мы с Катькой собираемся пожениться, растерянно спросил у нее: «А как же я?..» — «А ты женись на Татьяне», — находчиво ответила Катька, чего до сих пор не может себе простить: «Дура двадцатилетняя!» Какая гордыня, осуждаю ее я, если ты в чем-то действительно виновата, так это в Карабахской войне — уж прямо так тебя Славка и послушался. Но вот что человек, невольный ищущий замены чему-то утраченному, являет собою легкую добычу... Не помню, почему мы со Славкой и Пузей в тот вечер поддавали втроем, без обычной толкотни; я уже отправился спать, но потом зачем-то вернулся — как сейчас вижу Славкину голову на подушке в полумраке. Даже не знаю, что я почувствовал, но я вдруг ткнул в его зеленое дерюжное одеяло, и оттуда захихикала Пузя.

Я вперяю в черные прямоугольники грозный взор шарлатана, умеющего взглядом исцелять рак и передвигать поезда, и — окна с еле слышным треньканьем натягиваются стеклами, за ними вспыхивает свет, клавиши паркета разбегаются по всем углам ксилофонной трелью — остается плюнуть и растереть их мастикой. В общих кухнях начинают теплиться неугасимые ради экономии спичек голубые газовые лампы, жирные дюралевые баки вспухают объедками, приподнимая набекрень крышки, худой носатый венгр

со своей венгеркой, оба блеклые, как моли, принимаются вдвоем целый вечер варить одну сосиску, приближаются оба негра — один тонкий, пепельный, отрешенно колеблется в недосыгаемой высоте, другой, небольшой, очень черный, порывисто улыбается всем встречным. Скользит крошечная вьетнамочка, легкомысленно распевая «мяу-мяу, мяу-мяу», покуда ее хрупкий вьетнамец черным глазом подглядывает через сточную дыру в подвальном душе за нашими невероятно, должно быть, в сравнении с их заморышами пышными девицами, но они заслоняются лопатой. Грустно-улыбчивый кореец с глянцевым журналом в руке деликатно разыскивает меня, чтобы показать, как туристическая группа почтительно вглядывается в огороженное место, на котором маленький «отец-вождь» товарищ Ким Ир Сен когда-то поставил на колени маленького японца, обидевшего корейского мальчика. Подвергнуться пропагандистскому воздействию посланца Народной Кореи любопытства ради согласились бы многие, но ему почему-то нужен именно я. Наши остряки в свою очередь набрехали ему, что во время полночного гимна в Советском Союзе полагается стоять навтыжку, и все под разными предложениями заглядывают в их комнату полюбоваться на этот почетный караул, где кого застал удар оркестра. Шоколадный Коноплянников в белой майке, только что из своего Крыма, настороженно мне кивает, а Желтков с Ерыгиной, как всегда под руку, проходят мимо, вообще никого не замечая. Пришли под руку и ушли под руку сквозь всех — он с надменным верблюжьим кадьяком и она с торжествующими ноздрями, — при взгляде на эту счастливую пару во мне уже тогда шевелилось подозрение, что преданная любовь не такая уж возвышенная штука. А вот и мы с Катькой, еще не до конца сломавшие стену дружбы, треплемся у Семьдесят четвертой (глаза говорят больше, чем губы), а мимо нас проходит в умывалку с тазом в руке гэдээровская брунгильда в зеленом балахоне и одних только черных рыцарских колготках — это задолго до Аллы Пугачевой. Еще с полгода назад мы бы сделали вид, что не замечаем ее, но сейчас уже обмениваемся улыбками. Катька даже решается рассказать, что в умывалке немка раздевается совсем, тогда как остальные только сверху.

Что-то бредень мой захватывает все экзотическую рыбу — вот два пузатых немца, вернее, один пузатый — веселый «Швейк», женатый на казашке Фатиме, которая, будучи беременной, досиделась ночами за прокуренными картами до того, что отекли ноги, — а другой — тощий, белесый Ганс, подброшенный судьбою в Женькину комнату со специальной целью столкнуть два менталитета: один — раскидывающий свое и хватающий чужое, и другой, считающий и свою, и чужую собственность неприкосновенной. О пунктуальности (мелочности) Ганса Женька постоянно отзывался с горьким сарказмом: представляете, Ганс попросил вернуть ему пятнадцать копеек за кефирную бутылку, которую Женька, оставшись без денег, по-товарищески сдал в буфет, — ему, дескать, летом потребуются деньги на поездку в Сталинград — разыскивать могилу отца. Мы выслушивали со сложным чувством: отец, конечно, дело святое... Но ехать туда, где он наворотил таких дел... Да еще деньги за бутылку, которыми каждый из нас был бы только рад поделиться в качестве хоть маленькой контрибуции... Правда, самое последнее вслух выговаривала только Катька: какой ужас — знать, что твой отец фашист!.. Нужен был особый случай, чтобы Женька потеплел к Гансу: обнаружив комнату запертой, он заглянул в скважину и увидел на кровати Гансовы ноги вперемешку с ножками его длинноносенькой, похожей на курчавого бесенка чернявенькой Гретхен — «все это в бешеном темпе»... Что ж, все люди, все человеки.

А вот еще забредший к нам Мишка поскальзывается на мутной плеве нерастертой мастики и не больно, но «громко» стучается головой о масляную зелень сухой штукатурки — сам я этого не видел, но Мишка обожал изображать себя в дурацком виде. Вот и в комнате он немедленно начинает живо-

писать, как только что по ошибке зарулил в женский туалет и был захвачен там на полусогнутых с полуспущенными штанами. «Очень некрасивая поза», — со вкусом подчеркивает он. Раньше бы он сгорел со стыда, но теперь большинство условностей осталось у него позади. И кому бы из нас, умников, хоть померещилось, что избавляться от условностей означает деградировать, целиком переходить под власть физически приятного и физически неприятного. Под власть реальности как она есть...

Из всех нас только Юре перевалило за двадцать, но мы чувствуем себя ужасно взрослыми, только лучше: настоящих взрослых жизнь уже загнала — иногда во вполне достойные, но все-таки *четко очерченные* загончики, а мы еще можем стать кем угодно. При желании я могу разглядеть каждое лицо, каждый жест, расслышать каждый голос — хотя бы и вечно напевающего Родзянко («Поет Родзянко за стеной веселым дискантом»).

Боря Семенов сосредоточенно похрапывает на спине, церемонно одетый и даже в очках. Кто-то наклеивает ему на стекла клочки промокашки и резко встряхивает: «Пожар!» — и Боря начинает метаться в розовом дыму. Мешковатого Мешкова убеждают, что с завязанными глазами он не спрыгнет с высоты одного метра. С повязкой из вафельного полотенца он становится на опрокинутый стул, кладет Славке руки на плечи, а мы со снисходительным Юрой слегка отрываем стул от пола и раскачиваем, будто поднимаем (я в отличие от Юры не брезвую и покряхтиванием), — Славка же тем временем медленно приседает. Мешков, мужественно собравшись, прыгает, и у него подламываются ноги. Общий смех. Женька, сверкая угольно-желтыми глазами, делится опытом, как удобнее всего стащить с партнерши трусы, не выпуская при этом ее верхней половины: лучше всего это делать ногой (если ты, конечно, босиком) — можно даже, потренировавшись, отбросить их за пределы досягаемости. Трусы вообще занимают в Женькиной жизни видное место: «Она положила мне голову на колени, а у меня брюки в шагу разорваны, и трусы две недели не менял», «Ей еще шестнадцати не было — я подумал и вдел в трусы бельевую веревку. Потом зубами хотел развязать — не мог дотянуться».

Что-то все глупости всплывают из глубины... Но умное-то было еще вдесятеро глупее. «Как можно в наше время быть индивидуалистом, если в одиночку ты ничего не можешь! Отопление, транспорт, снабжение — все сегодня может быть только общим!» — это гениальное прозрение принадлежит мне. Много кож я должен был сменить, пока до меня дошло, что объединять людей могут лишь прекрасные фантомы, а реальные интересы всегда их разъединяют: если даже поезд идет под откос, люди все равно будут драться из-за мест в купе.

В упоении нашей мудростью было особенным счастьем срываться в дурацкий хохот. Одного полковника, к примеру, научили страшно остроумной шутке — сказать, если вдруг погаснет свет: темно, как у негра кое-где. Он дождался случая и провозгласил: темно, как в ж... кое у кого. Славка радостно играл глазами: полковники, понимаете ли, плохо разбираются, какие слова приличные, а какие нет, — а я без затей хватался за живот.

Утонченность мне давалась плохо. Хотя девочки на меня, можно сказать, вешались, взросло-надменные молодые женщины все равно в упор не замечали. Зато у Юры то с одной, то с другой возникала какая-то заманчивая многозначительность. «Зачем-то решили друг друга уважать», — с тонкой улыбкой пожимал он плечами. Пузя каждую из них азартно выводила на чистую воду: Земская купила Юру тем, что якобы может сыграть «Аппассионату» — да ей «Чижик-пыжик» не пробрякать! Но подавать себя умеет: на фотографиях почти не видно, до чего у нее ноги кривые, — всегда так ловко одну выдвинет вперед, согнет в колене... Ноги у Земской действительно заходят одна за одну, как слоновьи бивни, но тем не менее носят ее надменную скуластую раскосость с достоинством, способным охладить любую фамильярность. Пятикурсники вообще ухитрялись нам в отцы годиться. Пузя

уверяла, что муж Земской, слегка одутловатый татарин, — импотент, но мне не верилось, что импотент мог бы держаться так невозмутимо. А Славка вообще считал, что он просто не хочет: «Вот если бы ему сто рублей дали!..»

Настоящая любовь у Юры была устроена еще более утонченным — ненаблюдаемым — образом: Юра время от времени ездил к «ней» аж в Москву. Однажды под настроение он с чуточку недоумевающей улыбкой признался мне, что вместо объяснения послал своей любимой пластинку с «Лунной сонатой». И мне уж так захотелось тоже обзавестись чем-нибудь таинственным, и притом в Москве... А кто ищет... Прикатив в Москву в пять, что ли, сорок утра, я грелся бачковым кофе встоячку на промозглом Ленинградском вокзале, и на душе у меня резко потеплело, когда ко мне по-свойски обратилась молодая компанейская москвичка со слипшимися от краски ресницами. Вернее, сначала она поперхнулась кофе, и я дружески постучал ее по спине... Она тоже была немножко очумелая и даже в красных точечках после бессонной ночи. Купленную у милиционера бутылку она предложила распить у нее дома — причудливым коридором мы пробирались с карманным фонариком (луч выхватывал из непроглядного поднебесья то велосипед, то застывший водопад лука; из-за светлого сектора, вытертого в паркет ее дверью, мне и потом всегда казалось, что из-под ее двери бьет свет). Теперь и мне стало к кому ездить в Москву (общий вагон стоил рубля четыре), и, даже подхватив от нее триппер, я еще долго страдал фантомными болями. Хотя иллюзорность своей подруги я почувствовал еще под исполинской луковой гроздью...

У Юриной-то возлюбленной чертог наверняка был оплетен настоящим виноградом! Юра уже тогда понимал, что конкретное всегда беднее неопределенного, истолкованное — неистолкованного, а потому изъяснялся исключительно афоризмами, не требовавшими и даже не допускавшими развития. Когда мы старались перешибить советскую пропаганду новой легендой — еще, мол, неизвестно, что в Америке называют трущобами, может, там и наше общежитие считалось бы трущобой, — Юра ставил точку одной короткой репликой: «Почему „может“?» Забредшего к нам интересного брюнета Банникова, чья краса была безнадежно испорчена его манерой ухарски остерить, Юра приговорил одной фразой: «Ты, я вижу, балагур и весельчак».

Юру вместе с выражениями типа: «Смею вас уверить», — всегда сопровождали какие-то редкие книги: если даже имя знакомое или вообще родное, вроде Марка Твена, так непременно том из тех, в которые никто не заглядывает — «Записные книжки» какие-нибудь: мои книги вода; книги великих гениев вино, — воду пьет каждый. А то еще неведомый Энгр, рассуждающий об искусстве — никогда о реальности, а только о ее восприятии или обработке: «В творениях Рафаэля замечательнее всего та связь, которая объединяет фигуры в группы, а затем сплетает группы между собой, как виноградные грозди на основной ветви». Восхищаться не фигурами, а связью между ними — да-а... И внезапное «mot», оброненное Мозмом в день девяностолетия: «Черт возьми, еще один день рождения!»

От Юры я получил и первые уроки чести — не привычной хамской чести борьбы, а изысканной чести неучастия. Нарезая батон к чаю, Славка вручил особо ценимую нами параболаидную макушку Юре, а затем, вместо того чтобы, как положено, резать дальше, мгновение поколебавшись, отрезал себе макушку от второго, и последнего, батона. Возмутившись, я отрезал третью макушку от другого конца и — поймал сочувственно-презрительный взгляд Юры...

К пятому курсу Славка уважал меня, пожалуй, даже и поболее, чем Юру в лучшие дни, — именно за то, что я начал открыто брезговать борьбой и гавканьем. Но что лучше — безобразно ссориться и забывать или вовсе не ссориться и помнить вечно? Забавно, что Славка зауважал меня за пренебрежение самым пустяковым — деньгами. Когда мы с ним в первый раз перекидали на Бадаевских складах вагончик арбузов, я еще не знал, где получать

заработанное, а Славка напомнил мне разок — и поехал один. Я обиделся и совсем не поехал. И Славка через много месяцев вдруг восхищенно вспомнил: «Он вот не захотел — и не поехал за деньгами. Не захотел — и не поехал!»

Окна в реанимированном Эдеме все еще горели. Но гальванизированные моей волей предметы уже не переливались праздником — исчез домысливаемый контекст, когда-то превращавший каждый бульжник в бриллиант. Ну с чего бы так счастливо осесть от смеха на пол, когда Славка, лежа на кровати, потянулся мне вслед что-то спросить — и вдруг, подтолкнутый коварными пружинами, с вытаращенными глазами оказался на полу. И разве что-нибудь, кроме неловкости, я испытал бы по поводу запинаящегося Славкиного лепета о замирающих призывах скрипки и печальных ответах фортепьяно в «Крейцеровой сонате»: кажется, что это мужчина и женщина, они любят друг друга... И совсем бы меня не позабавила Славкина манера перед выходом в свет полировать туфли краешком одеяла, а потом еще время от времени ставить ногу на попутную урну и подновлять блеск скомканным носовым платком. А уж сам я себя вижу просто не вполне вменяемым, когда у врубелевской скульптурной головы «Демона» («Посмотри ему в глаза близко-близко, — интригующе подтолкнул меня Славка. — Страшно, правда?») я вдруг пытаюсь подставить Славке ножку и — наступаю на священное зеркало ботинка. Правда, и шипеть, как Славка, — «Ты думай, что делаешь!» — я бы тоже не стал.

Можно бы уже и отпустить потревоженные тени обратно во тьму, но мне никак не остановить всколыхнувшуюся глубь. Вот вдруг вынырнул бледный Генка Петров, с фосфоресцирующими глазами привалившийся с гитарой к красно-коричневой, как деревенские полы, выдавшей виды тумбочке. Он вбивает мне в душу струнно-барабанный ритм: «А по полям жиреет воронье — а по пятам война грохочет вслед!..» — я готов поставить жизнь на кон, чтобы только обрести за спиной что-то великое и трагическое. Генка еще при Славке умер в Арзамасе-16, а с его жены Вальки Морозовой («За что же Вальку-то Морозову?..»), выглядывавшей из-под челки, подобно испуганной болонке, в морге вдобавок содрали целых двести рублей. «Зачем же она дала?» — с ненавистью спросил я, и Славка простодушно округлил глаза: «Мало ли — приклеят руку к уху...» Я все еще впадал в отчаяние из-за того, что осенью идет дождь. Хотя главным специалистом по благородным чувствам все равно оставался Женька. Слезы в театре и шкурничество в реальности много лет представлялись мне непереносимым лицемерием, — а это, оказывается, самое что ни на есть искреннее поведение в главном мире — в мире коллективных иллюзий, они же идеалы. Но только сегодня мне, старому потному дураку, открылось, что требовать от каждого реальных дел — та же пролетарская примитивность, желающая каждого поставить к станку. Соль соли земли — мастурбаторы, умеющие только чувствовать, только грезить, только благовоевать перед собственными фантомами — и тем зажигать и направлять сердца людей дела, которые без них передушили бы и себя, и друг друга. Творцы обольстительных фантазий создают образ мира, в котором можно — что бы вы думали? — жить. Эти фантазии превращаются в разрушительную ложь, только когда спускаются с неба на землю, когда объявляют себя реальным планом действий. Зато, увлекая нас с земли, они удерживают мир над братской могилой, в которую его тащим мы, почитатели глубины, где можно найти лишь истлевшие кости да беснующуюся магму. В своем стремлении превратить мир в храм истины — в мастерскую — мы изгнали из него мелодраму, совершив этим тяжчайшее преступление перед культурой. Нет — перед человечеством, ибо все, что объединяет, вдохновляет, утешает людей и в конце концов позволяет им выжить и ужиться вместе, построено по вечным законам мелодрамы: беспримесное добро против беспримесного зла, всегда готовое вмешаться чудо, осеняющая могилы невинных красота, дающая понять, что со смертью еще не все кончено...

Правда, благодарение небесам, чернь, как это не раз бывало в истории, вопреки капитулировавшей просвещенной верхушке развязала партизанскую войну, чтобы вульгарными, но живучими цветами многотысячных тиражей масскульта завалить бездну истины, в которую мы ее увлекаем: только чернь не позволяет изгнать из мира Подвиг, Страсть, Безупречность, Чудо... Истина допускает единственное отношение к реальности — подчинение: лишь в воображаемых мирах мы можем не констатировать то, что есть, а навязывать то, что *должно быть!* Все так — наша инфантильная глубина, не желающая отличать сон от яви, являет собой источник всех мыслимых лжей. Но она же есть источник самых возвышенных мечтаний, без которых и мед нам покажется желчью. Что такое ложь — всего лишь мечта, слишком поспешившая объявить себя осуществленной. Стремясь избавить мир от ребячества, мы просто-напросто убиваем его: вполне повзрослевший человек нежизнеспособен. Даже и для таких зануд, как мы, прогноз и сегодня важнее факта: нас больше волнует то, чего мы ждем от жизни, чем то, какова она есть в данную минуту, завтрашняя прохлада позволяет нам спокойнее снести сегодняшний пот.

А слежавшиеся кадры из разных времен и комнат все просвечивали друг сквозь друга. Вот Славка с крупной вязки радугой поперек груди, откинувшись на стуле, ястребиным глазом вглядывается в карты, а через стол изо всех сил держится за свою задиристую иконописность крошечный витязь с остренькой белокурой бородкой, специально приведенный в общежитие сразиться со Славкой в преф и раздетый им до шпор. А сквозь этого Славку явственно виден еще один, радостно режущийся «в коробок» — ударом по выглядывающему из-за края стола спичечному коробку требовалось поставить его на ребро, а еще лучше на попа, — и вдруг на Славку сыплются попы за попами, и он с каждым новым попом тарасит глаза все более восторженно и ошалело, приглашая всех подивиться на такую пруху. Но сквозь этого Славку свободно можно разглядеть еще и третьего, который тщится быть корректным, однако ему плохо удается деликатность с теми, кто ему не интересен. А Попонина к тому же всегда так подавлена в предчувствии новой неудачи, и самый повод, который она отыскивает для общения со Славкой, всегда уныл до оскомины...

Наказанная чувствительной душой, закованной в короткое рыхлое тело при непрорезанных чертах лица, меня она, однако, все равно решительно не замечала — оттого, должно быть, что я слишком громко хохотал. Тогда как даже о Женьке она отзывалась: «Это интересный товарищ». Поэтому, когда в Публичке у мужского туалета она робко поинтересовалась у меня, каково живется «Славе» в Арзамасе-16, я принялся так искусно интересничать, что к концу разговора она явно желала продолжения знакомства. Но я-то был уже удовлетворен. Утешила ли ее та единственная ночь, когда она прошептала Славке: «Мысленно я давно тебе принадлежу»? (Попутно Славка с неудовольствием сообщил мне, что он еще и своей крови «подпустил», в суматохе надорвав уздечку.) Потеря невинности тогда представлялась мне делом еще более значительным, чем сейчас, и Славкина безответственность мне не понравилась: если бы я со всеми, кто ко мне клеится... («Девушек» я считал дозволенным только пятнать засосами выше пояса.) А потом Пузина сокомнатница, простонародно-красивая украинка Заклунная (простонародно же взрослая, водившаяся с настоящими мужиками, — сегодня растит — уже вырастила? — слепорожденную девочку), — Заклунная, умевшая оказаться в центре интересных событий (на ее голое колено мастурбировал длинный прыщавый эстонец, пока она притворялась спящей), — так эта самая Заклунная и здесь возникла в нужном месте в нужное время: под дверью ночной кухни она подслушала, как Попонина пополам со всхлипами рассказывала об ужасном происшествии — у примыкавших к общежитию барачков какой-то бандит ножом втащил ее в подъезд и изнасиловал. Заклунная рассказала Пузе, Пузя нам, а я еще подумал: ладно, тогда пусть уж Славка.

Разумеется, Попонина все равно была бы Славке лучшей женой, чем Пузя, но ведь нам подавай не пользу — наркотик. А Пузя умела *кружить голову* — прятаться за искусно создаваемый фантом, если считала желательным кого-то обольстить. Она и после развода раскаивалась, наверно, не в подлой злобности своей, а лишь в неосторожности. Бессовестность — это ведь и есть приятие реальности — успеха и неуспеха в качестве верховного судии. Интересно, верила ли она вообще, что у людей бывает совесть? Как-то разнесся слух, что женатых будут выселять в Петергоф, если только родители их не напишут в деканат, что отказываются помогать своим чадам, — так Пузя просто ликовала: «Да какие же папочка с мамочкой не сделают такой мелочи для своих деточек!» Я же — неужели это был я? — испепеляя ее взглядом, сказал, что лучше буду спать на вокзале, чем... И она предпочла меня не злить, раз уж я решил притворяться честным.

Знает ли она, что Славки уже нет? Возможно, это ее не слишком и затронуло — он уже не был ее собственностью. А может, я к ней и несправедлив... Ведь она пела в компании с большим воодушевлением.

Катька не сразу сообщила мне, что Славка умер. Я тогда отходил после суровой операции — боялись, что я вообще отойду, — и она долго «готовила» меня, заговаривая, что звонила из Хайфы Марианна, что Славке очень плохо, но моя только-только расслабившаяся глубь ни к чему дурному готовиться не желала, намертво задраившись от опасной реальности трехдюймовым чугуном люком. «Плохо», «плохо» — мне, что ли, хорошо! Ему уже двадцать лет плохо — глядишь, и еще двадцать будет не хуже. От прозрачных трубочек меня уже отсоединили, переведя на автономное питание, — я самостоятельно вливал через воронку бульон в нержавеющее горлышко, глядящее из оранжевой аптечной клеенки у меня под ложечкой, а потом затыкал глазок продезинфицированной одноразовой пробочкой, для извлечения которой прилагался нержавеющий штопор в прозрачном полиэтилене. Опираясь на Катькину руку и ежеминутно проверяя, на месте ли пробочка, я уже отходил от больничного крыльца и заново, как в детстве, поражался чистейшей голубизне погожих осенних луж. Катька же продолжала докучать мне со Славкиным тяжелым состоянием, но все эти подходы плющились о чугун, как мягкие пульки-стаканчики духового ружья: да ладно ты, мне тоже было тяжело, а глядишь, и обойдется!

Наконец, видя, что по-хорошему я не понимаю, она взялась за гранатомет: Славка умер. Как?!. Что-то младенческое, то есть главное, в моей глубине заматалось, пытаюсь улизнуть: нет, я не расслышал, я сейчас запихну эти слова ей обратно в рот!.. — но мотылек души против бульдозера правды... Я начал так рыдать, что из нержавеющей глазка вылетела одноразовая пробочка, и бульон толчками булькал во фланелевую сорочку. Я грыз себе руки, но боли не чувствовал — рыдания рвались неудержимо, как рвота. Перепуганная Катька пыталась что-то лепетать, но я понимал одно: сказанного не вернешь, — и, зажимая отверстие в животе, ухитрился выговорить единственное слово: «Помолчи», — и свободной рукой показал, что хочу остаться один. Теперь, зажимая еще и рот, откуда рвался неудержимый хриплый лай, я добрал до бетонной ограды и уткнулся в нее лбом. Катька метров с десяти пыталась испуганно заглянуть мне в лицо, словно маленькая девочка, впервые увидевшая пьяного с расквашенной рожей.

В тот день подобные схватки овладевали мною еще несколько раз, но я уже справлялся, зажимая рот и одновременно усиленно жуя попадавшую туда мякоть указательного пальца. Сегодня же я только вздыхаю... Не смиряются с реальностью в конце концов лишь глупцы. Но побеждают в конце концов лишь безумцы, ни за что на свете не согласные смириться с тем, что осенью идет дождь. И я, вероятно, еще жив, если мне так горько, что несколько лет назад погожей осенью пролился короткий ливень.



Прижатая к клеенчатой спинке спина сразу же сделалась окончательно скользкой, как мокрое мыло. Но сидеть прямо не было сил. Сил захотеть. Мне уже не отсечь все это рванувшее на Страшный суд по неосторожному звуку трубы сонмище теней. Я не вправе убить их вторично, ибо лишь мазурбирование делает нас людьми.

Солнце давно скрылось, но жар так и будет недвижно стоять, как в русской печи. На этом самом месте мы с Катькой точно так же ждали водителя, но почему-то у Катьки впервые не было охоты валять дурака. «Плохое настроение», — человек не имеет права так о себе говорить без понятной уважительной причины. В порядке заигрывания я вытащил у Катьки из сумочки — а, да-да, какая-то серовато-беловатая припухшая имитация крокодиловой кожи — белую расческу. Но Катька игру не поддержала. «Тебе что, расческа не нужна? Так, значит, ее можно выбросить? Ну что ж...» Я привстал и опустил расческу за окно. Так мы и сидели молча, а расческа белелась на этой самой мазутной брусчатке. И теперь я не могу передохнуть с закрытыми глазами, потому что она сразу же вспыхивает всеми своими зубчиками. А под ней Славка с коробком, Славка на полу, Славка с арбузом, влезший в специальные жокейские галифе с обшитым брезентом межколенным, Славка на лекции, ястребино устремленный к знаниям, Славка в фетовской бороде — я не вижу только Славку в гробу, а потому и не могу похоронить его, хотя евреи хоронят вроде бы и без гроба...

А распаренный народ наконец-то занял-таки все места, и первая же стоячая тетка принялась отдуваться, разумеется, у меня над душой. Мне хочется прикрыться веками, но я еще не успел выучиться закрывать глаза на правду. Я предпочел перебросить нагрузку с измочаленной души на горящие ноги и галантным жестом указал тетке на свое место с мокрым пятном на коричневой спинке. Однако ослабился я при этом настолько неестественно, что она, расцветши было благодарностью, сразу же поскущела. Правильно, важен не поступок — важно чувство, с которым он совершается.

Мне хочется повиснуть на скользкой перекладине, но мокрые подмышки... И на заднюю площадку не уйти — тетка еще примет на свой счет... Дернулись наконец, застучали по рельсам, все убыстряясь, — мимо книжного магазина, где я когда-то покупал петрозаводских «Братьев Карамазовых», мимо кирпичнополосого немецкого, как мне виделось, «Гаванского рабочего городка» с резными деревянными кронштейнами под крышами, возведенного вместо баррикад в девятьсот четвертом-шестом годах трудами учредителя товарищества борьбы с жилищной нуждой Дмитрия Андреевича Дриля, гремим серым ущельем Гаванской, распахируется неоновое закатное небо в широком бульваре «Шкиперский проток». Окна бывших «Колбас» затянуты пыльным полиэтиленом — именно здесь мы со Славкой вместо корейки на закусь однажды размахнулись на буженину по три семьдесят, — а нам завернули один трепещущий жир, и Пузя устроила такое поджатие губок и сверканье глазок... Я бы убил. Но сил нет. Я ее еще вижу, но уже ничего не чувствую. А Славка вот он, вот он, вот он, вот он... Вот он подает Катьке пальто, бедово зажав его рукав, и простодушная Катькина рука долго тычется, пока... Но огреть его по спине не удастся — баскетболист!

Спазм под ложечкой, дополнительный микроожог разъеденных щек — толкнулась собственная мелкая низость. Оскорбленная в «Колбасах» Катька требует у кассирши жалобную книгу — теперь-то она гораздо больше стремится что-то получить для себя, чем покарать обидчика, — кассирша книгу не дает. Катька зовет меня на помощь, но молоденькая разбитная кассирша так умело со мной заигрывает, что мне уже не до Катьки: да хватит тебе, перестань! До того даже нехстати она тут припуталась, что я вдруг с раздражением вижу, как тесемка от ее шапки искусственного каракуля врезается в складочку между шеей и подбородком (теперь рядом с расческой загорается и складочка). Обладай Катька умением помнить зло, уж такой бы долгий список моих предательств она могла бы составить... Но в ней памятьлива



только проклятушая «любовь» — слова этого не могу больше слышать! Когда мне была противна эта ее складочка, я ее, стало быть, «любил», а сегодня, когда я с беспредельной нежностью и мукой стараюсь целовать ее именно в морщинки — все глубже впивающиеся бесчисленные лапки старости, — теперь «не люблю». Но я больше не примирюсь с этим: наш долг — не мириться с неизбежностью. Пусть мы не изменим мир, но по крайней мере не позволим и миру изменить нас. А для этого нужно ни за что на свете не смотреть правде в глаза, быть готовым взойти на костер за свои иллюзии, хотя бы в собственном внутреннем мире беречь гармонию, без которой мир внешний немедленно нас раздавит, как водолаза в треснувшем батискафе. Я бы и сам следовал этой мудрости, если бы меня так от нее не воротило.

Слева вылетела не такая уж, оказывается, и громадная громада кинотеатра «Прибой» — на крыше ржавеют сварные буквы «КИНОТЕАТР», но брошенный у ступеней, как плуг, якорь блестит черной краской. Меркнувший глаз успел схватить какой-то пасьянс: «Кожаная мебель», «Thermex», «Выставочно-торговый зал „Демос”». Вздрагивать глубь уже не имела сил. Да мы и тянулись-то больше к *старым* фильмам в ДК Кирова, в «Кинематограф», пока еще заслоненный мелкой кирпичной гармошкой «Hotel „Gavan”», поглотившей скромное чугунно-стеклянное чрево Гавани «Стекланный рынок». Сколько я потратил сил, чтобы по важному Мишкиному отзыву посмотреть на Жана Габена в...

И тут я почувствовал, что пора кончать по-настоящему: в глазах по-настоящему мутилось. Наплевав на неприличные подмышки, я повис на перекладине. Катька, вспоминая Славку, особо страдает еще и о двух девочках-сиротках, но меня это только злит. Как можно вспоминать о таких частностях, если он больше не смеется, не тарашит глаза, не открывает какого-нибудь Рюноскэ Акутагаву, особо наслаждаясь звучанием «Рюноскэ», не приходит в восторг от нового фантома, не крутит досадливо головой от новой несправедливости (беспорядка), не торчит под лампочкой с «Сагой о Форсайтах», не столбенеет с глуповатой улыбкой над детской колясочкой, не учит меня бриться в бане, доводя распаренные щеки до солнечного сияния: его НЕТ — вот чему нужно не верить! Потому что он — вот он: азартный баскетболист, снисходительный картежник, алчный математик, скептический остроумец, восторженный пацан, желчный диссидент, скуповатый еврей, заботливый папаша, опухший Афанасий Афанасьевич Фет — меня уже вот-вот стошнит от перенапряжения, а глубь моя выбрасывает все новые и новые его обличья: Славка там, Славка сям, Славка то, Славка это!.. Оставь меня — пусти, пусти мне руку!.. Но остановить это извержение можно лишь кулаками по голове. Помогло бы, наверно, и заорать: «А по полям жиреет воронье!..» — выбивая ритм на пыльном стекле...

— Мужчина, вы не откроете окно?

Обращаются ко мне.

А я умею открывать окна.

Я все умею, мне нужно только сосредоточиться.

И я сосредоточиваюсь.

И все делаю как надо.

И возвращаюсь в реальность.

Жить-то приходится все-таки в ней.



---

---

ВЛАДИМИР КОРОБОВ

\*

МОРЕ ОСТЫЛО...

\* \*  
\*

Давай с тобой поговорим,  
повспоминаем, посудачим  
или поедем летом в Крым  
на пляже полежать горячем.  
Давай с тобой поговорим,  
судьбу отечества оплачем.  
Вранье, что все дороги в Рим  
ведут... Еще мы что-то значим.

Все это шепчешь в пустоту  
морозную,  
не сознавая,  
что речь — как птица на лету  
замерзла, с губ твоих слетая.

\* \*  
\*

*Памяти Н. Б. Томашевского.*

Жили вы так, словно с Господом спорили,  
черт вам не брат,  
то ли — профессор из «Скучной истории»,  
то ли — Сократ.

Так и запомню вас умным, язвительным,  
резким на слух.  
Был в наклонении лишь повелительном  
гордый ваш дух.

Смерть где-то рядом плутала, маячила,  
стукала в дверь.  
В темном саду ни застолья, ни дачника —  
где он теперь?

---

Коробов Владимир Борисович родился в 1953 году в Тобольске. Детство и юность прошли в Крыму. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького и аспирантуру при нем. Стихи публиковал в «Новом мире», «Дружбе народов», «Континенте» и др. Живет в Москве.

Верю, душа его, тайно ранимая,  
плоть отряхнув,  
вновь прилетит на крылах серафимовых  
в милый Юрзуф

и загрузит, красотою окрестною  
поражена.  
Встанут любимые рядом над бездною  
мать и жена...

Боготворили вы край сей таинственный  
ранней весной.  
Что же, прощайте навеки в единственной  
жизни земной.

\* \*  
\*

Денечек наизнанку,  
навыворот — туман.  
Плетешься спозаранку  
в прибрежный ресторан.

Закажешь кружку пива  
и долго так сидишь,  
а дождик сиротливо  
стучит по жести крыш.

Не скучно и не грустно,  
а как-то все равно.  
Из кухни пахнет вкусно,  
нет денег на вино.

Туман. И берег моря.  
Жемчужно-влажный Крым.  
Здесь даже привкус горя  
почти неуловим.

### Зеркало

Сорок лет я отражался,  
сам себе же улыбался,  
красовался в зеркалах,  
отраженьем любовался,  
а теперь в глазах остался  
непреодолимый страх.

Тонкой сетью паутины  
на лицо легли морщины,  
неуверенность в словах,  
в дополнение картины —  
стали явственной седины  
в поредевших волосах.

Ночью вздор какой-то снится:  
 то ли ангел, то ли птица  
 в звездных реет закромах?  
 Жизнь голубкой постучится —  
 рядом ворон-смерть кружится,  
 ближе, ближе крыльев взмах!

Я обряд пустой нарушу,  
 загляну себе я в душу —  
 зеркало в Его руках —  
 к удивленью обнаружу  
 отраженье: море, сушу,  
 домик детства на холмах.

Там в пруду кораблик чудный,  
 разрисованный, двухтрубный  
 оживает на волнах,  
 сад проснулся изумрудный,  
 дождь запрыгал — шарик ртутный,  
 самолетик — в облаках.

Вижу: сиро, виновато  
 мать стоит поодаль брата.  
 Зеркальца на солнце взмах —  
 и готов я до упаду,  
 как пчела в соцветьях сада,  
 «зайчика» искать в цветах.

Зеркало! Твой мир откуда? —  
 двойственный, как сон и чудо.  
 Заблудился я впотьмах:  
 сад, сирень, игрушек груда,  
 звезд озноб, любовь, простуда...  
 Прикоснешься — пыль и прах.

Пусть ветшает мир прелестный,  
 плотский, яростный, телесный,  
 с соком ягод на губах.  
 Близок час и миг чудесный, —  
 вечно юный, бестелесный  
 отражусь я в небесах.

\* \*  
 \*

Л.

И море остыло. И лодки забыты.  
 И пляжи до лета фанерой забыты.

Так, значит, как раньше, так, значит, как прежде  
 вдвоем не бродить на пустом побережье,

так, значит, уже не сбежать нам с тобою  
 к веселому морю веселой тропею,

не плыть, не лежать на заброшенном пляже,  
касаясь волны, словно пенистой пряжи...

Что было — прошло. И все реже и реже  
мне верить погоде и верить надежде.

То хрупкое лето волною разбито.  
И море остыло. И гавань размыта.

Ржавеют в воде ненадежные сваи.  
Кричат о беде перелетные стаи.

Я выйду на зов. Постою на причале.  
Прочнее, чем эта, не будет печали.

Пройдет теплоход и вдали растворится.  
Ничто не вернется и не повторится.



---

---

ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ

\*

## ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕСТВА

*Рассказ*

**Е**сли бы я поехал один, то как же мне грустно было бы сейчас! Но мы вдвоем. Дочка спит. А я сторожу ее сон. Поправляю одеяло. Вынимаю стаканы из подстаканников, чтобы не звякали. Присматриваю за звездами в черном окне. Видно, наш поезд хочет обойти стороной Большую Медведицу, но она вскоре наваливается на нас, и мы пытаемся проскользнуть под ее брюхом... Провода мешают — кажется, нас кто-то поймал в сети и тянет на берег... За дверью говорят: «Вы не были в нашем городе? У нас всем нравится, старый центр хорошо сохранился. В Прилуках обязательно побывайте, там Батюшков похоронен. В музее есть иконы красивые...»

Мне приснилось, как мы шлепаем по сырому двору, а вокруг тишина пасмурная, все в дымке, как бывает в оттепель. Деревья стоят мокрые. А мы входим в дом, окна в комнатах запотели. Я пробегаю по комнатам, касаясь клеенки на столе, стопки книг, подушки с павлином, мелькаю в зеркальной створке шкафа... Я вернулся.

Вернулся туда, где скудный свет один горит в окне и падает на липу. Где живы дедушка и бабушка, два полушария моей круглой детской жизни. Где двор лежит в белом сумраке, как до рождения. Где я смотрю в него сонный, жадно глотаю прохладу, а за моей спиной расположен непоколебимый вечер в летнем доме. Где свет, когда просыпаешься, струится из окна так полно и совершенно, что невозможно представить, что за этим же окном бывает тьма. А ночи вовсе нет, есть белые ночи. И зима впереди — белая. И город мой зимой — белый по преимуществу. Белый храм Софии, белые поля до самых Прилук, белая река и Белое море где-то рядом, Белозерск, Беловодье. Белые палаты моей детской больницы. И старики мои — белые, убежденные. И на столе все белое по утрам — творог, сметана, молоко. На дедушке — рубашка моя любимая, белая, навыпуск, с большими карманами. И дома здесь всегда белые от занавесок и тюля, от белых рам, наличников и промытых стекол. Деревянные тротуары выбелены снегом, солнцем и нашими пятками. И сад в июне белеет от яблоневого цвета, и асфальтовая дорога на вокзал — белесая от дождя. И школьный мел, белая пыльца на ладонях.

Это было в прошлом году. Мы приехали ранним утром. Объявление у входа на вокзал: «Возможен сход снега с крыши». Я — в командировке, у дочки — последние дни зимних каникул.

---

Шеваров Дмитрий Геннадьевич родился в 1962 году в Барнауле. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Печатался в журналах «Новый мир», «Урал», «Согласие» и др. Живет в Москве.

Мимо зеленого огонька такси, приглушенно мерцавшего сквозь лобовое стекло, мы вышли на пустую площадь. На железнодорожной почте подрагивают латинские буквы, реклама немецкого шоколада «Фишер».

Тихо. Первый троллейбус хлопнул дверцами и легко побежал, осыпая снег с проводов.

Я еще в Москве мечтал, как мы пойдем с вокзала пешком.

Свернули на Ворошилова, прошли двором. Я показал дочке ее первый детский сад: «Помнишь?»

— Не помню...

Асе было всего три года, когда мы уехали из Вологды, а сейчас ей десять. Минувшие семь лет — это для меня семь лет, и ничего больше, а для Аси — жизнь. Огромная, неохватная, непроглядная в своем начале...

Позади нас остается светофор, беспокойно мигающий желтым, желтым, опять желтым... Девятиэтажка, зеленые буквы «Хлеб». Это был первый девятиэтажный дом в Вологде, его звали «высоткой». Первое время на него бегали смотреть со всего города, а приедем сразу тыкали этим домом в глаза: «Вот мы какие — на лифте к небу катимся!..»

Три знакомые пятиэтажки, в одной — пирожковая. От этих пирогов, ватрушек, шанег стоял в проходных дворах теплый и сладкий дух. По субботам бабушка посылала меня сюда за тестом, наказывая: «Не забудь укрыть, а то простынет...» Я подавал целлофановый пакет повару, тот уходил в парное тепло и через минуту выносил мне что-то круглое, податливое и живое. Я укладывал это существо в сумку, укрывал старой бабушкиной кофтой и бежал по морозу домой со всей своей детской скоростью...

В темной стене одной из пятиэтажек появилась одинокая прореха, вспыхнул свет у кого-то на кухне. Ася первая заметила это окно: «Не похоже, что утро, да? Похоже, что вечер».

— В этом доме живет тетя Оля... бабушка Оля... Ты помнишь ее?.. Она первая прибежала посмотреть на тебя, когда я вас с мамой привез из роддома. Так радовалась тебе, так хлопотала над тобой, так целовала нас... На фронте она была врачом, потом работала в госпитале глазным хирургом, спасала зрение солдатам... Угощала меня печеньем с корицей, играла на пианино. Она была необыкновенная...

Я почему-то запомнил одно ее летнее платье — белое, в каких-то детских васильках, с короткими рукавами... Когда бабушка умерла, дедушка безутешно тосковал, стал слепнуть от горя, и были дни, когда ничто не могло отвлечь его от этой тоски, и тогда я звонил Ольге Михайловне, она стремительно возникала в дверях, шутила, запыхавшись: «Вот пришла ваша скорая помощь...» Я оставлял их за чаем на кухне, они долго говорили. Дедушка во время беседы разглаживал руками край старенькой клеенки, не теребил ее, а именно гладил, гладил по ребру стола. Так он гладил бабушку по руке или по плечу, когда она мучилась от болей, которые не могли снять никакие лекарства.

...Вот дошли до угла. Когда я был маленьким, здесь были конюшня и склад. Ночью кто-то всхрапывал за забором, а в утренних сумерках из ворот грузно вываливались на дорогу сани, одни за другими. От саней летела солома, комья снега, пахнувшие навозом. Темные лошади-тяжеловозы развозили огурцы в бочках, капусту в бочках, селедку в бочках... Бочки ехали на санях, а впереди бочек сидели хмурые старики цыгане, иногда страшно блеснет серьга или зуб — не разберешь, а еще закричат: «Геть, геть, еть!..» — и разлетятся по улицам, взрывая сугробы на поворотах...

Мне хочется рассказать обо всем этом, но я только говорю, что здесь жили лошади, и мы идем дальше. Мы же только из тепла, из вагона, а дочке зябко еще и от темноты и неизвестности, оттого, что она здесь родилась, а вспомнить пока ничего не может...

Угловой дом теперь заколочен, пуст. Зияют пробитые двери, темно, страшно. Дошли до забора нашего дома. Раньше забор был пониже, и я редко ходил через калитку, мой короткий путь к нашему подъезду лежал через забор. Я перепрыгивал в сад, приземлялся под рябиной.

На самом углу дома, как и раньше, торчит заржавевшее крепление для флага. В начале ноября приходил человек, залезал по короткой лесенке и вставлял свежее древко в маленькое жерло. Потом брал лестницу и шел дальше, а за ним ехал грузовик с флагами. Улица наполнялась тревожным цветом. После праздника флаги висели еще дня два, а потом исчезали на утро. Так начиналась зима.

Заходим во двор, калитки давно нет — идем через пролом. Подходим к двери — заперта. Кодовый замок поставили. Еще одно новшество освоил мой город. Нечего даром греться в подъездах.

А что же осталось от сада? Он был в самом углу двора, там, где сейчас сумрак и сугробы. Там тоже что-то случилось. Это даже сейчас заметно, зимой. Одна липа совсем засохла и мертво откинулась назад. Вторая еще, кажется, жива. Жива скамейка, где сидели мои старики. Только раньше ее расчищали, а теперь лишь спинка торчит из-под снега.

А вот здесь стояли сараи. Назывались «сарайки». Они темнели в тылу двора, и никто не мог ударить нам в спину. Эту оборону дополняли заросли крапивы и старинная канава с водой. В сарайке была наша дворовая библиотека, штаб, блиндаж, замок, колыбель революции... Там мы укрывались летом от дождя. Однажды за сарайки навсегда улетел вертолет. Чей это был вертолет? Неужели мой? Я так и чувствую сейчас его тяжесть в левой руке. Вертолет надо было держать за брюхо в левой руке, а правой дергать за шнур. Моторчик от рывка заводился, лопасти врезались в воздух, и голубой вертолет взлетал. Он летел, тархтя, не очень уверенно и приземлялся метров через десять. Двор наш был большой, и вертолет летал по нему во все стороны. Как-то он сделал непредсказуемый вираж и скрылся за сарайками. Мы долго искали нашу боевую машину, ворошили крапиву палками, но никаких следов катастрофы не обнаружили. Вертолет исчез бесследно... Наверное, его перехватили соседские мальчишки. В восемьдесят девятом приехал бульдозер, сломал сарайки, засыпал наш ров и крапиву. Двор залили асфальтом и открыли всем ветрам. А через год рухнула Берлинская стена.

Показываю Асе наши окна. Они темны. Рано.

Да, совсем не похоже на утро. Похоже, что вечер и во всем районе выключили свет.

Так бывало зимой. На этот случай были припасены стеариновые свечи. Бабушка шла со свечой по коридору, и свеча двоилась — отражалась в зеркале. Дедушка просил осветить, забирался на тонкий венский стул и проверял пробки под счетчиком. Пробки были в порядке. Я ходил от окна к окну и смотрел, в каких домах есть свет, а в каких нет. Огни виднелись за крышами, на вокзале, далеко. Оттуда доносились бодрые гудки маневровых тепловозов и переговоры диспетчеров товарной станции. Мы с дедушкой садились у приемника. У «Спидолы» нажималась кнопка, и возникал зеленый мир диапазонов, там среди черточек и цифр, как среди водорослей, плавали названия городов: Варшава, Будапешт, Берлин, Париж... Редкие машины отбрасывали свет фар на потолок, блуждали по нему, как в снежной степи, скрещивались, уползали за гардероб. От радио было спокойно, как от тиканья ходиков. Кто-то разговаривал на площадке, хлопали двери. «Авария?» — «Никто не знает...» — «В аварийку звонили?» — «А как туда звонить — через коммутатор?» — «Попробуйте... А у нас гости...» — «И что вы с ними делаете?» — «Аркадий Петрович рассказывает



про Карловы Вары, и мы слушаем...» — «Жалко, сегодня последняя серия...» — «Не упадите, вот ступенька...» — «Перила мне найдите, и я сам...» — «И звонок не работает...» — «Он же электрический...» — «У меня холодильник потечет...» — «Выкиньте на балкон...» — «Закройте двери, у меня кот убежит...» Дедушка, это к нам стучат! Дверь открывается, свечной огонь испуганно гнется от сквозняка, тени пляшут. Девичий голос: «У вас можно посидеть, а то я пришла, а наших нет, а тут холодно...» — «Да-да, конечно... А вы не снимайте, вот тут диван...» Дедушка оставляет свечу на столе в большой комнате. «Кто там?» — спрашивает бабушка. «Девушка к Степановым». Я иду из темноты комнаты к белеющему окну. Звезд нет на небе и луны нет, будто и там погас свет. В доме напротив бродит свеча. Появится в одном окне, исчезнет, возникнет в другом. Видно, как кто-то курит у форточки. Уголек сигареты летит на дорогу. Кошка идет по забору, роняя свежий снег. Я оглядываюсь: девушка тоже смотрит в окно. Я вижу ее профиль, белый чистый лоб, гладкие волосы, небольшой аккуратный нос... Ресницы у нее вздрагивают, она замечает меня, я отступаю от окна в темноту, прячусь в глуши тумбочек, сундуков и подушек. Я уже привык жить без света, я не хочу, чтобы его включали... «Взгляни на меня долгим взглядом, — поет Бернес, — ты здесь, ты пока еще рядом, и я улыбаюсь тебе...» Пустынный телефонный звонок. Дедушка: «Вам кого?.. Нет, вы ошиблись, здесь нет Саши...» Голос девушки: «Это я Саша...» Дедушка: «Простите, вот я передаю ей трубку...» — «Да, да... сейчас... хорошо...» Она уходит. Включают свет. На венском стуле в коридоре я вижу чужие варежки. «Это ее варежки», — говорит дедушка. Я бегу на третий этаж к Степановым, а перед тем, как мне откроют дверь, прижимаюсь на секунду к варежкам — щекой, глазами, носом. Как собака, чтобы найти потом след... «Ты здесь, ты пока еще рядом...»

Днем мы едем на троллейбусе в Заречье, к моей учительнице. У меня в руках кулек с веткой хризантемы, но я чувствую, что чего-то не хватает. Заходим в гастроном рядом с ее домом.

— Купим «Паутинку», — говорю я Асе.

— А что это?

— Это самый вкусный на свете торт.

«Паутинку» очень любила бабушка. В праздники она просила дедушку купить именно этот торт. Я проехал всю страну и понял, что «Паутинки» больше нигде не делают.

Мы пришли вовремя, нас ждали. Моя учительница приготовила винегрет, целую кастрюлю. Мы ели винегрет и говорили. Мы не виделись много лет. Она совсем не изменилась.

И эта комната с елкой в углу — все та же. Последний раз я был в ней двадцать шесть лет назад. Тогда, в зимние каникулы, здесь вокруг стола сидел, бегал, махал руками весь наш класс. Горела елка, дедушка смущенно стоял у окна. Потом он достал из сумки бабушкины ватрушки. Выключили лампу, и окно затопило комнату бледным сиреневым светом. «Айда на горку!» — сказала учительница, и мы вывалились во двор, кубарем ухнули с крутого берега — кто на санках, кто на картонке, а кто уцепившись за чей-то воротник или хлястик. Мы карабкаемся обратно, а навстречу нам летят учительница и мой дедушка!..

Нас было сорок четыре в классе — двадцать пять девочек и девятнадцать мальчиков. И ни о ком я ничего не знаю, потому что уехал после третьего класса на Урал. Все новости для меня свежие.

Моя учительница приносит фотографию нашего класса. У меня есть дома такая же. Недавно болел зимой, и что-то потянуло в шкаф. Достал оттуда картон с фотографией, рассматривал долго, проваливался в нее горючечным сознанием...

Мы начинаем с верхнего ряда, где стоит мой друг Сережка. Моя учительница всех помнит так, будто, кроме нашего класса, у нее других в жизни не было.

Танечка... Бизнесменка самого высокого класса, а ведь было — умножала на десять столбиком... Леночку вижу каждый день, водит к нам в школу сыночка. Сыночек называется Женя... А вот эта была шпанистая девчонка, ужас. Познакомилась с военным пареньком, а он оказался подводником. И она в семнадцать лет сбежала из дому. Изумительно хорошо живут. А вот этот ребенок закончил медицинский, сейчас звезда-хирург!.. Сереженька все время ко мне приходит. И всегда с цветами. Как-то говорю: «Серега, да ты где такие розы взял?» — «Юль Николавна, вы меня извините, я у обкома партии выдрал...» У него четверо детей, и живут хорошо, он шофером работает... Олечка консерваторию окончила, вышла замуж за научного сотрудника, сынок у них такой вундеркинд бойкий. Помнишь, как мы представление делали? «Мы котят-поварята, поварские колпаки, дядя Кот наш главный повар, мы его ученики...» Так это Олина мама сочиняла... А вот Саша, он ученый теперь по математике. У него была тяжелая операция в шестом классе — магнит проглотил. Боролись за жизнь... Алешенька — я на руках его носила. Чего-то забезобразит — так на руки его возьму, успокою и посажу на место... Риточка — тоже любовь моя. Ой, сколько погрешила с ней! Она была пятая девка в семье, и я, бывало, чисто по-бабьи говорю матери: «Господи, зачем пятая-то?» — «Да ведь красивенькая она!» И точно — красивенькая... Ваня был очень нервный мальчик, сильно плакал из-за каждого пустяка, ведь он был брошенный отцом, мать все время на прогулках... Никита... Я вызываю его к доске, а он стоит, ничего не пишет. «Ты чего не пишешь?» Молчит. А потом тянется ко мне и шепчет на ухо: «Юль Николавна, а он не переломится?..» Я не понимаю, о чем он, а он: «Папенька-то не переломится?..» Оказалось, что отец пришел пьяный, мать его не пустила, а отец так и свалился у дверей. Никита и шепчет мне: «Все дверь-то открывают и все давят на него. Так если долго будут давить, он ведь переломится...» На Эльбрусе был тренером...

Звонок. В дверях появляется очень смуглый мальчик лет четырех. У него толстые губы и негритянский приплюснутый нос. Глаза, зубы, снег на шапке и валенках — все сверкает. Варежки на веревочках болтаются.

— Жак Энтони Меньшиков, — представляется он.

— Тоник! — восклицает моя учительница и бросается раздевать Меньшикова. Когда-то, в семидесятых годах, ее дочка училась в МГУ и вышла замуж за конголезца. Теперь у моей учительницы четверо внуков и трое правнуков. Она называет их: «Мои негры».

Внуку Паскалю — восемнадцать. Он говорит мне: «Я не люблю сегодняшней Москвы... Я люблю Москву шестидесятых. Там все такое промышленное, ясное, чистое... Улицы, люди...»

Прощаемся. Паскаль дарит нам на память глиняный горшок. Он мечтает стать скульптором, но пока зарабатывает на жизнь в гончарной мастерской.

Замерзший троллейбус. Протеплишь пальцем окошко в толстом инее — оно тут же затянется снова. Завтра мы уедем, думал я, и опять навсегда... Недавно мне приснилось, что дедушка скитается один, на станции, на задворках, где сложены шпалы, и вот мы там встречаемся, и дедушка говорит мне: «Зачем, зачем ты отпустил меня одного?» — «Так ведь ты не слушаешься меня», — оправдываюсь я и утешаю его, глажу по голове, мы плачем и просыпаемся. Белый день в окне.

Что означают мои возвращения раз в полгода, в год? Наверное, это роскошь, непозволительная в рамках одной жизни. Такая же, как перечи-

тивание книг. Я уже два раза перечитал «Войну и мир». «...Нет, Соня, ты помнишь ли его так, чтобы хорошо помнить, чтобы все помнить?..» Бабушкину сестру звали Соня. Один раз она приезжала к нам из Тюмени — седая, быстрая старушка. Они вспоминали о чем-то с бабушкой, сидели горестно рядом у края большого стола, а дедушка молча ухаживал за ними, подливал чаю. Перед отъездом Соня сказала, глядя почему-то на меня: «Больше я к вам не приеду. У меня такое чувство». Все присели на дорогу. Потом дедушка ушел на вокзал провожать Соню, и больше мы ее никогда не видели... Как больно было бы, уходя на поезд, вдруг узнать, что ты никогда не вернешься сюда, не перечитаешь этот город с первой при вокзальной страницы... Как полюбили у нас слово «никогда». И цитату из Маркса про человечество, которое смеясь... Смейтесь, расставаясь с прошлым! Такое прошлое не заслуживает ничего, кроме смеха. Забудьте свои карусельные лошадки, лоскутные перочистки, мороженое по двадцать две копейки, сборы макулатуры, первый отряд космонавтов и любовь на уборке турнепса. Ничего этого больше не будет никогда!.. Возможно, вы правы, но позвольте мне не смеяться. Скоро вы подрастаете, и у вас будет свое прошлое. И еще неизвестно, захочется ли вам смеяться над ним...

Ася держит руку в моем кармане. «У тебя теплее». Троллейбус переваливает через Горбатый мост. «Папа, а ты помнишь град? Ну, когда я его видела первый раз?.. Ты еще из телефонной будки звонил о пожаре... Не помнишь? Ну вот и ты ничего не помнишь».

Вечером она попросилась на каток. Мы взяли напрокат коньки — под залог моего паспорта. Ася вышла на лед и сразу потерялась среди густо летящих пар. Снег косо валился с мутного неба. И так же косо и остро падал луч прожектора.

А в этом луче — мельканье, звон коньков, мороза, игрушек на елке, которая стоит тут же, в сугробе на краю катка. Парни-лихачи скребут на скорости лед, падают со всего размаха, потом хохочут, подбирая улетевшие шапки. Сцепившись за руки, катятся церемонные подружки.

Я сказал дочке, что пойду поброжу вокруг стадиона.

Мимо людей, спешивших на каток, мимо фонарей, по рыхлой снежной каше я опять вышел к нашему дому. Я думал: люди уходят, а дома, где они жили, получают выражение лица, судьбу, привычки...

Долго стоял на другой стороне улицы — так мне казалось, что долго. В наших окнах на втором этаже горел свет. Форточка в спальне была приоткрыта. Именно так ее приоткрывала бабушка. Теперь там живут чужие люди. Зачем же они так приоткрывают форточку, что мне хочется крикнуть: «Бабушка!»?

Как я любил такие вот мягкие зимние вечера, когда на катке играла музыка, а мы шли с бабушкой по какому-нибудь неотложному бабушкиному заданию или просто в библиотеку железнодорожников. В сумке лежали толстые тетрадки «Роман-газеты», а вечер только начинался, густел от свежих огней. Но сначала, в сумерках, огней было немного. На перекрестке лучи от фар растерянно блуждали по рыхлым окрестностям, не отличая дома от сарая, а сарая от сугроба. Город казался нагромождением забытых кем-то и приваленных снегом вещей.

Но вот включалось первое окно, и жилой дух, приободрившись, начал разгонять прихлынувшую было ночную нечисть. Затепливались голые лампочки в парадных, одинокие фонари во дворах, согласно вспыхивали уличные фонари, а за ними и в домах дружно загорались окна, возвращая домам истинные их очертания.

Библиотека помешалась в торце Дворца культуры. Надо было взойти на крыльцо и со всей силы потянуть на себя тяжелую, будто из танковой брони, дверь. За ней открывался ослепительный храм. Книги терялись под

высоким куполом. С порога обдавал запах, который я с тех пор встречал только в сельских библиотеках, — свежий запах чисто вымытых досок и таких же новеньких, умытых книг.

...Тропинка в снегу вывела меня к этой самой библиотеке. Я легко отворил дверь, казавшуюся мне когда-то такой тяжелой. За столиком у картотеки сидела незнакомая мне женщина. Я поздоровался, постучал ногами на лысом коврик, осыпал снег с шапки и спросил зачем-то:

- Вы работаете?
- Работаем.
- До шести?
- До шести... А вы не Олег?
- Нет, я не Олег...

Краем глаза я увидел на полках знакомые, как мне показалось, корешки книг. И это поразило меня.

Я вспомнил не названия, а запах этих книг, часто залатанных, с ветхими обложками, прихваченными силикатным клеем. У нас дома таких несчастных книг не было, все выглядели прилично, независимо от года издания. Каждая книга, которую мы с дедушкой собирались читать, проходила церемонию оборачивания в плотные страницы старого «Огонька». А потом, когда мы дочитывали книгу, она так и возвращалась на место в «рабочем халате».

Дедушке в детстве удалось закончить лишь три класса приходской школы, но я не встречал человека, который бы так благоговел перед книгой, так трепетал перед ней в книжном магазине и нес ее домой, закутав в газету, как в пеленку. Увидев на моем столе необернутую книгу, он не говоря ни слова уносил ее к себе в комнату, щелкал там ножницами, шелестел старым «Огоньком», вздыхал, и минут через двадцать книга тихо возвращалась на место.

Годам к девяти дедушка научил меня оборачивать книги, но я вечно торопился скорей засесть за чтение, летом убегал с необернутыми книгами во двор, на качели, за сарай или в огород, где рядом с огуречным парником дедушка сколотил маленькую скамейку.

Однажды без дедушкиного спроса я утащил на улицу один из томов «Тысячи и одной ночи», сел на качели и читал там долго-долго.

Сейчас мне трудно представить, что можно вот так — среди бела дня, среди большого двора, среди летнего города — сидеть с книжкой часами и никто не нарушает этого уединения.

Я лишь иногда сам спрыгивал с качелей, усаживался на забор — не происходит ли там чего-то интересного — или пересаживался на скамейку у сарая, где можно было откинуться на его прогретое брюхо. Наш сарай стоял несколько завалившись в овраг, и оттого казалось, что с фасада он очень важный. Но вот в окно выглянула бабушка и позвала меня обедать, я побежал, оставив книжку на скамейке. После обеда ко мне зашел приятель Мишка, и я обо всем забыл. Тем временем на улице пошел дождь, мы с Мишкой выглянули в открытое окно, чтобы посмотреть, как ручьи несутся по утоптанному двору, и тут я увидел: идет под черным зонтиком дедушка, подходит к скамейке у сарая, берет в руки что-то белое, рыхлое... «„Тысяча и одна ночь“!» — прошептал я с ужасом. Я бросился в коридор. Дедушка уже открывал дверь. Сначала появился черный зонтик, но он тут же свернулся, и я увидел дедушку, он не смотрел на меня. С полей дедушкиной велюровой шляпы капала вода, она капала с рукавов плаща и с книги, которую держал дедушка. Книга была набухшая, тяжелая, чужая... Дедушка снял и повесил шляпу, потом попробовал разлепить страницы, они с трудом поддались. Книга была непоправимо, непоправимо погублена! Дедушка понес ее в комнату, как раненую птицу, на ладонях. Я не ре-

шился пойти за ним. Мишка, почувствовав недоброе, убежал. Я ушел к себе в комнату и до самого вечера простоял там у мокрого окна, расставляя на подоконнике грустное войско зеленых солдатиков.

...Я торопливо возвращался на каток. Наверное, меня очень долго не было и дочка потеряла меня.

Как сладко быть потерянным! А потом выйти под слепящий луч прожектора, под музыку, забраться на сугроб и махать рукой маленькой родной точке, которая, отделившись от множества других точек, несется к тебе, и смеется на лету, и разгоряченно кричит что-то!..

Вот мы завтра уедем, и останется эта музыка на катке, и библиотека, и старый свет из окон, и занесенный снегом Пушкинский бульвар... Зачем все это живо, когда давно нет тех, кто все это так простодушно любил?

Да, верно, и другие все это любят. Но ведь то другие, они могли бы и что-то свое полюбить, не мое.

— Я с девочкой познакомилась, — сказала дочка, — а тебя так долго не было. Куда ты пропал?

— Ходил в библиотеку.

— Зачем?

— Не знаю. Шел, шел, смотрю — библиотека.

— И что там особенного?

— Книги, очень много книг.

Мы сдаем коньки. Пьем ячменный кофе в буфете, где пахнет сырыми ботинками, талым снегом.

Возвращаемся в гостиницу через сквер, под черными липами.

— Вон автобус белый, — сказала дочка.

— Здесь все автобусы белые.

— Мы еще приедем сюда? Я бы взяла свои коньки, а то здесь дают мокрые.

— Конечно, приедем.

— И маму возьмем?

— И маму.

Мы идем по тихой улице, мимо низких окон. Вдруг видим в одном окне: новогодняя елка мигает сквозь занавеску перебегающими огоньками. Включенный где-то телевизор обещает до минус сорока на Тикси. Мы стоим в облаке елочного света.

А был еще только второй день Рождества, весь год впереди.



---

---

## ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ



### ДАР И ПОКОЙ

#### К стихам

Стихи мои, птенцы, наследники,  
душеприказчики...

*А. Тарковский.*

Ну вот, я стою перед вами,  
творец и создатель. Теперь  
спасайте. Своими словами  
закройте балконную дверь.

Спасите от этого шага,  
иначе я просто уйду.  
Но если вы только бумага,  
измаранная на ходу,

но если я силы вам не дал,  
простите, простите меня.  
Как видно, что делал — не ведал,  
не ведал до этого дня.

#### Памяти друга

В своей кургузой курточке, как есть,  
с подкладкой символического меха.  
Когда мы это начали, Бог весть,  
с ничтожной вероятностью успеха.  
Но это было, что ни говори,  
теперь припоминаемое вчуже,  
когда ты можешь видеть изнутри,  
на что я до сих пор смотрю снаружи.

Как будто красно-белый поплавок,  
всем корпусом подрагивая мелко,  
меж облачных ныряет поволоок  
залатанная, старенькая «элка».  
И девочку примерно лет шести  
тошнит. И нет ни выдоха, ни вдоха.  
Я думаю: «О Господи, прости,  
наверно, Кузе было б так же плохо».

---

Губайловский Владимир Алексеевич родился в 1960 году. Окончил мехмат МГУ. Автор книги стихов «История болезни» (см. рецензию М. Бутова в «Новом мире», 1995, № 2). Живет в Москве. Статья Губайловского «Век информации» публиковалась в «Новом мире», 1999, № 8.

Светает поздно. Дети крепко спят.  
 Спят разметавшись, скомкав одеяла.  
 Я понимаю, восемь лет подряд  
 мне каждый день тебя недоставало.  
 Словами благодарности судьбе,  
 наивностью нечаянных наитий,  
 жизнь движется, как гайка по резьбе,  
 и катится планета по орбите.

Но тот круговорот заблудших душ  
 невольно подкупает постоянством  
 мою непрозреваемую глушь,  
 поросшую вполне банальным пьянством.  
 Наверно, где-то около шести  
 я рухну, и меня оставят силы.  
 Как мне везло, как мне могло везти.  
 Я прожил жизнь, как больно это было.

### Первый учитель

*Ирине Викторовне Барановой.*

Воспитание чувств до Флобера,  
 откровение тайн алфавита —  
 это первая робкая мера  
 осознания мира и быта.

Будут книги и библиотеки  
 проявление смысла и слова.  
 Тяга к истине есть в человеке  
 безусловная первооснова.

Жизнь учителя в самом-то деле  
 есть отчаянная неудача.  
 Продвиженье к невысказанной цели —  
 непосильная людям задача.

Может быть, это проповедь права,  
 холодок глубины и свободы.  
 Может быть, это тихая слава,  
 что приходит к тебе через годы.

\* \*  
 \*

Давайте поговорим, например, о Бахе  
 или для разнообразия о Глюке.  
 Они надевали шелковые рубахи,  
 отправляясь к знакомой шлюхе.  
 Они играли на клавинофордах  
 редко, на органе — обыкновенно,  
 и самодовольство на круглых мордах,  
 как масляный блин, лоснилось, наверно.  
 Они прожили жизнь так, как хотели.  
 Посмертной славы — гребни лопатой.

Они не ютились в черном теле,  
 как заповедовал Бог Распятый.  
 Но они сохранили бессмертную душу,  
 а это немало, ох как немало.  
 Ибо сопротивленье удушью —  
 труд, которого им перепало  
 вдосталь.

### Лесная сказка

#### 1

Развиднелось, промокший орешник  
 засверкал, начинало парить.  
 Трое старых, затюканных леших  
 на поляне сошлись покурить.  
 Закурили и долго молчали,  
 и один наконец произнес:  
 — К сентябрю дорубить обещали,  
 я вчера заходил в леспромхоз. —  
 И пошли вдоль разбитой дороги,  
 вдоль залитой водой колеи,  
 волоча деревянные ноги,  
 деревянные ноги свои.

#### 2

Хорошо сработали, ладно, выверенно  
 проложили просеку, поставили опоры,  
 а лесное озеро вытекло и вымерло,  
 треснуло, как блюдце из черного фарфора.  
 А вчера под утро, без видимого повода  
 раскрошив скворцам недоеденный хлеб,  
 леший повесился на обрывке провода  
 недалеко от опоры ЛЭП.

\* \*  
 \*

Подробный анализ мыслей и поступков героя  
 говорит о том, что его единственной целью,  
 единственным, в чем он видел ценность,  
 была Красота. Но дорога  
 сворачивала все время не в том месте  
 и питала его не намного лучше  
 верблюжьей колючки.

Он искал Красоту в замечательно умных книгах.  
 В поэзии, математике, стоицизме,  
 но находил гармонию, а она  
 не более чем изящное прокрустово ложе,  
 круглый бассейн, где можно достать до дна,  
 Красота по своему существу безобразна,  
 возможно, как бесы разны.



Он пытался ее удержать в регулярных строфах,  
резких тропах, неожиданных переменах метра.  
Это похоже на ловлю ветра полой халата.  
На вопрос: «Не слишком ли ярок мой галстук?»  
за пять минут до потопа.  
Переноска воды в решете от забора и до обеда —  
не большая победа.

Красоту часто связывают с удивлением,  
но это какое-то слабое чувство, сродни испугу,  
в нем звучит разве что дамское «ах».  
Скорее она похожа на жуть впотьмах,  
на преступление  
против морали, логики, государства и частных лиц,  
на выпускников психбольниц.

Это тот откровенный ужас, который несет  
сквозь разрывы оформленной оболочки.  
Кровь, пот и слезы, но в первую очередь пот —  
это верные признаки приближения точки  
кипения или присутствия Красоты.  
Можно приблизиться, можно. Попробуй тронь.  
Ты сожжешь ладонь.

Лучше не надо, пусть кто-то другой где-то там  
сходит с ума на этой непрочной почве.  
Но безумная музыка движется по пятам,  
как эхо шагов отражаясь от стен одиночки.  
Голая лампочка мощностью 200 ватт  
режет глаза, и мысли гремят быстрее,  
чем шары лотереи.

Но все-таки, все-таки перетерпи:  
нет выше таланта таланта терпенья,  
когда возникает внезапное пенье,  
кузнечик стучит в придорожной степи.  
Напейся воды, если хочется пить.  
Цветок зацветает, прекрасный как демон,  
из света пространства и времени сделан.

Нет выше таланта таланта труда.  
Душа твоя, словно долбленная чаша,  
наполнится влагой, быть может, горчайшей.  
Пока еще можно вернуться туда  
путем не прямым, но, возможно, кратчайшим  
туда, где проселок прибило дождем,  
спасибо на том.

Там женщина варит сливовый компот,  
там девочка красит картинки в альбоме,  
и там тебя ждут, и, наверное, кроме  
никто и нигде тебя больше не ждет.  
Машины и люди стоят на пароме.  
И пьяный паромщик цепями гремит,  
и сердце щемит.

Душа твоя станет той формою, той  
строфою с так долго искомым размером,  
которая непредставимым манером  
наполнится страшной земной Красотой,  
крадущей детей и бегущей по нервам,  
и это твой выбор, твой дар и покой,  
твой дом над Окой.



---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

БОРИС ЕКИМОВ



## НАДЕЙСЯ ЛИШЬ НА СЕБЯ

**П**рошлым летом на одном из хуторов Суровикинского района жаловалась мне молодая женщина на житье-бытье: «Колхоз развалился. Разошлись по кооперативам. Муж — механизатор... Но еле сводим концы с концами. Одна надежда: может, в Москве поймут и повернутся... Помогут...»

В Калачевском районе мой старый знакомый, фермер, механизатор, бывший колхозный бригадир, пел ту же песню: «Когда они повернутся?.. Когда поймут?»

На том же хуторе Нижнеосиновский возле тамошнего магазина продавала раннюю капусту тоже молодая женщина. Стояла пора молодого лета, в городе и в райцентре торговали капустой привозной: из Средней Азии, Азербайджана и даже из Турции.

— Турецкая? — спросил я прицениваясь.

— Своя, сами вырастили, — ответила женщина.

Я удивился: ранней капустой у нас никогда не занимались. Даже в пору расцвета овощных совхозов. Поэтому я переспросил:

— Сами?

— Другой уже год занимаемся. Мы — переселенцы, из Казахстана. Земельного пая нет, а жить надо. Занимаемся... На кого надеяться...

А когда пробивались мы к полевому стану моего знакомого фермера, выбирая дорогу проезжую, через Старую Сокаревку, объездом, радовались ненастью. Для наших степных краев дождик — всегда подарок. Будто и немного было дождей, а трава в логах да падинах — в рост человеческий. Зеленым морем стоит, колыхается.

Добирались до полевого стана трудно, но долго не гостевали. Отметим — и слава богу. Люди все те же: могучий отец, крепкие сыновья. И речи все те же: «Когда же повернутся к нам лицом... Неужели они не видят... Опускаются руки... Ведь десятый год не дают работать...»

Возвращались другим путем, убегая от находившегося дождя. А картина все та же, глазу приятственная: зеленые лога, высокие сочные травы. И — покой нетревоженный.

Объявление в районной газете: «В хуторе Рубежный продается дом в 3-х уровнях, со всеми удобствами, колбасный цех, ангар, емкости — 2 шт. по 10 куб. м. Автономное водоснабжение (насосная станция) и электроснабжение (КТП-100). Справки по телефону...»

Конец истории. Начало ее — в далеких теперь уже годах, когда зарождалось фермерство. Отставной военный: энергичный, грамотный, полный сил. Жена — ни энергией, ни образованием не уступающая мужу. Подчеркну, это — не лодыри, не пьяницы, не болтуны, а работающие, в чем-то даже самоотверженные люди, движимые благими намерениями: хотели осесть на своей малой родине, где развалился колхоз. Хотели свою жизнь обустроить и людям

---

См. в нашем журнале очерки Бориса Петровича Екимова: «В дороге» (1994, № 1, 3, 6, 9), «Последний рубеж» (1995, № 4), «На распутье» (1996, № 6), «В снегах» (1997, № 1), «Итоги „тринадцатой пятилетки“» (1997, № 5), «Возле старых могил» (1998, № 5), «Девять лет спустя» (2000, № 1).

помочь. Земледелие и переработка продукции. Пекарня, колбасный цех, пруд, рыба, плодовый сад, макаронная линия.

Еще раз повторюсь: не фантазеры. Пекарня работала несколько лет, хлеб сеялся, имели около двух десятков наемных рабочих. Не «бичей», а работников с зарплатой и «отпускными».

Такие фермеры — кладезь для журналистики. Можно показать очень убедительно, как не справляется государство со своими обязанностями, «бросая на произвол судьбы».

Цитирую районную газету:

«...отстроили прекрасный двухэтажный дом, рядом — ангар для зерна, хлебопекарня... рядом с домом — насосная станция, работающая в автоматическом режиме... холодная и горячая вода круглые сутки...

Мясной цех удалось запустить. Ветчину, корейку, грудинку продавали в Волгограде, но народ нынче малоденежный, торговля шла вяло. Реализация одной тушки затянулась на месяц, разве это дело? Пришлось цех остановить. А вскоре такая же участь выпала и на долю пекарни.

В последнее время работать становилось все труднее и труднее. Райпо, запустив собственную пекарню, вытеснило их из магазинов, принадлежащих райпо в Кривой Музге, Степаневке, Бузиновке, Варламовке и Ярках. После резкого подорожания бензина и муки возить хлеб в отдаленные места фермерам стало невыгодно, а поблизости торговать негде.

Фермерское малое предприятие, не получающее от государства никаких дотаций и не пользующееся никакими льготами в налогообложении, не выдержало конкуренции и оказалось раздавленным большими хлебозаводами, дотируемыми из бюджета.

Работать себе в убыток конечно же безрассудно. Тем более печки, пришедшие за три года в негодность, надо менять, с долгами, которых накопилось до 50 тысяч рублей, надо расплачиваться... Хотели было закупить макаронную линию, но слишком дорого это обойдется. Одна сертификация стоит 10 тысяч рублей. Сколько времени надо, чтобы это все окупилось?

При нынешних экономических условиях положение оказалось безвыходным.

На поле дела тоже не блещут. Третью часть посевов вытоптали чужие отары. Иск предъявлять некому: не пойман — не вор. Урожай собрали слабый, в среднем по 8 — 10 ц/га. Зерно сдали на „Сарепту“ на муку. А семян нет, надо покупать. Да и стоит ли сеять? Земля засоренная, надо бы пустить ее под пары, обработать как следует, а на тот год видно будет.

Брошенное государством и местными властями на произвол судьбы фермерское предприятие тихо скончалось. Провозглашаемые с высоких трибун слова о поддержке фермерства и малого предпринимательства оказались пустым звуком. А ведь во многих странах именно малый бизнес играет немаловажную роль в экономике. Во Франции, например, малые предприятия на 3 года с момента возникновения освобождаются от налогов, процедура их регистрации упрощена, система кредитования доступна. У нас же экономическая политика направлена лишь на удушение тех, кто что-то пытается производить. Обыватели и представители властей смотрят на них как на норовящих нажить ся рвачей, не видя другой стороны медали: реальной пользы, которую они могут принести.

Где же выход? Пока его нет. Остается только ждать изменений в государственной политике или у моря погоды, что почти одно и то же».

Позволил себе повторить вывод районной газеты, потому что подобные заклинания слышу я днем и ночью, со всех сторон: на хуторе, в райцентре, на областном совещании... «Бросили, кинули, отвернулись...»

Но ведь это — неправда. Той самой фермерской семье, о которой плачет районная газета, государство оказало огромную помощь.

Вначале людям со стороны лишь под хорошие намерения выделили бесплатно 150 гектаров земли. Тогда как пай местного колхозника — 15 гектаров. Затем

дали очень солидный банковский денежный кредит, на который был построен дом со всем оборудованием, куплены трактор, прицепной инвентарь, автомобиль. Не надо забывать, что тогдашний банковский кредит был просто подарком. Инфляция практически превратила его в безвозвратный. Многим ли в России достались такие подарки — в сотни миллионов, пусть и тогдашних, рублей.

Когда колхозные власти попытались обидеть нашего фермера, на его защиту встал суд, и колхоз заплатил очень солидный штраф — в 30 млн. рублей.

Так что не надо лукавить, помощь государства была серьезной. Но она не может быть бесконечной, эта помощь. Материнскую титьку сосут лишь до поры, а не всю жизнь.

Со стороны судить легче, это понятно. Но он и не помешает — трезвый взгляд постороннего.

Штепо, Парчак, Пушкин, Алейников, Колесниченко, Вьюнников...

Штепо чуть не в первый год своего фермерства на отведенном участке заложил два просторных дома, сделав два фундамента: себе и сыну. Эти фундаменты и сейчас в той же поре. Но рядом поднялись и работают ангар и мастерская для тракторов и машин, заправочная станция. Работает и крестьянское хозяйство отца и сына Штепо. Достаточно успешно и надежно. В своем прежнем жилье остались Парчак, Алейников, Крючков и другие. Хотя так естественно стремление человека жить на своей земле, в своем добром доме.

Анатолий Епифанов из соседнего района вначале построил кирпичную конюшню для лошадей, которыми он занимается, зерносклад, крытый манеж. Он строил и строил, а сам с семьей ютился в доме-временке. И лишь потом взялся за свой дом. Так же было и у его брата Николая: коровник, телятник, мастерская, а семья — в вагончиках.

Не к бедняцкому, земляночному бытию призываю, но прошу подумать: почему Парчак свой проект большого дома в степи, на своей земле, спрятал в стол до иных времен? А проект заманчивый, даже с бассейном. В Заволжье очень жаркое лето. Хотя, наверное, мог построить. И кредит «на обзаведение» в свое время брал. И доходы были: по 36 — 40 центнеров пшеницы с гектара получал. На сотнях гектаров.

Если есть деньги, то нынче в самом глухом углу, за 50, за 70 километров от райцентра, можно построить дом в трех уровнях, колбасный цех, пекарню, автономное водо- и электроснабжение, можно построить все, что тебе на ум взбредет. Но... никто из тех сравнительно успешных фермеров, которых я знаю, таким строительством не увлекается. Пашут, сеют, убирают... Сеют, пашут, убирают... А если и затеваются стройки, то лишь для того, чтобы успешнее пахать, сеять и убирать. Все люди неглупые, опытные, понимающие.

В годы прошлые в одном из новомирских материалов писал я о том, что, на мой взгляд, проводимая нынче аграрная политика приведет к тому, что все коллективные хозяйства развалятся. Не сразу все вместе, а постепенно. Сначала слабые, а за ними и все другие. И уже потом, на колхозных обломках, начнется новая жизнь. Тоже не вдруг, а помаленьку, словно на пепелище.

Задонский хутор, на который ездю я чаще, чем в места иные, — очевидный, зримый пример и пепелища, и новой жизни.

Лет пять назад на одном из многочисленных тогда колхозных собраний спрошено было в лоб:

— Сейчас мы растаскиваем все что можно, этим кормимся. А что будем делать, когда растаскивать будет нечего?

Вопрос повис в воздухе, как всякий вопрос о будущем. Живем сегодняшним днем. Живы — и слава богу.

Но вот он, хутор, где уже несколько лет напрочь отсутствует колхоз. А значит, нет колхозной скотины на фермах, кормов для скота, поля брошены, никто не пашет, не сеет, колхозных тракторов, автомобилей нет, работы нет, а значит, и зарплаты нет. Растаскивать нечего. Плохоньюкую колхозную кухню и склад при ней разобрали и разнесли по дворам, как только «закрылась» на у-

торе колхозная бригада. Хуторской клуб растащили много раньше. От хуторского магазина оставили только стены. Окна, двери, крышу, полы и прочее прибрали к рукам.

Итак, колхоз — теперь уже по времени в отдалении. На хуторе речей типа: «Когда повернутся...» — уже не слышно. Ясно, что колхоз не вернется. Но продолжается жизнь, в том числе и производственная. И в ней главная фигура на хуторе — Виктор Николаевич Коньков. Человек он приезжий, из Сибири, где трудился то ли в нефтяниках, то ли в геологоразведчиках. Появился он в нашем районе в 1989 году. Осваивался понемногу: сначала помогал бахчеводу-родственнику, потом арендовал 15 гектаров у судостроительного завода, чьи земли были в Малом Набатове. Наконец в земельный комитет обратился. Дали землю возле хутора Осиновский.

Великих земледельческих подвигов Коньков не свершал. Он — не Штепо, не Мельников. О нем газеты не писали, высокие гости к нему не ездили. Но в калачевской округе понемногу утвердилось: Коньков — это арбузы, дыни и даже огурцы в жаркой степи, без полива. Последнему вначале не верили, потом воочию убедились.

Никаких льготных кредитов Коньков и в глаза не видал. Давали землю, разрешали на ней работать — и на том спасибо. Арбузы и дыни продавал в райцентре, возил в северные области России, прямо на бахчу приезжали покупатели и перекупщики.

Пять лет назад Коньков перебрался на земли хутора Набатовского, основывая там невеликую производственную базу. Земля — рядом.

В прошлые годы приходилось ему возить людей на прополку бахчей и на уборку урожая из станицы Голубинской. Дорога — неблизкая. Нынче возить никого не надо. Из Набатовского хутора люди сами приходят. Для них бахчи Конькова — единственная возможность заработать. Тридцать ли, пятьдесят, семьдесят рублей в день. Но наличными. И сразу же после окончания работы.

Нынешним поздним летом приехал я на бахчи Конькова. Возле сторожки расположился, разрезал арбуз, сижу наслаждаюсь. А тут как раз подвезла машина работников. Конец рабочего дня, расчет.

Виктор Николаевич, человек росту невеликого, лобастенький, в вечных своих кирзовых сапогах, коротко объявил людям: «На этом поле заработали столько-то рублей... На этом — столько-то... А Иванов-Петров полдня работали, им вдвое меньше...»

Такой тут поднялся гвалт и крик, не то что на хуторе, а в далекой станице, наверное, слышно. Я и арбуз отставил, прикидывая, как помочь Виктору Николаевичу. Его ведь на куски сейчас разорвут.

Не разорвали. Коньков спокойно раздавал деньги. Гвалт стихал. Люди пересчитывали бумажки, прятали кто куда. Потом Коньков объявил: «Нужны люди на погрузку машин. Кто останется?» От желающих не было отбоя. Потом еще одно объявление: «Кто закончил работу, могут взять по два арбуза».

И все. Тишина, покой на бахчах. Несколько машин-рефрижераторов грузятся. Люди расходятся. Одни к хутору пошли. Другие — к работе. Мы с Коньковым беседуем. Я налегаю на арбуз, посмеиваясь, спрашиваю: «Каждый день такое при расчете?»

— Бывает, — уклончиво отвечает Коньков. — Деньги...

И в самом деле, деньги, жизнь. Единственная возможность заработать — это бахчи Конькова. До станицы — чуть не двадцать верст. Там сами без дела сидят. До райцентра — полсотни километров. Там закрылись все невеликие предприятия. А великих и не было.

В последний раз с Коньковым я виделся зимой. Приехал на хутор, зашел к нему. Поговорили о дынной мухе, которая начисто погубила прошлым летом урожай, об арбузных семенах, которые дороги, а покупать надо хорошие семена, и о том, что надо бы помаленьку начинать заниматься мясным скотом. Вон какие попасы, и сено заготовить можно. Но деньги...

Повторюсь, десять лет работает на задонской земле Коньков. Хорóб не построил, «мерседесов» не купил. Трудится. Сам живет и другим помогает жить, создавая рабочие места на далеком хуторе, где развалился колхоз. И никаких песен про экономическую политику высоких властей: «Может, повернутся...» да «Может, оглянутся...». Надежда лишь на свои руки, на свою голову.

Бахчи Конькова на сегодняшний день — главное производство хутора, самый видный росток на пепелищах колхоза. Есть ростки и поменее.

Кравченко — здешний рожак. Но перебрался на постоянное жительство в хутор лишь несколько лет назад из райцентра. Можно сказать, вернулся на родину, когда понял, что в райцентре содержать семью не сможет.

Хутор — умирающий. Это видно на взгляд. Пустые глазницы домов, развалины, бурьян. Добротные подворья редки. Одно из них — Виктор Юрьевич Кравченко. Лишь на забор поглядишь и вздохнешь: столько труда. Дубовые столбы. Ровные планки ограды. Каждую надо обтесать, прострогать, прибить на место. Не десять планок, не сто. А более чем километровый охват подворья, в котором поместился молодой сад, огород, емкости для воды, трубы для полива, две артезианские скважины: одна — скот поить, на базу, другая — для огорода и сада. На базах — скотина, птица. «Рук не хватает, — говорит Кравченко. — Я и скотник, и плотник, и садовод, и все на свете». Крестьянин, добавлю я. Летом рядом с отцом трудятся сыновья. Старший теперь в армии. Хотя он здесь, в Набатове, был бы нужнее не только для родителей, но и для страны. Младший сейчас в школе, в райцентре. А зимний крестьянский быт — тоже не отдых: корми скотину, пои, отел начинается, готовься к весне, нехитрое, но необходимое строительство продолжай. И все — своими руками. Без плача, без стонов, без упреков властям близким и далеким.

На краю хутора, возле Дона, живет чеченская семья Магомадовых. В годы прошлые, при колхозах да совхозах, чеченцев было намного больше. Занимались они скотиной и колхозной, но больше своей. Помню Ваху — нефтяника, инженера по профессии. Скота он имел много. О кормах для него особо не заботился. Никаких гумен у него не было со скирдами сена и соломы. Каждое утро колхозные скотники-«кормачи» первым делом везли корма с колхозных гумен на базы к Вахе, получали свой «гонорар» и уж тогда с новой энергией приступали к основным обязанностям на колхозной ниве.

Так было везде. Когда колхоз развалился и кончились дармовые корма, попасы, работники, нефтяник Ваха свернул свое производство и уехал в город, устроившись по основной специальности в «Лукойл».

Но Магомадовы на хуторе остались. И по-прежнему на их подворье мясной скот, козы, коровы, птица. И что примечательно: трактор, сенокосилка, сеной скирд, поставленный с осени. Научились сено косить. Нужда заставила. Научились коров доить. Нынче на райцентровском базаре в субботу да воскресенье в молочном ряду продают творог, сметану не только казачки, но и чеченки.

Еще одно подворье. Просторные крепкие коровники, базы, стога соломы и сена. (Имен больше называть не буду. Потому что все-таки издал наш губернатор постановление, о «заманчивом» проекте которого писал я в прошлом очерке. Постановили: пересчитать на сельских подворьях скотину. Конечно, для того, «чтобы помочь селянину». Постановление неисполнимо, но быть невольным доносчиком не хочу.)

На подворье у Василия (так его назовем) мясной скот, лошади (тоже для мяса). Сам хозяин имеет квартиру в областном центре. Но живет там лишь зимой. Все долгое лето — на хуторе. Конечно, имеет работника, который зимою за скотом ухаживает, и летом ему дел хватает.

Чуть далее — двор неказистый и флигелек незавидный. Живет тут Володя — человек прищлый. Когда-то последний управляющий здешним отделением колхоза величал таких людей «дачниками». Говорил мне: «Наехали на нашу голову. Работать не хотят. А им все за бутылку возят наши пьяницы: комбикорм, сено... Надо бы их всех выселить...»

«Выселился» колхоз. И бывший управляющий Николай Николаевич теперь занимается самостоятельным делом — бахчами. А вот «дачники» остались и без колхоза не умерли. Тот же Володя, прежде городской житель и ныне у него квартира в областном центре, теперь стал зажиточным хуторянином. Есть у него крупный рогатый скот, лошади, с недавних пор стал заниматься курами. Колхозную кузню он помаленьку разобрал и построил себе просторный и теплый курятник. Несушек у него более сотни. Яички продает оптом каждую неделю в райцентр. Приезжают и забирают.

Еще один «дачник» — местный вожак, но жизнь отработал в городе, ушел в пятьдесят пять лет на пенсию, поселился здесь. Дом — полная чаша. Две коровы, мясной скот, утки, куры. Кормит себя и городских родичей.

Хутор — небольшой. Все тут на ладони. Можно пересчитать и людей, и скотину. Но можно без арифметики, по жизни. А она, эта жизнь, без колхоза очень быстро, за два-три года, разделила хутор на три группы.

Первая — это старые колхозные пенсионеры, доживающие век одиноко, без помощи молодых рук. Они копаются в огороде, держат кур, уток, у кого силы есть — свиней, коз. Но все это только для своей жизни.

Вторая группа — «лодыри». К ней я отношу людей, которые по годам и силам могли бы горы свернуть. Но вот не сворачивают, как говорится, «годят». В колхозе они работали скотниками, трактористами. Эти «скотники» весьма успешно ликвидировали общественное животноводство на хуторе.

В конце 80-х годов рядом с хутором построили огромный белокаменный животноводческий комплекс. Было создано большое стадо мясного скота, «абердины» — черные, могучие, глядеть любо. Они и зимой могут пастись, изпод копыт добывая корм. А выпасы здесь немереные.

Но начались перестройка и реформирование сельского хозяйства. «Слобда»... Колхозные хуторские работнички попиروвали власть. Скот среди бела дня резали, стреляли из ружей, мясо меняли на самогон, гулеванили с утра до ночи. «Пропадали» уже не бычок-другой, а десять, двадцать, тридцать голов. «Слобода»! За два ли, три года общественное животноводство закончилось. На «комплексе» дежурят два караульщика.

А колхозные скотники остались не у дел. Свой скот у них не разводится, несмотря на профессиональный опыт. Живут пенсиями стариков, детскими пособиями, случайным промыслом, большие любители выпить; пьяные и трезвые, горюют о прошлом: «Вот если ба...» Это — лодыри. Можно в кавычки поставить, а можно и так. Все будет правдой.

Еще одна треть хутора — это новая поросль, возникшая на руинах колхоза. Состоит она в основном не из бывших колхозников, а из «дачников», то есть людей, попытавших иной доли — городской. Коньков, Кравченко, Володя, Михаил, Алик, еще один Алик, Магоматов. У этих людей — бахчи, мясной и молочный скот, пуховые козы, лошади, птица. Пусть невеликое, но производство не только для своей семьи, но и для рынка.

Конечно, Коньков, Пушкины, Сеницын, Семерников — это не Миусков, не Штепо, не Гришины. У последних хозяйственный оборот на порядок и более выше: не сто гектаров, а тысячи. Но могучих хозяев, этаких «латифундистов», у нас пока очень мало. Не они создают продовольственный рынок. На калачевском базаре, на волгоградских рынках покупают люди мясо от Пушкиных, Кравченко, арбузы и дыни от Конькова и Сеницына, молоко — с камышевских, голубинских подворий, где новый сельский порядок создается понемногу на руинах, а порою еще на живых развалинах колхоза. Нынешние перемены в сельском хозяйстве происходят без рукавлящего шума и грома, хотя он повсеместно и ежедневно раздаётся... Но настоящие, коренные «реформы» идут нынче не столбовой дорогой, не большаком, под «мудрым руководством», они пробираются путями окольными, проселком, стараясь меньше себя выказывать, чтобы в очередной раз не «пересчитали», лишней раз «не обложили», потому что доходов больших пока нет, а надо жить на себя лишь наде-



ясь. Руки-ноги есть, голова на месте, в подмогу на весь хутор — четыре колесных трактора, собственных, стареньких, но для дела гожих.

До асфальта — почти тридцать верст, до райцентра — шестьдесят, до областного города вовсе далеко. До Москвы — много ближе. Телевизор да радио без передыху галдят: Чечня, Путин и прочее. А вот про нового председателя колхоза, которого два дня назад выбрали, старого прогнав, про это хуторам лишь я рассказал. Новость мою встретили равнодушно. (Хотя все земли хутора числятся в колхозе: земельные, имущественные пай — там.) Но это равнодушие понятно: веры совсем нет. Десять лет передраг. Что ни год, «новые формы» (АОЗТ, КСП, МУСП...), новые начальники... А проку? «Надейся на себя», — вот что отчетливо понято.

А на центральной усадьбе — очередное собрание. Новый председатель. До этого он был заместителем. Теперь будет председателем. До нового собрания. В нашем районе у восьми председателей из двенадцати стаж руководства — от одного месяца до года. Нормальные ответственные люди в председатели сейчас не пойдут.

На центральной усадьбе — собрание, в райцентре — совещание, в областном городе — расширенная коллегия, в масштабе страны только на этой неделе два «мероприятия» по селу: в Москве и в Орле.

Польза таких совещаний для меня весьма сомнительна, разве что для резона: «Не зря хлеб едим».

Пример. Январь 2000 года. Очередное совещание в райцентре. Цитирую районную газету.

Начальник районного управления сельского хозяйства: «...генотип животных сохранен. В молочном скотоводстве... „Волго-Дон“ разводят скот чернопестрой породы... В СППК „Крепь“ утвержден статус овцеплемзавода... обеспечивается искусственное осеменение... С учетом обеспечения кормовой базы в 2000 году продуктивность животных будет восстановлена...»

Директор АОЗТ «Волго-Дон»: «Сегодня в стране царит дичайшее варварство: идет целенаправленная работа, чтобы село убить».

Председатель СППК «Крепь»: «Без внимания и овцу не оставляем, есть смысл ее содержать... по шерсти мы получили прибыль...»

Это — с трибун.

А в это время в «Волго-Доне» (снова цитирую «районку»): «Ферма встретила гостей горами невывезенного навоза и унылой картиной понуро опустивших головы тощих, стоящих по колено в грязи коров... Из-за постоянного недокорма скот отошал. Коровы дают по 1,5 — 2 литра молока. От „поллитровых“ и „литровых“ коров придется избавляться. Их даже на мясо не принимают, только на птицефабрику по рублю за килограмм. Но возить туши туда — горючее даже не окупится. Проще вывезти на скотомогильник и бросить, в лучшем случае сняв шкуру. Многие буренки до весны не дотянут... Сейчас главная задача — дотянуть до весны, спасти поголовье от голодного вымирания».

И это — лучшее в районе, а может быть, и в области элитное стадо. Привозили коров из Голландии, при надлежащем уходе и кормежке эта ферма в среднем давала около 6000 килограммов молока в год. Это в среднем. А отдельные — по 8000. Европейский, мировой уровень. Такие вот коровы дохли нынешней зимой от голода. Под звон речей. Под пристальным надзором властей районных и областных (хозяйство расположено рядом с городом).

Не нужно быть специалистом сельского хозяйства, чтобы уже в сентябре месяце понять: «Кормов для коров нет. Не заготовили». Виновато государство: «Целенаправленная работа, чтобы село убить» (объяснение руководителя). Нет кормов. Продай коров. Пусти под нож. Нет! Пускай мучается, а потом дохнет. «В стране царит дичайшее варварство...» — вещает с трибуны руководитель хозяйства. Только вот кто «варвар»? Кремлевский начальник или такой вот руководитель, пришедший к власти на волне «митинговой демократии» и превративший лучший совхоз области и страны в скотомогильник.

А неподалеку от «Волго-Дона», не слыша обещания своего руководителя: «Без внимания овцу не оставим», в племенном хозяйстве «Крепь» сотнями гибли от голода овцы. Обессилев, ложились и уже не вставали.

Скучно об этом говорить. Тем более, что еще пять лет назад в таких же новомирских очерках писал я, что даже хозяйство могучее рухнет только «с большим грохотом», если... Много этих «если». Вот и рушатся.

А на малом, забытом всеми начальниками хуторе, о котором вел я речь, скотина хорошо перезимовала. И даже более того: на каждом подворье осталось сена еще на одну сытую зимовку.

Под одним небом живем, на одной земле. И время одно — век XX, в котором русскую деревню накрывает уже третий вал разоренья. Гражданская война, «коллективизация», а с нею — уничтожение «кулачества», теперь настал горький черед колхозов. Их — тоже под корень, все с тем же лозунгом: «До основанья!»



---

---

# ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

СЕМЕН ФАЙБИСОВИЧ



## ПРОГУЛКИ ПО ОБЩИМ МЕСТАМ

Тяжкая невесомость андерграунда

**О**б андерграунде уже так много сказано, что, кажется, — все. Но вот загадка: чем больше проговаривается, тем менее понятно, о чем, собственно, речь. В результате сегодня редкое понятие может тягаться с ним как по своей смысловой размытости, так и по противоречивости отношений к любому влагаемому смыслу. Дополнительную интригу создает контраст данной коллизии с каменной тяжеловесностью и почти могильной однозначностью звучания и буквального значения самого слова. Но все это не было бы достаточным основанием для увеличения суммы сказанного, если бы не робкая надежда хоть что-то уяснить — ну хоть для себя самого.

Даже оценки советского андерграунда — вполне, казалось бы, заштампованного и теперь уже по определению исторического явления — колеблются в диапазоне от признания его роли в искусстве, культуре и общественной жизни 60-х, 70-х и 80-х как эпохальной до непризнания самого факта его существования. Здесь, правда, можно уловить некоторую «позиционную» закономерность: для тех, кто обитал и осознал себя в нем или потреблял его креативную продукцию, он так или иначе реален и актуален, а для тех, кого там никаким местом не было (либо для тех, чье «главное» место было не там), нет как не было и его самого (либо было что-то такое призрачное и обманчивое). Этот разброс вполне естествен не только по причине человеческого естества. Советская реальность, хоть была довольно просто устроена, обладала, как и положено безвременью, выраженной мифологичностью и миражностью. Вопрос сводился к тому, кто что считает миражем и в какие мифы верит.

Но и обитатели подполья сильно различались по самоощущениям и оценкам своего положения. В некотором приближении, но с достаточным, как представляется, основанием их можно было разделить на тех, для кого андерграунд — воля: пространство свободного самовыражения, и на тех, для кого оно — тюрьма: вынужденное отбывание «срока» в тесноте, затхлости и изоляции от широкого зрителя и читателя. В пресловутых подвалах на Малой Грузинской, например, многие «нонконформисты» (если не большинство) с ревностью и восхищением следили за успехами Глазунова — придворного нонконформиста; гулкие залы постоянно оглашались стенаниями: «О нас не пишут! Нас заперли в погребе и не дают выставляться в престижных местах!» — и т. д. и т. п. (и это при том, что на ежегодные выставки едва ли не более всех стеновавшей «Двадцатки» стояли длиннющие очереди. А еще при

---

Файбисович Семен Натанович родился в 1949 году в Москве. Закончил Московский архитектурный институт. Постепенно стал художником-живописцем. Несколько десятков картин находятся в известных музейных и частных коллекциях современного искусства по обе стороны Атлантики. В 1988 году начал писать прозу; подборки рассказов напечатаны в журналах «Октябрь», «Золотой век» и «Новый мир»; повесть «Дядя Адик» — в журнале «Знамя». С 1993 года публикует статьи по широкому кругу вопросов в различных журналах и газетах. В 1999 году в издательстве «Новое литературное обозрение» вышел сборник статей «Русские новые и новые». См. публикации искусствоведческих эссе и прозы С. Файбисовича в «Новом мире» (1997, № 5; 1998, № 2).

том, что затея создать легальную отдушину для выхода неконформистского пара принадлежала КГБ, и все об этом прекрасно знали). То есть многих художников, несмотря ни на что, не покидало ощущение непорочности в сочетании с убеждением, что их искусство по праву должно принадлежать «народу», а препятствуют этому соитию «злые силы» (примерно те же, что в качестве «добрых сил» породили «Грузинку»). В общем, они были готовы играть по предложенным этими силами правилам — просто алкали корректировки оных в свою пользу: как могли, боролись с «системой» за право функционировать на культурной поверхности или даже верховодить там. А лидеры этого типа андерграундного сознания всегда шуровали на поверхности: Глазунов де-факто победил, не снимая неконформистского камуфляжа, а Неизвестный так и не смог одолеть Вучетича, обиделся и уехал. Однако оба равно преуспели в создании легенды гонимых борцов.

Только через несколько лет существования в такой андерграундной атмосфере удалось встретить художников, для которых «вторая культура» была, как и для меня, естественной средой обитания — родом добровольной внутренней эмиграции. Правда, параллельно всегда существовал дружеский круг общения, где также отстроенные поэты «составляли большинство». Советский литературный андерграунд — не моя тема. Так что не мной отмечено: он тоже довольно четко делился на тех, кто ко времени начала перестройки не успел «добежать» до советских издательств и официального признания, и тех, кто, слегка перефразируя Тимура Кибирова, просто носил под сердцем то, что носят в Литиздат. В общем, для «нас» андерграундное существование было естественной и единственно приемлемой формой не только артистического, но и человеческого выживания: позволяло одновременно удовлетворять креативный зуд, выяснять отношения с обступающей реальностью и «себя уважать». А зазор, образовавшийся между твоей «второй» и окружающей «первой» жизнью, позволял не влипать в нее и различать многое, неразличимое иначе. Что касается интенций «внешней» эмиграции, то с внутренней ее роднило стремление к свободе (опять же внутренней) и неподцензурности, а со здешними неконформистскими конформистами сближало стремление вырваться из тюрьмы, чтобы победить (правда, в другой системе координат).

Позже стало ясно как божий день, что убежавшие или «не добежавшие» вербалы и визуалы оказались ближе по духу и интенциям (ближе, чем добровольные изгой) западному андерграунду, который Борис Гройс определяет как революционное подполье. Таким образом, феноменальной в советском андерграунде видится как раз попытка уйти из-под всякой власти — от любых игр в нее и с ней: просто дышать воздухом свободы, даже если таковой обнаружился лишь в погребе или в щелях пола. Как-то в начале перестройки Маргарита Тупицына — другой критик, уехавший на Запад и ставший главным в США экспертом по русскому искусству (они с Гройсом, таким образом, поделили сферы влияния), — приехала в Москву и подняла меня на смех, когда на вопрос: «А вообще зачем вы пишете картины?» — я ответил, что делаю это для себя и своих друзей. В системе ее координат и убеждений «писать в стол» без расчета на успех было и смешно, и глупо, и неприлично.

Однако, говоря о революционном подполье, Гройс имеет в виду не только самочувствие, нацеленное на переустройство искусства по своим законам: на победу, на власть, — но и социальный статус тамошнего андерграунда — способ его встраивания в культуру. Этакая «дикая» оппозиция в искусстве, которая делегирует «наверх» наиболее ярких, провокативных артистов и воспринимается истеблишментом если не естественным преемником существующей иерархии, то инкубатором, в котором время от времени непременно вылупляются — просто обязаны вылупляться — будущие иерархи.

В этом смысле одна из разновидностей нашего сегодняшнего андерграунда еще ближе к западному. В художественном мире (я привожу примеры из этой области, поскольку лучше ориентируюсь в ней) она представлена пресловутым Олегом Куликом, который, как известно, начал свое восхождение на

международный художественный Олимп с беганья голышом в обличье, анонсированном как собачье, и кусания людей; не менее пресловутым Александром Бренером, международное признание которому обеспечила прилюдная порча одного из квадратов Малевича путем набрызгивания на него значка американского доллара, и — из более поздних примеров — Авдеем Тер-Оганяном, который, в сущности, перевел тот же номер на язык родных осин: в Манеже рубил топором иконы (так что есть своя логика в том, что Авдея вместо международного признания ожидал эфемистический осиновый кол в виде российского суда, подогреваемого праведным гневом церковников и «общественности»). Ожидал, потому как некоторое время тому артист загадочным образом пересек границу страны, оказавшейся нечуткой к артистизму его акции, и теперь в одной из стран бывшего соцлагеря просит политическое убежище).

Но и в целом параллели между здешней и тамошней ситуацией не вполне корректны. Современный западный артмир — это именно мир, можно сказать, космос; андерграунд существует внутри этого космоса, и его протестность с революционностью достаточно условны, поскольку все актуальное, сиречь современное, там уже преимущественно левое и протестное по определению. А наше актуальное искусство, во-первых, не очень понятно, что такое: нет консенсусных представлений на этот счет (для большинства, знамо дело, главные современные художники — Церетели, Шилов, Глазунов и Андрияка, и даже в сознании культурного сообщества не сформировались общепринятые критерии). Ну а если исходить из цивилизованных представлений об актуальности, таковое здешнее искусство весьма хилое и скукоженное: слабо институировано, вывалилось из социального и экономического контекстов и обитает в очень тесном культурном пространстве. То есть оно одновременно и маргинально, и чуть что — наказуемо: на пяточке всякое резкое движение чреват заступом (именно поэтому эпигонская акция Тер-Оганяна приобрела символическое и общественное звучание: и церковь, и общество не готовы воспринять ее как художественную и вообще как «не свое дело»). Так что можно при желании всю нашу артжизнь — не откровенно коммерческую и стремящуюся к хотя бы относительной независимости от политико-административной и любой иной власти — опять записывать в андерграунд. Причем его общественный рейтинг выйдет ниже, чем был у советского.

Отметим лишь некоторые причины этого невдалого сальто. Например, резкое понижение социального статуса и культурной роли творческой интеллигенции: и как носителя «духовности», и как генератора и проводника новых идей, и как главного свободолобца. В то время как в «первой» советской культуре позывные этих родов в основном подавались подмигиванием и показом кукишей в карманах в расчете на чтение между строк, «вторая культура» воспринималась целиком и как новаторская, и как мессианская, и как свободная по определению. В условиях тотального сенсорного дефицита (лишь обоняние работало с полной нагрузкой, потребляя запах мертвечины) и, соответственно, голода посещение выставок нонконформистов, равно как чтение самиздата и тамиздата, было для нетворческой интеллигенции одновременно глотком свободы, встречей с живым, а также истинным и прекрасным. Сейчас сенсорный голод никому не грозит, разговоры о том, что красота спасет мир, поутихли, а бремя носителя истины взвалило на себя православие.

К тому же в повседневной жизни многих бывших или потенциальных потребителей альтернативных и всяких прочих неангажированных месседжей стало побольше свободы и работы, а вот свободолобивые творческая и интеллектуальная элиты частью разъехались, а частью оказались либо не у дел, либо в большей зависимости от новой системы отношений, чем от старой «системы». Материальное принуждение вышло и более жестким, и более соблазнительным, чем идеологическое. Когда все цены рыночные, а гонорары — отнюдь и при этом изумительно мало рабочих мест с «рыночными» зарплатами, а рынка современного искусства вообще нет; когда нет законодательно

оформленного и защищенного института свободных профессий, практически нет общественной и частной материальной поддержки творческих индивидов в виде грантов, стипендий и т. п.; когда ничего этого нет, зато практически все, что есть, «прихвачено», бывшее свободное (в том числе и креативное) сознание просто обречено тяготеть либо к маргинальности и прозябанию, либо к проституции. То есть констатируем: с одной стороны, уже нет «второй культуры» с ее вполне высоким статусом (в том числе и в глазах Запада) и практически отсутствием финансовых проблем выживания, а с другой — нет как не было институированного гражданского общества, основное призвание которого, как известно, — защищать личность от государственного и корпоративного давления. В этих условиях независимое существование и непрестижно, и практически труднореализуемо. При этом вроде бы как бы все можно, поэтому неангажированность — основное условие свободы (в том числе и творческой) — сильно подрастеряла свое обаяние в глазах культурного общества.

Так что, строго говоря, андерграунда ни в советском, ни в западном смысле у нас сегодня нет и не может быть: как ни отстаивай свободу, чему ни бросай вызовы, на кого ни кидайся — тебя либо не заметят (считай, промазал), либо заломят руки (считай, попал, только не туда, куда хотел. Кулик и Бренер, уяснившие это, сделали ставку на интернациональную репрезентацию, а «не врубившийся» Тер-Оганян своим топором врубился впросак). С другой стороны, жизнь сегодня хоть и не структурировалась на западный манер — не утряслась, но зато по сравнению с советской стала вполне раздрызганной, вибрирующей и клубящейся. Зачастую не разберешь, где пол, а где подпол (опять многое зависит от угла зрения). К тому же они могут быстро меняться местами: вспомним хотя бы августовский путч. Так что всяк — от бомжа до поп-звезды — волен считать себя притесняемым актуалом, маргиналом, оппозиционером, подпольщиком, изгоем и т. д. Этакое самочувствие разлилось по всей жизни и нынче в моде даже в большой политике. Скажем, блок «Отечество — вся Россия», с одной стороны, начиная думскую предвыборную кампанию, был беззащитен, чист душою и помыслами и страшно гоним Кремлем по идеологическим соображениям (в духе советского андерграунда), а с другой — в духе западного — искушен, агрессивен и не сомневался в успешном покорении одновременно всех главных вершин власти. В ином роде ту же раскоряку сознания проиллюстрировало очередное отмечание Дня города, когда некоторые актуальные галереи показывали свои вполне стёбные и элитарные проекты в рамках официального «народного» праздника, а «альтернативщики» устроили камлания в честь Пелевина — самого культового и мейнстримного автора.

Итак, налицо осязаемый рост квазиандерграундных настроений. Еще больше потеряв в смысле чистоты и корректности, андерграунд заметно прибавил в смысле универсальности и обиходности. Скажем, литераторы, которых не (или мало, или, по их мнению, недостаточно) печатают, склонны считать себя нонконформистами, а тех, кого печатают, и тех, кто тех печатает, — ретроградами, проходимцами и душителями свободы по определению. Всеобщим достоянием стало сквозное ощущение чьего-то где-то засилья и мафиозности: уверенности, что все вокруг в заговоре против тебя — кроме тебя. Так что всякое успешное функционирование имярека практически в любой области (в том числе искусства) далеко не только аутсайдерами легко и охотно связывается или идентифицируется с тем или иным органом (источником) власти (силы, денег). С «крышей», одним словом. Сей дым не без огня, но и не без идиосинкразии к нормальной, цивилизованной конкуренции.

Впрочем, все правильно: при остром дефиците само- и взаимоуважения трудно рассчитывать на иную ментальную атмосферу. В социуме, где «крыши» осеняют всю жизнь, где, почти любой текст (вовсе даже не обязательно общественно-политического свойства) любого органа «либеральной» прессы, ясно, кто это издание содержит и «пасет»; где олигархи и всякие прочие

«силы» ежедневно, не стесняясь в выборе средств и глаголющих персон, «мочат» и «прогибают» друг друга по главным телевизионным каналам, — чувствовать себя комфортно, тем более — на коне, могут разве только профессиональные прихлебатели — наша новая поросль властителей умов (то, что они работают «от души» и при этом как ни в чем не бывало считают себя поборниками истины и справедливости — вполне в духе «новой искренности»). А чтобы ощутить себя хотя бы в своей тарелке, надобно закрыть глаза и заткнуть уши, то есть «своя тарелка» на поверку оказывается раковиной. Отсюда атомизация и фантомизация сознания и существования, когда всяк сам себе и андерграунд, и искусство, литература, культура, истина... Выходит этакий мультикультурализм здешнего разлива, отличный от тамошнего еще и тем, что у нас по-прежнему в ходу и даже доминирует мышление генеральными линиями. А культура, в которой практически всякое проявление, начиная с индивидуального, не столько претендует быть свободным, сколько мнит себя главным и единственно верным, неизбежно чревата более или менее явными притеснениями в различных формах и на всех уровнях.

Но, собственно, кто сказал, что тяга к свободе, в том числе и свободе самовыражения, должна быть удобна и выгодна? Просто если она есть, то борется за свое право на существование и ищет пути реализации. Пока какие-никакие легальные возможности имеются. А там поглядим: уйти в андерграунд всегда успеется.

### Об энтропии

Где-то с четверть века назад я впервые услышал слово «энтропия». Память на новые слова у меня всегда была так себе, но «энтропия» сразу запала в душу. Во-первых, это красиво, а во-вторых... Как выяснилось, в разных науках энтропия — мера неопределенности, внутренней неупорядоченности системы, которая при определенных условиях начинает нарастать. Хотя термин научный, он тут же сам собой приложился к жизни. Стало ясно как божий день, что привелось родиться и жить в стране, где существуют устойчиво благоприятные условия для нарастания энтропии (иначе сказать, обитать внутри системы с выраженной тягой к хаосу и саморазрушению). И чем дольше живу, тем больше убеждаюсь в этом. Только что в разные времена с разным чувством.

Тогда, при советской власти, конечно, возникла довольно мрачная картина жизни. Но она и без того была достаточно мрачной. А с другой стороны, любой новый угол зрения освежает взгляд на мир — дает новую, продуктивную по определению картинку-проекцию. Если она к тому же получается цельной и убедительной, то отчасти примиряет с миром независимо от знака отношения к нему — утешает, как всякое понимание, и тешит, как всякая гармония. К тому же, если иметь в виду конкретную «систему», внутри которой мы обитали, перспектива ее разрушения, хотя бы и гипотетическая, порождала чувство глубокого и полного удовлетворения. Довольно долго и воодушевленно я носился с этой общей теорией и даже, на основании собранного экспериментального материала, вывел один частный закон, подтверждающий и иллюстрирующий ее. Я тогда служил в архитектурной конторе, постоянно пользовался услугами общепита и закон сформулировал примерно так: «На любом отрезке времени, следующим за любой произвольно взятой точкой времени, в любой точке общественного питания кормят все хуже и хуже».

То, что советская жизнь «не держит марки» (в данном случае — пищевой), было вполне естественно и легко объяснимо и пресловутым отсутствием стимулов к добросовестному труду, и отсталыми технологиями производства товаров и услуг, и его величеством дефицитом, и повальным воровством ингредиентов (и вообще всего, что можно украсть). Оазисами качества, по слухам, оставались лишь номенклатурные распределители, что также было естественно, а «в миру» чем дольше мы жили, тем меньше удивляло, что почти любой

водкой немосковского разлива можно отравиться, а любая московская — дрянь (попросту сказать — дерьмо, в котором, впрочем, имело смысл покопаться: помните, существовала хитрая методика определения качества напитка в конкретной бутылке по набору цифр на обратной стороне этикетки. Хитрость состояла, во-первых, в том, что надо было разглядеть сквозь толщу напитка опять же кое-как отпечатанную цифирь, а во-вторых, если это удавалось, по цифири можно было установить число и месяц и соответственно день недели, в который осуществлен разлив в данную тару. Ходили слухи, что очистные фильтры на заводах меняются раз в неделю — по понедельникам, и чем дальше от этого дня выпущена в жизнь исследуемая бутылка, тем поганей ее содержимое. Правда, потом началась борьба с алкоголизмом, рухнул последний оплот бездефицитной торговли, и энтропия разгулялась так, что стало не до сомнительных методик предварительной оценки качества — лишь бы хоть что-нибудь достать), любое импортное пиво в сто раз лучше нашего лучшего «Жигулевского», колбаса съедобна лишь условно и все менее съедобна и т. д.

Казалось, рынок подорвал коммунистическую материальную базу перманентного падения — как в состоянии невесомости — качества всех товаров и услуг (между прочим, общее ощущение безвременья и прочей «подвешенности» застойного бытия было вполне амбивалентно этому состоянию) и соответственно материальную базу роста энтропии. Казалось, поставил производство и торговлю на твердую почву экономической выгоды. И правда, в момент было покончено с дефицитом, вместо условно съедобной колбасы появились вкусные колбасы и сосиски в ассортименте («прямо как в распределителях»); все с нарастающим энтузиазмом принялись употреблять новые здешние сорта пива, которые больше не уступали западным, а то и превосходили их; возрожденный отечественный «Смирнов» стал давать очки вперед их дурацкому «Smirnoff» что «Столовым вином № 21», что «Рябиновой на коньяке», что всеобщим любимцем «Сухарничком»... И многое другое радовало и тешило «национальную гордость»: к примеру, устройства для очистки питьевой воды со сменными фильтрами, которыми родная оборонка, с горя ударившись в конверсию, завалила прилавки.

Но прошло несколько лет, и сквозь новомодное рыночное изобилие адаптированное к нему зрение стало различать знакомую поступь все той же родимой энтропии: «Смирнов» продал Брынцалову свою марку, за которую так долго и шумно боролся, и теперь эта гадость разных цветов в горло не лезет; сменных фильтров к водоочистным устройствам, которые все радостно купили, днем с огнем не сыщешь (может, производители опять получили оборонный заказ?); в недалеком прошлом отменного качества колбасы и сосиски, не сменив названия сортов и дружно дорожая, при этом потихонечку возвращаются к вкусовым кондициям застойных времен. А пиво стало прямо лакмусовой бумажкой процесса неумолимого роста новой русской энтропии.

Я не пью его постоянно — здоровье не позволяет, да и никогда не был пивоманом. Но бывает, повеет вдруг весною и придет охота попить пивка; или, скажем, в летнюю жару обуяет жажда пенистого напитка — а то и просто по настроению. Так вместо того, чтобы сразу получить удовольствие, теперь приходится полюбившиеся сорта по новой дегустировать: который из них еще можно употреблять. Иной раз оказывается, что уже никакой нельзя. Тогда выясняешь у спецов, что пьют сегодня, и удовлетворяешь охоту. А через несколько месяцев надо либо опять дегустацию начинать, либо сразу к спецам обращаться. Ну, можно еще верить рекламе, но это, как показал следственный эксперимент, чреватый путь.

Да и общепит в своей новой ипостаси не отстает. Недавно знакомый галерист пригласил на обед в здешний итальянский ресторан. Шикарное заведение в шикарном месте. Встреча была почти деловая, но по бокалу вина решили заказать. Галерист был дока и стал называть официантке по карточке вин лучшие сорта (карточка — глаза разбегаются). Ни одного из первых четырех



заказанных сортов в наличии не оказалось. А после обеда мы решили выпить по рюмочке граппы и опять подозвали официантку. Официантка отказалась принять заказ без меню — сказала, что у них много видов этого напитка, — и опять принесла шикарное полиграфическое изделие. А когда мы опять начали выбирать «как положено», она же сообщила, что в наличии только один сорт. Было смешно, но немножко грустно. Попытался представить себе такой итальянский ресторан на главной улице какого-нибудь Рима или любого другого итальянского города — и не смог: воображения не хватило. И это при том, что итальянцы больше всех западных людей похожи на нас: по трудолюбию, обязательности, организованности и т. п.

Так что последнее время мою голову все настойчивей сверлят вопросы: какого черта опять нарастает энтропия и на какой теперь материальной основе? Почему почти никто не дорожит маркой и не держит ее? Кому нужно «вымывание» лучшего? Чем сейчас вызвана тяга погружать потребителя если не в ситуацию дефицита или «безальтернативного выбора», то в аморфное посредственное разнообразное однообразие? И в результате примитивного анализа возникло подозрение, что здешняя непреходящая девальвация всего физического имеет под собой более глубинную и базовую — нематериальную — основу.

Если взять бездуховное западное общество потребления товаров, у них же марка — это все! Даже простецкий бурбон всегда бурбон, не говоря уж о лучших сортах виски, вин, джинов, водок, пива... А ассортиментная стабильность выбора в магазинах, питейных и проч. заведениях непременно входит в понятие марки заведения. Искушенный лондонец твердо знает, в каком пабе что ему нальют, потому и ходит годами в определенное место за определенным полюбившимся сортом того продукта, который у нас обобщенно называют пивом. Вообще, покупая или заказывая любой фирменный товар, «их» имярек не сомневается, что получит именно его и ровно в ожидаемой кондиции, — там на этой добротности и гарантированности («Дон Периньон» такого-то года) все и держится, шути не шути.

А против их подробного, координированного, преемственного и структурированного материального существования — наше приблизительное, дискретное и ускользящее. Зато сильно духовное. Их презираемый нами идол — качество повседневной жизни, наш истинный Бог — презрение к нему. Вот и выходит, что наша лелеемая самобытность на поверку оборачивается отсутствием устроенного быта и отсутствием желания его устраивать. Получается, что советское энтропическое сползание в хаос непобедимо, потому что оно не советское, а универсальное здешнее свойство — отражение нашего коллективного бессознательного, которое не приемлет «жизни настоящим», презирает жизнь «сегодняшним днем». Да и вообще не воспринимает день как таковой: у нас сплошь закаты да рассветы.

В моем дворе живет сосед Володя, который кажется мне зеркалом такого самочувствия. Володя тихий, высокий, добрый, вежливый, худощавый, задумчивый мужчина средних лет с горящими карими глазами, орлиным носом и полуседыми пышными кудрями. Меня он зовет Эдуардом, иногда звонит в дверь и стреляет некрупные суммы на пиво или дешевые сигареты («Эдуард, если не ошибаюсь? Будьте добры десятку. Ну хоть рублей семь»), но чаще мы встречаемся у нашего подъезда. Он имеет обыкновение стоять там, курить и всех приветствовать: сколько раз за день ты выходишь илиходишь, столько раз он тебя приветствует. Но суть дела в том, как именно он приветствует соседей. Он говорит либо «Доброе утро», либо «Добрый вечер», но никогда не говорит «Добрый день». Сначала я исследовал этот феномен с целью установить временную границу, на которой доброе утро оборачивается добрым вечером, и обнаружил ее где-то в районе трех часов пополудни. Ну, вроде нормально — середина дня, но потом задумался: а почему же все-таки в его сознании день либо начинается, либо уже заканчивается? Если бы Володя здоровался так в декабре — январе, все было бы естественно, но он чаще стоит у подъезда в теплое время года, когда дни вполне протяженны.

Эта сумеречность конкретного сознания отражает наше свойство принимать и фиксировать как «материю, данную нам в наших ощущениях», как убедительную, достоверную «жизненную» реальность лишь переходные состояния, промежуточные самочувствия: движение от тьмы к свету или в противоположном направлении. Мы всегда привязаны либо к будущему, либо к прошлому и никогда — к настоящему. Равномерно текущая светлая протяженность не фиксируется и тем самым отторгается: мыслится как темная — со светом в одном либо другом конце тоннеля. В результате *настоящее* время не воспринимается как *реальное*. Вернее, *реальное* мы ощущаем как *неуютное* и все норювим выскочить из него в уютные для нас ирреальности. В каждом *сегодня* мы либо от чего-то убегаем (отталкиваемся), либо к чему-то бежим (тянемся), часто занимаемся одновременно тем и другим, но все не чуем земли под ногами, а потому, тяжело дыша от яростных порывов, никак ниоткуда не убежим и никак никуда не прибежим. Одна сторона этой экзистенциальной медали та, что «наш пламенный мотор» все время работает в форсированных режимах (как у буксующей машины) и оттого быстро изнашивается, дребезжит, портит воздух и норювит развалиться. А другая сторона — фатальная неадекватность: энтузиастический либо эсхатологический невпопад.

Помню, два с лишним года назад возвращался с компанией из Шельково (эстэдэшный дом отдыха севернее Кинешмы), где мы встречали Новый год. На пути в Москву поезд довольно надолго остановился в Иванове, и я пошел прогуляться. На привокзальной площади было темно, и, может быть, поэтому смутно помню надпись на доме прямо напротив вокзала: что-то вроде «Коммунизм будет построен!». Ну, плюс общее впечатление, что силы разрушения (энтропии) работают в этом городе намного активнее созидательных сил. Зато в деталях врезалась в память реклама, размещенная на главной оси центрального, хорошо освещенного вокзального помещения. Это была огромная фотография Манхэттена на закате дня: очень эффектный вид на небоскребы Даунтауна (в том числе Уолл-стрит) со стороны Бруклина из-под Бруклинского моста (там есть специальная смотровая площадка со стильным деревянным настилом — приводилось стоять на нем). А по этой супероткрытке, пришедшей с другого конца света, крупными белыми буквами было написано: «Продажа квартир в Иванове».

В сущности, при всей кажущейся, в том числе и внешней, несхожести обе рекламы — одно и то же навешивание «сна золотого». Просто привокзальная — «бывшая», убогая и «идейная», дурит головы и пытается загипнотизировать иллюзиями исторических перспектив, а вокзальная — новорусская, высококачественная и якобы товарная — зрительными миражами. Главное же в обеих — провокация и прелесть душевная, заманивание в иллюзорное, заведомо нереализуемое существование: стремление обольстить не приукрашиванием, гипертрофией или сочной метафорой реальных достоинств представляемого объекта, которое характерно для «западной» рекламы товаров, а фантомами, не имеющими ни малейшего касательства к доступной реальности. Сравнение с Нью-Васюками Остапа Бендера тут слишком банально, чтобы козырять им. К тому же остается открытым вопрос, за кем ивановцам и всем нам гоняться, чтобы поквитаться за надувательство: не за своей ли тенью?

Есть такая форма психического расстройства — дислексия (еще одно умное и красивое слово). Это когда у человека не выходит называть вещи своими именами. Скажем, он видит чай, пьет его и знает, *что* пьет, но никак не может выговорить слово «чай». Все какие-то другие слова выскакивают. У Володи слово «день» не выговаривается, у риэлтерской конторы визуальная версия этой болезни... Если добавить сюда общее устройство нашего информационного пространства, ежу станет ясно, почему жителей этой страны, тяготеющих к адекватному восприятию обступающей яви, редко покидает ощущение, будто они не то живут в психушке, не то участвуют в пьесе абсурда.

Буквально на днях обнаружил всю Москву в рекламных транспарантах торгового дома «Довгань»: броская надпись «Настоящий Довгань только один»

и слева от нее сепией в стиле XIX века большой портрет импозантного мужчины с бородой и шевелюрой, который не только этими аксессуарами, но и чертами лица не имеет ничего общего с тем Довганем, которого все мы знаем. Теперь давайте вспомним, что общеизвестный Довгань сначала рекламировал высочайшее качество своей изумительно разнообразной продукции, потом свою марку (качество продукции тем временем стремительно деградировало), а потом, когда продукция, а с ней и марка практически исчезли с прилавков, стал рекламировать свой уже вполне сюрреальный и метафизический стиль — в основном в виде собственной оптимистично ухмыляющейся физиономии. Если вспомнить эту эволюцию и связать ее воедино с тем, что теперь нам подсовывают абсолютно незнакомого мужика, утверждая, что это и есть «настоящий Довгань», выходит вполне концептуальный проект. Я бы назвал его «как в капле воды».

Еще один неиссякаемый источник роста здешней энтропии — тяга к сотрясению основ: к тем самым «великим потрясениям», с которыми на самом деле и ассоциируется у многих (более или менее осознанно) представление о величии страны. А подпитывает эту тягу как раз постоянно витающее в воздухе ощущение плавно текущего бытия как тягостного, тоскливого, неведомого, обременительного и нежелательного. Тут, похоже, и выскакивает объяснение, отчего всякие идеи избавиться от него с такой легкостью овладевают нами и раз за разом превращаются в победоносно марширующую материальную силу (как правило, разрушительную): пожалуй, можно говорить об эффекте энтропического резонанса (как в пресловутом случае с ротой солдат, которая идет строевым шагом по мосту). То есть быстро накапливающаяся в обществе усталость от эволюции — от постепенного (обывательского, мещанского, мелкобуржуазного — или как это еще назвать) «бездуховного» существования — в равной степени связана и с нашим самобытным химерическим сознанием, о котором речь шла выше, и с не менее самобытной жадью чуть что «рвануть рубашку» и все сделать по-большому. Отсюда и предпочтение, охотно отдаваемое революционному развитию перед эволюционным. При этом задача заправить рубашку, чтобы выглядеть «как люди», или периодически чинно-благородно расстегивать ширинку, чтобы делать по-маленькому, мало кого увлекает. Вот весь мир и старается держаться от нас подальше, зажав нос: шахрахается, как от бомжей.

Дело не только о, может даже, не столько в собственно революциях, по которым мы в уходящем (или все-таки уже ушедшем?) веке держим первое место в мире (если помимо количества взять в расчет их сплошь всемирно-историческое значение), сколько в стилистике отношений к любой проблеме — к жизни вообще. А именно в расположенности либо вовсе не решать насущные проблемы — не принимать вызовов «сегодняшнего дня» и пускать все на энтропический самотек, — либо, как подопрет и невмоготу станет, отвечать на них радикально — разрубанием гордиевых узлов. В том числе и поэтому у нас что ни выбор(ы) — судьбоносный(ные), что ни новый руководитель — новая жизнь (пока единственным исключением из этого правила стали «застойные времена», показавшие, что преемственность и стабильность у нас возможны лишь в геронтологическом дискурсе медленного загнивания).

Речь вовсе не о том, чтобы перекрестить какой-либо конкретный сюжет знаком «плюс» или перечеркнуть знаком «минус», а о самой логике радикальных, насильственных действий, которая либо продолжает править сегодняшней реальностью: чеченскую проблему все норовим решить посредством бойни, законодательные вопросы — путем изменения конституции, региональные — перекраиванием границ регионов и т. п. При этом почти никому такие действия не кажутся радикальными, а кажутся нормальными и насущными. Напротив, радикализмом почитается все нормальное и обитающее в зоне здравого смысла (скажем, стремление сдвинуть жизненно необходимые реформы с

той межеумочной точки, на которой они давно застыли). А вот стоило питерцу стать главой государства, как тут же начал муссироваться вопрос о возвращении его родному городу статуса столицы — и это в нашей экономической ситуации. В общем, чуть что, сразу сдвигать горы, поворачивать реки, весь мир насилья — до основания, а затем «там видно будет». Вот о чем разговор. При такой тектонике мышления нам не уйти от постоянных тектонических сдвигов жизни — этакое непреходящее землетрясение и разverzания земли под ногами. Такое половодье чувств нас и будет раз за разом подмывать (во всех смыслах, кроме гигиенического). Немудрено тут жить во времянках набекрень, с «поехавшими» крышами.

Теперь самое время вернуться к нашим баранам — к сюжету с падением качества продуктов, напитков и обслуживания. Объясняя и оправдывая происходящее, гуманистичные апологеты «генеральной линии» здешнего самочувствия привычно и охотно валят все с «народа» на «жизнь». Мол, еще бы, откуда взяться хорошему — благопристойной уютной жизни, когда кругом коррупция, «крыши», олигархи, власть налогами душит... А завтра будет еще хуже — вон диктатура надвигается. Вот «люди» и норовят урвать побыстрее — а там хоть потоп и трава не расти. Просто у «них» нет никаких стимулов к добросовестной деятельности, никакой перспективы — вот почему они халтурят, жульничают, воруют, обманывают государство и друг друга.

Вроде все логично. И все же вопрос о курице и яйце оставим открытым. Утверждение, что мы живем и работаем невдало оттого, что «жизнь такая», лишь половина правды. Другая половина (сторона) здешней правды содержится в прямо противоположном заключении, к которому подталкивают вышеизложенные соображения: у нас такая жизнь оттого, что мы такие. Фокус ведь в том, что энтропии можно противостоять только личными усилиями и своей собственной «непоехавшей» крышей. Да к тому же в самой философской отстраненности и пассивном обреченно-оппозиционном всепонимании интеллигенции зарыта одна из собак: коли это опять «их» страна и опять ни от кого лично ровным счетом ничего не зависит, мы действительно обречены на энтропию. Но, между прочим, пока нам никто не мешал выдвинуть и проверить смелую гипотезу, что это не только «их», но теперь и наша страна. И никто не мешал запустить в атмосферу этой жизни вместо очередного фантома свою собственную позитивную и продуктивную энергию, альтернативную тяге как к бардаку, так и к железной руке. Кто и что, собственно, заставляет нас постоянно накручивать себя и заниматься отрицательным прогнозированием; уповать исключительно на власть, одновременно спекулируя ее гнетом и «страданиями народа»? Кто мешает сосредоточиться на собственном добросовестном и подробном существовании и жить по своим, а не по «их» понятиям? Может, начни все, способные на это, дружно думать и соответственно действовать в таком дискурсе, все вокруг покажется и окажется не так уж мрачно и бесперспективно. Ведь ощущение, что в России многое решается на уровне «борьбы энергий» и сознание определяет бытие, а не наоборот, возникло не сегодня и покуда никуда не девается.

Серьезная и вполне реальная угроза нашей жизни (она же — одна из загадок русской души) состоит именно в том, что многим здесь по самым разным — часто диаметрально — причинам сладко думать одно и то же: сегодня хуже, чем было вчера, а завтра будет еще хуже. И эти многие охотно и сладострастно навязывают свои думы и самочувствие другим. Как тут не раскручиваться умильной ностальгией и не нарастать ледяной энтропии (даже безо всяких иных, в том числе и материальных, оснований)? На какое сегодня и какое завтра можно рассчитывать при таком личном и национальном «хаосопорождающем» самочувствии? Россия — это мы сами. Мы сами, презрительно глядя поверх «низких материй», морочим друг другу головы — вот они и текут песком сквозь пальцы. Покуда мы не научимся их ценить, у на-

шей страны не получится производить и воспроизводить добротную продукцию. Пока нас будет воротить с основательного сиюминутного существования, мы так и будем жить будто в зыбучих песках или на болоте.

*Р. С.* Мельком упомянутая любовь нашей страны к «железной руке» и длительные периоды ее «стабильного» бытования в данной авторитарно-тоталитарной парадигме, на первый взгляд, кажутся чем-то противоположным энтропическому — «распадному» — существованию и вроде бы ставят под сомнение корректность всего текста. На самом деле это лишь другой конец той же палки. Все, как известно, и началось с приглашения варягов навести порядок и «володеть» в надежде таким образом справиться с древнерусской энтропией — то есть с осознания здешнего неизбывного бардака и надежды таким образом избыть его. С тех пор и по сей день порядок у нас мыслится как способ придать снаружи форму бесформенному — тестообразному и бродящему.

С той поры Россия охотно ложилась в прокрустово ложе и вообще вписывалась в любые «жесткие» системы, которые основаны на подавляющей силе и несвободе. Которые сжимают ее извне и отсекают все, что не вписывается в заданную форму (не желает сжиматься). А при «добрых царях», напротив, начинала томиться и бродить. И ровно поэтому нынче так маятся в легких тенетах системы, которая требует прежде всего самоорганизации и внутреннего структурирования. Она просто не чувствует ее как систему, а ощущает как хаос, распад — как *отсутствие порядка*, ибо оный тут привычно ассоциируется со стальными обручами, ежовыми рукавицами, «железным занавесом»... В общем, с изоляционизмом, постоянным силовым давлением, с подавлением и третированием личности. И покуда мы не осознаем эту проблематику как одну из ключевых на *сегодняшний день* и не продвинемся дальше идеи приглашения разных крутых дядь володеть собой; пока сами не займемся изнутри делом строительства своей приватной и общественной жизни, переход от существования в раковине или панцире к более высокой, позвоночной, организации социума нам не грозит. И не светит.

### О призрачном счастье и подлинном существовании

Язвить и обличать пошлость — занятие чреватое. Этой самой пошлостью. Даже утонченнейший Набоков влип. С одной стороны, уличил в пошлости и бездуховности русскую революцию, от которой бежал, «потому что она повторила пошлый опыт обмана и насилия, потому что она изменила демократической мечте». А с другой — американское общество воплощенной демократической мечты, в котором жил: «Мир — это только тень, спутник подлинного существования, в которое ни продавцы, ни покупатели в глубине души не верят». Обрушился на «густую» пошлость рекламы за то, что она исходит «не из ложного достоинства того или иного предмета, а из предположения, что наивысшее счастье может быть куплено и что такая покупка облагораживает покупателя». Как будто реальная власть реального народа не является воплощением демократической мечты, а вещизм не есть победительное воплощение этой власти! Как будто «средний», но оттого не менее самодовольный и уважающий себя (то есть «западный») человек может добровольно жить в постоянной уязвленности своей отторгнутостью от «подлинного существования» и «наивысшего счастья»! А если, по мнению аристократа (в том числе аристократа духа) Набокова, «мещанин» должен знать свое место, то какая же это демократия? Так Владимир Владимирович сам оказался в плену пошлого исторического обмана. В общем, все пошляки и изменники. Просто буржуазный Запад изменил «демократической мечте» с демократией, а коммунистическая революция — с мечтой.

Но вот случилась новая русская — вроде бы демократическая — революция. Вклад в мировое развитие собственно демократии ей, кажется, пока внести не удалось. Зато новые вершины пошлости она, определенно, уже покори-

ла. Правда, установила не мировой, а национальный рекорд — по той досадной причине, что в словарях других народов, как известно, нет аналогов слова «пошлость» и соответственно нет такого понятия. А ближайший по значению к нашей пошлости их кич вовсе лишен духовного и нравственного окраса и соответственно не может, в отличие от нее, негативно оцениваться по этим параметрам (в толковом словаре «пошлый» — в первую голову «низкий в нравственном отношении»). Кстати, слова «духовность» в заграничных словарях тоже дело, знамо дело, нет, так что захватывающие коллизии борьбы духовности с пошлостью на поле русской культуры и истории, равно как и нынешние трансформации их взаимодействия, были и остаются за пределами внимания и понимания прочего человечества.

Не только язвить и обличать пошлость, но и вообще говорить о ней — занятие, чреватое ею же, коли ничто не ново под луной. И даже вкус — ненадежная защита, поскольку опирается на уже адаптированные эстетические представления. Но все же в культуре существуют понятия авангардности и инновативности. Ощущение, что эти качества присущи сегодняшней пошлости, и в какой-то мере оправдывает попытку потолковать о ней.

Для начала констатируем очевидное: до революции пошлость была, можно сказать, эстетическим и этическим синонимом мещанства и обывательства. А безвкусоному уюту, бездуховности, погруженности в суету и смрад долнего мира противопоставлялись либо алкание горнего мира, либо устремленность к высоким посюсторонним целям, либо менее динамичное «подлинное существование». То есть и церковь, и «властители дум» (внехрамовые пастыри), и революционеры, и литература «больших идей» обыгрывали всяк на свой лад, в сущности, одно и то же: настаивали на приоритете «высокого» (при этом, как правило, «общего») перед пошлым и низменным индивидуальным, частным. Духовность и пошлость, таким образом, обитали на разных полюсах, и все прекрасно знали, где плюс, а где минус.

В этом смысле революцию все же (несмотря на инвективы Набокова) можно рассматривать как победу авангардной коммунистической духовности над пошлым мелкобуржуазным обывательством. Другое дело, что у большевистских соколов довольно скоро опять возникла проблема ужей. И борьба все с той же обывательской пошлостью, которая теперь виделась либо «пережитком прошлого», либо «идеологической диверсией Запада», разгорелась с новой силой. Высокая романтика революций, войн, бригадиров, всяческого покорения, освоения или просто поездок «за мечтами» в режиме нон-стоп сражалась с презренным «грошевым уютом»; мораль строителя всеобщего светлого завтра мочилась с аморальной заикленностью на собственном гнездышке, а «большой» государственный стиль третировал мещанскую безвкусицу. Правда, возникла несколько парадоксальная ситуация, связанная с пресловутой раздвоенностью советского сознания. Партийная номенклатура и творческая интеллигенция (в своем подавляющем большинстве) выступили, с одной стороны, главными пестователями идейности и духовности нового социума, а с другой — живо откликнулись на пошлые обывательские позывы: пользуясь привилегиями и относительно высокими доходами, стали всюю вить свои гнездышки и от души пользоваться дармовыми общественными благами. То есть борьба духовности с пошлостью все более напоминала борьбу нанайских мальчиков.

Похоже, сие двурушничество — конформное и при этом вполне комфортное сожительство духовности и пошлости в сознании элитных и в то же время наиболее социально активных групп советского общества — и подготовило почву для их сегодняшнего дивного соития в идеологии, культуре и искусстве. Согласитесь — бросается в глаза, что новое «духовное», насаждаемое властью и СМИ, этически и эстетически реализует себя, как правило, в безупречно пошлых формах (давайте в интересах разговора и следуя традиции уложим эстетическую пошлость в прокрустово ложе банальности и дурного вкуса). То

есть, вопреки традиционному что русскому, что советскому раскладу (в последнем случае официально), «мещанская» пошлость перестала быть вызовом и помехой «маленького» «большому» и «высокому», а стала формой и образом их репрезентации; перестала быть выражением и символом личного, а стала, напротив, выражением общественного, коллективного, которое по-прежнему активно и агрессивное, но теперь уже именно в этих формах и таким образом давит сверху на частную жизнь.

Дополняя картину анамнеза, отдадим должное и тотальному ностальгированию последних лет по всем русским-советским векам, которые в одночасье стали золотыми. Ведь культурное жеманство, самодовольство ложных общих мест, сентиментальная и пафосная эксплуатация штампов роднят пошлость с ностальгией (особенно с нашенской нынешней, которая уже гораздо скорее национальная идеология, чем чувство).

Когда «новой» пошлостью шибает в домашней обстановке — где-нибудь на родственном дне рождения, — запашок один (в этом случае можно говорить о новых ароматах, в общем-то, канонического букета), а когда несет с теле- и киноэкранов, от бесконечных празднований славных юбилеев, от произведений архитектуры, скульптуры и т. п. — совсем другой. Разумеется, свободные люди свободны быть пошляками или — уже — вещами, коли это единственно доступная им или приемлемая для них форма самовыражения: думается, либеральное сознание обязано мириться даже с высшим (по крайней мере в смысле пошлости) выражением «рыночной» свободы — рекламой товаров. Но когда в том же роде преподносится реклама идей — скажем, национальной самобытности и уникальности; когда безупречно кичевый дух заявляется как русский — как ориентир нации, мы в отличие от Набокова оказываемся под двойным прессом пошлости и, кажется, получаем больше, чем он, моральных прав на «духовную» реакцию: становится не столько даже противно, сколько тоскливо и тошно.

Кстати, реклама товаров бывает вполне стильной и забавной, когда задействует иронию или рефлексию, но они явно претят той ее разновидности, что задействует «русский (советский) дух» и вышеозначенную ностальгию. Вот, скажем, пресловутый ролик, где Галина Польских рекламирует своей рекламной внучке масло «Доярушка» (одно название чего стоит!): «Так делали масло, когда я была ма-аленькая девочка». Конечно, возраст дамы — не тема для обсуждения воспитанными людьми, но коли он становится способом отсыла зрителя к добрым старым временам, невольно делаешь приблизительный подсчет, и выходит, что, когда Галя была ма-аленькой девочкой, шла или только что закончилась ба-альшая война. И люди, не принадлежавшие большевистской номенклатуре, тогда голодали, сливочного масла годами не видели, а деликатесом были олады из картофельной кожуры на маргарине. В общем, вся эта квазиисторическая умильная хренотень кажется все-таки не повкуснее, а пострашнее пистолетов. Ха-ха-ха.

Великому писателю такое и не снилось. Его немецкий парубок, плавающий голышом в пруду в обнимку с лебедем, чтобы привлечь внимание дамы сердца, в наших глазах скорее не образцовый пошляк, а творческая индивидуальность — этаким самодеятельный художник-концептуалист. У нас парней и дядь с тем же пониманием высокого, прекрасного и утонченного пруд пруди, и они руководствуются им не в интимных постановках, а в публичных: спрятали свои концы в воду, а свое видение прекрасного навязывают всем.

Впрочем, сегодня реализуются вовсе не бюргерские и даже не дореволюционные мещанские представления о красоте, а также уюте и роскоши, а плебейские коммунальные — возникшие в сознании никогда не видевших роскоши и не имеющих представления об уюте. Ну, помните оленей или тех же лебедей с барачных ковриков над кроватями из никелированного железа, с загогулинами на спинках, с которых можно было свинчивать блестящие шарики? Именно эти и стилистически им подобные животные обсели теперь ров с водой под стенами Кремля. Архитектурное сооружение подле напоминает упомянутые кровати.

А директивный «лужковский» стиль многих других общественных и жилых новостроек в центре Москвы (особенно самых последних) явно заимствован у загородных дворцов нуворишей и новой номенклатуры.

В каком-то смысле экспансия поганок из Подмосковья в исторический центр Москвы даже радует — как прецедент движения от частного к обществу, но закавыка в том, что почему-то все аляповатость да безвкусица стимулируют и цементируют движения такого рода. Если взять загородные дома пресловуто пошлых западных буржуев, то они в своем подавляющем большинстве — добротные произведения современной архитектуры. Каков индивидуальный вкус обитателей этих домов — другой вопрос, но «там» престижно обитать в эстетически качественной среде, а критерии качества задаются профессионалами. Отношения же заказчика и автора строятся на взаимном доверии и уважении, с которыми в нашей стране — хронические проблемы. Так что наша новая пошлость — это, пожалуй, позывы к свободе, реализуемые вне цивилизованности, само- и взаимоуважения. Кто кого «продавит» и «прогнет», тот и молодец. А поскольку интеллектуальные и творческие элиты материально зависимы от прочих, они лакейски обслуживают их (в том числе и их вкусы) — что через СМИ, что в архитектуре. В результате, к примеру, у «них» загородный или городской дом в виде заказного торта или мультипликационного замка — чудачество и исключение, а у нас норма: каша из убогих, суррогатных, смутных и клишированных представлений о шике и национальном духе стала каноном.

Вообще убогость воображения, имитация и суррогатность — не просто неразличение подлинного и поддельного, а предпочтение бижутерии — еще одна грань пошлости. Когда в темное время суток ХХС и Манежная площадь залиты ослепительным светом, а Василий Блаженный не освещается ни одной лампочкой — все как в капле воды. Не менее символическое и концентрированное выражение нашей новой духовитости — празднование юбилеев. Тут давно побиты все советские рекорды — навязчивая, самодовольная и «отвязанная» фальшь этих мероприятий настолько импотентна, что даже анекдотика не может породить. Надо признать, что позднесоветское однообразие ритуалов, рекламы идей и типового строительства было менее «убийственным», потому что в нем не было вообще никакой игры воображения. Сейчас она есть, и еще какая, — просто идет вне качества. А претенциозность и потуги — стремление к прекрасному по ту сторону вкуса и понимания, эстетики и этики — опять же имманентное свойство пошлости. Повторяю, бог бы с ним, с этим бездарным кичем, если бы он не был столь тотален и не навязывался нам в качестве нового «большого стиля». Человеку без слуха не объяснишь, что он врет мелодию, и запрещать ему петь негуманно. Но публичные выступления таких певцов негуманно уже по отношению к тем, у кого слух есть. А объявление их пения классическим и эталонным — уже беспредел.

Из пространства вкуса всего два выхода: либо в неизведанное, либо в банальность. Эйфелева башня действительно в момент создания была безвкусным сооружением и в этом смысле, безусловно, родня церетелиевскому Петру. Но она была прорывом вперед, а не проламыванием вкуса в прямо противоположном направлении. Другие основные доводы апологетов пошлости или высокоинтеллектуальных снисходительных защитников: «А людям нравится!» — или: «Проехали, господа эстеты, так что ваши обличения сами сильно пахивают пошлостью», — по-своему убедительны. Но, с одной стороны, люди с эстетическим и этическим рефлексом — тоже люди, и речь идет о среде их обитания (мне, например, последнее время все противней ходить по родному городу — даже при большевиках не было ничего подобного), а с другой: стоит отдать себе отчет, что стратегическое потакание или «подмахивание» пошлости — игра на понижение. И трудно избавиться от ощущения, что беззастенчивый эстетический и этический популизм не менее опасен, чем политический. Хотя, если взглянуть на ситуацию без пошлого инвективного



ража — так сказать, объективно, — действительно может выйти и что-то вроде апологетики пошлости.

Из-за дефицита индивидуализма в здешнем человеке на приватном уровне просматривается повышенная по сравнению с западным индивидом потребность быть «как все» (а именно — как все русские; отчасти и отсюда устойчивая тяга ко всеобщей уравниловке). А на уровне национального самочувствия, напротив, довлеет сравнительно — что с аналогичным западным самочувствием, что со здешним индивидуальным — повышенная (видимо, в силу компенсаторного характера) тяга как минимум к самобытности, то есть потребность быть «не как все» — отличаться от нерусских. А по максимуму — быть лучше, главней и духовней всех. То есть русский как личность охотно отказывается от своей «низкой» личности, зато делегирует ее на более высокие (в своих представлениях) уровни «соборного тела». Под этим углом зрения ожесточенная, но по-своему дружная борьба противоборствующих идеологий в дореволюционной России с одной и той же «мещанской» приватной пошлостью видится неотрефлексированной ими конкурентной борьбой за своего рода лицензию, которая дает право перекачивать сию пошлость на различные «высшие» уровни: например, на духовный национальный или на сверхдуховный вселенский. И, выходит, Набоков вдвойне прав, когда дует на стратегическую пошлость коммунистической революции: она ставила на один из конкурирующих вариантов и победила (в том числе и тот революционный вариант, который отстаивал отец будущего писателя).

Думается, при большевиках пошлость осталась официально гонимой в силу предпочтения, отданного ими более абстрактной и авангардистской интернациональной идее (ну, я имею в виду тот самый выход в инновацию) перед более герметичной и консервативной соборной духовностью. А теперь — с новой революцией — была предпринята новая попытка поднять пошлость на надличностные высоты: на этот раз национальные. И на этот раз, кажется, успешная, поскольку индивидуальное сознание в результате долгих и разнообразных усилий «системы» оказалось полностью атрофированным, интернациональное — дискредитированным на всех уровнях, включая самые «высокие» (недавно слышал рассуждения одного «духовного» мыслителя, что «национальное» трансцендентно по своей сути, а интернационализация — это обмен Бога на чечевичную похлебку — передача функций управления нации от своего Бога чужим богам), а общественное — гражданское сознание — так и не сформировалось. Похоже, национальная претенциозность как побеждающая в России ортодоксальная идеология неизбежно чревата победой пошлости как формы выражения этой идеологии. Сие обстоятельство «русская идея» по-прежнему не рефлексировать, зато вся сосредоточена на русском духе и русском Боге. Я хочу сказать, что нынешний, казалось бы, стихийный и протivoестественный сплав пошлости и духовности на самом деле логичен, органичен и гармоничен. В смысле гармонии внутреннего и внешнего: подсознательных и сознательных, личных и соборных чаяний.

И даже в смысле демократии, как это ни парадоксально, все у нас получается. Общество потребления товаров чревата преимущественно «товарной» пошлостью, а здешний народ, вполне насладившись жизнью в обществе потребления исключительно идей, сегодня демонстрирует готовность и способность сладострастно потреблять одновременно товары и идеи: благосклонно или даже благодарно реагировать и на ту, и на другую рекламу. И разлившаяся в нашей жизни концентрированная и, можно сказать, сбалансированная товарно-идейная пошлость — одна из наград за это достижение. Тут же тебе и прозрачное счастье товарной бездефицитности, и — ура (сбылась, как смогла, «демократическая мечта») — «подлинное существование» духовной.

Вот только интересно: как показался бы Набокову праздник по случаю «Тысячелетия русской ложки»?



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЕЛЕНА НЕВЗГЛЯДОВА

\*

## ЭВТЕРПА С ЧЕРНОГО ХОДА

*Заметки о прозе*

- Ваш брат — поэт, мистер Вариони.
- Я думал, он прозаик.
- Скажем так. Он — писатель.

*Дж. Сэлинджер.*

Пой, Карамзин! — И в прозе  
Глас слышен соловьин.

*Державин.*

1

**Н**Абоков назвал Гоголя поэтом в прозе. Из любви к Чехову хочется то же сказать и о нем, и мнится какое-то подспудное для этого основание. Но гоголевская витиеватая фраза с разветвленным синтаксисом, с повторами-подхватами, как купающийся в бурю, самозабвенно удостоверяет любовь автора к поэзии, отсылает к ней и навеивает ее, даже если речь идет о взятках борзыми щенками. А Чехов... Все знают сказанное мимоходом: «кроме романа, стихов и доносов я все перепробовал». Этот ряд выразителен неспроста. Поэзия представлялась Чехову едва ли не предательством по отношению к действительной жизни, непозволительной поблажкой воображению, стихотворная речь воспринималась как красноречие, украшательство, то есть ложь. Стыдно говорить красиво.

Уравновешенный ум Чехова не допускал расслабления или взвинченности чувств, ходячий образ поэзии постоянно маячил на периферии его сознания и, как тень отца Гамлета, взывал к мщению — к насмешке. («Выкиньте слова „идеал” и „порыв”. Ну их!») «Возвышенные» чувства, преувеличение, красоты — все эти расхожие признаки поэтичности служили для него постоянной мишенью.

«Надя Зеленина, вернувшись с мамой из театра, где давали „Евгения Онегина”, и придя к себе в комнату, быстро сбросила платье, распустила косу и в одной юбке и в белой кофточке поскорее села за стол, чтобы написать такое письмо, как Татьяна». Распустила косу... чтобы написать такое письмо, как Татьяна. Чехов не просто с улыбкой изображает очень молодую девушку, почти ребенка, с милым и смешным вздором в голове, — он посвящает на само поэтическое чувство. «Она стала думать о студенте, об его любви, о своей любви, но выходило так, что мысли в голове расплывались, и она думала обо всем: о маме, об улице, о карандаше, о рояле... Думала она с радостью и находила, что все хорошо, великолепно, а радость говорила ей, что это еще не все,

---

Невзглядова Елена Всеволодовна — филолог, критик, эссеист. Родилась в Ленинграде. Автор книги «Звук и смысл» (1998), а также многочисленных статей по теории стиха и на темы современной русской литературы. Лауреат премии «Северная Пальмира» (1999).

что немного погода будет еще лучше... Ей страстно захотелось сада, темноты, чистого неба, звезд».

Не правда ли, сад, чистое небо и звезды не совсем *те* — непривычные, скажем так, в соседстве с упомянутыми *мыслями* о маме, карандаше и рояле? Смешно и трогательно, но поэтический момент все-таки подмочен. Сильные чувства, прижившиеся в поэзии, — они, собственно, и вызывают мерную стихотворную речь — Чеховым всякий раз подвергались проверке, которая подчас приводила к разоблачениям.

Надо сказать, что уже в начале века литература испытала потребность в выражении оттенков чувств. Чехов первый почувствовал необходимость в сложных реакциях, отвечающих противоречивому течению жизни. Каждое чувство обладает множеством различных оттенков. Не просто грусть, а, скажем, грусть, связанная с красотой мира и смутной надеждой, грусть, согретая сочувствием и пониманием. Или наоборот: граничащая с отчаяньем, окрашенная тревогой, безнадежностью, равнодушием, скукой... Существует филологическое исследование о «тоске» (у Анненского), в котором исследователь показывает, какое множество текущих, не поддающихся именованию состояний накрывает это слово-понятие: «...тоска — очень русское слово и, как выясняется, точных аналогов ему в других языках не найти» (см.: Барзак А. Е. Обратный перевод. СПб., 1999).

Чеховские рассказы оставляют такое стойкое и всякий раз особое настроение (эмоциональное впечатление, состояние), как лирические стихи. Сравним несколько строф из разных стихотворений Анненского:

1. Я на дне, я печальный обломок.  
Надо мной зеленеет вода.  
Из тяжелых стеклянных потемок  
Нет путей никому, никуда...
2. О, канун вечных будней,  
Скуки липкое жало...  
В пыльном зное полудней  
Гул и краска вокзала...
3. Точно вымерло всё в доме...  
Желт и черен мой огонь,  
Где-то тяжко по соломе  
Переступит, звякнув, конь.  
  
Ходит-машет, а для такта  
И уравнивая шаг  
С злобным рвением «так-то, так-то»  
Повторяет маниак...

В первом стихотворении тоска как бы торжествующая, она провозглашена с каким-то смиренным ожесточением, если таковое возможно. Трехстопный анапест самым звучанием упоенно уверяет с первого стиха, что «нет путей никому, никуда...». Нет — и как бы не надо. Во втором примере тоска сливается со скукой; это липкое чувство, стесняющее душу, которая порывается вырваться, сбросить его: «О, канун...» В междометии «о» — протестующее усилие. В третьем стихотворении — тоска раздраженная, колючий хорей проявляет какую-то злобную настойчивость. Обратим внимание на прозаические детали: в то время как проза нащупывает ход к поэзии, поэзия протягивает руку прозе.

Пролистнем мысленно рассказы Чехова последнего десятилетия: «Моя жизнь», «Рассказ неизвестного человека», «Дуэль», «Соседи», «Архиерей», «Новая дача», «На подводе», «Жена», «Попрыгунья», «В овраге», «Мужики», «Именины», «Три года», «Страх», «Скрипка Ротшильда»... Словесно выраженное впечатление от всех этих рассказов сводится к тому, что жизнь бесконечно грустна, непонятна, запутанна, непоправима и неизменна («Ничего не раз-

берешь на этом свете...»). Однако чувство возникает всякий раз другое, имеющее индивидуальную окраску, звучащее своей особой мелодией в минорном ключе — что ни мелодия, то новое чувство.

Ощущая этот терпкий эмоциональный настой чеховских рассказов, который помнится долго после того, как детали сюжета проваливаются в дальний карман памяти, понимаешь, что, видимо, это и есть то, ради чего они написаны. В этой связи интересно свидетельство Л. А. Авиловой об отзыве Чехова на один из ее рассказов: «Рассказ хорош, даже очень хорош, но то, что есть Дуня (героиня моего рассказа), должно быть мужчиной. Сделайте ее офицером, что ли. А героя (у меня был герой студент, и он любил Дуню), героя — чиновником департамента окладных сборов». Авилова недоумевает: «...какой же роман между офицером и чиновником департамента окладных сборов? А если романа вовсе не нужно, то что же хорошо и даже очень хорошо в моем рассказе?»

Приходит на ум даосская легенда из повести Сэлинджера «Выше стропила, плотники!». Тот, кто, выбирая «несравненного скакуна», не замечает, вороной жеребец перед ним или гнедая кобыла, на самом деле и есть непревзойденный знаток лошадей: он видит только суть и отбрасывает все лишние детали. Остается предположить, что Чехову хотелось поправить фабулу рассказа, который понравился ему общей тональностью. Фабула представлялась ему не столь важной подробностью при выполнении главной — эмоциональной — задачи. Но возможно, конечно, что он просто посмеялся над приятельницей.

Поэзия прошлого века была ограничена в выборе тем и сюжетов — как правило, типовых и условных. Вообразите себе стихи, в которых говорится примерно следующее: «Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в висок жалит меня пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. С тех пор, как я страдаю бессонницей, в моем мозгу гвоздем сидит вопрос: дочь моя часто видит, как я, старик, знаменитый человек, мучительно краснею оттого, что должен лакею... но отчего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула: „Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, платя... Заложил все это, тебе нужны деньги...“?»

Стихи с таким сюжетом, скорее всего, походили бы на песни Беранже или что-то балладно-разночинное, тенденциозно-идейное, морализаторское, чего Чехов всю жизнь избегал. Пожалуй, только у Анненского этот сюжет мог бы приобрести адекватный чеховской фразе смысл: поэтическая мысль не растворилась бы в знакомых ритмо-мелодических клише и не приобрела бы нравоучительного уклона. Представляю себе, как перепутаны были бы в его стихах образы и мысли (пчела, дочь, ее браслеты, его долги), как нарушились бы причинно-следственные связи между ними (почти как в голове у Нади Зелениной), каким грустным недоумением были бы опутаны (как в чеховском рассказе!). И вот — еще одно «поэтическое» свойство чеховского сюжета, предвосхитившее новое качество прозы: отсутствие деления элементов сюжета на главные и второстепенные. Вопреки своей же «теории ружья» писатель постоянно пользуется нефункциональной деталью, чисто поэтической. Как показал А. П. Чудаков, у Чехова мир вещей — не фон, не периферия сцены. Он уравнивается в правах с персонажами, на него также направлен свет авторского внимания. Придя для решительного объяснения, герой «Учителя словесности» застает свою Манюсю с куском синей материи в руках. Объясняясь в любви, он «одной рукой держал ее за руку, а другую — за синюю материя». У Чехова «избыточные подробности создают какое-то добавочное неопределенное чувство, как рождают его сходные далекие детали в стихах», — пишет исследователь.

Поговорим о пейзаже, пейзаж — естественная площадка для состязаний поэта и прозаика.

«Дьякон шел по высокому каменистому берегу и не видел моря; оно засыпало внизу, и невидимые волны его лениво и тяжело ударялись о берег и точно вздыхали: уф! И как медленно! Ударилась одна волна, дьякон успел сосчитать восемь шагов, тогда ударилась другая, через шесть шагов третья. Так же

точно не было ничего видно, и в потемках слышался ленивый, сонный шум моря, слышалось бесконечно далекое, невообразимое время, когда Бог носился над хаосом».

Как живо здесь является в воображении картина ночного моря и ощущение «невообразимого» начального времени в присутствии Бога! Но насколько поэтическое чувство выражено иными, не поэтическими в традиционном понимании средствами! Это «уф» и восемь шагов, затем — шесть. Подобно тому, как «...*послушная рифма, / Выбегая на зов, и легка, как душа, / И точна, точно цифра*», эти числительные, камушками брошенные в огород поэта, свежи, точно рифмы, они не просто вызывают доверие, а странным образом вызывают непосредственное чувственное восприятие. Авторского отношения, которое в стихах внушается ритмической волной, здесь нет. Нигде оно не выражено. Прозаик повествует, и его сообщение свободно от сопроводительных эмоций, читателю предоставляется выбрать их по собственному усмотрению; как будто прозаик поручает читателю часть нагрузки, деликатно предоставляя ему ответственную и независимую роль реципиента.

Интересны одни и те же приемы, одинаково действующие в поэзии и в прозе. «Послышалось около третьего корпуса: „жак... жак... жак...“. И так около всех корпусов и потом за бараками и за воротами. И похоже было, как будто среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище с багровыми глазами, сам дьявол, который владел тут и хозяевами, и рабочими, и обманывал и тех, и других... И он думал о дьяволе, в которого не верил, и оглядывался на два окна, в которых светился огонь. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь».

В этом рассказе («Случай из практики»), как в стихотворении Анненского, экзистенциальная тема смысла жизни и ее сурового закона затрагивается при помощи грубых бытовых предметов (ворота, бараки, корпуса) и звуков («дрын... дрын... дрын...» и «дер... дер... дер...», «жак... жак... жак...»), которые, словно вонзаясь, внушают тоскливые чувства и мысли.

Не будет преувеличением сказать, что поэзия XX века появилась сначала в прозе Чехова, а затем уже в стихах Анненского, Кузмина, Ахматовой и т. д. Сложившиеся в нашем веке черты поэзии, ценимые нами и отличающие ее от поэзии прошлого века, можно обнаружить в чеховской прозе.

Любя стихи, мы повторяем про себя строки и строфы, напитанные определенным чувством, внушающие определенное душевное состояние. Любя прозу, мы только помним ее колорит, беззвучную мелодию, аромат... Пожалуй, именно с запахом легче всего сравнить эту память. Мы помним свое впечатление от запаха, например, сирени, но сам запах вспомнить почти не удается. Что до чеховской прозы, то могут неожиданно прийти на память такие ни к кому не обращенные фразы, как: «О, какая суровая, какая длинная зима!» («Мужики») или: «Мисюсь, где ты?» («Дом с мезонином»). Или вот такие горестные заметы сердца: «В сущности, вся жизнь устроена и человеческие отношения осложнились до такой степени непонятно, что, как подумаешь, делается жутко и замирает сердце» («На подводе»), или: «И столько грехов уже наворочено в прошлом, столько грехов, так все невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении» («В овраге»).

Не нужны рифмы и метр, достаточно одной этой обращенности в надмирное пространство, чтобы поэзия толкнулась в сердце. Необходимо только присутствие поэтической мысли. Как голову Медузы Горгоны можно было увидеть лишь с помощью зеркала, так чувства и ощущения обнаруживаются в метафоре или образе — отражаясь в другом предмете, явлении, ситуации. «Утром оба они чувствовали смущение и не знали, о чем говорить, и ему даже казалось, что она нетвердо ступает на ту ногу, которую он поцеловал».

Кажется, что Чехову проще было бы обратиться к метрической речи, по-слушно катящейся на ритмической волне печаль и радость. Загадочно это уме-

ние добиться выразительности, не прибегая к эмоционально-экспрессивным языковым средствам.

Такая же загадка скрыта в послечеховской, обрученной с прозой современной поэзии, которая отчасти ему обязана своим появлением. Вспомним одно из ранних стихотворений Бродского, которое в начале 60-х годов так поразило своим тихим блеском, скрытым вызовом — намеренным отказом от того, что принято считать лиризмом:

Я обнял эти плечи и взглянул  
на то, что оказалось за спиной,  
и увидал, что выдвинутый стул  
сливался с освещенною стеною...

Стихотворение знаменитое, не буду приводить его целиком, напомним только его удивительный для лирики сюжет: в обычной, ничем не примечательной комнате со старой мебелью кружил мотылек, который привлек внимание лирического героя в тот момент, когда он обнял «эти плечи». Приведено подробное описание обстановки (двенадцать строк из шестнадцати), а основное событие состоит в том, что внимание лирического героя переключилось с истертой мебели на летающее насекомое. Это все. Никакой связи между тем, что автор видит, о чем говорит, и тем, что с ним происходит, нет. Но читатель чувствует изменение его внутреннего состояния тем острее, чем менее оно подготовлено описанием внешних событий. В этом заключена какая-то загадочная правда чувства.

И если призрак здесь когда-то жил,  
то он покинул этот дом. Покинул.

Феномен этой лирики настолько интересен, что позволю себе рассмотреть еще один пример (думаю, что малоизвестный):

В наших северных рощах, ты помнишь, и летом клубятся  
Прошлогондые листья, трещат и шуршат под ногой,  
И рогатые корни южанина и иностранца  
Забавляют: не ждал он высокой преграды такой,  
Как домашний порог, так же буднично стоптанной нами,  
Вообще он не думал, что могут быть так хороши  
Наши ели и мхи, вековые стволы с галунами  
Голубого лишайника, юркие в дебрях ужи.

Мы не скажем ему, как вздыхаем по югу, по гляncy  
Средиземной листвы, мы поддакивать станем ему:  
Да, еловая тень... Мы южанину и иностранцу  
Незабудочек нежных покажем в лесу бахрому,  
Переспросим его: не забудет он их? Не забудет.  
Никогда! ни за что! голубые такие... их нет  
Там, где жизнь он проводит так грустно... Увидим: не шутит.  
И вздохнем, и простимся... помашем рукою вслед.

Как бы мы пересказали сюжет этого стихотворения А. Кушнера? Иностранец (южанин) приезжает в наши северные края, бродит по лесу. Ему нравится северная природа, и мы не хотим его разочаровывать, рассказывая, как томимся без солнца, как любим юг. Показываем ему незабудки, спрашиваем, не забудет ли он их (нас). Он сердечно заверяет, что никогда, ни за что... На прощанье признается, что жизнь его в теплых родных краях проходит грустно. Мы сочувственно вздыхаем и машем ему вслед.

На вопрос, о чем эти стихи, пожалуй, следует сказать, что в них — сравнение сурового севера с благодатным югом, но не в пользу последнего; все сложнее на самом деле. Характерно, что главный персонаж не просто уравнен в правах с растительным миром — ему уделено меньше текстового пространства-времени, он даже не удостоен именительного падежа: «И рогатые корни

*южанина и иностранца / Забавляют...*» Еще дважды он фигурирует, и оба раза в дательном падеже: «*Мы не скажем ему...*» и «*Мы южанину и иностранцу...*». И все же это не «пейзажная лирика». В стихотворении спрятан рассказ.

Надо сказать, что при прозаическом переложении совершенно теряется очарование грустной тональности, в которой протекает описанная летняя прогулка. Она, кстати, доставляет удовольствие: шуршание листьев под ногой, рогатые корни, галуны голубого лишайника и — прелесть! — незабудки. Печальная мелодия стихов возникает не сразу. Вначале сообщение имеет скорее мажорный тон — речь идет о том, как хороша наша северная природа. Затем во втором восьмистишии происходит некая сценка с диалогом. Диалог милый, какое-то взаимное доверие и сочувствие проявлено с обеих сторон. Взаимная симпатия, как ни странно, выражается в словосочетании *незабудочек нежных* и в примыкающем к ним (но не грамматически) слове *бахрому*. Почему? Потому что ласкательно-уменьшительный суффикс как будто не хочет относиться только к одному слову, а, связываясь с прилагательным *нежных*, распространяется на всю ситуацию. Что касается слова *бахрому*, то оно принадлежит обстановке домашнего уюта и представляет от нее. Скромная, тихая красота незабудок тоже вкладывает свою лепту в психологическую коллизию. Затем сам диалог. Очевидно, что «переспрос», как говорят лингвисты, имеет место здесь не по причине плохой слышимости. Вопрос задан явно с улыбкой. Таким способом обычно акцентируют сказанные уже слова и намекают на нечто не сказанное. В словах «*Не забудет*» — ответ, переданный в косвенной речи. Кстати, в первой строфе фраза: «*Вообще он не думал, что могут быть так хороши Наши ели и мхи...*» — тоже, бог его знает почему, выражает косвенную речь. Однако нельзя же приписать иностранцу слова «*буднично стоптанный*» (о пороге) и «*галуны голубого лишайника*». Это уже, конечно, автор.

Особую грустную ноту вносит будущее время глаголов во второй строфе: *переспросим... увидим... вздохнем... простимся... помашем*. Оно говорит о том, что в стихах не рассказан какой-то один случай (приехал с юга иностранец и т. д.), как было бы в рассказе. И конечно же будущее время не означает, что иностранец постоянно приезжает, будет приезжать и все описанное еще только предвидится. Но оно говорит о том, что все сопутствующее сюжету повторяется и будет повторяться, потому что незабудки всегда прекрасны (а также мхи и лишайники), жизнь грустна, а внимательные к растительным подробностям люди будут всегда симпатизировать друг другу. Смирненное понимание печального порядка вещей, имеющих, впрочем, неотразимую прелесть, благодаря глагольным окончаниям будущего времени звучит в пятистопном анапесте этих стихов.

Нерасторжимы (по Чехову) печальное и прекрасное, перепутаны в сюжете главное и второстепенное, слиты воедино мысль и предмет мысли, явлены полутона и отчетливо звучит интонация с загадочно появившимися в ней оттенками светло-печального смысла.

Поэзия XX века, можно сказать, разделяет вкусы Чехова. Изжит условно-поэтический язык, ушел в отставку лирический герой, внимание поэта направлено на жизнь в ее широком охвате, гораздо более широком, чем это было принято в XIX веке, со множеством мелких событий, незначительных, некрасивых и бесполезных подробностей, о которых ранее поэты и не думали.

Не готовые к новому характеру прозы современники Чехова не могли его оценить. Масштаб этого писателя был глубоко не ясен при его жизни. Что говорить! Анненский, этот «Чехов в поэзии», и тот не понимал своего двойника, своего «Другого». Неловко даже вспоминать слова, сказанные поэтом о прозаике. А виноваты в этом, я думаю, извечно сложные отношения Прозы и Поэзии, их отталкивание-тяготение, дружба-вражда, любовь-ненависть.

Лирика 80 — 90-х годов прошлого века за редким исключением представляла собой унылое явление. Вспомним поэта из чеховского рассказа «Рыбья

любовь» (1892), который, поцелованный влюбленным карасем, заразил «всех поэтов пессимизмом, и с того времени наши поэты стали писать мрачные, унылые стихи». А вот отзыв Чехова о книге Бальмонта «Будем как Солнце!»: «...книгу сию я получил уже давно. Могу сказать только одно: толстая книга». Самое разумное со стороны прозаика было держаться от поэзии подальше. Но и проза конца века страдала бытописанием и нравочительством, что тоже не способствовало сближению. Когда пути их неожиданно пересеклись, они не признали свое родство — слишком разные миры собой представляли. Сейчас — в значительной мере благодаря Чехову — ясно: то было временное заблуждение, ранняя стадия роста, подступы к зрелости. Хотя, разумеется, сколько прозы в державинских, например, стихах и сколько поэзии в толстовской прозе!

Еще одно — вечное, так сказать, — обстоятельство приходится признать. Есть люди, и их немало, которым вход во владения Эвтерпы заказан. Они никогда об этом не узнают, и не следует даже пытаться их туда провести. Мы тоже никогда бы не узнали о такой степени лирической невосприимчивости, если бы они сами не обнаруживали ее с простодушной откровенностью. Речь не идет о «случае Сергея Иваныча» из Ходасевича («...ничего не слышит, / Но слушает старательно»). Увы, речь идет о людях развитых и образованных, деятельность которых протекает на основных культурных магистралях. Характерно и то, что предметом агрессивного непонимания служит Чехов. (См., например, М. Эпштейн — «Звезда» 1999, № 1: «Чехов — это писатель не просто светский, но светски-апофатический. Он изобрел способ говорить пошлости безнаказанно, вызывая сочувствие к своей грусти, как будто намекая, что за пошлостью должно быть что-то еще, какой-то прорыв, надежда, небо в алмазах и прочее, но прямо высказать этого нельзя, поскольку все сказанное будет звучать как пошлость, и по этому поводу надо опять-таки грустить и надеяться». Что тут сказать?)

## 2

К концу нашего века и тысячелетия приходится видеть, как разошлись пути прозы с поэзией; это прискорбно, как нелады между сестрами, и только остается надеяться, что ссора не приведет к окончательному разрыву, что все еще может перемениться, жизнь неожиданна.

И это в то время, когда так много талантливых людей, когда тяжкие окопы цензуры пали и свобода радостно встречает у входа... ан некого.

Но может быть, мне это кажется — столько разных престижных премий, столько лауреатов развелось, а выдвигаются на премии целые полки писателей. Может быть, дело во мне, в моем индивидуальном вкусе? Впрочем, в любом случае можно не стесняться обнаружить свое одинокое мнение, когда так декларативно отстаиваются права на любое проявление своей неповторимой (повторимой на самом деле, повторимой) личности. Кстати, оно вовсе не одинокое. «Вряд ли сообщу что-нибудь новенькое, если пожалуюсь, что почти всю новую прозу читать скучно», — пишет Семен Файбисович («Наезд жизни на литературу» — «Общая газета», 1999, 14 июля). Утомительно было бы перечислять все, что не нравится. Хочется задать наивный вопрос: неужели не все случаи рассказаны, неужели труд чтения можно уравновесить любопытством к каким-то вымышленным событиям и людям? Или идеям? Если иметь в виду взрослого читателя, того, «кто жил и мыслит».

Правдоподобному искусству, говорит Семен Файбисович, пришел конец: «И даже фантазии на тему реальности блекнут перед реальными чудесами». Подзаголовок цитируемой статьи гласит: «Художественное воображение капитулирует под натиском реальности». Заметим по этому поводу, что воображение и вымысел — разные вещи; не случайно Лидия Гинзбург назвала свое исследование о прозе XIX века «Литература в поисках реальности»; литература вечно пребывает в этих поисках, это ее родовое свойство, и воображение тут — главный вожатый. Не ясно, что в статье Файбисовича понимается под



«искусствовоподбием», противопоставленным «жизнеподобию». Критик видит две «демиургические реальности» — «жизнеподобная литература больших идей» и «жизнь как продукт семи дней творенья». Но что такое жизнь как продукт семи дней творенья? Да есть ли она? Развести жизнь и литературу по силам только плохому прозаику. Неужели Анна Каренина — *вымышленный персонаж*? Хотя с основными оценками Файбисовича нельзя не согласиться, теоретически не совсем понятно, что он предлагает.

Есть другие диагнозы и рецепты. Проза должна быть структурированной. Проза должна быть современной. И тот и другой тезис сами напрашиваются на опровержение. Неопределенное требование структурированности разбивается, например, о короткий рассказ Людмилы Петрушевской «Через поля», который всплывает в памяти именно в силу своей прелести, при том, что сюжет невозможно и не нужно пересказывать. И это только первое, что приходит на ум, далеко не единственное. Что касается современности, то что сказать, например, о романе Торнтона Уайлдера «Мост короля Людовика Святого»? Можно ли счесть современным повествование о средневековом монахе, решающем проблему теодицеи? Между тем это одна из книг, созданных для перечитывания.

«Если бы люди острее чувствовали неисчерпаемую таинственность повседневности, реализм мог бы продержаться еще века и века, — писал Георгий Адамович. — Изменилась бы манера, но сущность осталась бы той же. Глупые теперешние романы, где все „совсем как в жизни“, глупы потому, что жизнь в них и не ночевала. Повседневность фантастичнее всякой фантастики, сказочнее любой сказки, экзотичнее — если в нее взглядеться — самой изысканной экзотики. Достаточно растворить окно, выйти на улицу, сказать два слова со случайным встречным...»

Что касается повседневности, то она изучена и представлена самым тщательным образом — взять, к примеру, последний роман Ольги Славниковой «Один в зеркале»: добросовестное проживание каждого кусочка текстового пространства, на что так часто у прозаика не хватает сил, добросовестное и изобретательное. Нет только таинственности, и ее отсутствие не компенсируется авторской рефлексией — пониманием того, что читателю, одолевающему день за днем чужую повседневность, это занятие надоело.

Но, приглашая лирику в прозу, я не имею в виду «поэтическую прозу», не имею в виду поэзию, которая попадает в прозу в качестве украшения, как бы притянута из оппозиции «проза — поэзия». Речь идет о лирике как органическом элементе всякого словесного (и не только словесного) искусства, заставляющем *очнуться от привычного житейского забытья*, как выразился Адамович. Между поэзией и лирикой есть тонкое, но существенное различие. Когда Андрей Немзер утверждает: «Писатель *может и должен* прозревать сквозь прозу (злую, страшную, безжалостную) — поэзию и сказку (курсив мой. — *Е. Н.*)», у нас есть основания полагать, что он адресует более к читателю, чем к писателю. Тремя страницами выше он говорит — и тут мы его поддержим, — что писатель никому ничего не должен (*«словесность вообще никому ничего не должна»*). Если писатель намеренно привлекает поэзию и сказку — ну, например, как это делает Марк Харитонов в своей прозе «Amores novi», — то нередко его намерение своей очевидной, запланированной целью вытесняет хрупкий лиризм. Не успевает читатель идентифицировать себя с персонажем, погрузиться в предложенные обстоятельства, как автор услужливо протягивает ему искомый итог — запрограммированное поэтическое чувство в виде ассоциации с библейским мифом об Адаме и Еве. Вот если бы она возникла сама по себе, в неподходящих условиях чьей-то обыденной жизни, куда Эвтерпа заглядывает всегда неожиданно, никогда — по вызову... Когда-то притча была новостью, сейчас — *«и только повторенья / Грядущее сулит»*. Есть большая разница между навязанной автором ассоциацией и возникающей произвольно, для которой автор, кажется, ничего ровным счетом не сделал.

Так в повести М. Румер-Зараева «Диабет» («Звезда», 2000, № 2) название само проецируется и на российскую действительность известного периода, и на Жизнь вообще; сюжет частной жизни имеет отношение к любому читающему. Что является важнейшим признаком лирического жанра.

Любопытны эти туманные отношения лирики и поэзии. Сошлемся на одно интересное наблюдение Никиты Елисеева: «Удивительный эстетический факт: пока Юрий Буйда пишет про уродов и уродцев, про странных изломанных людей — в его прозе появляется красота и поэзия, стоит Юрию Буйде напустить „романтического туману” и вывести на „авансцену” какую-нибудь красавицу... как вся красота и поэзия улечиваются неведомо куда». Возможно, это не случайно, возможно, это феномен прозы не только Юрия Буйды, возможно, тут дело в том, что красота и поэзия выставлены автором в какой-то слишком определенной сюжетной или стилистической форме, тогда как они, возможно, являются категориями читательской оценки — и только. Напрашивается вывод, который только вполголоса и в виде вопроса решаю произнести: не противопоказана ли вообще поэзия прозе?

Когда-то мы читали Юрия Трифонова как газету — жадно-торопливо, обсуждая историю и политику, всегда присутствующие в его романах и повестях. Почему-то до сих пор он читается с тем же волнением, хотя, казалось бы, причины, по которым он был нужен в 70-е годы, отпали.

«Когда боль исчезает, думать о смерти легче. Где-то далеко на горной дороге шла машина — в тишине отчетливо слышалось, как шофер сбавлял газ на поворотах.

Нет, смерть меня не пугала. Ведь громадное большинство людей умерло и только ничтожная часть живет. (Боль прошла совершенно...)»

Внешняя ситуация вползает во внутреннюю работу мысли, и текст перестает быть сообщением, читающий обречен на соучастие. Однако такие выходы в одну из важнейших экзистенциальных тем прозаик может позволить себе нечасто. Посмотрим эпизод из повести «Обмен», написанной, кстати говоря, от третьего лица. Дмитриев, герой повести, приходит к своей сослуживице, с которой год назад у него был роман:

«Из комнаты вышел Алик, заметно подросший, бледное веснушчатое создание лет одиннадцати, в очках на тонком носике...»

— Мам, я пойду к Андрюше. Мы будем марками меняться, — проговорил он скрипучим голосом и метнулся через коридор к двери.

— Постой. Почему ты не поздоровался с Виктором Георгиевичем?

— Здравсьте, — не глядя бросил через плечо Алик.

Торопясь, отомкнул замок и выскочил, хлопнув дверью.

— Приходи не позже восьми! — крикнула в запертую дверь Таня. — Воспитаньем юноша не блещет.

— Он, наверно, забыл меня. Я давно все-таки не был.

— А даже если пришел незнакомый человек? Здраваться не нужно? Таня прошла в большую комнату, открыла боковую дверцу серванта и сказала: — Он тебя не забыл».

Самая значимая здесь реплика: «Он тебя не забыл». Но представим себе, что второстепенная реплика, механически извлеченная из дремлющего в материнском сознании педагогического арсенала: «А даже если пришел незнакомый человек...» и открывание боковой дверцы серванта подверглись сокращению по какой-то, допустим, технической причине. Все пропало! Остался диалог, но исчезла напряженная психологическая атмосфера, которой дышит трифоновская проза.

Скрытое душевное состояние, которое поэт высекает из речи при помощи размера, для прозаика тоже служит искомой целью. Чуть-чуть что-то измени во фразе, в периоде — и нет его, ушло. (В стихах эта атмосфера обеспечивается метром. Для того, чтобы показать, какую роль играет размер, Томашевский предложил в фетовских стихах: «Так, вся дыша пафосской страстью, / Вся млея

*пеною морской...»* отсечь первый слог, превратив ямб в хорей: *«Вся дыша пафосской страстью, / Млея пеною морской...»* При этом торжественный тон сменяется игриво-плясовым.)

В сущности, все поиски новых форм — это поиски Эвтерпы. Возможно, я говорю о том, о чем не принято говорить, о чем критика целомудренно молчит. Писатель воздействует скрытыми, едва заметными средствами, и должно принимать эти знаки внимания *заискивающе-благоговейно*, как сказано в одних стихах, стыдливо-благодарно. Молчаливо. Но, признаться, в этой ситуации труднее всего молчать. *Что делать нам с бессмертными стихами? И с прозой? Ни съест, ни выпить, ни поцеловать...*

Все-таки, к счастью, эта пропитанная лирикой проза — не путать с так называемой лирической! — не прекращает своего существования, живет. У прозы нет музыки. Между тем есть такой вид прозы, который хранит следы прокравшейся в нее с черного хода Эвтерпы. Например, проза Людмилы Петрушевской. Мне уже приходилось писать о ее особом лиризме, вводимом в повествование грамматическими и композиционными средствами. На этом пути она сделала еще один, совершенно неожиданный, шаг — имею в виду «Карамзина», где запись текста отдельными строчками, даже строфами, как бы стиховыми, вовлекает монотонную интонацию, родственную метрической монотонии стиха, связанную с лирическим волнением. «Карамзин» — «деревенский дневник». В нем рассказаны вещи, не укладывающиеся в сюжеты лирики: беспробудное пьянство, брошенный матерью парализованный мальчик, попытка избавиться от крысы и избавление от нее с помощью соседского кота... Жуткие и смешные сюжеты, исполненные юмора и точных бытовых подробностей. Вместе с тем — это лирика.

Или рассказы Валерия Попова. И написанные двадцать лет назад ничуть не утратили свежести. «Две поездки в Москву», «Ошибка, которая нас погубит», «И вырвал грешный мой язык» («*Сти, все у тебя очень плохо...*»)... В юбилейном номере «Звезды» (1999, № 1) напечатан новый рассказ Попова — удивительная смесь юмора и отчаянья. «*Все-таки чудеса иногда кидаются к нам на грудь, надо только чем-то выделиться — хотя бы отчаяньем*». Хотя бы отчаяньем! Герой идет дождливым июньским днем через парк, и с ветром ему на грудь — «*как птица из дождя к маяку*» — кидается мокрая газета. Оказывается, к его сердцу прильнуло объявление, которое принесло удачу. И это не просто случай, судьба не такая индейка, как ее изображает пословица. Надо быть готовым принять ее дар — например, уметь вовремя встать на цыпочки, чтобы ухватить порыв ветра, несущий удачу. Ахматова говорила: «Не теряйте отчаянья!» Может показаться, что Попов обосновался на небольшом участке литературы: романы, как Трифонов, он не писал и острых социальных проблем намеренно не поднимал. Но может быть, в рассказе и в небольшой повести можно сказать в каком-то главном смысле больше, чем в романе, где многоплановое повествование как раз сковывает писателя, не позволяет из рук в руки передать читателю свое ощущение жизни. В рассказах Попова уже с первых фраз, этих его междометий и восклицательных знаков (*О, привет!*) попадаешь в полную непонятной прелести жизнь, отмеченную «высоким легкомыслием», в них открывается какое-то потайное игровое пространство, не ведающее об угрюмой реальности, обложенной со всех сторон запретами. Атмосфера его рассказов — нет, не антисоветская, а как бы ничего не знающая о суконной советской действительности, хотя сама действительность в них именно такая, какой она была в те годы, со всеми узнаваемыми дикими и печальными приметами. Скажут, что у целого ряда его современников — и старших, и более молодых (Аксенов, Евг. Попов) — можно найти названные черты. Это не так. Речь идет не просто о юморе и раскованности. У Валерия Попова юмор — всепроникающее свойство отношения к жизни, не ограниченной юмористическими обстоятельствами. Обстоятельства могут быть очень даже грустными, а герой парит над ними на крыльях счастливого немотивированного волнения.

Юмор связан с лирикой. Если только он не переходит в балаган, присутствие рядом Эвтерпы всегда ощущается. Почему так? В лирических стихах юмор — редкий гость. Кстати, Ахматова, одаренная чувством юмора, о котором вспоминают все знавшие ее современники, в стихи его не допускала. А проза нашего века так и подкрадывается к лирике именно с этой стороны.

В этой связи не могу не вспомнить еще одного петербуржца. Дмитрий Припула умудряется ввести лирику в сказовое повествование, оснащенное «чужим словом» внелитературного рассказчика, как это делал Зошенко. В отличие от Зошенко, у которого лирика прячется за юмор, у Припулы нередко лирика преобладает. В рассказе «О, если б навеки так было» («Звезда», 1996, № 12) прозаическое, фактографическое описание истории любви некоего Всеволода Васильевича каким-то необъяснимым образом наэлектризовано драматизмом жизни. Беспристрастное объективное повествование («Всеволод Васильевич Соловьев жил вдвоем со своей матерью Марией Викторовной. Ухоженная двухкомнатная квартира. Седьмой этаж — это важно подчеркнуть») время от времени нарушается всплесками авторского голоса: «Да, но...» — или: «Все так. Но!..» — или: «Но нет!» («Да, но как время летит! Оглянуться не успел, а девочка уже три года. Причем не дочке, а внучке. Ладно»). В конце печальной истории сам автор как будто не выдерживает, срывает с себя маску рассказчика и выходит к читателю: «Нет, вы вдохните этот воздух, нет, вы глубоко вдохните этот воздух, он ведь пьянит, не так ли, прав, прав Шаляпин — о, если б навеки так было, да, как это верно, если б навеки так было...» История одной частной жизни поднимается до широкого обобщения: не *une vie*, а *la vie* (мне всегда казалось, что знаменитая мопассановская «Жизнь» переводится большинством переводчиков неправильно — надо бы «Одна жизнь»).

Роман Ирины Полянской «Прохождение тени» насыщен тем, что мы называли поэтической мыслью; может быть, даже перенасыщен. Любопытно отметить, что Эвтерпа в конце XX века не обходится без мысли и без специальных знаний. Полянская знает музыку, как знают ее профессионалы-музыканты, что придает дополнительный интерес повествованию, содержащему новые для читателя сведения. («И он действительно был искренен, когда говорил, что вся „Шехерезада“ Римского-Корсакова не стоит нескольких тактов восходящих секвенций в ее финале...»)

В сущности, *человеческое* в нас запрятано от нас самих и вечно норовит уйти на дно, затаиться. Все дело в умении доставать придонные впечатления. И что интересно: всякое тонкое психологическое знание оказывается в противоречии с ходячим представлением. «Серо-зеленое глиссандо Золя, бордовое Маяковского, малиновое Ромена Роллана, бирюзовое Бальзака. Собрание сочинений. Звучит внушительно. Я и сама, помнится, авоськами таскала из библиотеки тома Бальзака и Вальтера Скотта, полные авоськи, сквозь ячейки которых, словно руки-ноги поломанных кукол, торчали герцогиня Ланже, генерал Монриво, де Марсе, Камилла де Буа-Траси, Обмани-Смерть, Лилия Долины, — все эти герои, которые, будучи фантомами, уложили меня, как немогущую калеку, на диван, чтобы нашептывать мне свои фантастические истории. Огромное усилие понадобилось, чтобы вырваться из их объятий. Не я читала книгу, а книга, как могущественный старец одалиску, подкладывала меня под себя. Я ночевала у нее в изголовье, и я кормила этих так называемых героев своей плотью и кровью, пока не впала в полное умственное и физическое расслабление...» (у Полянской).

Заметим: Золя и Бальзак, эти знатоки и хроникеры «человеческой комедии», столпы критического реализма стоят в одном ряду с фантастикой и сказкой.

Сочувствующий читатель был бы удивлен, если б в разговоре о лиризме прозы не встретил упоминания повести Игоря Сахновского «Насущные нужды умерших». Читая Сахновского, чувствуешь, что «нет ничего страшнее, прекрасней и фантастичнее, чем так называемая реальная жизнь». В подзаголовке

этой прозы сказано: хроника. Не выдумывать, а видеть живые обстоятельства собственной жизни, ощущать, как они, «словно бедные родственники, столько времени топчутся в прихожей, ожидая, когда на них обратят внимание», Сахновский учился, мне кажется, у Набокова, возможно, у Пруста. Уроки не привели к подражанию. Мы видим провинциальный южнорусский городок, бедный советский быт и знакомую казенную обстановку прежних лет. Детство. Кажется, ну что нового можно сказать о детстве? Да еще сделав главной героиней собственную бабушку? (О, совсем не похожую на прустовскую!) Об этом авторском замысле читатель узнает не сразу. Читая предуведомление, набранное курсивом, он об этом не догадывается.

«Труднее всего говорить о ней сейчас в третьем лице. Участковый врач, навесивший неизлечимо больного или психически ненормального, в присутствии пациента деловито пытается смущенных домочадцев: „Он что, все время так потеет? А какой у него стул?“ Или, например, с ленивой оглядкой, но достаточно внятно: „О покушениях больше не кричит? Ну, вы ему лучше не напоминайте“. Родня, контуженная безысходностью и страхом, разумеется, отвечает в нужной тональности. И тогда лекарственную духоту комнаты пронизывает летучий запах предательства. Существо, о котором идет речь, отныне поражено в последних правах. Из этой липкой постылой постели навсегда исчезает родной и близкий „ты“, остается — „он“, покинутый на самого себя.

Говоря сейчас „она“ о Розе, я слышу снисходительное молчание присутствующего человека, отделенного от всех нас тем же самым статусом полной неизлечимости или „ненормальности“. Только ее болезнь называется просто смертью».

На вопрос, есть ли здесь поэзия, читатель, вероятно, пожмет плечами; на вопрос, есть ли лирика, — кивнет утвердительно.

Рассматривая появление Эвтерпы в разных текстах, мы говорили о ее атрибутах — о поэтической, «придонной» мысли, о расширении ее территории, с заходом в прозаические, захоластные уголки жизни, о юморе, о научном знании, к которому она в XX веке пристрастилась... Но так изменчивы ее характер и повадки, так легки и неуловимы порой проявления, что сказать о ней что-то общее и определенное, напоминающее дефиницию, не представляется возможным. Лирика — это борьба частного и единичного с общим и универсальным, с готовыми формами смысла. Найти и выразить то призрачное, что едва шевелится за клишированными ситуациями, событиями, явлениями и сопровождающими их клишированными мыслями и чувствами, — это и значит расчистить дорогу Эвтерпе. Прозе — прозе особенно — необходимо открытие. Иногда хорошо написанные вещи тускнеют и забываются, быстро сходя с литературной сцены только оттого, что не поражают воображение новизной. Таковы, на мой взгляд, повести Андрея Дмитриева «Закрытая книга» и Александры Васильевой «Моя Марусечка» (впрочем, буду рада, если мое пророчество не оправдается: оба автора талантливы, каждый в своем роде). Как только у читателя возникает ощущение, что что-то подобное он уже читал, снижается уровень интереса; он продолжает (если продолжает) чтение, переключив прожектор внимания на карманный фонарик любопытства. Текст становится в лучшем случае «весьма читабельным», как выражаются критики (Александр Архангельский, например).

По-настоящему интересен только неповторимый, уникальный внутренний опыт художника. «Прозаическую по существу тяжесть этого опыта надежно может выдержать лишь добавочное измерение, поэтическая гармония, „музыка“», — пишет Андрей Арьев в эссе-исследовании «Великолепный мрак чужого сада» («Звезда», 1999, № 6). В этом сочинении о новой русской поэзии (и ее символическом «отечестве» — Царском Селе) речь идет о том самом преобразении смысла, которое и в поэзии, и в прозе осуществляет муза лирической поэзии:

«Интимизация, каким бы парадоксом это ни звучало, есть прорыв к свободе. Номинальное, то есть неповторимое, не подверженное дублированию, в искусстве может быть выведено на свет без серьезного опасения себя скомпрометировать. В изображении греха оно показывает отличное от того, что общепринято полагать грехом. „Бесстыдное“ перестает быть „бесстыдным“. Но и „прекрасное“ — „прекрасным“. Конвенций с моральным, политическим или иным общепринятым суждением новое поэтическое слово не включает. Уникальное — в силу самой своей уникальности — не терпит этической нагрузки. Говоря философским языком „серебряного века“, бердяевским языком, новая поэзия есть торжество над объективацией мира, преодоление ее.

Такие слова, как „грех“, „прекрасное“ и тому подобные, новая поэзия вынимает из уютных словарных гнезд, делает их частными, лишь одному субъекту принадлежащими. Слово неизбежно оказывается таинственным для воспринимающего его».

Замечательно, что гуманитарная мысль без интимизации тоже не может обойтись: точно так же, как понятия «грех», «прекрасное» и т. д. ведут себя в новой поэзии, в статье Андрея Арьева слова «провинция», «отечество», «чужой», «прозаический» теряют узуальное плоское значение и наполняются неожиданными смысловыми объемами: «Сама земная жизнь трактуется как провинциальная — в любой точке планеты, в том числе и в Париже, и в Петербурге, и в Царском», — сообщает автор ничуть не удивленному читателю.

В сущности, все наши примеры, все наши усилия сводились к тому, чтобы продемонстрировать это лирическое преображение, эту воспринимаемую таинственность.

Лирика, то есть волненье... то есть мысль... Всякая мысль тревожна, — заметил Набоков. А сейчас даже в поэзии *«не глубиною манит стих, он лишь как ребус непонятен»*.

Стремление соответствовать новому времени оправданно. В самом деле, не одна магия сменившихся цифр возвещает о наступлении иной веры. Грандиозные открытия фундаментальной науки XX века (квантовая механика, теория относительности) повлекли к психологической перестройке. Некоторые кардинальные понятия теоретической физики не могут быть представлены неподготовленному сознанию, ибо не имеют аналогов в практической жизни. Основные категории — пространство и время — подверглись серьезной коррекции. Однако *«необходимость описания Природы на новом языке, тесно связанном с математическим»*, утверждаемая физиком-теоретиком (А. А. Ансельм. — «Звезда», 2000, № 1), только укрепляет независимость и отдельность гуманитарной сферы, подталкивая к психологической точности, к человечности. Чем уязвимее человек, тем больше он, стремясь к прочности, нуждается в логике и объективности, но и наоборот: чем точнее научное знание и выше достижения цивилизации, тем больше сокровенное человеческое естество нуждается во внимании и защите.

Какая такая игра? — теперь говорят: литература — это игра, новое время — новая литература. Неужели в этом новом времени не достаточно компьютерных игр, игровых автоматов, кроссвордов и тому подобных занятий и дорогостоящие бумажные страницы, одушевленно шелестящие под рукой, — растущая их часть вбирает сопутствующий опыт, а убывающая — перспективу жизни, — неужели эти дорогие страницы следует посвящать инфантильному демону развлечений, не знающему о том, как *«душа стесняется лирическим волненьем»*, как она, бывает, *«трепещет и звучит»?*..

С.-Петербург.

---

---

ЕЛЕНА КАСАТКИНА



## JOHN BULL ВЗДРЕМНУЛ, ИЛИ «FIN DE SIÈCLE» ПО-АНГЛИЙСКИ

*Британская литература 90-х годов*

**С**разу оговорюсь, что современная английская литература не ошеломляет ни новыми именами, ни идеями, ни подходами, но озадачивает общим высоким уровнем и количеством добротных и очень разнообразных по темам романов. Попытаюсь нащупать некоторые закономерности, памятуя об индивидуальности каждого.

Надо сказать, что англичан не увлек поток сознания. Они не наследуют ни Джойсу, ни Беккету, а их знакомство с Фолкнером оставляет читателя хладнокровным. Отчасти потому, что названные авторы довели открытые ими приемы до логического конца, до тупика, из которого выбраться можно, только повернув вспять и по дороге потеряв собственное лицо; отчасти потому, что англичане, по-видимому из консерватизма, передоверили такого рода открытия ирландцам, но сами действовать в этом направлении не стали. Ритм повествования в современном английском романе отнюдь не двадцатого века. Его корни надо искать в викторианской эпохе, золотом веке Британии, где-нибудь у Томаса Харди и дальше к Джейн Остин. В двадцатом веке последним большим писателем считался Грэм Грин с его антиномией добра и зла, проблемами веры (начисто отсутствующими у нынешних авторов) и трагической иронией усталого человека в неразрешимой ситуации. Герой вызывал сочувствие, поскольку не мог решить, как надо жить. Современный герой сочувствия не вызывает, поскольку ирония осталась, а трагедия исчезла. А про жизнь автор знает только, как не надо. Притчи Голдинга не нашли отклика у современных авторов, равно как и пародии Фаулза на викторианский роман, и новояз антиутопии Оруэлла, а вот детективы Ле Карре попали на благодатную почву. Мастерски закрученный сюжет всегда был в английской традиции, но детективная фабула стала почти непременным элементом современного повествования. Объясняется это довольно легко, детектив — по определению жанр моралистический, где с каждой страницей приближается возмездие за нарушение заповеди «Не убий», а поскольку у англичан этика превалирует над эстетикой (не в пример французам, которых хлебом не корми, дай поэстетизировать зло), то детективу в английском романе зеленая улица.

Вообще говоря, причин этому несколько: во-первых, английская литература никогда не была литературой идей, поскольку находилась в разводе с философией, по преимуществу эмпирической, которая эти идеи в достатке поставляла (Беркли, Локк, Бэкон, Юм, Рассел, Уайтхед обслуживали часть общества, нуждающуюся в абстракциях); литература же занималась своим прямым делом — нравственными вопросами (тезис насчет «прямого дела» — спорный в разговоре о Набокове, но не об англичанах). Во-вторых, потеряв империю,

---

Касаткина Елена Николаевна — переводчик, критик. Окончила 1-й Московский педагогический институт и аспирантуру ИМЛИ РАН. Преподавала итальянский язык в Литературном институте и РГГУ. Переводила с английского И. Бродского и В. Набокова. Публикуется в журналах «Иностранная литература», «Знамя», «Звезда», «Новый мир»

англичане несколько растерялись и решили впредь держаться бесспорного: опять же моральных принципов. Отчасти этому способствует разваливающийся в силу социальных причин институт джентльменства, и попытка выработать некий моральный кодекс нации, всегда равнявшейся на свою аристократию, представляется государственной задачей. Главное, что объединяет современный роман Британии, — это чисто английский характер действующих лиц и конфликт на уровне «поведение, не достойное джентльмена». Английские авторы не любят пустой игры и открытых финалов, а предпочитают договаривать все до конца, возможно, из уважения к законченным формам. Англичане консервативны и самодостаточны, они не бегут в авангарде и не желают знать новых веяний. Их искусство негерметично, они открыты социуму, и в их романе всегда детально прорисована историческая обстановка. Дополнительной привязкой к реальности является охотное употребление имен политиков и причастность героев к историческим событиям, а чаще вовлеченность в них, и прежде всего отношение к ним, их толкование.

Но свести все к морализму англичан было бы несправедливо. У них столько всего за плечами, что современный писатель напоминает пророков и предсказателей Дантова «Ада», головы которых повернуты вспять. Эту муку английские авторы добровольно приняли при жизни: они гадают о настоящем, глядя в прошлое. Действие почти всех романов происходит в исторических декорациях, большинство героев — старики, лелеющие свою молодость или ютящиеся в своих воспоминаниях. Литература кажется ретроспективной, пожилой, степенной, лишенной будущего просто в биологическом смысле, поскольку в будущем только смерть, а жизнь, культура и проч. — в прошлом. Надо отдать должное этому ностальгическому взгляду, поскольку всякому понятно, что приятнее взирать на Шекспира, нежели на (имя вы проставите сами). Англичане на него и взирают: Шекспир как центр канона (обретший свое место благодаря Х. Блуму) нейдет из ума англичан. Его драматургическая мощь раздавила их настолько, что они и помыслить себе не могут прозы без его незримого присутствия. Отсюда почти обязательное наличие подмогтов в любом сюжете. Театр и музыка — любимые виды искусства англичан, живопись, по-видимому, оставляет их равнодушными, но они с удовольствием занимаются толкованием разных искусств, и присутствие примет культуры и цивилизации, шумящей аллюзиями, — важная составляющая любого современного романа (тут со всем этим может сравниться только интеллектуальная трепотня ипохондриков Вуди Аллена). Рассмотрим несколько романов (по алфавиту фамилий авторов — в силу их художественной равноценности), попавших в поле зрения русских читателей, сосредоточившись при этом на их фабуле (поскольку идей нам не занимать, а вот форма у нас плывет).

Роман Питера Акройда «Процесс Элизабет Кри» с подзаголовком «Роман об убийствах в Лаймхаусе» в общих чертах может представить себе любой школьник, если он хоть раз видел американское кино про маньяка, доведенного до такой беды жестоким детством и отсутствием родительской любви. Все остальные привнесения чисто английские. Действие романа происходит в 1881 году в Лондоне. Маньяк — женщина, Элизабет Кри, с чьей казни начинается роман; казнят ее по обвинению в отравлении мужа крысиным ядом, обвинению, кстати, недоказанному. По ходу всего романа мы следим за ее рассказом о своей жизни, перемежающимся материалами судебного разбирательства в форме вопросов и ответов, дневником Джона Кри, ее мужа, где он повествует о кровавых убийствах, совершенных им в Лаймхаусе, а также сведениями о работе Маркса в Британской библиотеке, о выступлениях великого комика Дэна Лино в лондонских мюзик-холлах и рассуждениями об убийстве как об одном из изящных искусств (отдайте должное джентльменскому набору: историческая декорация, детектив, театр, Маркс, едва не ставший жертвой маньяка, медитации над книгой «Романтизм и преступление»). И лишь на последних страницах узнаем, что Голем из Лаймхауса — это и есть певичка Лиззи



(она же Элизабет) с Болотной улицы, из любви к искусству устраивавшая кровавые зрелища, потрясшие весь Лондон, и сочинившая дневник от имени мужа, чтобы выставить его злодеем, от которого она избавила мир.

«Историю мира в 10 1/2 главах» Джулиана Барнса романом можно назвать лишь условно. Здесь он экспериментатор (конечно, по английским меркам). Это десять новелл, формально связанных между собой упоминанием горы Арарат и Ноева ковчега и объединенных темой, которая воспроизводится в разных временах и ситуациях, но почти всегда на воде, и возвращает к условиям всемирного потопа; тема эта, естественно, моральная, и сформулировать ее можно так: какую цену приходится платить за выживание. 1/2 главы составляет интермедия — своеобразный трактат о любви, которая, по мнению автора, и есть история. «История — это ведь не то, что случилось. История — это всего лишь то, что рассказывают нам историки». Поэтому автор произвольно выбирает своих историков: к примеру, рассказ о делении на чистых и нечистых и прочих «преступлениях» Ноя и его семьи во время плавания ведется «от лица» личинки древоточца, контрабандой, в бараньем роге, пробравшейся в число спасенных. Другая глава — попытка ответить на вопрос «Как воплотить катастрофу в искусство?» — выливается в серьезный искусствоведческий разбор «Плота „Медузы“» Т. Жерико, а третья — в историю астронавта, попавшего на Луну, где Бог велит ему по возвращении найти Ноев ковчег. Он отправляется на Арарат, чтобы там принять за кости Ноя останки паломницы, с которой мы простились за несколько глав до этого.

Роман Кадзуо Исигуро «Остаток дня», получивший Букера в 1989 году, — удивительный сплав японской оцепенелости и английской чинности, в сумме едва не давших новые поиски «утраченного времени». Но не хватило французской чувственности. Комбинация и вправду странноватая: англичанин боится дать волю чувствам, цель его — достойное поведение, а японец их и вовсе никак не проявляет, вежливо и непроницаемо улыбаясь. Две культуры сошлись в образе дворецкого Дарлингтон-холла, и вышло убедительно. Всю жизнь прослужил Стивенс у лорда Дарлингтона, передоверившись его мудрости и возведя в закон безоговорочную преданность. Упоительное холопство и самозабвенное лакейство (разумеется, отличающиеся от знакомых нам форм эмоциональной сдержанностью) захватили его настолько, что он не заметил и тем самым отверг любовь мисс Кентон. Политический крах хозяина, миндальничающего с нацистами, он принимает с той же безоговорочностью, имея суждения лишь насчет чистки серебра.

Роман Алана Ислера «Принц Вест-Эндский» — пожалуй, наиболее американский. Не потому, что действие его происходит в Нью-Йорке, где автор прожил двадцать пять лет, а по оживленности повествования, где гораздо больше тем, хотя и тесно переплетенных, но не подчиненных одному намерению, скрепляющему сюжеты других авторов.

Отто Корнер, немецкий еврей, после войны перебравшийся в Америку, на восемьдесят четвертом году жизни пишет воспоминания в доме престарелых на Вест-Энд-авеню на Манхэттене. Но это не унылая богадельня для брошенных стариков, а «гостиница-люкс для постоянного проживания». Описание жизни ее обитателей — самая веселая часть истории, ей проигрывают даже главы с эскападами дадаистов, будораживших Цюрих тридцатых годов. Пожалуй, ни в одном романе так подробно не описывается чувственная жизнь стариков, вожделение и бессилие («Либида старика подобно слону»), любовные драмы и просто драмы, которые человеку помоложе покажутся незначительными и смешными. Неизбежная драматургическая часть здесь представлена не только хепенингами дадаистов, но и любительским театром, где играют только классики, главным образом Шекспир: «В прошлом сезоне, например, нашей Джульетте было 83 года, а Ромео — 78. Но если воображение в вас еще

живо, это был колоссальный, блестящий спектакль. Правда, на премьере, убивая Тибальда, Ромео упал сам, и его пришлось унести со сцены на носилках. Теперь ищите его в Минеоле (местное кладбище. — *Е. К.*). Нынешний сезон отмечен постановкой «Гамлета», и интрига романа — в актерской карьере главного героя, проделавшего путь от исполнителя роли Призрака и первого могильщика до Гамлета и режиссера. Таким образом, темой для интерпретаций становится шекспировский текст. (Ислер отчасти пародирует интеллектуальный спор девятой главы «Улисса», где Шекспир объявляется рогоносцем и прототипом обманутого короля Гамлета.) Корнер, расставшись с ролью Призрака, в бытность свою могильщиком раскопал неслыханную глубину этого образа, а став режиссером, решает «выделить тему прелюбодеяния»: Гамлету открывается, что у Гертруды с Клавдием «были шашни» еще до смерти отца. Параллельно герой терпит фиаско на любовном фронте. Медсестрой, всколыхнувшей в нем воспоминания о единственной любви его жизни, овладевает семидесятилетний исполнитель роли Клавдия, неутомимый сатирик Фредди Блум (литературный родственник Леопольда). Сам Джойс на мгновение появится в одной из цюрихских глав, с которыми связана главная мистификация романа — история термина «дада», родившегося в результате несчастной любви героя. В Цюрихе герой встретится и с Лениным, который присоветует ему отвлечься на хорошенькую девушку.

Еще одна тема — евреи в фашистской Германии, — неожиданно увязанная по воле героя с Гамлетом, на чьей совести смерть по крайней мере двух женщин. Позиция Корнера, в ту пору публициста, не желавшего покинуть фатерлянд и призывавшего в своих статьях евреев не уезжать из Германии, поскольку они неотторжимая часть немецкого народа и его культуры, опрокинута гибелью жены и сына, самоубийством сестры. Тема эта не педалируется, в воспоминаниях нет ни лагерей, ни зверств, но есть жена, сошедшая с ума от страха за сына, сестра, повесившаяся уже в Нью-Йорке, и отравившиеся родители.

Элемент детектива (в истории с украденным письмом Рильке) — месть отвергнутой поклонницы героя, подбрасывающей ему шарады, чтобы окончательно сбить с толку.

Это роман о печальном итоге жизни, когда у тебя есть только прошлое, к тому же омраченное большой виной, и в нем тощая книга стихов, одна неразделенная любовь, два брака и письмо Рильке, и ты пытаешься задним числом усмотреть во всем этом Цель, Замысел и отождествляешь себя с Гамлетом еще и потому, что он тоже признавал Цель, которую в свой христианский век называл Провидением; но когда тебе восемьдесят три, гамлетовское «готовность — это все» как стоическое приятие смерти звучит куда пронзительней. Цель внезапно является в виде забеременевшей от Блума медсестры: будущему ребенку герой завещает все свое состояние. Цель пришла не снаружи, а изнутри (чужого тела).

Книга окрашена удивительным юмором с легким еврейским акцентом, и то и другое замечательно сохранилось в переводе: «Пусть я режиссер, но я не какой-нибудь Сталин». Или описание меню любимого ресторана стариков, где блюда носят имена артистов: «„Барбра Стрейсанд“ — это смесь мелко нарубленной щуки и карпа с тонкой приправой, искусно отформованная в виде рыбы», — еще одна дань любви к театру.

«Амстердам» Иэна Макьюена, букуровского лауреата 1998 года, — одна из немногих английских книг о современных нравах, в которой автор не прибегнул к литературным костылям аллюзий, воспоминаниям или отсылкам к другим историческим эпохам. Эпиграф из Одена и упоминание «Древа яда» Блейка — метафоры сюжета, и больше никаких цитат, кроме музыкальных. В чем секрет популярности романа, счастливо избежавшего многослойности, подтекстов, зеркал иных времен и честно обошедшегося своими скромными средствами с привлечением газеты и политики? В том, что его автор обнаружил основной механизм распада личности и вскрыл корни лицемерия, не потрудившись облечь механизм в кожу, а выставив его в разрезе. Два столкнув-

шихся интереса взаимоистребаются. Но как! Более крепкую и изящную конструкцию трудно себе представить. Все происходит так стремительно, что читатель не успевает опомниться. Итак, два старинных друга, известный композитор Клайв Линли и главный редактор газеты Вернон Холлидей встречаются на похоронах общей любовницы Молли Лейн и, потрясенные обстоятельствами ее болезни, договариваются о взаимной услуге: в случае, если у одного из них откажет голова, другой поможет ему умереть. На похоронах присутствует и последний поклонник умершей, министр иностранных дел Гармони, чьи фотографии в женском платье, сделанные Молли, оказываются в руках ее мужа и попадают в портфель редактора газеты. Для поднятия тиража газеты Вернон собирается их обнародовать, но друг обвиняет его в беспринципности. Сам Клайв дописывает «Симфонию тысячелетия», которую через неделю должны исполнять в Амстердаме. Тайно лелея мысль о своей гениальности, он уже встраивает себя куда-то между Пёрселлом и Бриттеном, но его амбиции еще выше, он хочет сравняться с Бетховеном и для этого отправляется в Озерный край, чтобы сочинить заключительную тему. Увлеченный музыкальной вариацией, он оставляет без внимания женские крики о помощи и не сообщает в полицию о совершенном на его глазах нападении. Зато его друг Вернон сообщает в полицию о недоносительстве, и вместо работы над величайшим финалом Клайв вынужден участвовать в опознании. Финал симфонии скомкан, недотянут. Моральные претензии растут вместе с ненавистью. А «у тех, кто растревляет себя мыслями о несправедливостях, бывает так, что жажда мести полезно соединяется с чувством долга». Каждый из героев охотно морочит себя, лицемерно маскируя желание уничтожить зарвавшегося друга мотивами общественной пользы: «...в последний раз — симптомы: непредсказуемое, эксцентричное и крайне антисоциальное поведение, полная утрата здравого смысла. Деструктивные наклонности, мания всемогущества. Распад личности». Уволенный после публикации фотографий, Вернон едет в Амстердам, чтобы свести счеты с Клайвом. Клайв в свою очередь решает, что Вернон принял свою судьбу, и невольно отдает себя в его руки. Обмен бокалами с отравленным шампанским — реверанс в сторону Шекспира (не зря в иерархии Клайва лишь он один среди соотечественников удостоивается безоговорочного звания гения). И два трупа, за которыми приезжают смещенный министр иностранных дел и муж Молли Лейн, с удовольствием отмечающий бреши в рядах бывших любовников Молли и подумывающий о панихиде по жене. Особое изящество построению, безусловно имитирующему музыкальную композицию, придают газетные репортажи, звучащие вариацией основной темы: рыбы-самцы, из-за плохой экологии превращающиеся в самок; сиамские близнецы, работающие в администрации округа, со следами укусов на лице, возникшими в результате разногласий; законы об эвтаназии у разумных голландцев, которым в разумности нет удержу, — милый английский абсурд или маразм профессии газетчиков? Но главная мысль Макьюена состоит в том, что в век профессионалов человек начинает отождествлять себя со своей функцией. Он действует не как имярек, то есть исходит не из комбинации души, ума, воспитания, воззрений, принципов, а как требует его функция, будь то сочинение музыки или издание газеты. Это и есть крах личности, и в случае столкновения интересов следует убийство себе подобного. Надо сказать, что и искусство от этого не выигрывает, поскольку Клайв, как выясняется, «ободрал Бетховена как липку», воспроизведя «Оду к радости» с разницей, может, в две ноты. «Назовете это постмодернистским цитированием», — насмешничает музыкальный критик, а с ним и автор романа, прекрасно справившийся со своей задачей без одного цитирования. Ибо драма этих людей, поставивших себя в зависимость от публичного успеха, состоит в том, что их тщеславие превышает их таланты, и эта драма в цитатах не нуждается.

Еще один роман, отмеченный Букеровской премией в 1996 году, — «Последние распоряжения» Грэма Свифта. Последние распоряжения — это предсмертное письмо мясника Джека, где он просит друзей развеять его прах над

морем в Маргейте. После смерти Джека его друзья и приемный сын везут прах в Маргейт, прокручивая в памяти семьдесят с лишним лет своей жизни, сын, соответственно, сорок. (Одно путешествие по Англии мы уже совершили в романе «Остаток дня» в сопровождении дворецкого Стивенса на автомобиле его нового хозяина.) История путешествия изложена в семидесяти пяти коротких главах, и в каждой рассказ ведет одно из действующих лиц — со своим грузом воспоминаний, взглядом на покойного и попутчиков, на мир и на ближних, со своим представлением о ходе путешествия. Каждая глава названа по имени говорящего, знаменуя, как в пьесе, последующий монолог, правда внутренний. В одной из глав слово берет покойный. «Ход путешествия и характеры складываются из фрагментов, у каждого из которых — своя перспектива. Больше всего это напоминает не мозаику, а картину кубиста, который дробит предмет на грани, увиденные с разных сторон и даже с разного расстояния, и перетасовывает их с тем, чтобы создать синтетический образ предмета». Это цитата из послесловия к фолкнеровскому роману «Когда я умирала». Именно так было организовано повествование в романе Фолкнера о путешествии семьи с гробом матери к месту, где она желала быть похороненной. Не стоит говорить о плагиате, сошлемся на *постмодернистское цитирование*, тем более что прецеденты уже бывали. Подобное сопоставление лишний раз доказывает, что в искусстве нет прогресса, но нас оно интересует, поскольку лишний раз высвечивает отличие английской и американской литератур. Удельный вес английского повествования, как уже говорилось, приходится на прошлое, герои скорее вспоминают, нежели живут настоящим, английская любовь к воспоминаниям определяет и выбор героев, которым за семьдесят, дети, кажется, вовсе исчезли со страниц английских романов и существуют опять же лишь в воспоминаниях. У Фолкнера герои молоды и одержимы преодолением настоящего, они сталкиваются со стихиями, устраивают и тушат пожар, спасают гроб из реки во время наводнения. Героическое путешествие фолкнеровских героев с абсурдной, казалось бы, целью (за десять дней пути труп матери разлагается) демонстрирует, что если проявлен героизм (один из сыновей, спасая гроб, ломает ногу, другой жертвует любимого коня), то ситуация перестает быть абсурдной. Она приобретает эпический характер. Свифт снимает все, что казалось абсурдным у Фолкнера, вплоть до замены трупа прахом. Роман Грэма Свифта в этом смысле просто чинная ритуальная история. Не зря один из друзей Джека — хозяин похоронного бюро. Одна небольшая драка над прахом, знаменующая кульминацию романа, не меняет этого впечатления. Коробку с прахом не треплют стихии, ее приносят в паб, Кентерберийский собор, к обелиску погибшим во Второй мировой войне, мясник Джек прощается со знаками цивилизации, культуры, истории. Полюса примерно такие: американцы — природа, ярость, естество, отсутствие прошлого, англичане — культура, сдержанность, правила, история.

Современная литература Британии выглядит несколько старомодно, но она обаятельна своей нравственной щепетильностью и прекрасна крепким построением с длинной родословной. Более всего она напоминает ситуацию «Вишневого сада», с той разницей, что запертый Фирс не спит, а лишь вздремнул, и проснувшись, не станет звать на помощь, поскольку верит в мудрость хозяев и желает оставаться джентльменом, то есть сохранять достоинство при любых обстоятельствах; ситуацию, где Лопухин — чужак Деррида, не вызывающий сочувствия у практиков и эмпириков Альбиона, мало доверяющих абстракции, тем более подрывной, а вечный студент Петя Трофимов, страшущий революцией снизу, — свой доморощенный поклонник экстаза, шотландец Уэлш, опять же с поправкой на то, что нация, избравшая образцом свою аристократию, не может быть смята быдлом, которому к тому же не суждено дотянуть до старости.



# Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

## РУССКИЙ АНЕКДОТ: ИЗМЕНЧИВОСТЬ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Евгений Федоров. Проклятие. Повесть. — «Континент», 1999, № 2 (100).

Вон из Москвы...

А. Грибоедов, «Горе от ума».

...В Москву! в Москву!

А. Чехов, «Три сестры».

**Ф.** Шиллер как-то заметил об эпосе: он целен в каждой своей части. Это наблюдение идет на ум за чтением новой вещи Е. Федорова. Среди современных русских авторов он, похоже, один из немногих эпичен в том значении, какое имел в виду немецкий писатель. «Проклятие» тематически не связано с главной (до сего дня) книгой автора — романом «Бунт», хотя нет-нет, на периферии появляются уже знакомые фигуры. Произведение — самостоятельно и законченно, однако в контексте творчества Е. Федорова оно приобретает дополнительные смыслы, то есть, будучи цельным само в себе, принадлежит куда более внушительному целому авторского творчества, как и подобает феномену эпического жанра.

Излагая «Одиссею», Аристотель писал: «Некто много лет странствует вдали от отечества... а его домашние дела между тем в таком положении, что женихи истребляют его имущество и злоумышляют против его сына; сам он возвращается... спасается, а врагов уничтожает. Вот, собственно, содержание „Одиссеи“, а все прочее — эпизоды».

Так и «Проклятие». Мать-еврейка залепила сыну пощечину за то, что он перешел в православие и сделался священником. Его дети и внуки то безумно любят новую веру, то проклинают. Остальное — эпизоды, но они и составляют содержание драмы нескольких поколений этой семьи — от эпохи Александра III до конца 90-х годов XX века. Опуская оговорки, прибавлю, что Е. Федоров осуществил замысел блоковского «Возмездия», так и не написанного поэтом романа в стихах.

«Отцы и дети» — такова схема повести, старая, как мир, — или, говоря патетическим языком недавней эпохи, связь и преемственность поколений. Книга Федорова не столько безжалостно, сколько походя и не придавая этому значения, разрушает любую патетику, но не публицистически, а художественно. Какая, в самом деле, патетика, если сталкиваемся с архетипом, который требует осознания, а не восторгов или негодований.

В существенных эпизодах главными действующими лицами повести оказываются *подростки*. Посылает проклятие России один, юный интеллектуальный гений — и уезжает в Израиль, где благодаря выдающимся способностям занимает видное место. Его сын, родившийся там, возвращается в Россию в том же возрасте, в каком отец ее покинул, — некоторое контрпроклятие и традиционная, увы, метафизика «отцеубийства». Сыновья поворачивают вспять, словно и не было отцов; ничему не учатся у них, живут якобы своим умом, а на самом деле, не отдавая себе отчета, мечутся в предписанном круге «детства-юности», так и не становясь взрослыми.

Да и в самих проклятиях родине-матери слышится подспудный страх расстаться с ней; кричат и бранят, чтобы сжечь за собой мосты, ибо инстинктом знают, что все же вернуться (не они, так дети), невзирая на чудовищные и справедливые инвективы. Есть что-то в этом месте, что тянет назад, где бы ты ни был, вопреки доводам самой безупречной логики.

«Отцами и детьми» определяется сквозной мотив «Проклятия» — наследственность, не в узко биологическом, а в метафорическом смысле, — который и позволяет решить... Нет, не решить: в книге *нет решений*. Я хочу обратить внимание чи-

тателей на редкую у современных русских авторов черту Федорова: подлинный художественный талант *не знает* решений, ибо занят *воплощением*, а тут всегда «за» и «против» живут вместе.

Наследственность, смена поколений — от этого, разумеется, никуда не уйти, хочешь или нет. Но соединить наследственное с изменчивым, разорвать роковой циклизм *детства — отрочества — вечной юности*, после которых наступает не зрелость и даже не старость, а какая-то патологическая дряхлость, — вот в чем видится мне художественный смысл повести, а не в изображении доли русского еврейства, как полагают одни критики, или в трагикомическом освещении судьбы двух мессианских народов, по мнению других.

В «Проклятии» воссоздана ситуация, которую, как ни парадоксально для страны с тысячелетним прошлым, можно описать так: наконец-то осознана необходимость *своей истории*; бесперспективность подростковых импульсов там, где требуются не судорожно-эмоциональные реакции, а зрелое, мужественное (синоним зрелости) суждение и действие. Чистая, природная, генетическая («Эдипова») предназначенность исчерпала ресурсы.

Повесть вызывает мысль, что Россия подошла к порогу, за которым ее ждет *другая судьба*: преобразовать генетическое, наследственное, маятниковое «отцы-дети» в историческое; прервать нескончаемую череду «Эдипова отцеубийства» и войти в собственную историю (впрочем, не бывает другой).

Герои Федорова силятся изменить свои судьбы, но в их личных попытках я прочитываю — заслуга автора и знак высокого качества художественной работы — судьбу отчизны. Что ж, не впервые для нашего самосознания именно в литературе воплощаются животрепещущие проблемы национального житья-бытья.

Один из персонажей, товарищ Анна, дочь отца, проклятого матерью за переход в православие, с головой кидается в революцию. Возникает — не могу решить, с авторским умыслом или нет — мысль о революции как проклятию циклизма, как о чуме, посланной богами на Фивы (Россию) за Эдипово отцеубийство. В древнегреческой легенде чума оставила город после того, как отцеубийство было признано, *осознано*, и Эдип, ослепив себя, добровольно удалился в изгнание. До поры до времени ничего похожего не испытывают персонажи Федорова. «С легким веселым сердцем наша восторженная героиня изверглась из отцовского дома (так ни разу не вспомнила за всю жизнь об отце, его судьба ей неизвестна) ... что, в сущности, значило и сводилось к тому, чтобы совсем отказаться, публично, принципиально, от заторных родителей...»

Проклятие, удвоившись, возвратилось: мать прокляла сына, а его дочь «прокликает» своих отца и мать — страшный циклизм «отцеубийства», который изображен писателем как своего рода проклятие божье народу, фанатически не желающему осознать греховность «отцеубийства».

Отказ революционерки от родителей, стремление жить *заново*, как если б никаких родителей не было, — в этом и состоит метафизическое проклятие, следствием какового оказывается революция (так сказать, фиванская чума) и все, что происходит со страной по сей день.

Известна максима: революция пожирает своих детей. В повести воспроизведен старый миф: Кронос пожирает собственных сыновей, ибо оракул предсказал, что один из них «съест» его — отнимет власть. Любая революция действует по аналогичным мотивам. Короче говоря, товарищ Анна попадает в сталинский концлагерь — естественный, как видим сейчас, эпизод циклического развития России. В лагере она, амазонка революции, безумно влюбляется в русского юношу и, вдохновленная любовью, думает: «Есть реальная история, она на небесах, только она, ее Небесный Иерусалим, истинны, а мы живем в профанном мире, который есть лишь тусклое отражение великой идеи... все то, что творится на земле грешной, оно забывается, зачеркивается, перечеркивается».

После смерти Сталина пламенная революционерка, фанатик Небесного Иерусалима, старевшая и реабилитированная (со всеми приличными после обязательных мук почестями — тоже фрагмент циклического развития), товарищ Анна заболевает — у нее душевное расстройство. Ее помешают в психиатрическую больницу, и лечащий врач ставит диагноз: «...болезнь в том и заключается, что она

слишком любит советскую власть, которая ей крепко врезала, душа повреждена идеей... Чем сильнее вы больны, тем сильнее советскую власть любите».

Вот куда завела «историческая генетика»: не проходит бесследно «отцеубийство», в конце концов начинают любить палача, и чем сильнее мука, тем жарче любовь. В самом деле, *особый путь*, потому что особая психология. Горбатого могила исправит.

Алексей, муж Анны, не дожил до рождения дочери и погиб на одном из этапов пересылки. Марина рождается сиротой, повторяя судьбу матери, — та по своей воле отказалась от родителей, так и не узнав, что стало с отцом, тоже предавшим своих переходом в православие и тоже погибшим в сталинском концлагере. Сиротство из поколения в поколение, когда вольное, когда нечаянное, — физическая и метафизическая безотцовщина.

Извечный русский бунт детей против отцов, бессмысленный и потому беспощадный, и на сей раз принес свои плоды. Дочь до такого остервенения враждует с матерью, пламенной революционеркой, которая продолжает пылать, сжигая саму себя, что однажды не выдерживает и срамными словами изгоняет мать. Та тоже не выдерживает и, вернувшись домой, лезет в петлю. Марина остается полной сиротой: отца не знала, от матери отказалась — тот же русский цикл.

После четырех дочерей, красавиц и умниц, у нее рождается пятый ребенок, Павел, урод — еще одно воплощение проклятия. Снова напомним, за что прабабка Марины прокляла ее деда, отца матери-самоубийцы. За то, что он, еврей, «не только крестился, но и стал православным священником, батюшкой, в рясе ходит, прихожанки руки ему целуют, ну и запустила прабабка проклятие — первопричина нашего сюжета, каким-то образом испортила гены».

С этими генами прямо беда. Приходилось ли замечать читателю, что в последние годы, может быть, лет десять или чуть больше, тема генов полюбилась нашей литературе: «Николай Николаевич» Ю. Алешковского, «Белые одежды» В. Дудинцева, «Клетка» А. Азольского? Словно действует какая-то интуиция: здесь и нигде больше скрыта причина нашего нерушимого циклизма, сродного хронической болезни, и, куда не излечимся, обречены на повторение одного и того же, осуждены на безысторическую жизнь.

Так и происходит с Мариной, искательницей града божьего на земле, где его нет, не может и не должно быть. Отчаявшись от измен мужа (тоже искателя — он становится диссидентом), Марина принимает отраву и убивает своих детей, открыв газовые краны, — очередной вариант родового проклятия. Вслед за Эдипом всплывает образ Медеи.

Как дети «убивают» отцов-матерей, отказываясь от них буквально и метафорически, так те убивают детей, чтобы «стереть» записанное в генетическом коде. Автор спрашивает: «...неужто действуют имманентные, внутренние законы, самоосуществляющееся проклятие? А что, если проклятие прабабки поразило пресловутые гены? ...Ну тогда дело швах!»

Вот именно: если дошло до генов, поправить трудно. Тем не менее причина осознана, и потому сохраняется надежда. Как на что? Поняли, что больны, теперь надо выздоравливать, стоит лишь захотеть. Гоголь (не однажды упомянутый в повести), видно, не захотел выздоравливать, мы можем захотеть.

Итак, из пятерых детей Марины уцелел последний, недоносок Паша. «Газ не только не убил его, напротив, действовал как целительное средство...»; «У недоумка Паши проснулись многие и разнообразные таланты и свойства ума необычайные, пугающие...»; «Он в 14 лет спокойно рассуждает о книге Иова!».

И этот мальчик, дитя, подросток (вспоминаете, читатель, наш архетип?), сын русского и полуеврейки, в свои четырнадцать лет додумался до мысли, будто иудейство и было подлинным христианством, а православие только и делало, что служило сатане.

Не полное ли отречение от отцов и праотцев, от того, в частности, чем жила его прабабка, проклятие которой живет и живет? Абсолютно естественным в логике юного гения выглядит и следующий шаг: спустя два года он порубил все иконы матери и своей русской бабушки. «А теперь, — не без основания пророчествует автор, — от идиотки-бабушки — жди оды Гитлеру...»

Это и есть «русский анекдот» — между Марксом и Гитлером, и оба в один, заметьте, голос твердят о тысячелетнем царстве на земле. Гитлер избавлялся от

Маркса и коммунистов не как от идейных противников-антиподов, а как от непрощенных соавторов и нежелательных конкурентов.

Федоров тянет и тянет «красную нить» повести — тему изменчивости и наследственности: Паша, «сын... самоубийцы, внук сумасшедшей в точном смысле слова старухи, свирепой революционерки... самоубийцы...». Хочется добавить: и сам самоубийца, и не так уж я буду не прав. Дело не в яблочке, которое падает недалеко; не по плодам их узнаете их, а по корням. Логика юного персонажа самоубийственна потому, что возвращает к не единожды бывшему «отцеубийству».

Об этом «генетическом проклятии» написана повесть — как же еще определить и впрямь проклятое маятниковое движение: туда-сюда, из Москвы в Москву; сколько раз натыкались лбом, часто — до снесения головы, убеждались, что на этом пути дороги нет, — и снова туда.

Однако стоило Паше уехать из России, и как рукой сняло — выздоровел. «Сверзился с облаков фантазии в нормальность и прозу, без завихрений, пафоса, никакого визионерства... устроился вне хрустального дворца, всемирного братства... без поэзии, красивых мифов и вечных русских утопий, разумен и до абсурда рационален, просто стал взрослым...»

На родине ты — вечное дитя, и даже имея своих детей, остаешься ребенком-подростком-юношей, твоя «историческая генетика» расписана на столетия, изменчивость во всем, кроме наследственности. И отец — живой укор. «Богаты мы, едва из колыбели, / Ошибками отцов и поздним их умом, / И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели...» Есть два средства, чтобы не томила: 1) повзрослеть; 2) отказаться от отца, причем отказ возможен и в форме бегства с родины.

Так и поступил герой повести: уехал, чтобы не возвращаться. «Напрягся, потягался Паша с всеильным фатумом... одолел (одолел и демонов), сбросил его... Нет никакого фатума... Разбирает интерес, утыкаемся в напрашивающийся вопрос...»

Легко догадаться в какой: точно ли нет фатума? И точно ли изжита, по крайней мере для нас, история Эдипа? Но каким бы ни был наш ответ, всегда остается нечто безответное. «Русь... дай ответ! Не дает ответа!» (Гоголь, «Мертвые души»).

Сын Павла, родившийся в Израиле от матери-еврейки, Илья, как было сказано, потянулся «в Москву, в Москву!». ...«Какую... совесть надо иметь... чтобы так относиться к родителям...» — рассуждает этот подросток, вспоминая оставленного в России деда. Как будто повзрослел, одумался, но тогда зачем отречься от своего-то отца? Все та же «генетика», тот же круговорот, возвращение в Москву — надежда мира, сердце всей России, третий Рим, а четвертому не быть. «Есть такая точка зрения, — пишет автор, — что судьба троянских героев определилась в момент жаркого соития Леды с лебедем, под видом которого явился сам Зевс: Леда родила прекрасную Елену!»

«Опечатка» мифологии, дефект фонетики насморка: не от Леды, а от Лены родилась опять-таки Лена, прекрасная, и с тех пор так и повелось, вплоть до наших дней. Сын Павла возвращается в Россию, знакомится с «ортодоксально православной» прекрасной Катей — без труда соображаем, что из этого выйдет — новая «Троянская война», сначала проектирование хрустального дворца, потом война за него, а потом дети вновь проклянут и его, и отцов. «Демон проклятия совсем и окончательно вознамерился гулять в нависающих столетиях, вечно: неодолим».

Валерий МИЛЬДОН.



## ПОКА НЕ ОСУШЕНА ЧАША

Александр Ревич Чаша. Стихотворения. Поэмы. Переводы. М., Научно-издательский центр «Ладомир», 1999, 208 стр.

**Ч**увство уходящего времени особенно обостряется в конце пути. Возникает ощущение, что ты не успеваешь сказать что-то очень важное, едва ли не самое главное. А сказать это жизненно необходимо, пока не иссякли силы, пока не



осушена чаша. И тогда охватившая тебя тревога мобилизует сознание, память, пробуждает «творческие сны». И вдруг на излете века упрямо и грозно вспоминается танковая атака, пережитая тобой — двадцатилетним — на пике войны, под Сталинградом.

Когда вперед рванули танки,  
кроша пространство, как стекло,  
а в орудийной перебранке  
под снегом землю затрясло,

когда в бреду или, вернее,  
перегорев душой дотла,  
на белом, черных строк чернее,  
пехота встала и пошла,

нешадно матерясь и воя,  
под взрыв, под пулю, под картечь,  
кто думал, что над полем боя  
незримый Ангел вскинул меч?

Но всякий раз — не наяву ли? —  
сквозь сон который год подряд  
снега белеют, свищут пули,  
а в небе ангелы летят.

1997.

Подумайте: для того чтобы черно-белый «позитив» боя (именно «позитив», ибо тот бой был праведным), для того чтобы он высветился в сознании, а вместе с ним проявился «незримый Ангел», потребовалась духовная экспозиция продолжительностью в полстолетия! Увиденное и прочувствованное в ту пору вновь пережилось теперь, но только теперь добавилось то, что было незримым тогда.

Поэт осуществляет свою миссию интуитивно. Понимание главного в жизни не дается ему в виде законченного «резюме», не возникает как прямая формула, но ассоциативно, но косвенно может явить себя неожиданно вспыхнувшим чувством острой сопричастности жизни. Обнаружиться в трепетании дерев, переданном, как бы в забытьи, неумолчным шелестом «лесных» согласных:

В сон врывается листва,  
море лиственного леса,  
кров древес, ветвей завеса,  
древний облик естества...

Обнаружиться в минувшем счастье, чья позабытая явь вызывается из небытия, расцвечиваясь красками сновиденья:

Ах, эти дни, ах, эти дни,  
студеные и голубые,  
где травы ежатся в тени,  
но зеленеют, как впервые,

где из глубин туманных сна  
вдруг наплывает блеск разлива,  
береговая крутизна  
и утопающая ива,

и солнце в стеклах красных стен,  
в таких, что вздрогнешь, захолив,  
и листьям будущим взамен  
еще нагие сучья кленов.

Ах, эти дни, где нет помех.  
Где выкладка не тянет плечи,  
где незнакомый женский смех —  
знак ожидания или встречи.

Ушло — попробуй догони,  
узнай, что в дверь уже стучится.  
Но снятся, снятся эти дни,  
а прочему не надо сниться.

Одна из загадок творчества состоит в том, что придумать такие стихи нельзя. Их естественностью обеспечена безусловность и безусловность их появления на свет. Поверьте, они пишутся почти так же просто, как читаются! Бывает, что целые строфы возникают в готовом или почти готовом виде. Дело за малым: чтобы они возникли, надо быть поэтом.

Надо быть поэтом, чтобы, взяв эпитафией «за мороженые дрожжи» К. Галчинского, окунуться в «водяную пыль» вечернего Кракова, чья дождливая тоска преображается во все нюансы животворной меланхолии, ведь печаль поэта — это воспоминание о неуголенной любви.

Над Краковом сырая мгла,  
искрится мелкий дождь над Краковом,  
и повторяют блеск стекла  
бульжники отливом лаковым.

Вот он — город-причуда, город-мираж:

...где в белизне своей лебяжьей  
мелькнет невеста, сноп цветов  
и ленты в грибах рысаков...

А замороженная пролетка кружит и кружит между Краковом и Петербургом, Москвой и Варшавой, пока не останавливается, наконец, в Аллее Роз у дома, где живет вдова — пани Галчинская. Шести строк достаточно, чтобы нарисовать ее портрет:

...И женщина в дверях возникла,  
нездешний лик времен Перикла,  
с чертами, как из-под резца,  
но все же польские сугубо  
печально сомкнутые губы  
в мерцанье смуглого лица...

Короткие поэмы Александра Ревича (а их в книге одиннадцать) растут непринужденно и прихотливо, как деревья. Больше света — длинной строфа, меньше — короче. Рифмы: то перекрестные, то опясные, а то вдруг затеется длинный-предлинный монорим или пойдет белый стих... Все это возможно оттого, что «условия роста» не заданы заранее. Они меняются по ходу дела в такт душевному движению автора, и соответственно меняется форма произрастания стихов. А она у поэта каждый раз отточена настолько, что самому ему такая отработанность начинает казаться излишней роскошью, своего рода недостатком от избытка.

Тем не менее вряд ли читатели захотят сетовать Ревичу на этот его «недостаток», так отчетливо выразившийся, например, в переводах европейской классики, которые стали для поэта высшей школой литературного мастерства. Уровень поэтического перевода, унаследованный Ревичем от своих учителей (Пастернака, Анткольского), ревниво оберегавшийся его друзьями (Тарковским, Штейнбергом, Липкиным), поддержан им с такой убедительностью, когда оригинал и перевод воспринимаются как единый разворот двух раскрытых ладоней: их рисунок не тождествен, но это родные руки.

Как возгласы птиц, всполошенных во сне,  
Слетаются воспоминанья ко мне,  
Слетаются к сердцу, желтеющей кроне  
Склоненной ольхи, отраженной в затоне,  
В лиловом зеркале мерцающих вод  
Печали, которая тихо течет,  
Слетаются, слышится ропот невнятно,  
Но ветер уносит его безвозвратно,  
И шум затихает в листве, и слышна  
На грани мгновенья одна тишина,  
Ни звука, лишь голос, осанну поющий  
Тому, что прошло, лишь томящийся в куще  
Струющийся голос пичуги лесной,  
Любви моей первой, воскресшей весной,

И в грустном сиянье луны восходящей,  
 Столь царственно бледной над темною чашей,  
 Задумчивой душною ночью, когда  
 Безмолвствует мрак и притихла вода,  
 Лишь ветер над синью качнет, яснолицей,  
 Дрожащее дерево с плачущей птицей.

Это чистая поэзия. Поэзия как таковая. Живи Верлен среди нас и читай по-русски, вряд ли он отказал бы Ревичу в равном праве на своего «Соловья». Так же, как возница Галчинского наверняка не пожалел бы места в замороженных дрожках, встретиться ему у Мариацкой башни гость из России.

Две важнейшие вещи совпали в Ревиче: судьба и культура. Их соразмерность необходима художнику, но в таком равновесии дается не часто. Без судьбы он рискует превратиться в «культуролога». Без культуры не сумеет правильно выразить и осмыслить себя в масштабах поколений. Жизненность и книжность призваны уравновешивать друг друга. Их абсолютная гармония явилась в Пушкине. Однако и та компания, в которой оказался Ревич, — общество Агриппы д'Обинье, Петрарки, Гёте, Бодлера, Мицкевича, без сомнения, не только уравновесила чашу судьбы, но и расположила к трезвой самооценке. Жажда первенства, если она и была, уступила желанию более скромному, зато и более реальному: быть хоть в какой-то мере достойным этого круга. А верность своему предназначенью помогла обрести и сохранить достоинство. История религиозных войн во Франции, запечатленная в «Трагических поэмах» д'Обинье, за перевод которых Ревич был удостоен Государственной премии России, вряд ли могла зазвучать по-русски, не пройди поэт двух школ: военной — судьбы и переводческой — культуры.

Между тем, наверное, есть в книге «Чаша» стихи, которые вызовут у читателя большее или меньшее сопереживание, прочитаются или просто пролистнутся. Возможно, не всех в итоговом избранном устроят поиски авторского «я» ранней лирики, «японские» или «дантовские» стилизации, момент «туристической» составляющей итальянского цикла. Такая традиционная и вместе с тем усложненная поэтическая форма, как венок сонетов, представлена в книге двумя произведениями, чтение которых требует некоторого «преодоления». Но очевидно и то, что никакие прихоти читательского восприятия не в силах бросить хотя бы тень сомнения на профессиональную добросовестность автора, обширность его общелитературного багажа, выверенность поэтической речи. Подобная ответственность за произнесенное слово внушает полное доверие к работе поэта. Однако сама по себе эта ответственность, сами по себе богатство, точность и разнообразие знаний еще не обеспечивают того главного, чем живо искусство: присутствия Духа. Они только подготавливают почву, настраивают, сосредоточивают, до поры благотворно замыкают уста. Не все то поэзия, что рифмуется. Пусть рифмуется легко и гладко, дарует переменчивость ритмов, игру ума, смену стилистических регистров. Не все... Помимо этого нужна бессознательная «лирическая тяга», внутренний зов, вызывание иных пространств — нужна та энергия страсти, что именуется чародейством — или чудотворством, смотря по тому, откуда исходит зов. Есть поэты богоискатели, есть богоборцы. Но та чаша, которую осушает поэт, не чаша Святого Причастия. Скорее это чаша жизни, а в ней растворена и капелька Христовой крови, когда в нимбе зыбкого зноя, словно прощаясь, Он является нам над исчезающей вереницей окутанных солнцем холмов.

Дали, беленные мелом,  
 мы никогда не покинем,  
 черные птицы на белом  
 видятся в мареве синем,  
 а далеко за пределом  
 край, где раздолье поляням,  
 кашкам, репьям и осотам,  
 всюду растущим по склонам,  
 по каменистым высотам,  
 голым, безводным и сонным.  
 Кажется, в этих вот далях,  
 здесь на бесплодных откосах

путник в белесых сандалях  
шел, опираясь на посох,  
и под шатром небосвода  
легкие марева пыли  
вкруг головы пешехода  
солнечной дымкой светили.

Алексей СМИРНОВ.

\*

## СЕРЖАНТ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ И ЕГО НАСЛЕДСТВО

Илья Ильф. Записные книжки 1925 — 1937. Первое полное издание.  
Составление и комментарии А. И. Ильф. М., «Текст», 2000, 607 стр.

**К**огда-то Ролан Барт изящно доказал, что особой вундеркиндской поэзии не существует. Есть просто стихи, хорошие либо плохие, и просто стихотворцы, талантливые или нет, независимо от их возраста.

Само собой разумеется, задача была не из легких, но все-таки разрешимая, потому что, как всякий структуралист, Барт, по анекдоту, одолевал препятствия, собственноручно им созданные.

В данном случае, думаю, затруднился бы и он. Могут ли быть какие-либо скидки и оговорки при сочинении примечаний? Составитель этой книги считает — могут. «Почему я взялась за публикацию? Я не литературовед, не текстолог, не архивист. Но у меня не было идеи создать сугубо научные комментарии. Готова записные книжки, я просто ощущала себя *рядом*».

На языке публикатора это значит пользоваться семейным архивом, разглядывать фотографии, сделанные самим Ильфом, читать его письма или книги из его библиотеки. Парадокс в том, что так поступил бы любой комментатор, получи он соответствующую возможность.

Однако профессионал (по крайней мере старой школы) вряд ли написал бы, что Ильф с женой рассматривают «Всемирную энциклопедию», под фотографией, на которой без труда различимо название журнала «Всемирная иллюстрация». Хотя название и перевернуто, специалист и существует, дабы расставлять все на свои места.

И точно так же профессиональный комментатор, скорее всего, не решится утверждать, будто американские дневники (1935 — 1936) печатаются впервые. Он просто вспомнит о собственной публикации: «И. Ильф. Американский дневник (1935 — 1936). Публикация А. И. Ильф. — В кн.: „Литературное наследство“. Том семьдесят четвертый. Из творческого наследия советских писателей. М., 1965, стр. 537 — 576». Непрофессионалу простительно и подзабыть досадную мелочь.

И опять-таки, вряд ли рискнет профессионал при составлении комментариев в качестве доказательства ссылаться на художественное, откровенно беллетристическое произведение В. П. Катаева «Алмазный мой венец».

Зато человеку, так сказать, научных университетов не кончавшему, дозволено многое. Он может цитировать, игнорируя часть цитаты, ну, например: «Жираф — солидное приданое для молодой девушки», хотя в таком случае фраза теряет смысл. У Ильфа точно: «для молодой тропической девушки», и это видно на странице, воспроизведенной факсимильно. Да и фразы «Барашек — шашлык, отбившийся от стада» решительно не существует. Ильф придумал своего рода ребус и вместо первого слова нарисовал очень грустного барашка.

Между тем главная проблема любых мало-мальски осмысленных комментариев — избегать неверного толкования, не сбивать читателя с толку.

Примечание к фразе «Плотский поцелуй» напоминает о том, что у автора встречается фамилия Плотский-Поцелуев. А пафос фразы в другом — ведь это как бы антипод выражения «воздушный поцелуй».

Или, скажем, пояснение к фразе «У него была искусственная рука, и рука эта не знала жалости». Экая робость интонации, сомнение: «Может быть, о Нарбуте?» И далее цитата из «Алмазного венца». Точнее было бы предположить, что если

речь не о железной руке Геца фон Берлихингена, то о протезе с движущимися пальцами, сделанном для Фридриха Барбароссы.

Опять-таки, в гротескных именовании «Рене Гад и Андре Гад» не только «фонетическая игра», как утверждает составитель, предлагая сравнить с Андре Жидом. Автор-то знает, что был и такой поэт — Рене Гиль, и такой кинорежиссер — Урбан Гад.

И если речь зашла о кинематографе, знатоком которого был Ильф, автор многочисленных кинообзоров, следует попутно напомнить полдюжины простых истин, существующих в любом словаре:

у Виктора Борисовича Шкловского нет книги «60 лет работы в кино», у него есть книга «За 60 лет. Работы о кино»;

Альфред Хичкок не снимал фильма «Стекланный ключ», а фильм «39 ступеней» снят им не по роману Д. Хэммета, а по роману Д. Бачана;

Й. фон Стернберг по-русски зовется Джозефом фон Штернбергом;

и нет необходимости делать примечание «так!» в квадратных скобках к словам «на фильму уже не смотрят», ибо до определенного момента «фильм» был на русском языке женского рода.

Что же до загадочной фразы «„Миллионы” Экка» и глубокомысленного комментария к ней: «У Экка не было фильма с „миллионами”», здесь необходимо объясниться. Успех, выпавший на долю режиссера фильма «Путевка в жизнь», стал материалом для шуток и анекдотов. И в стенной газете, сочиненной для встречи Нового года в ленинградском Доме кино, есть, например, такой пассаж: «Экк (выходит на сцену, ковыряя в платиновом зубе бриллиантовой зубочисткой). — Когда я был в Париже и покупал галстуки на Рю д'Опера, продавщица, из белоснежной груди которой вылетали белыми голубями галстуки, спросила меня: „Что вы делали в Берлине, м-сье Экк?” (сморкается в червонец). Все это не секрет за семью печатями, достаточно заглянуть в «Киноведческие записки» № 40 за 1998 год, где опубликован текст газеты (кстати, там встречаются и другие любопытные подробности, но за неимением места придется их опустить).

И еще о двух емких, хотя и очень спорных догадках составительницы. Как-то неубедительно звучит, что она то ли читала, то ли слышала, будто «Татарским богом» называли Вс. Иванова. Судя по фразе, где опять-таки упоминается тот же персонаж: «Татарский бог в золотой тубетейке. Снялся на фоне книжных полок, причем вид у него был такой, будто все эти книги он сам написал», — это либо Горький, либо Демьян Бедный (оба в тубетейках, у обоих особый тип лица, а последний и впрямь так сфотографировался). Тут уж не предположения, а доказательства, хотя и косвенные.

И скорее всего, другое происхождение у формулировки «сержант изящной словесности». То, что Ильф так отрекомендовался в дарственной надписи на книге, еще не говорит о том, откуда эта формулировка взялась.

В сборнике «Парад бессмертных», посвященной знаменитому съезду писателей, высказаны следующие веселые мысли: «Говорят, появился даже чей-то проект — ввести форму для членов писательского союза... Примерно: красный кант — для прозы, синий — для поэзии, а черный — для критиков. ...И значки ввести: для прозы — чернильницу, для поэзии — лиру, а для критиков — небольшую дубину. Идет по улице критик с четырьмя дубинами в петлице, и все читатели на улице становятся во фронт...» И еще — предложение сделать знаки различия типа армейских — ромбы, шпалы и тому подобное. Между прочим, в книжке этой есть и сочинение Ильфа и Петрова.

Но — довольно, даже профессиональный комментатор не обязан все знать. Пусть. Обратимся к тому, что он не обязан знать, однако что знать ему было бы не лишним.

Сюжетов тут несколько, пунктиром отмечу лишь один. Составитель указал на фрагменты в записных книжках, посвященные Ю. К. Олеше, но фрагментов этих куда больше.

«Гениальную машину заставили выделять дрянь — пошлость», — записывает Ильф. Это — суть центрального монолога в «Зависти», монолога Ивана Бабичева. «Я изобрел машину, которая умеет делать все, — говорит он. — Но я запретил

ей. В один прекрасный день я понял, что мне дана сверхъестественная возможность отомстить за свою эпоху... Я развратил машину. Нарочно. Назло. ...Машина моя — это ослепительный кукиш, который умирающий век покажет рождающемуся. У них слюнки потекут, когда они увидят ее. Машина — подумайте — идол их, машина... и вдруг... И вдруг лучшая из машин оказывается лгуньей, пошлячкой, сентиментальной негодяйкой!»

И чисто олешинская тема звучит во фразе: «За время революции многие не успели вырасти, так и остались гимназистами».

Впрочем, дальше, дальше. Скороговоркой (в конце концов, кто из нас публикатор записных книжек?). Итак:

«Девушку выдавали замуж за налетчика» — это из Бабеля, вариация на тему одесских рассказов, где присутствуют и налетчик Бенья Крик, и девушка Баська, дочь кривого Грача;

фамилия Крыжановская-Винчестер, соседствующая с фамилией Шпанер-Шпанион, — одна из многих значимых фамилий у Ильфа. Романистка В. И. Крыжановская публиковалась под псевдонимом Рочестер. Романы ее отличались явной антиеврейской направленностью. Но ей — в записных книжках Ильфа — как бы противостоит некий Шпанер, быть может, тождественный Шпайеру либо Шпалеру (так на жаргоне именовался револьвер, слово, восходящее к еврейскому слову, переводившемуся как «плеватель»);

колбаса, имеющая особые собачьи названия: «Джек», «Гектор», «Дианка», — перелицованное прозвание колбасы «собачья радость» (а вовсе не выработанная из собачатины);

«нашпигованный сплетнями гусь» — прямой наследник не только гуся, нашпигованного яблоками, но и газетной утки;

одеколон «Чрево Парижа» — контаминация названий парижского рынка (а равно и романа Золя) и балета «Пламя Парижа»;

«гитара» — не музыкальный инструмент, а особая разновидность дрожек, то бишь калибер;

«церковный кирпич» — это кирпич из разобранной церкви, который потом использовали в социалистическом строительстве;

счетчик, летающий, как гроб, по комнатам, — воспоминание о повести «Вий»; паркетные мостовые Ленинграда — к тому времени еще не редкость, мостовые состояли из деревянных торцов;

«Нисхождение анекдота. В первый раз его приписывают самому высокому человеку в стране, а через день уже говорят просто — „один еврей“» — опять тема мифологическая, считалось, будто большинство анекдотов выдумывает К. Радек, большой остролов.

Фраза «Молодые люди в черных морских фуражечках с лакированными козырьками и их девушки в вязаных шапочках, ноги бутылочками» требует пространных пояснений. В. С. Шефнер вспоминал: «...хулиганские фуражки — „мичманки“ с длинными козырьками были нам не по карману. Их производила какая-то полусекретная кустарная артель, стоили они бешеных денег; покупали их богатые представители га́ванской шпаны. Между прочим, носить эти фуражки было опасно: шел слух, что чуть мильтоны завидят человека в такой „мичманке“ — сразу волокут его в милицию». Что же до девушек, упомянутых здесь, то одну из них можно увидеть на картине В. В. Лебедева «Девушка в футболке с букетом», датированной 1933 годом.

И в заключение последняя запись, которая будет здесь пояснена. Необходимость закруглиться продиктована заботой о читателях. Быть может, им захочется вклеить эти журнальные страницы в свой экземпляр обозреваемой книги, но как бы тут не лопнул целлофанированный переплет (кстати, в моем экземпляре он лопнул при чтении предисловия).

Так что же имел в виду автор, записывая: «Пойдем в немецкий город Бремен и сделаемся там уличными музыкантами (Сказки Гримм)»?

По крайней мере было бы странно, если бы герои оригинальной сказки называли город Бремен «немецким». Да у братьев Гримм этой фразы и нет. Появилась

она в пересказе, сделанном А. Введенским, и там означала мечту о свободе, мечту несбыточную.

Итак, пора прерваться. Скажу об ином — о том, с чего и начинались эти заметки.

Не знаю, верно ли утверждение, что для всех было бы лучше, если б в свое время Пушкин женился не на Наталье Николаевне, а на пушкинисте Щеголеве. Но что до классиков, если не всем, то некоторым было бы не лишним завести с дюжину детей. Уж коли настанет время издавать родительские труды собственными силами, по крайней мере из этих самых детей образуется особый творческий коллектив наподобие какого-нибудь сектора или кафедры научного института, и общими усилиями они воздвигнут сносные комментарии. А самое дальновидное — на всякий случай усыновить какого-нибудь литературоведа или, чего там, беспризорного редактора. И тогда можно спать на лаврах спокойно.

Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ.

\*

## А ЛЮБВИ НЕ ИМЕЮ

Священник Ярослав Шипов. Отказываться не вправе. Рассказы из жизни современного прихода. М., «Лодья», 1999, 128 стр.

**Н**ебольшие документальные рассказы о жизни «современного прихода» написаны профессиональным литератором — до рукоположения о. Ярослав Шипов выпустил несколько книг — и, несомненно, относятся к тому, что мы условно именуем «художественной прозой». Книгу о. Ярослава без напряжения сможет прочитать далекий от церкви читатель — и вряд ли почувствует себя незванным гостем на пире посвященных, — легко узнав известные ему литературные приметы. Стилистически рассказы о. Ярослава восходят к прозе деревенщиков, они написаны неспешным, разговорным языком, темы тоже, в общем, знакомые — русский Север, дикий русский народ, загадочная русская душа. Но узнаваемый материал подан в неожиданном ракурсе: повествователь рассказов — священник, в основе большинства его историй — личный пастырский опыт.

Для нашей литературы и быта это редкость. Во-первых, священник и писатель в одном лице — сочетание исключительное. (Мемуарист и собиратель церковных анекдотов о. Михаил Ардов не в счет, так как в жанровом смысле его вещи остаются за пределами беллетристики.) Во-вторых, непосредственным священническим опытом батюшки обычно предпочитают не делиться, все больше налегая на проповедь «истины ходячей». Заметим между строк: на наш взгляд, опыт этот уникален в своей экзистенциальной сущности и поучителен не менее общеизвестных христианских аксиом, ведь сводится он, собственно, к созерцанию встречи (или невстречи) человека с Богом — а что в мире важнее этого?

И тут бы в пору порадоваться — наконец-то молчание прервано, истории о. Ярослава о том самом.

Рассказчик — единственный на округу священник — ездит по огромным странствам совершать требы, и его «современный приход» — это не только немногочисленные посетители церкви, в которой он служит, но и весь тот громадный район, который он обслуживает, все те поселки и деревушки, куда его приглашают крестить, причащать, отпевать. Священник застаёт людей в самые пронзительные для их жизни моменты — и сколько возможностей открывается здесь перед писателем — сам Гоголь позавидовал бы! Книга о. Ярослава действительно вызывает ассоциацию с гоголевской поэмой-путешествием (в которой, по слову самого классика, должна была явиться «вся Русь»), структурно же сборник напоминает «Записки юного врача» Михаила Булгакова и воспоминания «сельского ветеринара» Джеймса Хэрриота. За каждым посетителем молодого врача и начинающего ветеринара — отдельная история и судьба. Тут бы и продолжить: тем более за каждым «пациентом» священника, того же врача, только приводящего людей в духовную врачебницу.. Но тут-то и приходится споткнуться, оборвать параллель.

В книжке о Ярослава много историй и ни одной судьбы. Двигаясь от рассказа к рассказу, мы с недоумением обнаруживаем сходство героев о. Ярослава с... героями Хэрриота, чьими подопечными были коровы, собаки, лошади, свиньи. Онтологическое скотство собственных персонажей для о. Ярослава — очевидность.

Тьма накрыла ненавидимый прокуратором город — мужики беспробудно пьянствуют и умирают друг за другом: один разбился на машине, другой угорел, третий утонул, четвертый лег под гусеницы собственного трактора, пятого просто убили («Поминки», «Крестины»).... О женщинах, о тех и просто нечего говорить: «...прав был архиерей: „С баб, наверное, и на Страшном Суде ничего не спросят. Ну что с них спрашивать? Чуда в перьях... Похоже, за все придется отвечать нам”» («Пшеница золотая»); женоненавистнические мотивы звучат и в других рассказах (см., например, «Ужин у архиерея»). Вера в «сглаз», языческое поклонение предкам на кладбищах в день Троицы («Святое дело»), просьбы к лешему помочь найти убежавшую кошку («Письма лешему»), старообрядцы, давно забывшие старые обряды и до неузнаваемости исказившие новые («Старшой»), — словом, «степень духовного одичания нашего народа невероятна». Но, может быть, это только в провинции, глубинке? Да нет, словно для равновесия о. Ярослав включает в сборник и полный гротескных заострений рассказ о посещении московского кладбища, на котором служит его приятель. Пышные похороны убитому руководителю крупного автокомбината устраивают непосредственные заказчики убийства («Новая Москва»). Похороны проходят по полной программе — с оркестром, заупокойной службой, мощной охраной. Один из охранников в благодарность за то, что священники отпустили его с поста сбежать за водкой, приносит им подарок — боевые гранаты. «Держите, отцы, пригодится... Ну, чего молчите? От души ведь!..»

Мрак, источаемый шиповскими грешниками, так густ, что черты их лиц почти неразличимы. И это кажется не случайным, за редчайшим исключением (которое представляет один из самых удачных, на наш взгляд, рассказов, «Равелин») ни одной прорисованной судьбы, ни одного законченного портрета здесь нет. Мимо батюшки несутся не живые люди, не лица — так, какие-то невыразительные пятна, мутные тени. Единственный до конца положительный герой сборника — сам батюшка. И дело здесь не в том, что рассказы эти по большей части — беглые зарисовки, краткие очерки, дело не в объеме и жанре — достаточно бывает и одного штриха, одной черты, чтобы человек встал во весь свой рост и судьбу. Просто о. Ярослав этого штриха, этой черты в своих героях и не ищет — с пьяницами, блудниками, безбожниками, лентяями, убийцами — все ясно и так. «Отказываться не вправе», позовут — батюшка совершит требу, отпоет и покрестит, но при этом неизменно храня меж собой и *ими* дистанцию непреходимую.

Но, может быть, дело в том, что автор пытается выйти на метауровень, он о делах не человеческих — Божиих. Очевидно, по авторскому замыслу каждый рассказ призван был стать благовестием. Ведь почти в каждом происходит чудо. Большое и малое, сверхъестественное и то, что легко принять за совпадение и случайность, скромное и бьющее в глаза, но неизменно совершающееся близко, совсем рядом.

Заболела женщина тяжелой болезнью, но перед операцией попросила батюшку крестить ее, отслужила в церкви молебен об исцелении — и хворь исчезла («Долг»). Надо было батюшке освящать пасеку, и страшно боялся он пчел, но пчелы («твари Божии») его не тронули («Пчелы»). Отслужил батюшка молебен перед началом сеяния хлебов, и пшеница уродилась в тот год небывалая, так что приезжали со всего района набираться опыта («Пшеница золотая»). Позвали батюшку причащать умирающего старика-охотника за шестьсот верст, но самолет сбился с курса, сел подзаправиться в одном поселке — и вскоре туда же неожиданно привезли того самого старика, чтобы доставить его в больницу. Слабеющий дедушка едва успел исповедаться и причаститься, как душа его покинула тело («Соборование»). Отслужил батюшка молебен об исцелении недужного над стариком, который с минуты на минуту должен был умереть, — старик вскоре поднялся («Лютый»). Как ответил один московский коллега о. Ярослава на вопрос, часто ли случались в его священнической практике чудеса, — «поденная работа»!

Однако вот странность — чудеса в книге обладают непременно двумя свойствами. Во-первых, чудо неотделимо от присутствия батюшки. Это, впрочем, мо-



жет иметь свои объяснения: священник — непосредственный слуга Царя Небесного, и вполне естественно, что небесные милости творятся его руками. Но во-вторых, и уже в необъяснимых, — чудеса здесь имеют обратную силу.

Исцелившаяся женщина так и не поблагодарила Бога за исцеление, и болезнь вернулась («Долг»). Восставший от смертного одра старик, в прошлом «лютый партиец», узнав, что к нему, пока он лежал в беспомощности, приходил «поп», очень рассердился, топнул ногой, и тут же его хватил новый удар, на этот раз смертельный («Лютый»). Агрономша, не пожелавшая отслужить перед следующей посевной молебны, никогда уже не получала такого урожая, как однажды — в тот год, когда батюшка молебен по собственному почину отслужил (что помешало ему повторить свой прошлогодний опыт невзирая на агронома, остается загадкой) («Пшеница золотая»). Печник, отказавшийся делать батюшке печку, тяжело заболел («Печное дело»). Возмездие не заставляет себя ждать. Милость Божия аккуратно уравновешена Его же мщением.

Оно понятно — свобода человека превышает всего, насильно никто с тобой чудес творить не будет, у неимущего отнимется, бесплодная смоковница обречена на гибель, и все же... Не подвергая сомнению подлинность историй о Ярославе, обратим внимание лишь на направление его взгляда. Концентрация мстительности, льющейся с небес, кажется почти невероятной. Будто и не небеса это уже, а судьба-злодейка. И автор в суровости к своим героям словно бы стремится не отстать от карающего их Неба, не замечая, что сам это Небо и сочинил, что под его собственные представления о судах Божиих и подверстываются истории.

Еще один, последний, пример. Рассказ «Праздник». По прихоти начальства шестисотлетний юбилей села, в котором служит рассказчик, перенесли со дня Преображения (по новому стилю — 19 августа) на июль. Местное руководство просит батюшку подсобить с хорошей погодой, отслужить молебен, но он доходчиво объясняет, что «к начальству Небесному обращаться с такой глупостью никак невозможно», и... — угадали? Правильно, в день праздника с самого утра в селе идет дождь, который кончается только после все же отслуженного батюшкой молебна на начало всякого доброго дела... Учитесь, неразумные, проникайтесь, кто здесь Хозяин. Так-то оно так, Хозяин Хозяином, но сколь же милосерднее этот Хозяин своих работников, если, по словам Писания, Его солнце светит равно для всех и Сын Его на просьбу предать огню не принявших Его отвечает Своим ученикам: «Не знаете, какого вы духа: ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Спасать не здоровых, но больных, которых с такой беспощадной иронией описывает о. Ярослав, — в том числе и невежественного культурника, вошедшего в церковь в шляпе и навеселе, и его «дамочку-секретаршу», пришедшую в храм, напротив, «безо всякого покрытия вытравленных кудрей», и даже бывшего «лютого партийца».

Конечно, не нам судить автора, который, видимо, по собственному горькому опыту знает, сколь бессмысленны и косны бывают люди, как трудно до них достучаться, как обидно наблюдать их невежество и хамство, как справедливы слова о метании бисера перед свиньями. И все-таки почему-то этих косных, пьяных, невоспитанных, неблагодарных, глупых, этих свиной жаль. Жаль и бедных колхозников, об урожае которых второй раз батюшка не захотел молиться. Жаль и заболевшего печника. Жаль и гада «лютого».

Мертвые воскресают, расслабленные встают, слепые прозревают, горы передвигаются, языком человеческим о. Ярослав владеет превосходно — дело за малым... Яркой по фактуре и материалу книге катастрофически не хватает тепла, не хватает любви. Честное слово, Хэрриот к своим пациентам был гораздо дружелюбнее.

Выход книги о. Ярослава мог стать фактом душеспасительным, а стал лишь общекультурным. Независимо от сильнейшего отрицательного заряда, заложенного в его сборнике, сама попытка поведать на языке художественной литературы о предметах для нее непривычных кажется весьма любопытной и, в общем, удавшейся. Вариант о. Ярослава довольно прост в исполнении — он показывает, что никакого особенного стиля, никакой новой образности для повествования о присутствии Бога, бытии Церкви в жизни людей не требуется. И об этом, оказывает-

ся, можно писать без пафоса и нажима, можно писать языком не ангельским — человеческим, потому что православие, православный быт здесь не особый извод реальности с легким привкусом эзотерики, а, собственно, сама жизнь.

А потому вопреки всему порадуемся. Порадуемся, что дверь все же растворилась, лед тронулся и единственный пока голос раздался. Первый блин, в общем, комом, что ж, подождем, подождем еще — других голосов воинов сего немалого православного воинства, других историй, другого опыта, другого тона.

Майя КУЧЕРСКАЯ.



## «К ОТЧЕМУ ДОМУ»

«Иерусалимский журнал», 1999, № 2.

**Н**овый толстый (под триста страниц) израильский литературный журнал на русском языке структурирован местной топонимикой. Городской пейзаж, точнее, его культурная проекция превращается в литературные подмости. Все происходящее в журнале, где бы и когда оно, по воле авторов, ни происходило, «на самом деле» происходит на этих улицах, в этом рельефе, на этих холмах, в этих воротах — самодостаточная модель космоса, заведомо вмещающая «все» и накладывающая на это «все» печать единства.

Что ж, в Иерусалиме есть Русское подворье, Немецкая колония, Французский холм, Арабский базар, площадь Нью-Йорка, но есть и Холм памяти, и Подзорная гора (ладный и неожиданный перевод), и Мусорные ворота, и улица Пророков — различные проекции большого целого, как бы приглашающие к большой литературной и (еще более широко) культурной игре. Но, правда, и создающие опасность платья не по росту.

Казалось бы, чисто формальный ход: замена привычных «поэзия», «проза», «публицистика» топонимическими эквивалентами, а сразу создается новое качество. Представьте себе литературный «Московский журнал» с рубриками: «Арбат», «Чистые пруды» да «Патриаршие пруды», «Лубянка», «Остоженка», «Лефортово», «Театральная площадь», «Соборная площадь» — кристаллизующие культурные и исторические смыслы.

В «Иерусалимском журнале» неперемненные для такого рода изданий «Рецензии» превращаются в «Новые ворота» (название одних из ворот Старого города). «Улица Бецалель» посвящена искусствам. Бецалель (Веселеил) — библейский мастер, резчик по металлу, камню и дереву — был поставлен Моисеем главой мастеров, соорудивших Скинию, Ковчег, священную утварь и изготовлявших одежды священников. Именем Бецалееля названа Академия художеств и прикладного искусства в Иерусалиме. И она тоже присутствует в ассоциативном ряду названий улицы и рубрики.

Первый (заявочный) номер журнала был хорош; второй, о котором пойдет речь, еще лучше. На улице Бецалееля появляется недавно умерший поэт, художник и книгоиздатель Израэль Малер. Материал, посвященный Малеру, представляет собой трехуровневое сооружение: это немало украшающие журнал, сообщающие ему дополнительное измерение рисунки художника; изящнейшее жизнеописание, сделанное поэтессой и художницей Сусанной Чернобровой; комментарий, или, в терминах автора, «сноски» к малерскому жизнеописанию Романа Тименчика, который в представлении, надо полагать, не нуждается. Классический талмудический ход: комментарий к комментарию. И Малер, и Черноброва, и Тименчик — рижане в прошлой жизни. Воедино сливаются визуальный ряд, воздух иных времен, пересечение Риги и Иерусалима, судьба мастера, личность которого и на балтийских берегах, и у горы Сионской была точкой кристаллизации культуры.

Все эти трое, разыгрывающие свою пьесу на улице Бецалель, отменно хороши. Вот очень характерный пассаж, где Черноброва — поэт, искусствовед, художник, эссеист и действующее лицо вместе:

«Мы созерцаем смерч, клубок линий и точек, нити этого клубка разматываются на наших глазах, рождая картину. Иерусалим и Рига наплывают друг на друга, меняясь местами во времени, и не ясно, где кончается иерусалимский пейзаж и где начинается Верманский парк в Риге с его эстрадой, воспетой еще Ходасевичем: „И с обновленную отрадой, как бы мираж в пустыни сей, увидишь флаги над эстрадой, услышишь трубы трубачей”. Пространство нарезано зазубренными ножницами на куски, зигзаги, и лоскуты сметаны кое-как. Плоскости сшиты грубыми нитками и поставлены под разными углами друг к другу, напоминая то дюнные ландшафты Рижского взморья, то иконные горки Святой земли».

Иконные иерусалимские горки — как увидела!

Пересечение разных миров очень характерно для журнала и его авторов. Вот Александр Лайко — обитатель Немецкой колонии:

Дни снега на Берлине редки  
Вид бедно оснеженной ветки  
Как бы «Ау» родимых мест,  
И отступают вновь окрест  
Сугробы, и кружится замять...  
Дырявая, но все же память  
Ведет в Москву, где вас, друзья,  
Вас, мертвых, догоняю я...

У стоящего во «Львиных воротах», в коих вполне достойно представлена израильская поэзия и проза, Семена Гринберга таких пересечений вроде и нет (в более ранних стихах были), однако же и он видит, хоть и мимоходом, за привычным («обыкновенным») иерусалимским пейзажем иной. Не в одном его стихотворении возникает, казалось бы, непременная и естественная, а здесь несуществующая, невозможная река.

Подборка стихов Гринберга названа «Дни творения»: он как бы ставит таким образом обыденную жизнь в большой контекст библейских первоначальных дней, хотя соответствия угадываются, если вообще угадываются, с трудом. А впрочем, что, разве в «Улиссе» соответствия так уж видны и очевидны?

Нежданный в здешних палестинах Владимир Набоков обретается сразу в двух иерусалимских местах, естественным образом переходя из Юбилейного квартала к Садам Сахарова. Если кто не знает, условные эти «сады» — озелененные террасированные склоны, встречающие на въезде в город поднявшихся из тель-авивских средиземноморских низин, где монументальный Бен-Гурион, раскрывший объятия гостям и паломникам, заслонил здешнего аборигена — святого Георгия. Эти «сады» — первое в мире мемориальное место Сахарова.

Публикация Юрия Левинга из Юбилейного квартала посвящена продолжавшейся всю жизнь дружбе писателя с его однокашником по Тенишевскому училищу Самуилом Розовым, с кем (мало кто мог бы похвалиться) Набоков был на «ты», и ставшим впоследствии прототипом одного из персонажей «Пнина». Самуилу Розову, кстати сказать, принадлежит авторство центральной автобусной станции компании «Эгед» в Хайфе и крылатой эмблемы военно-воздушных сил Израиля, сочиненной им за одну августовскую ночь 1948 года в ожидании высокого начальства, когда он служил на базе ВВС офицером по камуфляжу.

Последовательные сионистские симпатии Набокова как будто не вписываются в ставший хрестоматийным уже его образ человека, демонстративно далекого от политических страстей. Сия схема верна, но только до определенных пределов.

...Современному израильскому читателю, надо думать, любопытно будет прочитать и следующую строчку письма русского писателя, где тот выступает за создание на территории Палестины государства Израиль за два года до его официального провозглашения: «В человеческом смысле палестинская „проблема” так очевидна... да что мне тебе об этом говорить». И притом акцентирует свое отношение саркастически кавычками. Полагаю, что эти слова «любопытно будет прочитать» и читателю российскому.

В этом же письме, замечает Левинг, «следует коронная набоковская декларация, позже неоднократно повторенная в интервью, но сформулированная, по-ви-

димому, задолго до письма к школьному другу: „Я ничего не понимаю в политике; ею руководят ныне либо благонамеренные тупицы, либо лукавые подлецы”».

В 1967 году писатель собирался провести с женой часть августа во Французских Альпах, но отказался от заказанных номеров в гостинице в знак протеста против политики Франции на Ближнем Востоке в период Шестидневной войны. Можно себе представить изумление администрации, извещенной о мотивации своего несостоявшегося постояльца. Триумф еврейского оружия Набоков отметил поздравлением своему хайфскому другу: «...всею душой глубоко и тревожно был с тобой во время последних событий, а теперь ликую, приветствуя дивную победу Израиля».

Еще один забавный эпизод этой увлекательной публикации. Самуил Розов был одним из отцов «Лиги за отмену религиозного диктата в Израиле». И Набоков в 60-е годы в знак дружбы и поддержки его гражданской позиции выслал ему «чек» на 50 долларов — анонимное пожертвование («говорю „анонимное”, потому что из принципа не состою членом ни одного клуба, ни одного общества, ни одной организации»).

И в Садах Сахарова — правозащитном месте журнала — Набоков оказывается из главных героев. Владимир Гершович рассказывает историю, как в апреле 1974 года в Иерусалиме на квартире ныне покойного профессора Шломо Пинеса собираются люди, желавшие как-то помочь томящемуся в советских узах Владимиру Буковскому, в тот момент брошенному в штрафной изолятор, где он держал голодовку.

Пинес был человек яркий, с большой географией в биографии (что свойственно многим людям его поколения), переводчик Маймонида, специалист по средневековой еврейской философии и мистике и раннему христианству.

Один из предложенных планов спасения Буковского поражает воображение:

«Надо найти путь к Пеле... и пусть этот Пеле перед матчем на весь стадион крикнет: „Свободу Буковскому!” И тогда все болельщики узнают имя Буковского, и советской власти, по понятным причинам, ничего не останется делать — только освобождать». Но поскольку непонятно было, с какого боку подкатиться к «этому» Пеле, возник проект обращения к Набокову ничуть не менее фантастический. Однако же письмо, в котором имя Владимир (Набоков, Буковский, тюрьма и централ) многообразно повторялось, было заговорщиками отправлено.

Вопреки кажущейся безнадежности проекта он удался. Приводится ответное письмо Веры Набоковой, написанное по просьбе мужа, с орфографией, включающей давно уже археологические «i», отвердевающие на концах завершенных согласных слов «ь» да не обитающие в моей клавиатуре яти. В конце концов произошло чудо: мэтр опубликовал в «The Observer» краткое воззвание «Help!» в защиту Буковского. Заслуживает внимания очень набоковская характеристика советских вождей как существ, «лишенных всякого воображения».

На «Улице Жаботинского» ожидаешь встречи с сионизмом, и это ожидание оправдывается, но в совершенно неожиданном изводе: во вполне академической статье Владимира Хазана с вполне академическим названием «Из истории национальной библиотеки в Иерусалиме» речь идет об одном из проектов комплектации библиотеки в конце 50-х годов, инициатором которого был парижанин, участник Сопrotивления («резистанса»), чудом избежавший рук гестапо, Яков Борисович Рабинович. Кстати сказать, масон, как и почти все его окружение, задействованное в этом благотворительном проекте. Так сказать, жидомасонский заговор в действии.

«Национальная, она же Университетская, библиотека Израиля... как и всякое крупное книгохранилище, — мир, хранящий бессчетное число неразгаданных тайн, былей, подходящих на миф, и мифов, неотделимых от были. Словом, духовный космос, в котором большая история и частная человеческая жизнь образуют необычайно плотную человеческую гравитацию». Вот начало статьи, наполненной десятками ярких персонажей, сюжетов и судеб.

Руководство библиотеки просит расположенного помочь Рабиновича выслать книги Бердяева, Лосского, Зеньковского, Мочульского, Ильина (Владимира, а не боготворимого теперь в России Ивана), Ремизова, Федотова, Шмелева — тот высылает, и за книгами сразу же выстраивается очередь.

Интересная деталь: состоящий в переписке с Рабиновичем заместитель директора библиотеки доктор Йозель просит своего корреспондента перейти на француз-

ский — сам он недостаточно хорошо владеет русским, а с русскоязычными сотрудниками тоже не густо. Как же с тех пор изменился израильский культурный пейзаж!

Михаил Агурский (1933 — 1991) с «Эпизодами воспоминаний» дислоцирован на Холме памяти. В 1997 году в Иерусалиме увидели свет его мемуары «Пепел Клааса», не вызвавшие, кажется, в России ни малейшего отклика. Автор, в силу разных причин, изъясился из рукописи религиозный сюжет (для внимательного читателя, тем паче дышавшего тем же воздухом, небесследно) — публикаторы сочли возможным его восстановить.

Большой православный роман Агурского — от первого сердечного трепета до окончательного разрыва — полон интимности и захватывающей атмосферы, ничуть не умаленных последующей рефлексией. В «Эпизодах», заслуживающих, как и основной корпус воспоминаний Агурского, отдельного внимания, много выпуклых исторических (церковных и околоцерковных) персонажей. Одним из них удивительным образом, кажется, удавалось избегнуть до сих пор мемуарных сетей, другие хотя и известны, но достаточно скудно, совершенно несоразмерно их личностной яркости и притягательности, третьи, о которых много уже чего и кем написано, увиденны под неожиданным углом. Парадоксально, что такая специфическая фактура материализовалась на иерусалимской скале, а не на московском суглинке.

Вообще говоря, многообразные и неизменно высокого (в том числе и эстетически высокого) качества материалы, не относящиеся к разряду изящной словесности, бросают беллетристике опасный вызов. В «Иерусалимском журнале» есть хорошая, добротная проза, но Львиные ворота, в которых она собрана, как-то бледнеют рядом с происходящим на иных улицах и холмах.

«Иерусалимский журнал» сам по себе смотрится как большой роман со множеством интриг, неожиданных сочетаний лиц и обстоятельств, музыкально перекликающихся друг с другом и захваченных единым потоком. Вот доживающего последние дни Изю Малера везут в каталке из французского хосписа (как раз напротив Старого города) на вернисаж его выставки, завершившейся уже после смерти художника. Брошенный в советский застенок безобиднейший из всех когда-либо живших и живущих, абсолютно беззащитный маленький Илья Бокштейн<sup>1</sup> (возникающий, кстати сказать, и в мемуарах Агурского) пишет ночью на нарах свои первые стихи, а большой любитель поэзии староста барака Кархмазан, в бериевские времена министр юстиции Армении, спасает ему жизнь (Леонид Финкель, «Материал, из которого сделаны гении»). «Новые наступают времена, — говорит Агурскому священник из тогда еще Загорска, отец Николай. — Христианство возвращается к евреям. Мы, христиане из язычников, отходим. Наше время истекает». «Меня это ошеломило». Андрей Синявский «всем тоном, мимикой, пластикой, прищуром и оскалом, даже помимо прямого смысла своих полулекций-полупроповедей» внушает юным рижанам, «что есть эстетические ценности повыше либеральной поэзии послехрущевского периода» (Роман Тименчик, «Восемь с половиной сносок к статье об Изе Малере»), Набоков благодарит своего хайфского друга за присланный ящик любимых им апельсинов («благополучно дошедших на днях помплимусов»), между тем отправитель «помплимусов» Самуил Розов уже завершил свой жизненный путь, и благодарственное письмо становится «образчиком потугостороннего диалога, в полной мере соответствующего... набоковскому миру». «Реабилитировавшая Монмартр» (как сказано о ней Оцупом) поэтесса Лидия Червинская по заданию Сопротивления живет с двойным агентом Шарлем Ледерманом, внедренным гестапо в группу Якова Рабиновича; влюбившись в Шарля, она предает группу, почти все арестованы, многие погибают, член группы Игорь Кривошеин, сын царского министра и главы правительства Врангеля, проходит нацистский лагерь и потом оказывается в советском. Дочь участника заговора и покушения против Гитлера (в 1944-м), с 1954-го по 1969-й председателя Бундестага ФРГ Карла Герстенмайера — Ирина пишет со своими израильскими друзьями письмо Набокову, чтобы побудить его поддержать Буковского. Иосиф Бродский —

<sup>1</sup> Поэт Илья Бокштейн умер 18 октября 1999 года.

несостоявшийся доброволец Войны Судного дня — получает отказ в израильском посольстве в Вашингтоне и («Израиль меня обидел») лишается таким образом возможности вписать батальный эпизод в свою биографию (Эстер Вейнгер, «Не усложняйте мне жизнь»). Папа Римский просит у Шломо Пинеса автограф на отписке его статьи об Иисусе.

Но напоследок все-таки хотелось бы упомянуть и о прозе — о маленьком рассказе Агнона «К отчому дому», как это ни странно, единственном в журнале переводе с иврита. Рассказ уже на уровне названия задает, пожалуй, одну из осевых тем журнала, в разной аранжировке и с разной силой возникающей на разных его улицах и площадях (в мемуарах Агурского звучащей в полный голос). В истории Агнона — как бы механические обрывки какого-то мучительного, тяжелого сна, причем уже в этом сне герой впадает временами в неотвязный сон, делающий его цель недостижимой; не поддающиеся однозначной интерпретации, многие события умещаются в единое мгновение: фактически начало повествования и конец его соединены во времени. Герой рассказа, в незапамятные времена покинувший родной город, тщетно пытается попасть к отцу на седер (празднование еврейской Пасхи), но дом и отец ускользают от него, знакомое становится незнакомым: «Много лет не бывал я в этом городе, и пути его и тропы стерлись из моей памяти». И вот когда уж впору было впасть в отчаяние...

«Увидел я маленькую девочку. Указала мне малышка пальцем на дом и сказала: вот он. Хотел я спросить ее: откуда тебе известно, что я ишу? Но тут раскрылись глаза мои, и увидел я отца с бокалом в руке, собирающегося произнести благословение над вином, но медлящего и выжидающего», не поспеет ли к седеру хоть в самый последний момент его блуждающий в снах и потемках и позабывший путь к дому сын.

Переведшая этот рассказ Светлана Шенбрунн написала вслед ему «несколько слов», лапидарный текст, полный вовлеченности и улыбки: «Не говорите: это сон, притча, иносказание. Скажите так: вот человек, которому посчастливилось одолеть путь меж пустотой и пустотой, может, он укажет дорогу и мне, может, и я сподоблюсь достигнуть Отчего дома».

Естественно поздравить главного редактора журнала поэта Игоря Бяльского с успехом. Очевидный вкусовой сбой только один — подражание Хармсу Бориса Штейна («Пушкин очень любил»). Это настораживает: каким образом такой текст мог вообще попасть в журнал при общей редакционной взыскательности?

В целом же планка поднята так высоко, что даже интересно, каким образом собираются ее на такой высоте поддерживать.

Михаил ГОРЕЛИК.

**СВЕТЛАНА СИКУЛЯР.** На зеленом венике. М., «Рандеву-АМ», 2000, 287 стр.

Американцы, читающие «Братьев Карамазовых», не понимают, что Митя и Дмитрий — это один и тот же человек. «А ведь действительно!» — подумала я: при всей очевидности ситуации для меня, вслед за автором «Зеленого веника», это стало открытием. Кстати, соответствующий отрывок из романа Светланы Сикюляр не только отражает некоторую... прямолинейность американского менталитета, но и являет собой один из многочисленных парадоксов,

на которых, как мир на трех китах, держится не имеющий, в общем-то, четкой фабулы текст.

«Любимый учитель Пит, по прочтении Достоевского и Толстого, все никак не мог понять, что Митя и Дмитрий это одно лицо, не говоря уже об Александре и Саше (эти двое, по его первоначальному мнению, были мужьями одной и той же женщины, первый утром, второй вечером)».

Заграница глазами русского — тема, конечно, не новая. И тем не менее американский дневник нашей соотечественницы Светланы Сикюляр становится не просто популярным пособием

для отъезжающих или модным интернетным романом типа «история американской жизни русской программистки», но и достойно продолжает традиции русско-зарубежной прозы.

Как правило, сюжеты такого рода русскоязычных произведений лежат в одной плоскости — *вживание* человека в иную среду — и *выживание* в ней, причем совпадения встречаются вплоть до эпизодов — случайно, читая подряд «Зеленый веник» С. Сикуляр и «Ниоткуда с любовью» Дм. Савицкого, я в обоих романах наткнулась на описанный, наверное, еще десятком-другим литераторов «знаменитый эмигрантский сон»:

«...попал куда-нибудь на Арбат, визы нет, паспорта нет, ничего нет, ты снова заперт и приговорен — просыпаешься в холодном поту, и лишь голозадый гений свободы в небесах над Бастилией (в окне светает) успокаивает: я в Париже...» (Савицкий). А вот аналогичный момент у Сикуляр: «...я думаю: „А я где? В Харькове? Почему не в Америке? Как же я опять туда попаду?“»

Но в прозе Сикуляр нет энергетики отчаяния. Ее роман рождает ощущение бесконфликтности (типично американская черта!): отличие текстов Сикуляр от традиционного потока эмигрантской литературы именно в том, что пишутся они не для того, чтобы, условно говоря, снять стресс, — скорей наоборот — от чувства удовлетворения и удачливости. Достаточно посмотреть на названия глав, чтобы уже оценить всю независимость и беззаботность текста. Вот например: «Прошу считать меня Колумбом!», «Как delight?» (ассоциативное восприятие русского выражения). А кто сказал, что адаптация должна быть болезненной?

Роман «На зеленом венике» автобиографичен. По сути, это вольный дневник, такая нехронологическая хроника, захватывающая и увлекательная. В ней есть что-то от формулы «жизнь и приключения (имярек), опасные и невероятные», — то есть, если копнуть глубже, от плутовского романа. «Веник» — это роман-похождение, роман-покорение чужих территорий. Я бы сказала, что это роман-анабасис (греч. — путь от побережья в глубь материка) — такой же, в сущности, формульный жанр, как роман-карьера или роман воспитания. Здесь, словно по схеме, можно отследить следующее:

а) героиня попадает в некое место X; б) постепенно осваивает язык и овладевает манерами; в) заводит дружбу с туземцами; г) становится среди них своей; д) находит источник доходов; е) процветает. Однако все это очень «внешнее» — *их нравы*, американский быт... Читателю, быть может, и хотелось бы узнать о внутренней архитектонике героини (а на самом деле скрытого под ее маской и баутой автора) чуть больше, но, как пишет сама Сикуляр, «есть прелесть в домысливании...».

Светлану Сикуляр можно начинать читать с любого места, и интересно везде. Причина этого, как я понимаю, во фрагментарности текста, по сути, это роман в новеллах, которые существуют и как самодостаточные, и как друг в друга перетекающие, слитые, объединенные в *целое*. Тем не менее, если все же читать книгу не где открылась, а от начала к концу, из всех этих ветвлений складывается общая картина, прослеживается видимая эволюция, относящаяся, правда, не к сюжету, а к внутреннему восприятию. Одно из ее проявлений особенно любопытно: на протяжении всего текста мы наблюдаем, как Сикуляр приспосабливает русское сознание к американским реалиям. В произведении сосуществуют два культурных пласта, и в первую очередь это проявляется в языке. Так, очень часто в английских словах обнаруживаются вдруг русские звучания и смыслы (так же как типично американским ситуациям находят чисто русские объяснения). В этом есть что-то от аристотелевского узнавания, только «герои», на которых распространяется это узнавание, — иноязычные слова.

Любовь автора к искажениям и перевертышам, ко всевозможным словесным фокусам напоминает, пожалуй, о традициях салонных игр времен серебряного века. Сикуляр виртуозно-безжалостно переиначивает, перелицовывает английские слова на свой, русский, манер. С автором не соскучишься: велосипеды (bicycles) под ее пером превращаются в «бисуслики», Хорватия (Croatia) становится Кроватией, а местное калифорнийское вино — грузинским «Цинандали»: «...Zinfandel, что значит по-грузински „Цинандали“, но по-грузински еще красивее, потому что у них буквы из виноградной лозы».

Из всех этих ассоциативных конструкций, анаграмм, двусмысленностей, созданных и обманутых ожиданий («Перед всем этим делом подаются небольшие пиалы с бледной теплой жидкостью, в которой я по незнанию решила вымыть руки, но оказалось, что это такой чай») и образуется некая пластическая масса, связывающая все композиционные единицы.

Читателю, с английским языком незнакомому, лучше своевременно запастись словарем: заморских словечек много, а сносок принципиально никаких — вместо того пока пестрят выносками-«фонариками»:

**время убийства определено по вою собаки несчастной**

Или:

**редкий писатель полегит на середине стола**

Идея необычна и с точки зрения «товар лицом» оправданна: взгляд падает на ремарку, — а выглядят они, как правило, интригующе, — и, заинтересовавшись, тут же начинаешь читать соответствующее место в текстовом поле.

В своих записках Сикюляр любит пересказывать с одного на другое, но при этом никогда не сбивается, не теряет общую нить повествования; несмотря на очевидную «интерактивность» текста, заданный вектор не исчезает, не выветривается из читательского сознания: круги Сикюляр замыкает мастерски. Оттого-то и простирает ощущение стройности и легковейности текста, которое буквально приклеивает читателя к этим страницам.

«На зеленом венике», как почти любая дневниковая проза, очень динамичен — и при этом здесь нет центра, нет кульминации. Можно сказать, что композиционно произведение построено «по убыванию»; текст делится на года, года на главы, главы на дни, а дни на истории — из тех в свою очередь вычленяется какая-нибудь концептуальная фраза и выносится на поля. Таким образом, повествование могло бы длиться сколь угодно долго, описывая день за днем, если бы не было остановлено произвольно то ли на интонационном многоточии, то ли на последнем числе декабря — по принципу *non finito*.

Сегодня, когда человечество негласно отчитывается за прожитый «круглый» отрезок времени, автобиографические

жанры особенно актуальны. Если же прямые воспоминания накладываются на качественную литературную канву (а у Сикюляр именно так: художественное видение бытовых происшествий) — то это интересно вдвойне. А ведь еще Лев Толстой предсказал, что новая проза должна быть построена по-другому, а именно — писатель должен писать *о себе*, а не о вымышленном Иване Петровиче. Кстати, эту же мысль в своем программном эссе «Эра подозрения» развивала и Натали Саррот.

Р. С. В качестве приложения к роману в книге опубликованы избранные фрагменты из самиздатского «крошечного юмористического альманаха» «Название», который Светлана Сикюляр выпускала в соавторстве с Ольгой Юрченко в Харькове в 1992 году.

Евгения СВИТНЕВА.

\*

**Е. Б. СКОРОСПЕЛОВА. Замятин и его роман «Мы». В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. М., Издательство Московского университета, 1999, 79 стр. (Перечитывая классику).**

В течение почти десятилетия в романе Е. И. Замятина «Мы», написанном в 1922 году, а опубликованном в России лишь в 1988-м («Знамя», № 4 — 5), российские критики и историки литературы видели прежде всего первую в мировой литературе антиутопию, предупреждавшую об опасности советского тоталитаризма. Такому восприятию романа «Мы» способствовала и биография его автора — политического «еретика», претерпевшего гонения на родине из-за публикации этого произведения за рубежом и вынужденного в 1931 году покинуть Россию. Однако зарубежные замятинисты Д. Ричардс, А. Шейн, Л. Геллер, А. Гилднер, Р. Гольдт и другие<sup>1</sup> показали, что значение романа этим не исчерпывается — он относится к центральным произведениям XX века, изображающим трагическую судьбу современного человечества. Книга специалиста по русской литературе 20 — 30-х годов Е. Б. Скороспеловой написана в этом же направлении. В ней дан во

<sup>1</sup> См., например, сборник: «Zamyatin's *We*. A Collection of Critical Essays». Ann Arbor, 1988.



многом новаторский анализ романа «Мы», представленной в нем картины мира и концепции человека.

Ключевые моменты биографии «чёрта советской литературы» (так с горечью Замятин назвал себя в письме к Сталину) и рассказанная Скороспеловой с опорой на недавно полученные А. Галушкиным и Р. Янгировым данные почти детективная история печатания в США и других странах «Мы», «текста-эмигранта», осмысливаются как своеобразная форма литературных связей между Россией и Западом. Не менее существенно доказываемое Скороспеловой влияние антиутопии «Мы» на прозу Булгакова, Платонова и Набокова, которые шли хоть и в семимильных сапогах, но все-таки за Замятиным.

В книге по-новому показаны многообразные связи романа с идеологией и культурой серебряного века и 20-х годов. Уже С. Кормилов писал о некоторой иллюстративности романа «Мы» по отношению к ряду идей пролеткультовца А. Гастева, однако Скороспелова подводит читателей к выводу о том, что в «Мы» не только талантливо пародируются космическая утопия поэтов Пролеткульта и мечты А. Гастева о создании «нового» машиноподобного человека — Замятин предостерегает и от угрозы технократической цивилизации. Автор романа «Мы», талантливый инженер-кораблестроитель, конечно, ощущает в машине и результат творческого прозрения (полет космического корабля «Интеграл»). И все же, по мнению Скороспеловой, Замятин примыкает к той линии русской философской мысли, которая, восходя к славянофилам, Достоевскому, авторам сборника «Вехи», «сложилась в борьбе с рационализмом, с безграничной верой в силу разума и возможность использовать научные методы ради достижения человеческого счастья». Включение «англичанина» (так называли Замятина в России), на творчество которого повлияли помимо Достоевского Г. Уэллс, О. Генри, А. Франс, в «славянофильский» круг может показаться спорным. Но Скороспелова смело ревизует сложившиеся стереотипы.

Так, исследовательница темпераментно полемизирует с распространённым взглядом на автора «Мы» как на сторонника революционного типа разви-

тия общества. По ее мнению, слова революционерки I-330 о том, что революции бесконечны, — «метафора протеста против догматизма и стагнации, против омертвления жизни», но революция для писателя — «не синоним государственного переворота, предстоящего у Замятина как возвращение к пещере, как нарушение стабильности, необходимой для строительства жизни, как бессмысленная растрата человеческих сил» (его рассказы «Мамай», «Пещера»). Скороспелова видит в «МЕФИ» наследников идей «бесов» Достоевского, так как и замятинские революционеры и строители Единого Государства претендуют на роль Благодетелей человечества.

Интересно прослеживается родство романа «Мы» с поэтикой неомифологического символистского романа, с дихотомией аполлонического и дионисийского у Ф. Ницше и Вяч. Иванова, в «Петербурге» А. Белого и в поэзии А. Блока (противостояние стихийного и «цивилизаторского» начал), а также трагическое травестирование Замятиным библейского сюжета о строительстве Вавилонской башни.

Подобная многомерность замятинского произведения была бы невозможна в «чистой» антиутопии, это — неотъемлемая черта неоднородной жанровой природы «Мы». Кстати, замечание И. Роднянской: «„Мы“ Замятина как раз стилистически сомнительны, так как к изложению привлечен весь экспрессивный инструментарий, наработанный писателем ранее, но совершенно избыточный для данной задачи; книга справедливо знаменита — вопреки своему слогу»<sup>2</sup> — основано как раз на представлении о том, что жанровое содержание этого произведения исчерпывается антиутопичностью. Между тем Скороспелова, подчеркивая тонкий психологизм в «Мы», с помощью которого только и можно было раскрыть изнутри образ Д-503, инженера и автора записок о Едином Государстве, доказывает, что знаменитая книга — одновременно авантюрный, любовный, психологический, философский роман. А мнение исследовательницы о том, что среди разных жанровых форм в «Мы» ведущим оказывается «роман о рома-

<sup>2</sup> Роднянская И. Б. Этот мир придуман не нами. — «Новый мир», 1999, № 8.

не», то есть роман о создании художественного произведения, где герой выступает в роли его творца, побуждает читателя включить «Мы» в ряд таких классических русских романов XX столетия, как «Вор», «Кашеева цепь», «Мастер и Маргарита»

Татьяна ШУБАЕВА.

\*

**В. И. МАКАРОВ. «Такого не быть на Руси прежде...». Повесть об академике А. А. Шахматове. СПб., «Алетейя», 2000, 416 стр.**

Книгу об академике читать интересно, но.

Я закончу эту фразу позже, а пока — о том, почему книгу интересно читать. Ее герой, Алексей Александрович Шахматов (1864 — 1920), был не просто блистательным филологом, но человеком, вся жизнь которого представляла собой цепь исключений. Филология, в отличие, например, от математики, не наука юных гениев: филологи реализуются в зрелом возрасте. Но Шахматов совершает первые серьезные открытия на гимназической скамье. В России второй половины XIX века академическая наука преимущественно была уделом разночинцев, а он — дворянин, сын сенатора, помещик. Шахматов долго выбирал между служением науке и дворянским долгом и, прервав работу над диссертацией, пошел служить земским начальником в Саратовской губернии. Служил, впрочем, недолго: дворянин «конца века», он выбрал все же не сословные обязанности, но призвание. Возвращение его в науку сопровождалось очередным исключением: за диссертацию «Исследования в области русской фонетики» он в тридцать лет получил сразу ученую степень доктора русского языка и словесности. А в 1898 году Шахматов стал самым молодым членом Императорской академии наук. Он много и продуктивно работал, был счастливым мужем и отцом, входил в руководство партии кадетов. Короче, гармоничный и счастливый человек...

Макаров приводит также подробности жизни коллег его героя. Емкие характеристики даются тем, кто помогал Шахматову (Ф. Е. Корш, Ф. Ф. Фортунатов, И. В. Ягич), и тем, кому помогал Шах-

матов (В. И. Чернышев, Л. А. Булаховский, В. В. Виноградов). Не избегает автор «повести» и эпизодов взаимной неприязни и вражды, без которых редко складывались отношения между гражданами «республики ученых». Так, когда в 1882 году А. И. Соболевский защищал в Московском университете диссертацию на степень магистра (по-нашему — кандидата) русской словесности, гимназист Шахматов отважился высказать собственное мнение и оспорил ряд умозаключений «старшего товарища». Степень Соболевскому присудили, но научная общественность надолго запомнила дерзкого юношу, и спустя двенадцать лет Соболевский в крайне «неспокойной рецензии» весьма критически отозвался о диссертации Шахматова. Однако прошло несколько лет, и в 1900 году Шахматов организовал настоящую кампанию по избранию своего постоянного оппонента в академики. Коллеги сопротивлялись: «Многие академики опасались задиристого характера профессора Соболевского. Шахматов же, наоборот, считал, что избрание Алексея Ивановича в академики утишит его нрав». Автор, к сожалению, не объясняет, почему он именно так интерпретирует мотивы Шахматова, но подобный ход рассуждений убедителен: реализация амбиций нередко улучшает характер. Хотя трудно сказать, насколько это верно в случае с Соболевским: в 1915 году, на фоне патриотических настроений, разогретых мировой войной, он жестко критиковал (не называя имен) Шахматова и других сторонников существования украинского языка как продолжателей предательского дела Мазепы.

Следить за многолетней полемикой двух академиков увлекательно. Но по какой причине? Из умиления, из ехидного желания удостовериться в извечной «склочности» людей науки?..

Здесь самое время продолжить обрванную в начале рецензии фразу. Книгу о Шахматове читать интересно, но непонятно, кому адресует ее автор. Ведь разбираться в тех же дискуссиях Шахматова и Соболевского захочет читатель, который имеет некое представление не только об основах филологии, но и об истории этой науки, например, о монографии Соболевского по переводной литературе Древней Руси, до сих пор сохраняющей актуальность, и т. п. Что диктует достаточно высокий

(образовательный, не интеллектуальный!) уровень предполагаемой читательской аудитории. Автор же «повести», аккуратно реферируя исследования Шахматова, порой довольствуется сомнительными «школьными» аналогиями типа: «Мы с вами идем по улице. Навстречу нам — два идущих рядом человека, очень похожих друг на друга. Видимо, родственники, подумаем мы...» и т. д.

Дело, разумеется, не в более или менее удачных аналогиях: взяв за точку отсчета «двух идущих рядом человек», придется излагать концепции Шахматова в манере, допускающей восхищение, но исключая анализ. А это тем более обидно, что общий эффект упрощенности возникает не от упрощенного способа мыслить, а от упрощенного способа излагать. Сладко-идеализирующего, напоминающего научно-популярные издания последних десятилетий советской власти. Сходное впечатление производят и некоторые суждения, касающиеся злоключений Шахматова и его родственников при большевиках. Автор будто не знает, с какой враждебностью новая власть относилась к академической науке, сколько ученых, подобно самому Шахматову, умерло в голодные годы военного коммунизма. В «повести» же тишь да гладь. Вот Шахматов, обратившись к старинному знакомому В. Д. Бонч-Бруевичу, в 1919 году вызволяет из-под ареста неперменного секретаря академии С. Ф. Ольденбурга, и автор радостно комментирует этот эпизод: «И вскоре Ольденбург снова приступил к строительству науки нового государства». А вот помянутый Бонч-Бруевич, будучи извещен о запрете печатать биографию Шахматова, «не поверил своим ушам». И впрямь, представима ли идеологическая цензура в Советской России начала 1930 года! Так же повествуется о судьбе зятя Шахматова — историка литературы Бориса Ивановича Коплана: «Софья Алексеевна и Борис Иванович долгое время работали вместе в Пушкинском доме Академии наук. В 1937 году и над их, казалось, безоблачным будущим разразилась гроза: Борис Иванович был неожиданно арестован и расстрелян. В чем был повинен ученый хранитель рукописей Пушкинского дома, исследователь творчества Пушкина?..» Получается, что Коплан арестован невинно, в отли-

чие, очевидно, от остальных, арестованных справедливо. Получается также, что Коплан «незаконно репрессирован» именно в 1937 году, а до того жил-поживал, рассчитывая на «безоблачное будущее». На самом деле Коплан еще в 1931 — 1933 годах отбывал ссылку. И публикатор его стихотворений В. Э. Молодяков несколько лет назад нашел другие слова для характеристики жизни этого человека: «Судьба блестящего ученого... была искалечена. Неоднократные аресты и конфликт с официальной наукой привели к тому, что большая (и лучшая) часть его научного и литературного наследия осталась неопубликованной».

Самое обидное заключается в том, что Макаров вовсе не занимается последовательной реанимацией советских мифов. Шахматов в «повести» не борется с «реакционным» президентом академии великим князем Константином Константиновичем, с сочувствием цитируется дневник агрессивного консерватора А. А. Киреева. «Советское» же впечатление обусловлено стилем: упрощенным пересказом научных идей, штампами популярной литературы недавнего прошлого, наконец, обидным отсутствием ссылок (хотя бы в конце, не в ущерб занимательности) на опубликованные и архивные источники.

Если же говорить обобщенно, современному гуманитарии необходимо терминологическое «трезвение», «очищение». Никто, разумеется, не дерзнет утверждать, что его собственное слово и есть точное слово, которое ускользало от предшественников и теперь окончательно «найдено». Однако избегать дежурных формул — в порядке программ — задача вполне осуществимая. Более того, отталкивание от привычных идеологем не только похвально с точки зрения научной истины, но и выгодно. Ведь поиск точного, неангажированного слова позволяет приобщиться к «энергии» преодоления, противостояния. А хорошо известно, как страдают и литераторы, и ученые в тех случаях, когда им нечему противостоять. И анализ сочинений Шахматова — в контексте его биографии, в контексте истории отечественной филологии — мог бы здесь послужить замечательным поводом.

Михаил ОДЕССКИЙ.

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## ЛЕСКОВ В ЕЩЕ БОЛЕЕ УДОБНОЙ УПАКОВКЕ

Писатель Б. Акунин уже стяжал себе добрую репутацию в просвещенных читательских кругах своими романами из дореволюционного времени о следователе Фандорине. Теперь вот появилась его новая книжка «Пелагия и белый бульдог» (М., «Захаров», 2000), где роль детектива препоручена скромной монахини. Благодарение Честертону, придумавшему в свое время отца Брауна. Смирненное, безобидное, в чем-то даже неуклюжее духовное лицо в роли сыщика придает детективному жанру располагающую к чтению уютность и человечность, а Б. Акунин даже усилил этот момент, сделав детектива особой слабого пола. Характеры колоритные, интрига захватывающая, дореволюционные реалии неплохо стилизованы. Все бы, словом, хорошо, — да вот только...

Читая «Пелагию и белого бульдога», ощутил явное дежа-вю. Интрига событий, происходящих в губернском городе, была чрезвычайно знакома, так что даже и некоторые различия отступали на второй план.

Есть у Лескова роман «Соборяне», при советской власти почти даже и не издававшийся, поскольку революционеры и нигилисты представлены там в жалком и пародийном свете, а духовенство, напротив, — в самом благоприятном. Вот с этим-то романом политическая интрига «Пелагии» совпадает порой до тончайших подробностей. Живет в провинции, «где нарочито силен раскол», мудрый и благородный протопоп (у Акунина рангом выше — архиепископ), которому указано всячески «противодействовать оному» расколу. Противодействовать по разным причинам не удастся. Между тем в городок приезжает ревизор из Петербурга — наглый, циничный, прожженный тип, который даже «по какой-то студенческой истории в крепости сидел» (сюжетно совпадающие места цитирую по Лескову, тем более что «Соборян» в книжных магазинах найти труднее, чем романы Акунина). Этот чиновник немедленно начинает плести интриги, воздействуя на женщин своим напором и брутальным обаянием (в первый же визит соблазнил акцизную чиновницу — душу местного либерального кружка), а мужчин понуждает писать доносы на своих пастырей. (Читавшим Акунина повторю, что излагаю сюжет «Соборян», а не читавших поспешу заверить, что фактически пересказываю «Пелагию»). План обоих злодеев — состряпать громкое дело, которое получит широкую огласку, и таким образом сделать себе карьеру — на костях праведных священнослужителей. Занятно, что даже ключик к самой детективной завязке акунинского романа лежит на страницах Лескова — в фантастической картине предрассветного Старгорода, по которому спускаются к речке три загадочные фигуры. У одной из них «под левой рукой... было что-то похожее на орудия пытки, а в правой он держал кровавый мешок, из которого свесились книзу две человеческие головы, бледные, лишенные волос и, вероятно, испутившие последний вздох в пытке». Потом, правда, при свете наступающего дня выясняется, что это — кучер, который несет под мышкой «пару бычьих туго надутых пузырями». (Напомним, что в начале акунинского романа героине встречается обоз с двумя обезглавленными телами.) Тут уж естественным образом напрашивается предположение, что автор «Пелагии» решил сделать из этих примерещившихся отрубленных голов детективную завязку с головами вполне реальными.

Пожалуй, настала пора прервать перечисление больших и малых, тайных и явных сходств и дать этому любопытному явлению какое-то название. Первым делом напрашивается слово «римейк», как нынче называют вольные переложения. Однако римейк — переложение из одной культуры или эпохи в другую, а тут действие разворачивается в одно и то же время и в одном и том же литературном пространстве провинциальной России — поменять-то всего и оставалось что имена, облик и чин. Так что больше похоже на простое бессмыслочное заимствование сюжета. Ссылки бывают разные. Не обязательно делать сноску — можно, например, упомянуть Лескова в каком-нибудь диалоге между персонажами (как это сделано в

том же романе по отношению к Достоевскому) или придумать какой угодно другой намек, благо в арсенале эпохи «постмодерна» инструментов для игры с цитатами любого рода накопилось предостаточно. Ничего такого, однако, сделано не было — «алиби» интриге не обеспечено. Это досадно — тем более, что Акунин занимается делом не вредным (в наше время — уже само по себе заслуга), не каким-нибудь там надругательством над русской литературой, а предается занятию, по-своему даже полезному для культуры и общества. Да и сюжеты Акунин сам горазд изобретать, а тут его, верно, бес какой-то попутал: сдери, мол, интригу у Лескова, с «Соборян», — все равно народ этого романа не знает. «А если даже кто и знает, — присвокупил сей бес, — урону оттого никакого не будет — ни Лескову, ни русской литературе». Что ж, бесу достаточно бывает человека и в малом совратить: законника понудить не по совести сделать, а совестливого — не по закону. Так и Акунин: вроде как не совсем у него чисто с литературными законами вышло, зато совесть, должно быть, чиста. Заимствование у него получилось не столько для собственной выгоды, сколько для популярного пересказа русской литературы XIX века.

На книжке про Фандорина у Акунина стоит посвящение девятнадцатому веку, «когда литература была великой». По сути же книги его посвящены русской классической литературе, которую Акунин и популяризирует. То есть? То есть приближает к нам ее спокойную и любовную бытописательность, внятный язык, чистоту и ясность ее идеалов, облекая все это в занятную детективную форму. Конечно, популяризаторство сопряжено с определенной деформацией объекта — отсекаются острые углы, ослабляется пафос, уходит глубина. Словом, делаются некоторые манипуляции, чтобы сложный предмет стал более удобоваримым. У Акунина русская литература слегка округлилась и приняла весьма политкорректный облик. Взять хотя бы определенную узость в национальном вопросе — прискорбную ксенофобию иных русских писателей прошлого века (в которой, надо заметить, не повинен никто персонально, а лишь времена и нравы). Здесь Акунин навел на русскую литературу такую косметику, что не придерешься. О поляках («ляхах») ни слова. Матвей Бенционович — честнейший скромный герой, давший отпор грязному петербургскому интригану. Губернатор — немец — не «куцый нечестивец», чуждый всему русскому, а то ли тюбингенский профессор-славист, то ли директор Гёте-института в Москве, ведущий вдобавок с митрополитом постплатоновские диалоги о государстве (в них, кстати, претерпели популяризаторскую обработку беседы старца Зосимы, превратившись в прекраснородный либерализм под девизом «честные люди должны быть вместе»). В общем, русская классика приобрела приятный товарный вид и воздействует теперь на ум и эмоции не возбуждающим, а успокаивающим образом.

Я лично писателю Акунину чрезвычайно признателен. «Пелагию» прочел дня за три, и не без удовольствия, а благодаря сходству с «Соборянами» взялся потом перечитывать Лескова — и тут уж наслаждался сполна. Быть может, эта моя заметка и кого-нибудь из акунинских читателей к тому же подвигнет.

Кирилл РОПОТКИН.

---

## КТО КОГО ГЕНИАЛЬНЕЕ...

**А**лександр Кушнер в прозе — это всегда интересно для интеллектуалов — любителей российской словесности. И в новой публикации («Анна Андреевна и Анна Аркадьевна» — «Новый мир», 2000, № 2) немало счастливых наблюдений, но все-таки автору изменяет присущее ему умение видеть объект исследования в его имманентной многослойности <...> На мой взгляд, чуткость изменяет Кушнеру и в оценке ахматовской «Молитвы» — он почти повторяет известные слова Марины Цветаевой (как будто Ахматова не ответила на этот вопрос): как помыслить можно было, не то что написать, «Отыми и ребенка, и друга...». Это будто бы «фальшивая нота». Нет, это пророческая трагическая поэзия, вобравшая в себя концы и начала

глобальной социальной катастрофы. С героиней «Молитвы» (которую напрасно Кушнер отождествляет с Ахматовой, не все так просто!) — с русской вдовой-солдаткой — это уже произошло. С тысячами прототипов ахматовской героини — к моменту написания «Молитвы» в 1915 году — это уже произошло, для них «Молитва» звучала «после всего». Почти невозможные в мирное время, эти слова тогда спасали людей, вдруг ставших одинокими, исцеляли раненные горем души. Сам же Кушнер позволяет себе поразительную бестактность, проводя, точнее, подсказывая читателю параллель между «отяжелевшей» поздней лирикой Ахматовой («стихи страшно располнели» и т. п.) и физическим ее обликом в старости. «Тайные знаки» в поздней ее поэзии — неужели они только игра с читателем, да еще — малосодержательная? Игра — но серьезная, высшая игра, и поэт вовлечен в нее не только потому, что ему очень нравится это занятие. Игра не только с читателем, но и с судьбой, ведь не поэт диктует правила Игры <...>

Да, в последнее десятилетие жизни много было у Ахматовой явных и скрытых черновиков — «подступов к слову», но разве эти несовершенные тексты стали художественной доминантой поздней Ахматовой? Это были, как точно выразился М. Синельников, годы «остывающего солнца». Синельниковская метафора сохраняет весть о том, что до конца своих дней Ахматова не была разлучена со своим творческим гением, диктовавшим ей стихи, которые теперь причисляют к шедеврам русской лирики XX века. И уж совсем неудачной представляется стихотворная концовка публикации А. Кушнера, посвященная теме... кто кого гениальнее — из русских классиков, например. Читателю предлагается формулировка: Лев Толстой «лучше Ахматовой, Цветаевой выше...». Нелепо прочерчивать какие-то сравнения, говоря о художниках так о й высоты.

Юрий ЛОБОДА.

Киев.

## СКОЛЬКО ИКРЫ СЪЕДЕНО?

**У**важаемый г-н главный редактор! Первый раз у меня возникло желание написать Вам (в смысле — Вашему предшественнику) лет пять, а то и больше назад, когда я прочел в журнале очерк про некоего петербургского бизнесмена, в числе прочего он, кажется, занимался каким-то сгоревшим городским универмагом. Ну вот и «Новый мир» — туда же, подумал я, но последующие годы подписки (с некоторыми, к сожалению, перерывами) рассеяли это мнение. Чтение заключительной части произведения М. Ардова «Вокруг Ордынки» («Новый мир», 2000, № 3) вновь вызвало его к жизни.

Три явные «составные части» видны в этих главах. Вот историко-бытовые сюжеты о 20 — 50-х годах. Чтение, к которому хотелось бы вновь возвратиться... Затем идут столь же конкретные бытописательские сюжеты о церковной жизни примерно с середины 60-х годов (автор, по его словам, стал активно воцерковляться с 1967-го). Начав чтение, я упустил подстрочный комментарий журнала: с 1993 года о. Михаил перешел в другую юрисдикцию (что значит в другую, почему нельзя просто написать: в юрисдикцию РПЦЗ<sup>1</sup>). Поэтому бдительность, после чтения первой части публикации, была несколько утрачена. Так, несколько обезоруженный, я встретил вторую «составную часть» произведения. Кто сколько выпил пива, кто сколько привез водки и коньяку, кто где жил, и в каком кооперативе состоял, и в какой ресторан ходил... Наконец сказано главное слово: «икра» (стр. 129). Не подумайте, что я собираюсь как-то оспаривать описанные факты. Дело в другом. Есть определенные издания (предпочитающие ныне своим полным именам дву-

<sup>1</sup> Церковная группировка с центром в Суздале, изначально возникшая на базе РПЦЗ, официально зарегистрирована под наименованием «Российская Православная Церковь» (в отличие от «Русской...», находящейся в ведении Московской Патриархии). Чтобы не обременять читателя этими сложностями, мы, с согласия автора, прибегли к простому указанию на переход его «в другую юрисдикцию». (Примеч. ред.)

буквенные аббревиатуры). Там считают вопросы вроде того, сколько икры съел Патриарх и почему он ездит в лимузине, а не на велосипеде, важнейшими проблемами церковной жизни. <...> Мне всегда казалось (априори), что круг их подписчиков не пересекается с тем кругом читателей, на которых рассчитывает «Новый мир» и которые рассчитывают там не увидеть подобных трудов <...>

В результате есть уместное создаваемое впечатление о том, что о жизни РПЦ с середины 60-х годов, кроме приемов, банкетов, питья пива, у о. Михаила ничего в памяти и не осталось, а значит (особенно в сравнении с художественно убедительной первой частью), делается вывод, ничего и не было.

Но того, что читатель подводится к такому выводу, публицисту мало. Общий строй написанного таков, что автор практически не дает вспоминаемому им (или его родственникам) своих развернутых оценок <...>

Единственный вопрос, который удостоивается авторской оценки, — это Московская Патриархия при советской власти. Она-де такая. И еще саякая. Трусливая и угодливая. А «Журнал Московской Патриархии» — вообще ужас (что уж там, правда, остается от ЖМП, если даже парижский «Вестник РСХД» содержал, по Ардову, один только лепет).

Вот для чего, оказывается, нужна была вторая часть «новых глав» о. Михаила. Но у него три составные части. Третья — самая маленькая часть, где говорится: строго православная церковь есть. Это РПЦЗ. <...> Для подтверждения вывода — опять прямая речь, тут и княжна, и Ваше сиятельство, и сенбернар. Все эти новеллы сами по себе милые, и читать их приятно. Неприятно то, что их автор использует для протаскивания такого вот исторически неверного вывода. Причем неверного в первую очередь для «православия из-за океана», где действует Американская автокефальная церковь, по влиянию и числу приверженцев вовсе не уступающая «карловчанам».

<...> Похоже, что вступать в дискуссию с о. Михаилом по поводу исторической оценки Московской Патриархии — все равно что спорить с «МК» по поводу «икры». <...> Никто ведь не акцентирует внимания на том, что «карловчане» не осудили фашизм<sup>2</sup>. Хотя за океаном паства РПЦЗ была не лишена свободного выбора, идти ли в храм или на дискотеку, а может, «Плейбой» прикупить или сесть да проштудировать что-нибудь из Ленина. О. Михаил пишет, что у нас даже в частной беседе сказать «Христос воскрес» было порой затруднительно. А что говорить о таинствах крещения или венчания или просто — привести на службу ребенка старше трех или пяти лет? Да, и Русская Православная Церковь, и РПЦЗ вели и ведут общую для православия брань с силами тьмы и их общими, для всех времен, проявлениями. Какое-либо сравнение тут очень трудно, порой и невозможно. Попробуйте так же, как сравнивается Московский патриархат и РПЦЗ, сравнить блокадный Ленинград и жизнь в военном же Свердловске или в Алма-Ате.

Наверно, страницы журнала «Новый мир» — не очень подходящее место даже для серьезной, взвешенной дискуссии насчет взаимоотношений РПЦЗ и Русской Православной Церкви <...> А вот протаскивать тихой сапой, после увлекательного, что говорить, рассказа о Мейерхольде-Утесове-Ильинском-Хайкине-Катаеве-Моргулисе, эдаким наскоком постулат о том, что РПЦЗ — это круто, а Московский Патриархат — сами знаете что, наверное, даже Бивис и Батхед постеснялись бы.

Антон ВАЛЬДИН.

## КАСАЯСЬ ДО ВСЕГО СЛЕГКА

**В**ещи существуют не сами по себе, а такими, какими мы их воспринимаем. Но многие полагают, что вещи и суть то, какими они их воспринимают. Алексей Туробов, автор записок «Америка каждый день» («Новый мир», 2000, № 4),

<sup>2</sup> Подобно тому, как «сержиане» в Московской Патриархии не осудили коммунизм, — видимо, хочет сказать автор письма. (Примеч. ред.)

очень неплохо, даже талантливо, передает свое восприятие страны, но полагает, что именно такой, какой он, проведя в ней год, воспринимает ее, она и существует. Мне, живущему в США уже двадцать лет, его восприятие напоминает мое собственное первых лет. Но мое за эти двадцать лет неоднократно «меняло кожу». Вроде как приближаясь к ядру (сути), переходило с одного (электронного) уровня на другой. Соответственно менялась — проступала — суть вещей, которая, кстати, когда преодолешь «не нашу» поверхность, оказывается вполне обычной.

Возьмем один пример. «Я все думаю: что мне в Америке не нравится? А вот [что]... Американцы — это успешно осуществляемая и лелеемая идея мещанства. Самое интересное, что это верно. Неверно только ополчаться на это. Я хорошо, разумеется, помню, что антимещанская тема имеет в русской культуре долгую и благородную линию — от Герцена, ужаснувшегося засилью в царстве свободы лавочников, до введшего в английский язык слово «пошлость» Набокова. Но, во-первых, сама уже эта установка смотреть, у какого какие вкусы, сродни стремлению наводить порядки. Скалозубы от эстетства не менее опасны, чем Скалозубы от мещанства <...> Главное же тут то, что мещанство — это данность, одна из нормальных составляющих реальности. Не нравится? Но к концу XX века мы усвоили, что если реальность приспособлять к нашим желаниям («бить по головкам»), а не наоборот, то ведет это к весьма нежелательным последствиям. И дело вовсе не в политической корректности, а в обычном здравомыслии. Как открыл когда-то другой, много более молодой, но гораздо более зрелый путешественник по Америке, Токвиль, «осуществленное» мещанство, иначе говоря — развитый средний класс, это именно то, что нужно для устойчивого функционирования общества. И если бы Россия могла когда-нибудь дойти до жизни такой, было бы только хорошо.

Туробов мог бы возразить, что он и не претендовал ни на что большее, чем просто передать свои поверхностные путевые впечатления. Это можно было бы принять, но по его тону — очень свысока — не видно, чтобы он считал свои впечатления поверхностными. А они именно поверхностные. Наш профессор наблюдал иначе устроенную жизнь, некий многоплановый и многослойный феномен. Но не видно у него даже и попытки как-то осмыслить это противоречивое, но вполне, при всех оговорках, работающее единство противоположностей. Заметил он, скажем, что мало читают они. Правильно. Но как из моря массовой культуры встают тут тогда острова такой культуры, какой в доперестроечном отечестве я не встречал? Знает ведь, наверное, Туробов о полярно противоположных суждениях на этот счет — Набокова и дочери Льва Толстого Александры. Она наставляла Набокова по прибытии его из Франции, что «все американцы малокультурные доверчивые простаки». А он писал через год приятелю, Герману Гессену, что это страна высокой и разнообразной культуры, в которой тому не будет трудно адаптироваться, только чтоб общался с местными и избегал своих.

Быть может, с Туробовым произошло то, что происходит здесь, по моим наблюдениям, со многими соотечественниками, — уходят они в глухую защиту. Замыкаются то есть в коконе привычных представлений и критериев, не замечая, как трактуют явления одного контекста в совсем другом. Но главное у Туробова — вот этот его тон этакого знатока за границей, касаясь до всего слегка и свысока. Как следует из статьи Павла Басинского в том же номере «Нового мира»: «СС, или Сугубая Серьезность... кажется старомодной и смехотворной». Это можно понять — времена сейчас такие. Но и то нужно понять, что не поплеывание косточками черешен в этом, а, наоборот — зависимость от времени, подчинение его влиянию вместо попыток влиять на него...

Валентин ЛЮБАРСКИЙ.

Нью-Йорк.





---

---

# КНИЖНАЯ ПОЛКА

## ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА

+7

**Вадим Руднев. Прочь от реальности. Исследования по философии текста. II. М., «Аграф», 2000, 432 стр.**

Вадим Руднев отличается от многих современных философов удивительной трезвостью; речь, конечно, не о бытовой трезвости, а о рефлексивной. Мысль его движется равномерно, последовательно, каждым своим шагом создавая основу для следующего. Кажется, он действительно считает, что «Ад» находится в районе «Marginet», «на краю», в гибельном пограничье, поэтому предпочитает держаться в логически выверенной середине. Не стоит, конечно, отождествлять «середину» со «здравым смыслом», этим фольклором философии. Логика, доставшаяся Рудневу от его духовного наставника Витгенштейна, — неумолима, а вот «здравый смысл» — уступчив. Впрочем, неумолимая логическая поступь автора, направляющегося «Прочь от реальности», несколько сбивается в последней психоаналитической главе, но кого, кроме самого дедушки Фрейда, не приводила в смятение чувств эта темная, какая-то сологубовская ворожба с аккомпанементом назойливого завывания: «невроз — невроз — невроз — невроззззззззззз»?

Как сделана книга Вадима Руднева? Читатель движется от «Текста» к «Сюжету», от «Сюжета» — к так называемой «Реальности». Обычно авторы философских книг на этом и останавливаются. Тем неожиданнее (и провокативнее) звучит название последней главы (и всей книги): «Прочь от реальности». И вот вопрос (перифразируя классика): «От какой реальности мы отказываемся?», точнее, «бежим прочь»? От исчезнувшей, мертвой, убитой «реальности». О том, кто совершил это страшное преступление, см. последний раздел последней главы книги.

И наконец: нет более сильного галлюциногена, чем логика и трезвость. И почему строжайшие рассуждения в духе «Это моя рука» всегда припахивают китайским опиумом? И почему, начав с цитат из почтенных Бора, Геделя и Лотмана, неизбежно заканчиваешь так: «Ясно, что стремление к экстремальности и чистоте опыта (каким бы страшным и фантастическим он бы ни оказался) не может и не должно находить отклика»? Вы чувствуете эту печаль, эту безнадежность: «не может и не должно находить отклика»?

**Антология фантастической литературы. Составители Х.-Л. Борхес, А. Бьей Касарес, С. Окампо. СПб., «Амфора», 1999, 637 стр.**

Хорхе Луис Борхес имел (помимо общеизвестных) две слабости: трепетную любовь к второстепенным и третьестепенным писателям и (отчасти совпадающую с первой) неистребимую преданность друзьям по богемной юности. Рецензируемая книга — довольно объемистый памятник обоим слабостям. Тексты Хосе Бьянко, Хуана Родольфо Вилькока, Элены Гарро, Рамона Гомеса де ла Серна, Сантьяго Дабове, Делии Инхеньерос, Сильвины Окампо и других (не говоря уже о незабвенном Маседонио Фернандесе) действительно в той или иной степени можно отнести к жанру «фантастической литературы». Но особая «фантастичность» этих текстов не в причудливых сюжетных построениях, не во внезапных кошмарах, не в изысканном порой правдоподобию, а в фантастической похожести друг на друга, а точнее — на их платоновский архетип — на сочинения самого Хорхе Луиса Борхеса. И даже не на сами сочинения, а на некую эссенцию из них; быть может, они принадлежат к неизвестному пока литературоведению жанру — жанру «Борхес».

То же самое можно сказать и об авторах «Антологии», никогда не слышавших о существовании великого аргентинского слепца. Даже о тех, которые умерли за-

долго до рождения автора «Пьера Менара». Заманчиво было бы предположить, что именно Борхес сочинил «Святого» Акутагавы Рюноскэ, «Певницу Жозефину» Кафки, притчи Чжуан-цзы... Не могу только представить его автором «Улисса», хотя великий ирландец тоже неважно видел...

Читать эту книгу подряд довольно скучно, зато ее увлекательно листать, просматривать, раскрывать наугад. Особое удовольствие — справки об авторах, составленные Борисом Дубиним. Две трети имен — совершенно неизвестны, по крайней мере вашему покорному слуге. Какое счастье представлять себе эти недоступные книги — «Арлекинаду» «английского математика и писателя» Холлоуэя Хорна, «Спящий клинок» «аргентинского писателя из круга М. Фернандеса» Мануэля Пейру, «Среди магов и мистиков Тибета» «французского ориенталиста» Александра Давид-Нэля!

**Амброз Бирс. Страж мертвеца. СПб., Издательство «Азбука», 1999, 352 стр.**

Бирс вполне мог бы оказаться среди авторов<sup>1</sup> борхесовской «Антологии фантастической литературы». Один из самых верных учеников Эдгара Алана По, он обожал причудливые сюжетные построения; впрочем, в его загадках не было и следа математической логики «Золотого жука» или «Убийства на улице Морг». Ветеран Гражданской войны, калифорнийский журналист эпохи «позолоченного века», он уже не обожествлял человеческий разум, да и энергетика жителя Западного побережья США была иной, нежели у тихого пьяницы из Новой Англии. В рецензируемом издании (как и во всей серии «Азбука-классика») бесконечно интересно одно обстоятельство: книга есть не что иное, как перепечатка советского издания 1966 года. Кто сейчас отправится в библиотеки искать переводной том тридцатичетырехлетней давности? Между тем эти переиздания — памятник не только нынешней культурно-исторической эпохе (с проснувшимся вдруг интересом к переводным героям «эпохи застоя» — Вирджинии Вулф или Габриелю Гарсиа Маркесу), но и той эпохе, когда эта книга была впервые напечатана по-русски. В каком ряду тогда воспринимался Амброз Бирс? Почти исключительно — во фронтовом, военном: Хемингуэй, Олдингтон, Ремарк. Ужасы войны, отвращение к красивым словам, окопная правда. И действительно, достаточно прочитать этот, например, отрывок из Бирса, чтобы понять, с каких батальных полей явился в американскую прозу Хемингуэй: «Отталкивающее зрелище являли собой эти трупы, отнюдь не героическое, и доблестный их пример никого не способен был вдохновить. Да, они пали на поле чести, но поле чести было такое мокрое! Это сильно меняет дело». Но то — советские шестидесятые; время, когда кого-то интересовала «правда». Настоящая «правда», в том числе и о войне. Сейчас же, в 2000 году, меня занимает несколько другое. Как пишет автор послесловия Ю. Ковалев, «полное собрание сочинений Бирса, подготовленное им самим, насчитывает двенадцать томов, заполненных стихами, рассказами, сатирическими памфлетами, очерками, политической публицистикой, литературно-критическими статьями, а также многочисленными образцами газетно-журнальных публикаций, совокупно именуемых журналистикой». Я вспоминаю другого англоязычного писателя, такого же «вельсняка» и «жизнелюба», оставившего после себя столь же пестрое собрание сочинений. Это Томас Де Куинси. Американец сочинил «Словарь циника», англичанин — «Исповедь англичанина, употребляющего опий». И тот и другой, перефразируя Борхеса, не столько писатель, сколько целая литература.

**Г. Г. Амелин, В. Я. Мордерер. Миры и столкновения Осипа Мандельштама. М. — СПб., «Языки русской культуры», 2000, 273 стр.**

К черту всю «взвешенность», «объективность», «отстраненность»! К дьяволу интеллигентскую иронию! Уже чтение «Содержания» этой книги дарит истинное

<sup>1</sup> И персонажей. Достаточно вспомнить его исчезновение среди кактусов мексиканской революции.

наслаждение. За двойным (без содовой!) «Предисловием» (А. М. Пятигорского и собственно авторским) следуют (цитирую, из экономии места, выборочно) «Да саро», «А вместо сердца пламенное mot», «Орфоэпия смерти», «Пушкин-обезьяна», «Эротика стиха», «Все». Все.

Наслаждение нарастает по мере пожирания текста книги. Во-первых, дух захватывает от величия замысла. Авторы, будто археологические гении, обладающие абсолютным нюхом на богатство культурного (в данном случае — полилингвового) слоя, обнаружили под фундаментом уже давно знакомого нам Дворца Поэзии Мандельштама (не говоря уж о высотках Маяковского, даче Пастернака, кочевых становищах Хлебникова) целый мир, точнее — миры, потайных ходов, подвалов, погребов, битком набитых винами, припасами и всяким иным добром немецкого, латинского, французского, английского лексического производства. Эти подземные, потайные миры придают знакомым поэтическим строениям иной смысл, населяют их истинной жизнью и целесообразностью. Авторы «Миров и столкновений» эти миры *истолковывают*, толкуют, перетолковывают. В эпоху, когда само словосочетание «научное открытие» не несет иных значений, кроме издевательского, сделана именно масса *научных открытий*.

Во-вторых, книга потрясающе написана. Мой любимый текст в ней — «Адмиралтейская игла». Сама «игла» — «не мечтательная недотрога, отраженная в тысяче зеркал цитат, а хищная хозяйка мастерской совершенно новых тем и сюжетов». Звукозапись — «мумифицирует тело голоса с последующим воскрешением». Наконец, об одном из назначений поэзии: «Последняя функция универсального поэтического прибора — измерения давления пара в государственном котле».

Честно говоря, я думал, что таких книжек сейчас больше не пишут. Она напоминает мне счастливые для читателей времена, когда изящная словесность, филология и философия были заодно. Веселая наука.

**Андрей Синявский. «Опавшие листья» Василия Васильевича Розанова. М., Захаров, 1999, 318 стр.**

Перед нами очередной том собрания сочинений Синявского (впрочем, не нумерованного), затеянного издателем Захаровым. К сожалению, это значительное в нынешней книгоиздательской и культурной ситуации событие как-то не получило должного резонанса. Между тем Синявский — если не «наше все» в неподцензурной, вольной послевоенной литературе, то «почти все». Его влияние — прежде всего стилистическое, даже, я бы сказал, интонационное — испытывают на себе многие литераторы, и не только с богатым андерграундным прошлым. Его политическая позиция, бескомпромиссная, этически безупречная, и ныне не многим по зубам (да и по ноздре, как выразился бы Набоков). Быть может, поэтому Синявского после его смерти стали вспоминать все реже и реже...

Но так или иначе спасибо издателю Захарову, затеявшему печатание сочинений, вышедших из-под пера кентавра, которого звали «Андрей Синявский/Абрам Терц». Книгу о Розанове написал Синявский. Это многое объясняет в ее содержании.

Василию Васильевичу Розанову не так уж повезло с исследователями и биографами. В их компании сочинение Синявского занимает особое место. Книга Голлербаха была лишь наброском, очерком будущих биографий Василия Васильевича, брошюрка Шкловского — сводом весьма важных, но достаточно частных наблюдений (в котором, заметим в скобках, автора занимали скорее проблемы собственного новаторского метода исследования, нежели сам его — исследования — объект), многостраничная биография Сукача — просто многостраничная биография с элементами так называемой «истории идей». Книга Синявского — совсем особый случай.

В некотором отношении ее можно считать устаревшей. Прежде всего потому, что написана она с неким все-таки пафосом первопроходца, с близорукой нежностью археолога, кисточкой расчищающего от напластований советского лит. гумуса очертания истинной Трои русской культуры — серебряного века. Сейчас вряд

ли стоит ожидать подобных чувств от исследователя. Во-вторых, книга Синявского — переработка его курса лекций, прочитанного в Сорбонне в 1974 — 1975 годах. Иностранцам приходилось многое объяснять; многое из того, что «свои» поймут по умолчанию (хотя не знаю. Книга ведь была впервые издана в Париже, в «Синтаксисе», в 1982 году, и явно не только для «внутреннего», эмигрантского, потребления; почему бы не считать советского читателя, так сказать, «иностранцем» по отношению к почти неведомому ему, легендарному — тогда — серебряному веку?). Поэтому есть в этой книге объяснения и по поводу философии Николая Федорова, и по поводу политической позиции газеты «Новое время». Есть и явные неточности; например, сложно назвать литературную форму, найденную Розановым в «Опавших листьях», «афоризмом». Думаю, «афоризм» появился здесь именно для французов — нации Лабрюйера и Шамфора.

Но несмотря на все эти обстоятельства книга Синявского великолепна. Таково Синявского мы еще не знали. Этот писатель выполнил тяжелейший «тур-де-форс» — он сочинил идеальную научно-популярную книгу о Розанове. Нет ничего лучше для начала знакомства с этим автором. Именно ее можно рекомендовать студентам. А написать хороший учебник (это мое глубочайшее убеждение) гораздо сложнее, чем сделать хорошее исследование. Здесь талант нужен.

**Майкл Уолцер. Компания критиков. Социальная критика и политические пристрастия XX века. М., «Идея Пресс»; «Дом интеллектуальной книги», 1999, 360 стр.**

Скажу пошлость: «Очень своевременная книга». Прежде всего с социокультурной точки зрения. При том, что издательская, журнально-газетная оргия в нашей стране продолжается (несмотря на войны и дефолты), при том, что только ленивый не сочиняет (и публикует) нечто обличительное, злое, недовольное, ироничное, остроумно-тонкое, настоящей «социальной критики» в стране нет. Декадентского вида политологи и геополитики в немислимого оттенка галстуках не в состоянии породить нечто по-настоящему оппозиционное, вскрыть социальные и политические болезни, дать некую (пусть ложную) альтернативу. Все дело сводится к разговорам об осточертевшей ментальности, безнадежной коррумпированности, электоральной недостаточности и исторической предопределенности. Что-то я не встречал публициста, который бы честно признался: вот не нравятся мне буржуи, культура мне буржуйская обрыдла, вот я (совершенно ответственно — это важно!) предлагаю такие и такие варианты развития. Именно «развития», движения вперед, а не в портяночный рай ретроспективных утопий (соответственно фантасты из «Завтра» не в счет). Русское общество испытывает интеллектуальную недостаточность — если модернизированную националистическую идеологию худо-бедно смогло сформулировать, даже на некий «либерализм» (в традиционном понимании) кое-что накапало (хотя и немного), то уж с новой «социальной критикой», с «новой левой идеей» — совсем никак. Между тем потребность в ней ощущает довольно большая социальная группа, сформировавшаяся в последние десять лет. Эпоха молодых новорусских яппи, этих нечеловечески серьезных офисных мальчиков и девочек, подходит к концу.

Раз нет своего, будем жить умом заемным. Не привыкать. «Идея Пресс» и «Дом интеллектуальной книги» выпустили (еще раз прошу прощения) очень своевременную книгу. Она представляет собой сочиненный американским философом и политологом Майклом Уолцером весьма толковый обзор социальных взглядов довольно большой группы совершенно разных публицистов и литераторов — от Мартина Бубера до Герберта Маркузе, от Антонио Грамши до Мишеля Фуко. Их объединяет одно — сомнение, испытываемое ими по поводу разнообразных практик (политических, культурных, экономических) того общества, в котором они жили. Очевидно, что таковых сомнений у нынешних российских авторов возникает не меньше (мягко говоря). Надеюсь, они воспримут эту книгу как вызов.

**Григорий Марк. Оглядываясь вперед. СПб., Издательство «Фонда русской поэзии» при участии альманаха «Петрополь», 1999, 120 стр.**

Этого поэта довольно сложно полюбить, прежде всего по соображениям сугубо поэтическим. Какая-то некрасовская скороговорочка вкупе с романсовыми распевками:

Ночь пропитана тленьем насквозь...  
Для чего же я снова вытащил эту картинку из памяти? —

иногда возникающее ощущение, что перед тобой переводы с иностранного:

Дать этот танец как основу текста —  
сплошную копошащуюся массу,  
где налезают друг на друга жесты  
на красной сцене, высеченной в мясе, —

наконец, несколько наивные типографические трюки в духе хеленуктов, Аронсона и Евг. Харитонova, — все это настораживает читателя, открывшего книгу Григория Марка. «Оглядываясь вперед» действительно очень неровная книга; быть может оттого, что большая и включает в себя стихи, сочиненные более чем за десять лет. Честно говоря, не знаю, в каком соотношении она находится с другими книгами поэта, вышедшими в 90-е: с «Гравером», «Среди вещей и голосов», «Имеющим быть». И все же.

Перед нами поэт совершенно отдельный, особый, с очень своеобразной интонацией и лексикой. В стихах Григория Марка не найдешь роскошных аллитераций, безумных по изощренности метафор, десертных словечек. Они ритмически довольно однообразны, тематически — тоже. Они не захватывают читателя сразу; наоборот, понять их странную красоту можно, лишь дочитав до конца, а то и через несколько минут после этого. Я бы назвал многие из них медитациями; например, такое:

...И увидишь: как влажная суть облаков  
сквозь небесную марлю стекает ручьями  
и сгущается в темное между домов,  
как, царапая нежное брюхо о раму,  
ночь в квадрат заползает оконный...

Другие — не медитации, а скорее иллюстрации, в духе яростной и саркастической графики немецкого экспрессионизма:

В сигаретном дыму  
говорящие круглые головы  
проплывают вокруг  
на раздвоенных книзу телах.  
Пахнет жженою серой,  
сивушной гнилью тяжелою... —

или (Фаворский?):

Ночь. Контур Петропавловки  
из горизонта выпилен.  
Он брюхо тучи нежное  
царапает иглой...

Чувствую, что рецензия у меня как-то не получается. Рецензенту не за что «зацепиться» в этих стихах; они хороши, но «почему» и «как» — сказать артикулированно невозможно. Предоставляю самим читателям ломать над этим голову. Закончу же (несколько мазохистски) цитатой из «Обрывка сценария» Марка, в котором мерзкие филологи мучают бедных умалишенных пациентов-поэтов:

Входит врач Филологии, весь в панацеях.  
Осторожно, боясь расплескать в себе водку,  
Изучает клиента...

## -3

**По ль де Ман. Аллегии чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Перевод, примечания, послесловие С. А. Никитина. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 1999, 386 стр.**

В этой книге все хорошо: и серия, в которой она издана («Studia Humanitatis»), и то, что напечатана она не в первопрестольной (и не в первоапостольной), а в Екатеринбурге, и что качество издания выше всяких похвал, и что вышел, наконец, тот самый Поль де Ман, который давно уже смущал умы робких читателей «НЛО»...

Только вот боюсь, что уже поздно. Де Ман не повторит судьбы Барта, Фуко, Делёза, Батая и даже Дерриды, ставших в нашей культуре (в той или иной степени) «своими», «обрусевшими», навроде Гегеля, Ницше или Джека Лондона. И дело не только в том, что количество деконструктивистов уже достигло критической массы (то есть одного), но и в качестве.

Деррида сверкает этногенетическим блеском галльского остроумия, он неожиданный, неакадемичен. Русского человека он привлекает вольницей своих интерпретаций. Де Ман, по сути, банален; например, его прочтение стихотворения Йейтса «Среди школьников» (стр. 19 — 20) никаких новых смыслов не «вчитывает»; то, чего он достигает с помощью своих методик, более или менее опытному читателю было и так ясно. Увы.

**Мишель Сануайе. Дада в Париже. Перевод с французского Н. Э. Звенигородской, В. Н. Николаева, А. И. Сушкевича. М., Научно-издательский центр «Ладомир», 1999, 638 стр.**

Я был бы счастлив прочесть эту книгу году в 1981 — 1982-м. В то довольно кислое время она вдохнула бы энергии и истинного авантюризма в мою (и моих друзей-сверстников) вялую душу. Вместо нее мы читали какого-то Кукаркина, пугавшего буржуазной культурой на (слава Богу!) большом количестве наглядных примеров. По крайней мере про унитаз Дюшана я узнал от товарища Кукаркина. Спасибо ему.

Но вернемся к книге Сануайе. Перед нами ярчайший пример абсолютного несовпадения объекта описания и языка описания. Безумства таких хулиганов и идеологических провокаторов, как Швиттерс, Мэн Рэй, Тцара, Бретон, описаны весьма странно — то ли на введливо-бухгалтерском волапюке, то ли просто беспомощно. Демонстрирую образчик этого убогого стиля: «Со своей стороны, он, впрочем, удовольствовался тем, что вовлек своих корреспондентов в круг вопросов, чья необходимость в деле „детерминации современного мышления“ не бросалась в глаза».


Мне можно возразить, что дело тут, наверное, не в авторе. А в переводчике. Быть может, не знаю. С одной стороны, именно автор считает, что «в застенках Густава Носке убили двух предводителей спартаковцев — Карла Либкнехта (арестованного 1 мая 1916 года) и Розу Люксембург». Но с другой, именно переводчик делает банальный «рейхсвер» загадочным «Райхсвером»... Но дело вовсе не в подсчетах автора и переводчиков. Дело в другом. Скучно читать буржуазно-добропорядочное, позитивистское (с долей благонамеренного прогрессизма) исследование об анархистах, смельчаках, возмутителях покоя бюргеров. Семьдесят пять лет спустя кощунственный дадаизм стал одной из средненьких искусствоведческих тем, где-то между Пюи де Шаванном и соцреализмом. Книгу о нем печатает издательство, у которого даже марка с куполами. Отчеты о манипуляциях шкодливого Кулика публикуются в глянцевого журналах для «среднего класса». Радикальный авангард и есть сейчас самый что ни на есть буржуазный мейнстрим. Хотел бы я увидеть, как сейчас выглядит по-настоящему революционное искусство?

**Марк Соте (текст), Патрик Бусиньяк (иллюстрации).** Ницше для начинающих. Перевод с английского А. А. Байчарова. Художник М. В. Драко. Минск, ООО «Попурри», 1998, 192 стр.

**Ллойд Спенсер (текст), Анджей Краузе (иллюстрации).** Гегель для начинающих. Перевод с английского Л. В. Харламова. Художник М. В. Драко. Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998, 176 стр.

Ура! Наконец-то наступил апофеоз «фельетонной эпохи», предсказанной Гесе. Нам предлагают по весьма сходной цене и во вполне разумных размерах философию — Гегеля, Ницше, Макиавелли, Юнга и т. д. Теперь не нужно, захлебываясь зевотой от скуки, штудировать толстенные тома, все эти непереваримые «Критики чистого разума» и «Происхождения трагедии из духа музыки»; теперь есть чудные тонкие брошюры-комиксы, где наглядно и доступно для разумения менеджера по рекламе мебельного салона графически представлено абсолютно все: «философия религии» в виде оплывшей свечечки на ножках, поджигающей саму себя, «диалектика» в виде ракушки и/или звездочек и метеоритов, «веселая наука» в образе карикатурного Ницше, босоногого, задрапированного в женские тряпки, во фригийском колпаке, на фоне восходящего солнца, сеющего свои книги... Умри, Остап, лучше не нарисуйешь!

Во-первых, я не совсем понимаю, кому адресованы эти книжки. «Широкому кругу читателей», как написано в аннотации? Какому? Читателю Марининой или читателю Акунина? Первому эти комиксные ницше с гегелем нужны не больше, чем полновесные и многотомные. Вторые, если надо, осилят и нормальную книгу; хотя бы статью в философской энциклопедии. Так кому же? Есть у меня вариант ответа: бывшим преподавателям марксистско-ленинского любомудрия, срочно брошенным на преподавание загадочных «культурологий», «историй политических учений», «историй философий». Не читать же, в конце концов, на пятом десятке всю эту гиль! А здесь все так компактно и удобно укладывается в надлежащие ящички: «Через три месяца после смерти брата (Гегеля. — К. К.) Христина отправилась на прогулку и утопилась», «Гегелевская трактовка религии близко соотносится с историей искусств и историей философии». «Констатация Фукуямой мирового триумфа либерального свободного предпринимательства кажется излишне оптимистическим оправданием американского империализма». Впрочем, «гегельянский комикс» еще «ничего» (не считая чудовищных ошибок переводчика, назвавшего Вальтера Беньямина «Бенжамином», а Ричарда Рорти — «Роти»). Интересно, куда смотрел «научный редактор» д. ф. н. В. И. Курбатов?); «ницшеанский» — гораздо хуже. Идиотские таблицы, перекочевавшие из «прогрессивных» учебников по передовым методам преподавания истории («В 1878 г. Бисмарк 1. Организовал Берлинский конгресс. 2. Издал антисоциалистические законы»), реплики, похожие на титры немого кино («После его назначения штатным ординарным профессором Фриц пришел к необычному решению!»), «шуточные» переделки известных картин (в духе журнала «Наука и жизнь» 70-х годов или книг вроде «Физики шутят») — все это делает «Ницше для начинающих» самым омерзительным образчиком из всей этой весьма сомнительной серии. Закончу выпиской из аннотации к этой же книге: «Знаменитый ницшевский „союз троих“, его теория о сверхчеловеке, об Антихристе и нигилисте, о Заратустре, а также посмертное тенденциозное использование идей Ницше нацистами делают чтение захватывающим». И кожа малыша станет мягкой и нежной! Ведь вы этого достойны!



# БИБЛИОГРАФИЯ

## КНИГИ



**Белла Ахмадулина.** Влечет меня старинный слог. Составитель Б. Мессерер. М., «ЭКСМО-Пресс», 2000, 528 стр., 8100 экз.

**Михаил Бутов.** Свобода. Роман. СПб., «ИНАПРЕСС», 2000, 261 стр., 1000 экз.

Книжное издание романа лауреата Букеровской премии 1999 года, первая публикация — в «Новом мире» (1999, № 1, 2).

**Андрей Бычков.** Тапирчик. Рассказы. Тверь, «Колоспа», 2000, 48 стр.

Новая книга уже известного прозаика, лауреата конкурса русской литературы в Интернете «Тенёта-Ринет» 1999 года.

**Светлана Василенко.** Дурочка. Роман, повесть, рассказы. М., «Вагриус», 2000, 333 стр., 5000 экз.

Роман, давший название сборнику, впервые публиковался в «Новом мире» (1998, № 11).

**Игорь Гергенредер.** Близнецы в мимолетности. Повести и роман. Берлин — Бранденбург, 1999, 410 стр.

Новая книга прозаика, известного своими повестями о революции и Гражданской войне.

**Г. Грасс.** Из дневника улитки. Перевод с немецкого Е. Кацевой, Е. Михелевич. СПб., «Амфора», 1999, 319 стр., 10 000 экз.

Книга вышла в новой издательской серии «Амфоры» «Новая коллекция» с грифом «Лауреат Нобелевской премии 1999 года»; кроме романа «Из дневника улитки» книга включает эссе «О периодах застоя в прогрессе».

**Николай Гумилев.** Африканская охота. Новеллы. Рассказы. Очерки. Составление И. Ерыкаловой. СПб., «Азбука», 2000, 299 стр., 10 000 экз.

**Николай Гумилев.** Стихотворения и поэмы. Главный редактор А. С. Кушнер. Вступительная статья А. И. Павловского. Составление, подготовка текста, примечания М. Д. Эльзона. 2-е издание, исправленное, дополненное. СПб., «Академический проект», 2000, 736 стр., 3000 экз. (Серия «Новая Библиотека поэта»).

**Г. Дельбланк.** Гуннар Эммануэль. Пасторский сюжук. Романы. Перевод со шведского Н. Федоровой, А. Афиногеновой. Составление Ю. Эберга. М., «Канон-пресс-Ц», «Кучково поле», 2000, 384 стр., 1750 экз.

**Яна Джин.** Неизбежное. Стихотворения. М., «Подкова», 2000, 174 стр., 500 экз.

Первая книга в России уроженки Тбилиси, с тринадцати лет живущей в США, имеющей философское образование, пишущей стихи на английском языке и считающей, что в данном случае язык — это только «одежда» для содержания. Стихи ее исключительно высоко оценены сверхвысказательным Бродским: «Стихи Яны Джин представляют собой редко нащупываемое единство мудрости, мастерства во владении словом и виртуозности в сочетании звуков». Данное издание представляет стихи в оригинале с параллельными переводами, принадлежащими Нодару Джину (отцу поэтессы и известному писателю) и поэту Владимиру Гандельсману. «Время есть синоним смерти, конца, отсутствия, — и каждый налаживает с ним собственную, интимную связь... Если мы научимся любить Время и то, что оно с нами проделывает, — нам дано обрести и мир. Если же нет, — придется жить в неизбывных терзаниях и страхах. Из чего, собственно, и рождаются стихи...» (Яна Джин).

**Надежда Дурова.** Записки кавалерист-девицы. Повести. Калининград, «Янтарный сказ», 1999, 395 стр., 5000 экз.

**Венедикт Ерофеев.** Записки психопата. М., «Вагриус», 2000, 444 стр., 11 000 экз.

Еще одно собрание сочинений Ерофеева, кроме уже широкоизвестных вещей («Москва — Петушки», «Вальпургиева ночь» и др.), включающее «Записки психопата».



**Валерий Залотуха.** Последний коммунист. М., «Вагриус», 2000, 480 стр., 7000 экз.

Первая публикация романа — в «Новом мире», 2000, № 1, 2.

**Адольфо Бийо Касарес.** План побега. Сон о героях. Спящие на солнце. Романы. Рассказы. Составление, предисловие, примечания В. Андреева. СПб., «Симпозиум», 2000, 638 стр., 5000 экз.

Вторая книга Адольфо Бийо Касареса (1914 — 1999), выходящая в издательстве «Симпозиум» и продолжающая наше знакомство с классиком аргентинской литературы.

**С. Клычков.** Собрание сочинений. В 2-х томах. Составление, подготовка текста, комментарии М. Нике и др. М., «Эллис Лак», 2000, 7000 экз. Том 1. Стихотворения. Проза. 544 стр. Том 2. Проза. 654 стр.

Двухтомник известного «крестьянского поэта» и прозаика Сергея Антоновича Клычкова (1889 — 1937) содержит свод стихотворений, романы «Сахарный палец», «Чертухинский балакирь», «Серый барин» (незаконченный), мелкую прозу и статьи.

**М. Леви (М. Агеев).** Роман с кокаином. Вступительная статья Л. Аннинского. М., «Согласие», 1999, 324 стр., 3000 экз.

**Литература Агады.** Составление, редакция И. Бегун, Х. Корзакова. Вступительная статья А. Шинан. Иерусалим, М., «ДААТ/Знание», 1999, 384 стр., 1000 экз.

**А. Морозов.** Общая тетрадь. М., «Грантъ», 1999, 128 стр.

Книжное издание романа лауреата Букеровской премии 1998 года. Роман написан в 1968-м, опубликован журналом «Знамя» в 1997-м (№ 11).

**У.-С. Моэм.** Разрисованный занавес. Роман. Перевод с английского И. Кравцовой. М., «Менеджер», 2000, 304 стр., 5000 экз.

**Анатолий Найман.** Ритм руки. Стихи. М., «Вагриус», 2000, 128 стр., 1000 экз.

**М. Павич.** Ящик для письменных принадлежностей. Роман. Перевод с сербского Л. Савельевой. СПб., «Азбука», 2000, 192 стр., 10 000 экз.

**Б. Л. Пастернак.** Доктор Живаго. Повести. Статьи и очерки. Составители Е. Б. Пастернак, Е. В. Пастернак. М., «СЛОВО/SLOVO», 2000, 728 стр., 4000 экз.

**Прозрачная тень.** Поэзия эпохи Мин (XIV — XVII вв.). В переводах И. С. Смирнова. СПб., «Петербург», «Востоковедение», 2000, 352 стр., 2000 экз.

**Давид Самойлов.** Перебирая наши даты. М., «Вагриус», 2000, 509 стр., 7000 экз.

**В. Санги.** Избранные произведения. В 2-х томах. Том 1. Романы, повести. Южно-Сахалинск, Сахалинское книжное издательство, 2000, 328 стр., 1000 экз.

**Сафо.** Лира, лира священная. Перевод с древнегреческого В. В. Вересаева. М., «Летопись-М», 2000, 156 стр., 5000 экз.

**Л. Н. Толстой.** Полное собрание сочинений. В 100-та томах. Художественные произведения. В 18-ти томах. Том 1. 1850 — 1856. Тексты и комментарии подготовила Л. Д. Громова-Опульская. М., «Наука», 2000, 512 стр., 1500 экз.

**Мигель де Унамуно.** Святой Мануэль Добрый, мученик. Роман, повести. Составление и примечания В. Андреева. Предисловие К. Корконосенко. СПб., «Симпозиум», 2000, 558 стр., 5000 экз.

В новый однотомник испанского классика вошел его первый роман «Мир среди войны» (1897) в переводе В. Симонова, историко-философское художественное повествование, центральные эпизоды которого связаны с событиями Второй карлистской войны (гражданской войны в Испании 1872 — 1876 годов); вслед за Толстым, в чем-то соглашаясь с ним, а больше — полемизируя, Унамуно дает свою трактовку содержания и места войны в жизни человеческого сообщества. Вторую часть книги составили поздние произведения писателя: короткие повести «История о доне Сандальо, игроке в шахматы», «Бедный богатый человек, или Комическое чувство жизни», «Одна любовная история»; открывает это собрание повестей одно из вершинных в творчестве Унамуно произведений — философская новелла «Святой Мануэль Добрый, мученик» (перевод А. Косс). В «Приложении» — эссе Унамуно «История бумажных птичек».

**Елена Ушакова.** Метель. Стихотворения. СПб., «Геликон Плюс», 2000, 82 стр.

Новая книга стихов петербургского поэта, циклы «И речь с ее мелодией разумной», «Беглый след», «Новый март».

**Олдос Хаксли.** Контрапункт. О дивный новый мир. Рассказы. Составление, предисловие Г. Анджапаридзе. М., «Радуга», 2000, 624 стр., 5000 экз.

**Четыре шага в бреду.** Французская маргинальная проза первой половины XX века. Л. Арагон. Лоно Ирены; Ж. Батай. История глаза; П. Луис. Дамский остров; Ж. Жене. Кэрель. Перевод с французского, составление, предисловие М. Климовой, В. Кондратовича. СПб., «Гуманитарная Академия», 2000, 480 стр., 5000 экз.

**Лидия Чуковская.** Сочинения. В 2-х томах. М., «Гудьял-Пресс», 2000, 10 000 экз. Том 1. Повести. Воспоминания. 432 стр. Том 2. Процесс исключения. Публицистика. Отрывки из дневника. Стихотворения. Письма. 464 стр.

В ближайших номерах журнала намерен отрецензировать это издание.

**Евгений Шкловский.** Та страна. Рассказы. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 384 стр.

Третья книга современного прозаика (первыми были «Испытание» /1990/, «Заложники» /1996/), представляющая итог четырехлетней работы, — рассказы, собранные в пять циклов: «Воля к жизни», «В промежутке», «Маятник», «Та страна», «Аленький цветочек». Следите за нашими рецензиями.

**Бернард Шоу.** Афоризмы. Собрал К. Душенко. М., «ЭКСМО-Пресс», 2000, 176 стр.



**А. Ю. Андреев.** Московский университет в общественной и культурной жизни России начала XIX века. М., «Языки русской культуры», 2000, 312 стр., 1000 экз.

**Э. Бабаев.** Воспоминания. СПб., «ИНАПРЕСС», 2000, 333 стр., 1500 экз.

**С. Бернен, Р. Бернен.** Мифологические и религиозные мотивы в европейской живописи. 1270 — 1700. О том, что знали сами художники. СПб., «Академический проект», 2000, 300 стр., 3000 экз.

**Макс Брод.** О Франце Кафке. Франц Кафка. Биография. Отчаяние и спасение в творчестве Франца Кафки. Вера и учение Франца Кафки (Кафка и Толстой). Перевод с немецкого Е. С. Кибардиной, Г. В. Снежинской, М. Ю. Некрасова. Примечания С. В. Белова, О. Н. Ансберг. СПб., «Академический проект», 2000, 505 стр., 3000 экз.

Книгу составили: биография Кафки, наиболее известная и авторитетная, написанная его ближайшим другом и душеприкащиком; «Приложения», в которые вошли тексты самого Кафки («Письма о воспитании детей»), воспоминания о писателе его друзей Рудольфа Фукса и Доры Герит, а также небольшие работы Макса Брода («По поводу „Замка“ Кафки», «Уничтожение манекена по имени „Франц Кафка“» и др.); в «Дополнениях», занимающих треть издания, — работы Брода «Отчаяние и спасение в творчестве Франца Кафки», «Вера и учение Франца Кафки. (Кафка и Толстой)».

**В. В. Виноградов.** Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка. 2-е издание, дополненное. М., «Наука», 2000, 509 стр., 900 экз.

**Б. Гаспаров.** Поэтика «Слова о полку Игореве». М., «Аграф», 2000, 608 стр., 2000 экз.

**Винсент Ван Гог.** Письма. Перевод с французского П. Мелковой. СПб., «Азбука», 2000, 848 стр., 5000 экз.

**Яков Гордин.** Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века. СПб., «Журнал „Звезда“», 2000, 264 стр., 3000 экз.

Монография петербургского историка — «подступ к подробной и концептуальной истории самой длинной и самой малоизвестной среди войн России. Каждая глава книги анализирует некую существенную проблему трагического конфликта России и Кавказа, очерчивает принципиально важный период или ключевой эпизод войны, рассказывает о тех, кто заложил основы стратегии и тактики русской армии... Цель книги — объяснить драматичность положения и России, и горских народов, чрезвычайную сложность исторической ситуации, в которой оказались противоборствующие стороны, выявить роковые просчеты имперского правительства... равно как и показать трагедию горцев. В основе большинства глав лежат архивные материалы» (из издательской аннотации).

В «Приложение» вошли: «Воспоминания генерал-майора Августа-Вильгельма фон Мерклина о Даргинской экспедиции 1845 года», подготовленные Г. Лисицной; обширный «Дневник поручика Н. В. Симановского 2 апреля — 3 октября 1837 г., Кавказ», подготовленный к печати И. Грозовой; библиографический список воспоминаний участников и свидетелей Кавказской войны.

**Евреи в России. XIX век.** А. И. Паперна. Из Николаевской эпохи; А. Г. Ковнер. Из записок еврея; Г. Б. Слиозберг. Дела давно минувших дней. Вступительная статья, составление, подготовка текста и комментарии В. Е. Кельнера. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 560 стр.

Книга вышла в серии «Россия в мемуарах» и представляет мемуары поэта, публициста, педагога Абрама Израилевича Паперна (1840 — 1919), публициста («еврейского Писарева») Аркадия Григорьевича Ковнера (1842 — 1909) и юриста, общественного деятеля Генриха Борисовича Слиозберга (1863 — 1937).

**Фрэнсис А. Йейтс.** Джордано Бруно и герметическая традиция. Перевод с английского Г. Дашевского. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 528 стр.

Монография 1964 года известной английской исследовательницы культуры Ренессанса Фрэнсис Амелии Йейтс (1899 — 1981) из Института Варбурга Лондонского университета. «Кем был Джордано Бруно? За что он был сожжен? Что означают его загадочные произведения? На все эти вопросы книга Йейтс дает подробные и ясные ответы. Идущие вразрез с привычными представлениями. Давно ставшая классической, эта работа может быть прочитана как биография Бруно, как введение в историю ренессансной магии или как исследование интеллектуальных предпосылок научной революции XVII века» (из издательской аннотации).

**А. Б. Каменский.** От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. Опыт целостного анализа. РГГУ, 1999, 575 стр., 1500 экз.

Новая монография одного из ведущих современных историков. «История реформ в России, в силу специфики исторического развития страны, представляет особый интерес. ...На протяжении уже двух столетий важнейшими для русской общественной мысли остаются такие темы, как выбор исторического пути, проблема „Россия — Запад“, возможность модернизации русского общества и ряд других, обсуждение которых неминуемо связывается с реформами то Ивана Грозного, то Петра Великого, то Александра II, то П. А. Столыпина... Исторический опыт российского реформаторства, таким образом, осознается обществом как некая неизбывная ценность, чем в первую очередь определяется актуальность и значимость темы данной работы» (из авторского введения).

**Д. С. Мережковский.** Л.Толстой и Достоевский. Издание подготовлено Е. А. Андрущенко. М., «Наука», 2000, 588 стр., 1650 экз.

**Андрей Платонов.** Записные книжки. Материалы к биографии. Публикация М. А. Платоновой. Составление, подготовка текста, предисловие, примечания Н. В. Корниенко. М., ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000, 423 стр., 1000 экз.

Издание будет отрецензировано.

**И. Померанцев.** Почему стрекозы? СПб., «Журнал „Звезда“», 1999, 136 стр., 500 экз.

Собрание стихотворений известного поэта и радиодраматурга.

**А. Н. Пыпин.** Религиозные движения при Александре I. Предисловие А. Н. Цамутали. СПб., «Академический проект», 2000, 479 стр., 2000 экз.

**В. П. Руднев.** Винни Пух и философия быденного языка. А. А. Милн. Winnie Puh. Дом в Медвежьем Углу. Перевод с английского Т. А. Михайловой, В. П. Руднева. Аналитическая статья, комментарии В. П. Руднева. 3-е издание, исправленное, дополненное, переработанное. М., «Аграф», 2000, 320 стр., 2000 экз.

**Русский словарь языкового расширения.** Составитель А. И. Солженицын. 3-е издание. М., «Русский путь», 2000, 280 стр., 5000 экз.

**Л. Сараскина.** Николай Спешнев. Несбывшаяся судьба. М., «Наш дом. L'Age d'Homme», 2000, 536 стр., 1000 экз.

**Словарь рифм Марины Цветаевой.** Составитель А. Бабакин. Тюмень, Издательство Ю. Мандрики, 2000, 432 стр., 300 экз.

**С. Соловейчик.** Последняя книга. М., «Первое сентября», 1999, 464 стр., 5000 экз.

**Судьбы гегельянства: философия, религия и политика прощаются с модерном.** Перевод с немецкого. Под редакцией П. Козловски, Э. Ю. Соколова. М., «Республика», 2000, 383 стр., 1500 экз.

**К. Тарановский.** О поэзии и поэтике. Составитель М. Л. Гаспаров. М., «Языки русской культуры», 2000, 432 стр., 3000 экз.

**Д.-Э. Томпсон.** «Братья Карамазовы» и поэтика памяти. Перевод с английского. СПб., «Академический проект», 2000, 344 стр., 1000 экз.

Составитель **Сергей Костырко.**

**«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:**

**Яков Гордин.** Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века.

**Евгений Шкловский.** Та страна. Рассказы.

**Фрэнсис А. Йейтс.** Джордано Бруно и герметическая традиция.

**ПЕРИОДИКА**



*«Арион», «Волга», «Вопросы литературы», «Время МН», «День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Звезда», «Знамя», «Карикатура», «Книжное обозрение», «Кулиса НГ», «Литература», «Литературная газета», «Логос», «Москва», «Наш современник», «НГ-Наука», «НГ-Религии», «Независимая газета», «Новая русская книга», «Общая газета», «Огонек», «Октябрь», «Подъем», «Посев», «Российский химический журнал», «Субботник НГ», «Хранить вечно»*

**Валерия Абросимова.** Тотальная ложь власти и выбор личности. — «Хранить вечно». Специальное приложение к «Независимой газете». 2000, № 1 (9), 31 марта. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Из архива секретаря Л. Н. Толстого Валентина Федоровича Булгакова (1886 — 1966): заявления и письма 1921 года о работе разрешенного и тут же распущенного большевиками Всероссийского общественного комитета помощи голодающим.

**Юрий Акопян.** <Пять рецензий>. — «Карикатура». Информационный бюллетень карикатуристов. 2000, № 2, февраль — март. Тираж 100 экз.

Среди этих пяти — уважительно-полемический отклик на эссе Сергея Аверинцева «О духе времени и чувстве юмора» («Новый мир», 2000, № 1).

**Григорий Амелин, Валентина Мордерер.** «Пушкин-обезьяна». — «Логос». Философско-литературный журнал. 2000, № 2. Электронная версия: <http://www.ruthenia.ru/logos>

Пушкинская подоплека образа *обезьяны* у Набокова, Ходасевича, Бунина, Пастернака, Мандельштама.

**Вадим и Даниил Андреевы: продолжение знакомства.** Письма 1927 — 1946 годов. Публикация Ольги Андреевой-Карлайл и Алексея Богданова. Вступительная заметка Ольги Андреевой-Карлайл. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 3. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/zvezda>

Письма Даниила Леонидовича Андреева его старшему брату Вадиму Леонидовичу Андрееву, обнаруженные весной 1997 года, существенно дополняют предыдущую публикацию в журнале «Звезда» (1997, № 4).

**Лев Аннинский.** «У меня внутри аэродинамическая труба». Беседовала Надежда Горлова. — «Книжное обозрение», 2000, № 17, 24 апреля.

Лев Аннинский написал — *для дочерей* — подробную биографию своих отца и матери, огромный текст, 200 печатных листов. «Я думаю, это лучшее, что я сделал. Но не хочу, чтобы это сейчас печаталось».

**Аким Арутюнов.** Как большевики заматали следы преступлений Ленина. — «Посев». Общественно-политический журнал. 2000, № 4, апрель. Электронная версия: <http://www.glasnet.ru/~posev>

О том, как после октября 1917 года жгли архивы и скупали в Европе документы, относящиеся к германским контактам вождя мирового пролетариата.

**Василий Бабков.** Законы времени и «Доски Судьбы». Нефилологический взгляд на творчество Велимира Хлебникова. — «НГ-Наука», № 4, 19 апреля. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

«Хлебников — с одной стороны, Вавилов, Планк, Эйнштейн — с другой, питались одной и той же мифологией, почерпая из нее исходные интуиции».

**Павел Басинский.** Чучело «Чайки». — «Литературная газета», 2000, № 17, 26 апреля — 2 мая.

«Важно, что прежде игры Акунин выпотрошил чеховскую „Чайку“, вычистив из нее элемент жалости. Не сделай он этого — и всей игры бы не получилось». О комедии Бориса Акунина «Чайка» («Новый мир», 2000, № 4), а речь именно о ней, см. также резкую статью Марии Ремизовой «Чучело Чехова» («Независимая газета», 2000, № 78, 28 апреля). Удивляет мрачно-серьезная реакция уважаемых критиков (оба печатаются в нашем журнале) на *литературную шутку*, которая, как мне кажется, понравилась бы Антону Павловичу, автору *детективной повести* «Драма на охоте» и *комедии* «Чайка».

**Татьяна Бек.** Жизнь с памятниками и без. — «Общая газета», 2000, № 14, 6 — 12 апреля. Электронная версия: <http://www.og.ru>

Татьяна Бек почему-то считает роман Владимира Войновича «Монументальная пропаганда» («Знамя», 2000, № 2, 3) событием не только в литературной жизни, но и в области социальной психологии, политологии, философии. Иное мнение («образцовый пропагандистский роман, который никого распропагандировать не может») высказывает Елена Иваницкая в «Независимой газете» (2000, № 66, 12 апреля).

См. также хорошие стихи Татьяны Бек в журнале «Знамя» (2000, № 4).

**Исайя Берлин.** Александр Герцен и его мемуары. Вступительная статья и перевод с английского В. Сапова. — «Вопросы литературы», 2000, № 2, март — апрель. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/voplit>

Предисловие к английскому переводу «Былого и дум», изданному в 1968 году.

**Юрий Буртин.** О сталинисте Твардовском, который терпел и молчал. — «Независимая газета», 2000, № 64, 8 апреля. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Аргументированная полемика бывшего новомирца со статьей Викторией Шохиной «Битва в пути» («Кулиса НГ», 2000, № 3, 18 февраля) о «Новом мире» времен Твардовского.

**Всегда ли побеждает побежденный?** Наталья Трауберг о христианском самиздате. Спрашивал и записал Борис Колымагин. — «Литературная газета», 2000, № 17, 26 апреля — 2 мая.

60 — 70-е. Самиздатские переводы Льюиса и Честертона. «В Новой Деревне (куда перевели о. Александра) стало очень много новых людей... В 1972 году произошел демографический взрыв — появилось очень много неопитов. Приход [о. Меня] заметно вырос, и буквально каждый читал Льюиса».

**Эмма Герштейн.** Как это случилось. — «Вопросы литературы», 2000, № 2, март — апрель.

Обстоятельства гибели Пушкина, уточнение подробностей, перенос акцентов.

**Юрий Гончаров.** Путешествие в безумие. Рассказ. — «Подъем», Воронеж, 2000, № 4.

В самом конце войны три воронежских студента едут за гвоздями в столицу и ночуют в доме для полубезумных и просто безумных фронтовиков, эту ночь без единой минуты сна рассказчик запомнил на всю жизнь.

**Гюнтер Грасс.** «Продолжение следует...». Перевод с немецкого Азы Ставиской и Сергея Сухарева. — «Звезда», 2000, № 4.

Нобелевская лекция, скучная, как и ее автор.

**Олег Дарк.** Письма темных людей — 2. О героях литературного андеграунда (известных и не очень), а также о лицах нелитературных. — «Кулиса НГ», 2000, № 7, 28 апреля. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

«Ваня (Жданов. — А. В.) оказался соответствующим рассказам о нем: громоздкий и неловкий, поторопившийся сесть к нашему коврику и очень, очень серьезный... Он был старше нас, только что вышел с концерта Малера и еще наполнен музыкой, о которой ему хотелось говорить. Но все его попытки мы встречали иронией, сейчас же заподозрив провинциальную гордость от посещения консерватории. Малера мы не слушали никогда. Ваня замкнулся...» Статью первую см. в «Кулисе НГ» (2000, № 2, 4 февраля).

**Людмила Дербина.** Обкомовский прихвостень. Открытое письмо Виктору Астафьеву. — «День литературы», 2000, № 6, март. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

Вдова/убийца поэта Николая Рубцова резко нападает на Виктора Астафьева за его воспоминания о поэте, опубликованные в газете «Труд» от 27 января 2000 года (полностью — в февральском номере «Нового мира» за этот год), и утверждает, что задуманный ею по ее же первоначальному признанию поэт на самом деле умер от инфаркта сердца. Обращает на себя внимание какая-то общая неадекватность мировосприятия («Я получаю множество писем, люди плачут над моими стихами, мои стихи уже поют. О книжке стихов из „райгородиска“ уже давно знают за океаном, в Америке»). Во вступительном слове редактор «Дня литературы» Владимир Бондаренко сомневается, прав ли он, публикуя письмо Л. Дербиной.

**Борис Евсеев.** Отреченные гимны. Беседу вел Аршак Тер-Маркарян. — «Литературная Россия», 2000, № 15, 14 апреля.

«Это религиозно-философская вещь (новый роман Бориса Евсеева „Отреченные гимны“, анонсированный „Новым миром“. — А. В.) с абсолютно авантурным сюжетом и хорошо закрученной фабулой... Когда-то, после тяжелого перитонита, мне довелось провести несколько часов на грани между жизнью и нежизнью. Я никому и никогда не рассказывал об этих часах, считая это неправильным, несвоевременным. Теперь решил кое-что в художественной форме рассказать. Отсюда в романе двадцать картин-мытарств. Это те мытарства, которые проходит душа после жизни, иногда — между жизнью и смертью».

**Борис Екимов.** Плещет донская волна... — «Книжное обозрение», 2000, № 18-19, 1 мая.

Тихий Дон. Мелехов. Шолохов.

**Никита Елисеев.** <Рецензия>. — «Новая русская книга». Критико-библиографический журнал Гуманитарного агентства «Академический проект». Санкт-Петербург, 2000, № 2. Электронная версия: <http://guelman.ru/slava/nrk/nrk.html>

Рецензия на *дурновкусный, нервный (на грани истерики) и одновременно один из лучших современных исторических (sic!) романов — почти гениальный (sic!) роман Ирины Полянской «Прохождение тени»* (М., «Вагриус», 1999; первая публикация была в «Новом мире», 1997, № 1, 2).

«Новая русская книга» — журнал *рецензий*; это именно то, что некогда — на другом уровне — делал, а сейчас, к сожалению, не делает московский журнал «Литературное обозрение».

**Александр Жолковский.** Из мемуарных виньеток. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 3, 4.

«Эти записи сделаны в разное время и относятся к разным полосам жизни — учебе в школе и МГУ на заре оттепели, семиотическому энтузиазму 60 — 70-х годов, эмигрантскому опыту 80-х и постсоветским контактам 90-х...» См. также страничку Александра Жолковского в Сети: <http://www.usc.edu/dept/las/sll/alik.htm>

**Сергей Журавлев.** Человек революционной эпохи. Судьба эсера-террориста. — «Хранить вечно». Специальное приложение к «Независимой газете». 2000, № 1 (9), 31 марта.

Как и почему организатор убийства Володарского и покушения на Ленина эсер Григорий Семенов был расстрелян только в 1937 году, а до этого служил в советской военной разведке.

**Наталья Заруцкая, Александр Щуплов.** У смерти нету родословной? — «Субботник НГ». Еженедельное приложение к «Независимой газете». 2000, № 14, 15 апреля. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Один из лучших независимых судебно-медицинских экспертов России, профессор Московской медицинской академии имени Сеченова Александр Маслов подробно рассказывает о том, что Маяковский несомненно застрелился сам.

**Михаил Златковский.** Навстречу 100-летию юбилею Бориса Ефимова. — «Карикатура». Информационный бюллетень карикатуристов. № 1, декабрь 1999 — январь 2000.

«Даже сама вероятность (несостоявшегося. — А. В.) присуждения премии Президента <карикатуристу Борису> Ефимову — позор нации. Это оправдание всего самого страшного, что произошло с Россией в двадцатом веке. Не только присуждение премии, даже обсуждение этого вопроса можно образно сравнить лишь с установлением памятников Ежову, Ягоде, Вышинскому и иже с ними» (из заявления М. Златковского, датированного октябрём 1999 года).

**Игорь Золотусский.** «Поэзия — это незримая ступень к христианству». Беседу вел Владимир Клименко. — «Литературная Россия», 2000, № 17, 28 апреля.

«Чехов — духовный писатель. Безусловно. Хотя я, грешный, очень люблю так называемые чеховские пустяки. Я понимаю Толстого, который до упаду хохотал, когда смотрел „Свадьбу“ или „Медведя“. И умирал от скуки, глядя на „Дядю Ваню“. Толстой говорил: это Ибсен. Он действительно был прав. Тут он Чехова поймал (?! — А. В.). Ибсен и Стриндберг переночевали в чеховской драматургии».

**Станислав Золотцев.** Искатель живой воды. Роман-исследование. — «Подъем», Воронеж, 2000, № 2, 3, 4, 5.

О поэте, прозаике, путешественнике, историке, этнографе Сергее Николаевиче Маркове (1906 — 1979). Особая тема этого исследования (а совсем не романа) — как троцкисты и прочие яковы аграновы мешали жить *русскому богатырю* Сергею Маркову. Запоминается реконструкция (по устному свидетельству А. Романова) вологодской беседы начала 60-х годов между бывшим ссыльным поселенцем С. Марковым и бывшим главным инспектором Северо-Западного округа ГПУ Константином Коничевым. Оба — писатели, вспоминают *было*.

**Андрей Zubov.** Политическое будущее Кавказа: опыт ретроспективно-сравнительного анализа. — «Знамя», 2000, № 4. Сетевой журнал «Знамя»: <http://www.infoart.ru/magazine/znamia>

«Поэтому Кавказ должен быть разделен не на национальные государства, но на вненациональные, чисто территориальные административные единицы, высшая власть в которых будет не выбираться населением (такие выборы неизбежно приведут к межнациональным столкновениям, как в Карачаево-Черкесии или в той же Абхазии в 1989 году), а назначаться из России, и притом не из представителей туземных народов...»

См. также в № 5 «Нового мира» за 1999 год статью Андрея Зубова «Сорок дней или сорок лет».

**Лев Игошев.** Золотая пора сталинизма. — «День литературы», 2000, № 7 — 8, апрель.

«Модерновое искусство было признано обанкротившимся — и в этом величайшая заслуга сталинской эпохи».

**Рейн Карасты.** Два генерала. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 3.

Кобрисов из романа Георгия Владимова «Генерал и его армия» и генерал из фильма Алексея Германа «Хрусталеv, машину!». Цитата: «Герман настаивает на том, что „Хрусталеv“ — комедия (почему-то никто из критиков не задумывается над этим)».

**Николай Климонтович.** Конец Арбата. Повесть. — «Октябрь», 2000, № 4. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/october>

Детство и юность Климонтовича на Арбате.

**Вадим Кожинов.** Сеятель. Беседу вел Вл. Винников. — «Завтра», 2000, № 17, 25 апреля. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

«Например, могу вам признаться, что в конце 50-х — начале 60-х годов я был, по сути, очень тесно и дружески связан со многими людьми, которые стали впоследствии диссидентами, эмигрировали из СССР, — например, с Андреем Синявским, или Александром Зиновьевым, или с таким ныне почти забытым, а в то время достаточно нашумевшим Борисом Шрагиным, или с Александром Гинзбургом, который потом работал

в Париже в газете „Русская мысль”, но оказался ненужным, или с Павликом Литвиновым, внуком наркома Литвинова, которого, каюсь, я привел в диссидентское движение. В частности, в моем доме, вернее, между моим домом и домом Гинзбурга делался такой известный журнал „Синтаксис”. Конечно, я давно через это перешел и в середине 60-х активно начал сторониться прежней компании.

См. также резкую реплику В. Кожина («Патология» — «Завтра», 2000, № 14) в адрес упорного питерского критика М. Золотоносова, глубоко ушедшего в изучение субкультуры русского антисемитизма (СРА).

**Владимир Колотаев.** Видимое против говоримого. Антониони и Флоренский. — «Логос». Философско-литературный журнал. 2000, № 2.

Метафизика зримого/говоримого по Флоренскому и «Блоу-ап» — знаменитый фильм Антониони, «у которого, как и у многих режиссеров, идиосинкразия на устную речь».

**Дмитрий Крылов.** Алгебра без гармонии. — «Независимая газета», 2000, № 82, 6 мая.

Отдавая должное *сальерианскому* мастерству Маканина, критик Дмитрий Крылов упрекает прозаика в том, что в своей новой повести «Буква „А”» («Новый мир», 2000, № 4) он не хочет или не может подвергнуть сомнению строгую алгебру сюжета и пробыться в мир *переживаний*, на котором, по мнению рецензента, и держится русская литература.

**Кто и чем заполняет образовавшийся вакуум?** — «НГ-Религии», 2000, № 8, 26 апреля. Электронная версия: <http://religion.ng.ru>

Полный текст письма с просьбой ввести *теологию в светских вузах* на имя министра образования В. Филиппова, оно подписано Патриархом Алексием II, президентом РАН Ю. Осиповым, президентом РАО Н. Никандровым и ректором МГУ В. Садовничим. Тут же напечатан текст договора «О сотрудничестве Министерства образования Российской Федерации и Московской патриархии Русской Православной Церкви» от 2 августа 1999 года.

**Юрий Кузнецов.** Золотое и синее. — «Наш современник», 2000, № 4.

Поэма «Детство Христа» и стихотворения. Поэму не читал, чтобы не огорчаться, поскольку хороших поэм о Христе не бывает.

**Станислав Куняев.** Дитя безвременья. Беседа о Высоцком с Владимиром Бондаренко. — «День литературы», 2000, № 7-8, апрель.

*Станислав Куняев:* «Как ты думаешь, кто герой песни „Банька по-белому”?» — *Владимир Бондаренко:* «Вроде бы уголовник... Хотя и политический тоже... По характеру — блатной, а по деталям иным — откровенно политический». — *Станислав Куняев:* «Но это же невозможно соединить в жизни в те годы. Политические ненавидели блатных, а блатные издевались над политическими. Почитай Шаламова или Солженицына. А он (Высоцкий. — *А. В.*) решил сразу удовлетворить всех. „На левой груди — профиль Сталина, а на правой — Маринка анфас”. Конечно же чистый татуированный уголовник. Блатной человек. И тут же: политический. Кто сидел, тот не мог написать такую песню, да и петь ее не стал бы. Пела молодежь, что-то слышавшая о лагерях... Вспомни: „Сколько веры и лесу повалено...” Это же не блатной уже поет, а политический. „Эх, за веру мою беззаветную сколько лет отдыхал я в раю!” Но у политического заключенного не может быть на груди выколота Маринка анфас. Такое не выдохнешь разом. Такое лишь сконструируешь. Актерская вещь».

**Александр Кушнер.** Камень кружевной. Из новой книги «Летучая гряда». — «Кулиса НГ», 2000, № 6, 14 апреля.

Стихи с автокомментариями. См. также стихи А. Кушнера в журнале поэзии «Арион» (2000, № 1).

**Льюис Кэрролл.** Охота на Снарка. Бред в восьми пароксизмах, или Свершение в восьми песнях. Перевод Владимира Гандельсмана. — «Волга», Саратов, 2000, № 4. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/volga>

Мне больше нравится перевод Григория Кружкова.

**Виктор Лихоносов.** Одинокие вечера в Пересыпи. — «Наш современник», 2000, № 4.

«С осени, когда все купальщики уедут, на всю зиму воцаряется по окрестности и в самой Пересыпи одиночество неба, пустых холмов и таких грустных, как будто уставших огородов с голыми деревьями...»



**Алла Марченко.** Пройдет ли обморок духовный? — «Литературная газета», 2000, № 17, 26 апреля — 2 мая.

О романе Ольги Славниковой «Один в зеркале» («Новый мир», 1999, № 12; М., «Грантъ», 2000) как *тексте повышенной художественной плотности* и об *умном уме* этого екатеринбургского прозаика.

**Рой Медведев.** Разгаданный Путин. — «Книжное обозрение», 2000, № 18-19, 1 мая. Две главы из книги «Загадка Путина».

**Сергей Николаев.** В промежутке. — «Посев». Общественно-политический журнал. 2000, № 4, 5.

«На (нынешнем. — *А. В.*) рубеже веков и развилке политических эпох русская демократическая интеллигенция не справилась со своею главной исторической задачей — она не сумела определить и сообщить российским реформам и преобразованиям никакого существенного духовного и культурного содержания. Не заполнила (и даже всерьез не попыталась заполнить) тот духовный вакуум, ту культурную, аксиологическую пустоту, что образовалась с обрушением большевистских мифов и идеологием... Россия, конечно, не перестанет становиться, обустраиваться и развиваться. Вот только очевидно: сложный, долговременный (часто и уродливый), этот процесс продолжится в отсутствии, помимо и в обход израсходовавшей и дискредитировавшей себя демократической интеллигенции».

**Владислав Отрошенко.** Гоголиана. — «Октябрь», 2000, № 4.

Гоголь и — паспорт, рай, элементарные частицы, ад, воздух, призрак точки. Жанровое определение — корпус эссе. Фантазия жизни, по мнению автора, поработала над образом русского писателя Гоголя до того искусно, что для частной авторской фантазии почти не остается места.

**Марина Палей.** Ланч. — «Волга», Саратов, 2000, № 4.

Очень мрачный философский роман, после которого хорошо посмотреть Пуаро в исполнении Дэвида Суше.

**Вадим Перельмутер.** Реквием по запретной любви. — «Арион». Журнал поэзии. 2000, № 1. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/arion>

Статья третья — «Ожидание гения» (первые две см. в № 2 и 4 «Ариона» за 1999 год) — о том, что культура гибнет всегда — у нее такая форма существования, а творческий беспорядок сегодняшней поэзии, быть может, не уютен, зато и не скучен и, вообще, свобода выбора дорогого стоит. О конкретных поэтических именах см. в обзорной статье Ильи Фаликова «Занавес» в этом же номере «Ариона».

**Василий Попов.** Война с народом. Этапы государственного террора в России. Предисловие Евгения Александрова. — «Независимая газета», 2000, № 77, 27 апреля.

70 лет назад во исполнение постановления правительства от 7 апреля 1930 года был издан приказ по НКВД о создании Управления лагерями ОГПУ, которое в 1931 году было реорганизовано в Главное управление лагерями (ГУЛаг) ОГПУ. «Цифра 40 миллионов (осужденных в 1923 — 1953 годах. — *А. В.*) весьма приблизительно и сильно занижена, но вполне отражает масштабы репрессивной государственной политики...» Автор, историк, профессор Московского педагогического государственного университета, не разделяет осужденных на «уголовников» и «контрреволюционеров», рассматривая их как «единое целое, характеризующее репрессивную политику советского государства».

**Гавриил Попов.** Берегите русских. Разговоры о «россиянах» — попытка уйти от решения проблемы. — «Независимая газета», 2000, № 61, 5 апреля.

«Если расположить по важности основные блоки стратегии России в XXI веке, то на первое место я бы поставил проблему увеличения численности русских в стране. Да, именно русских. И именно численности... Я бы сказал еще грубее: никакой проблемы России XXI века не будет в принципе, если численность русских будет сокращаться или сохранится только на нынешнем уровне... Поэтому сегодня надо прямо сказать о цели — „русские“. Иначе все погубит лицемерие».

**Александр Портнов.** Князь Игорь — автор «Слова». — «НГ-Наука», № 4, 19 апреля.

О том, что мнимая анонимность «Слова о полку Игореве» есть (будто бы) результат историко-лингвистического недоразумения.

**Вадим Рак.** <Рецензия>. — «Новая русская книга». Критико-библиографический журнал. Санкт-Петербург, 2000, № 2.

Появился второй выпуск (К-П) «Словаря русских писателей XVIII века» (СПб., «Наука», 1999). Рецензент считает, что пора наконец разорвать тишину, окружающую

это столь необходимое для нашей культуры научно-исследовательское предприятие, работа над которым идет уже четверть века (примерный словник был напечатан в 1975 году, первый выпуск словаря вышел в 1998-м).

**Мария Ремизова.** Свои и чужие в Городе Счастья. — «Ex libris НГ», 2000, № 13, 6 апреля. Электронная версия: <http://exlibris.ng.ru>

Вышла книга лауреата премии Антибукер 1998 года Андрея Волоса «Хуррамабад» (М., «Независимая газета», 2000), фрагменты которой в виде рассказов и повестей печатались в «Новом мире». «Пунктирная линия „Хуррамабада“ прошивает довольно большой временной отрезок — с 20-х годов, когда русские вошли в Таджикистан с благой вестью о новом миропорядке, и до начала 90-х, когда их окончательно смыли оттуда волны Гражданской войны, резни и погромов, навсегда оставив в земле их бывшей новой родины не поддающиеся транспортировке могилы».

**Мария Ремизова.** Поверх барьеров. Проза писателей-эмигрантов в журнале «Континент». — «Независимая газета», 2000, № 80, 4 мая.

«Но самый поразительный рассказ (в № 102. — А. В.) — и в общем-то, неожиданный для „Континента“ — это „Беженец Федя“ Юрия Бердана. Читатель, вообрази такую картину: к хорошим, умным, образованным и работающим *русским* эмигрантам прибывает из развалившегося Союза семья грубых, тупых, необразованных, ленивых, самодовольных, пьющих и жрущих родственников-евреев и буквально садится на шею. Стыдно? Противно?.. Успокойся, читатель. Антисемитизм не пройдет. Все было ровно наоборот: это евреи были умными и хорошими, а свиньями, как нам и положено, были мы, русские...»

**Юрий Родионов.** Главный пациент страны. — «Посев». Общественно-политический журнал. 2000, № 4, апрель.

«Ленин возглавил Россию в 47 лет и, будучи безнадежно больным, очень быстро стал разрушаться». Атеросклероз начал у него развиваться с четырнадцатилетнего возраста. Никакой «отравленной пули» не было. 21 января 1924 года — температура 42,3 градуса, ртуть поднялась настолько, что дальше в термометре не было места. Несколько иная точка зрения на болезнь и смерть Ленина (атеросклероз как следствие покушения 1918 года) изложена в статье Ады Горбачевой «Властвовать на Руси вредно для мозга» («Субботник НГ», 2000, № 15, 22 апреля).

**Мария Сетюкова-Кузнецова.** Загадка Пытавина. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2000, № 16, апрель. Электронная версия: <http://www.1september.ru>

Медленное чтение рассказа Андрея Дмитриева «Шаги» (1987).

**Ольга Славникова.** Петрушевская и пустота. — «Вопросы литературы», 2000, № 2, март — апрель.

Очень важная и даже храбрая статья прозаика/критика из Екатеринбурга о большом художнике Людмиле Петрушевской, которая, оказывается, *сама себе перегной, то есть почва, то есть страна.*

Петрушевская пишет о *дезадаптантах-пессимистах*, а Щербакова — о *дезадаптантах-оптимистах*, отмечает Татьяна Морозова («Мы увидим небо в полосочку» — «Литературная газета», 2000, № 18, 4 — 9 мая).

О Петрушевской — *докторе по женским болезням* — можно прочесть в рецензии Марии Ремизовой «Мир обратной диалектики» («Независимая газета», 2000, № 73, 21 апреля).

**Максим Соколов.** Пиночетианцы. — «Огонек», 2000, № 14, апрель. Электронная версия: <http://www.ropnet.ru/ogonyok>

Автор отмечает, что, «если бы Корнилов, Крымов или какой иной генерал в июле, а лучше в апреле 1917 года собрали бы большевиков во главе с В. И. Лениным в цирке Чинизелли или на ипподроме Петроградского бегового общества и обошлись там с ними немилосердно, Россия, возможно, была бы избавлена от последующего большевистского лихолетья, из чего, впрочем, никак не следует, что при этом она была бы и вообще избавлена от неприятностей как таковых... Речь была бы о режиме типа франкистского, который, положим, несколько получше большевистского — но ведь тоже не без недостатков. Зато уж точно без излишней гуманности. Все, что можно сказать по такому поводу, — не водите дело до гражданской войны, когда приходится выбирать между каудильо и предсовнаркома».

**Лидия Спиридонова.** «Мы живем в снах и легендах». К 50-летию со дня смерти И. С. Шмелева. — «Хранить вечно». Специальное приложение к «Независимой газете». 2000, № 1 (9), 31 марта.

Шесть документов, хранящихся в Архиве А. М. Горького РАН, — отчаянные попытки писателя И. С. Шмелева узнать что-либо о судьбе его сына Сергея, убитого большевиками в Крыму в 1921 году. (Когда я читал верстку этой «Периодики», прах Шмелева, согласно его завещанию, был перевезен из Парижа в Москву.)

**Виктор Троицкий.** Обратный адрес: Медвежья гора. Первопубликация лагерных писем семьи Лосевых. — «Посев». Общественно-политический журнал. 2000, № 3, март.

Четыре письма з/к Лосевых 1932 — 1933 годов в Москву к родителям жены А. Ф. Лосева Валентины Михайловны — М. В. Соколову и Т. Е. Соколовой (публикатор — А. А. Тахо-Годи).

**Илья Фаликов.** Красноречие по-случки. — «Вопросы литературы», 2000, № 2, март — апрель.

По выражению автора: *групповой портрет Бориса Слуцкого*, то есть Слуцкий и другие, Слуцкий на фоне, Слуцкий во взаимоотношениях и отталкиваниях. См. также статью Никиты Елисеева «Полный вдох свободы» («Новый мир», 2000, № 3) о военных записках Слуцкого.

**Сергей Федякин.** Исчезновение глагола. — «День литературы», 2000, № 6, март.

Стилевой фон литературных (всех) журналов и, может быть, вообще стиль времени — исчезновение *глагола/Глагола*. «Когда он покидает прозу — с ним уходит не только предмет, его жизнь, его „движение“. С ним уходят „и Божество, и вдохновенье“, и — „молитвы“. Остается лишь знак предмета, „информация“. Пусть даже „затейно“ изложенная».

**Нина Хрущева.** В гостях у Набокова. — «Ex libris НГ», 2000, № 15, 20 апреля.

Почему Набоков переехал в Швейцарию?

**Алексей Чичерин.** Воспоминания о Маяковском. Вступительная статья Веры Терехиной. Публикация и комментарии Алексея Зименкова и Веры Терехиной. — «Арион». Журнал поэзии. 2000, № 1.

Малоизвестный русский авангардист Алексей Николаевич Чичерин (1889 — 1960) в 1939 году вспоминает, как Маяковский умышленно искажал стихи оппонентов, но когда какой-нибудь критик цитировал его стихи, перевирая слова, Владимир Владимирович приходил в ярость. И тут же читаем о *деликатнейшем существе* Маяковского, который обладал *исключительным благородством и тактом* и не мог выражать своих убеждений в *буффонадных* поступках.

**Игорь Шевелев.** Духовный отец русского пост-упыризма. — «Время МН», 2000, № 61, 6 мая.

Беседа с *духовным отцом*, то есть с прозаиком Юрием Мамлеевым, получившим недавно немецкую Пушкинскую премию, малоинтересна, но Игорь Шевелев приводит забавный рассказ одного мамлеевского *добраго знакомого* о том, как однажды в легендарные 60-е Мамлеев упился на природе, а приятели решили пошутить: соорудили что-то вроде гроба, уложили в него «певца разложения», в сложенные на груди руки положили шепочку в виде свечки и зажгли ее. Очнувшийся Мамлеев, обнаружив себя в гробу, в диком ужасе выскочил оттуда, убежал в лес, и в тот день его больше не видели.

«Сейчас Мамлеев неинтересен, — пишет Олег Дарк в статье „Маска Мамлеева“ („Знамя“, 2000, № 4), — потому что кажется уже устаревшим, хорошо усвоенным и переваренным в произведениях его молодых и более талантливых наследников, имеющих тоже дело с разного рода демонической нечистью, но лучше управляющихся с фразой и сюжетом».

**Георгий Шенгели.** Черный погон. Из неизданного романа-хроники. Публикация Сергея Шумихина. — «Хранить вечно», 2000, № 1 (9), 31 марта.

Поэт, переводчик и стиховед Г. А. Шенгели (1894 — 1956) написал среди прочего беллетризованные мемуары о своих скитаниях по югу России во время Гражданской войны — «Черный погон». В 1990 году в сборнике «Встречи с прошлым» (выпуск 7) А. В. Маньковский опубликовал первые три «керченские» главы «Черного погона». В специальном приложении к «Независимой газете» ныне печатаются отрывки из глав, где идет речь о приезде героя в «белую» Одессу. Прототипы расшифрованы публикатором в примечаниях.

**С. Э. Шноль.** Существование «конформистов» — условие стабильности общества в экстремальных условиях. — «Российский химический журнал». Журнал Российского химического общества им. Д. И. Менделеева. Том XLIII (1999, № 6).

В советской науке, кроме *героев* и *злодеев*, были еще и *конформисты*, которые, собственно, и спасали, как могли, интеллектуальный потенциал страны. В качестве таких конформистов в статье упоминаются Николай и Сергей Вавиловы, а также много других менее известных широкой публике имен.

**Густав Шпет.** Напитки, которые мы выбираем. — «Ex libris НГ», 2000, № 16, 27 апреля.

Небольшой фрагмент комментариев философа Густава Шпета к «Посмертным запискам Пиквикского клуба»: *джин, виски, бренди, пуши* и проч. в знаменитом романе Чарлза Диккенса.

**Людмила Штерн** (Бостон). Гигант против колосса. — «Ex libris НГ», 2000, № 14, 13 апреля.

Обстоятельная полемика со статьей Солженицына о поэзии Бродского («Новый мир», 1999, № 12). Позволю себе только одно замечание. Людмила Штерн считает, что предположение Солженицына, мол, «проживи Бродский в ссылке подольше — та (плодотворная, основанная на деревенских впечатлениях. — *А. В.*) составляющая в его развитии могла бы существенно продлиться», свидетельствует о его полном одиночестве в советским правосудием. Но вот что говорил сам Бродский в беседе с немецкой слависткой Б. Файт («Урал», 2000, № 1): «У Ратушинской, особенно когда она оказалась в тюрьме, стали из тюрьмы приходиться совершенно замечательные стихи... Я не знаю, как сложились бы ее поэтические обстоятельства, если бы она просидела дольше, просто не хочется думать, что, может быть, она стала бы еще и лучше писать...» Значит ли это, что Бродский хоть отчасти солидаризовался с теми, кто посадил Ирину Ратушинскую? Или что он сожалел о ее освобождении?

См. также полемическое письмо Игоря Ефимова «Солженицын читает Бродского» в майском номере «Нового мира» за текущий год.

**Валерий Шубинский.** Правило и исключения. — «Новая русская книга». Критико-библиографический журнал. Санкт-Петербург, 2000, № 2.

Доброжелательно-критический обзор поэтических книг из серии «Автограф», выпускаемой петербургским издательством «Пушкинский фонд» (за пять лет — тридцать пять книг). Своим существованием издательство обязано энергии одного человека — Геннадия Комарова. «Думаю, что мы сошлись бы с Комаровым в том, что касается масштабов дарования Елены Шварц и достоинств ее последних стихов. Но контекст, в который поставила творчество Шварц серия „Автограф“, ложен. Даже рядом с Кублановским, Кривулиным, Лосевым, Ахмадулиной, Кононовым (авторами субъективно ей дружественными или биографически близкими, но творчески очень далекими) она выглядит белой вороной, пленительно-экстравагантным исключением. В своем естественном окружении (включающем таких бесконечно разных поэтов, как Ольга Седакова, Сергей Стратановский, Александр Миронов, Олег Юрьев, Ольга Мартынова, Василий Филиппов, и другие) ее творчество смотрелось бы иначе. Пока же вместо Седаковой в товарищи Шварц дана Светлана Кекова — Седакова чуть-чуть второго сорта».

**Дмитрий Шушарин.** 1999. — «Логос». Философско-литературный журнал. 2000, № 2.

*Политический* 1999 год закончился в *полдень* 31 декабря, но начался он раньше календарного, даже не в августе 1998-го, а с отставки Виктора Черномырдина — именно тогда начались поиски не просто преемника, а персонификатора государства и государственной воли — национального лидера.

**Александр Щуплов.** Человеческое, слишком человеческое. — «Субботник НГ». Еженедельное приложение к «Независимой газете». 2000, № 15, 22 апреля.

Малоизвестные особенности семейной жизни Ильи Николаевича и Марии Николаевны Ульяновых. Забавы детей Ульяновых. Странная супружеская пара: Ленин и Крупская.

**Священник Георгий Эдельштейн.** «Невозможно примирение между „да“ и „нет“». — «Знамя», 2000, № 4.

«Автобус везет меня по улице Советской мимо огромного гранитного памятника Я. Свердлову. Водитель раз за разом повторяет: „Товарищи пассажиры, приобретайте проездные билеты на май у кондуктора“, „Товарищи пассажиры, на линии работает контроль“... Почему центральная улица Костромы по сей день — „Советская“? Советы для меня, священника, — власть злых и лживых безбожников и безжалостных окку-

пантов, Я. Свердлов — один из мерзопакостных главарей, а „товарищ” — слово из их партийного новояза. Я на ихней партийной фене не ботаю. Мне одинаково приятно ходить по Советской и по улице Третьего Рейха».



АДРЕСА: хроника культурной жизни 70-х годов, составленная И. П. Уваровой и К. Роговым: <http://www.ruthenia.ru/document/202590.html>



ДАТЫ: 26 августа (7 сентября) исполняется 130 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870 — 1938); 11 (23) августа исполняется 120 лет со дня рождения Александра Грина (Александра Степановича Гриневского; 1880 — 1932); 28 августа исполняется 75 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова (1925 — 1981).

Составитель Андрей Василевский.

**«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:**

**«НГ-Наука».** Ежемесячное приложение к «Независимой газете».  
Электронная версия: <http://www.ng.ru>

---

**СЕТЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА**



*Проект «Рейтинг литературных сайтов России», о «народном» рейтинге сайтов  
Анти-Тенёт, о прозе на сетевом литературном конкурсе «Улов»*

1

Я уже не раз упоминал в этих обзорах о работе по структурированию литературного Интернета, описывая институт сетевых обозревателей, тематические каталоги, сетевые журналы и сайты литературных конкурсов. Сегодня нам представилась возможность поговорить еще об одной форме структурирования — о сайтах, полностью посвященных анализу литературного пространства русского Интернета. С начала этого года в русском Интернете осуществлялся новый проект Дмитрия Кузьмина «Рейтинг литературных сайтов». Задачи этого проекта определены в Декларации: «...растет объем литературных ресурсов русского Интернета. Чем дальше, тем сложнее ориентироваться в этом обилии источников информации. Существующие сегодня основные способы ориентации... не решают проблемы...

Налицо необходимость широкомасштабной экспертной оценки русской литературы в Интернете. В то же время очевидно, что подвергать этой оценке тексты или авторов затруднительно: количество их совершенно необозримо. Напрашивающийся выход — экспертиза сайтов: сетевой литературный проект с высокой репутацией способен гарантировать качество новых появляющихся на нем текстов. Кроме того, кажется правильным и важным стимулировать авторов... к сотрудничеству с ведущими сайтами — а для этого экспертным способом их выделить и отметить».

Созданный для этой работы отдельный сайт так и был назван: «Рейтинг литературных сайтов России» (<http://rating.rinet.ru/index.html>).

По условиям работы этого сайта рейтинг проводится два раза в год. Результаты объявляются 1 марта и 1 октября. В рейтинг включаются сайты, публикующие произведения современной русской литературы, то есть художественные тексты, написанные на русском языке с конца 50-х годов по настоящее время (кроме массовых жанров). В ходе экспертизы каждому проекту присваивается категория и индекс. Категория характеризует проект с точки зрения качества составляющих его текстов, индекс — с точки зрения его организации и функционирования.

Категории рейтинга:

**А** — проект представляет современную русскую литературу в наиболее важных и интересных ее проявлениях; публикация в рамках данного проекта гарантирует профессиональную состоятельность автора.

**В** — среди публикаций проекта присутствуют яркие, значительные явления современной русской литературы; публикация в рамках данного проекта гарантирует определенный уровень профессионализма и культурной вменяемости опубликованных текстов.

**С** — некоторые из публикаций проекта относятся к ярким, значительным явлениям современной русской литературы.

**Д** — проект представляет ближайший резерв профессионального литературного сообщества, публикуя молодых и начинающих авторов, которые в будущем при условии серьезной работы могут стать явлением современной литературы.

**Е** — проект представляет достаточно качественные тексты с преобладанием второстепенных и консервативных художественных тенденций или вторичных авторов.

**Г** — проект содержит отдельные тексты, заслуживающие внимания.

**Без категории** — среди публикаций проекта экспертам не удалось обнаружить текстов, заслуживающих внимания.

(Так подробно и, может быть, нудно я выписываю все эти дефиниции, но терпите, эти характеристики лучше проговорить сразу, чтоб не повторять их, характеризуя каждый из сайтов, вошедших в рейтинговый список. Поэтому я продолжаю.)

Индексы рейтинга:

**1** — проект обладает ясной внутренней логикой, четкой концепцией, адекватной структурой, регулярно обновляется.

**2** — проект обладает определенными элементами структуры и концепции, время от времени обновляется.

**3** — проект тяготеет к аморфности, бессистемности, подбор текстов достаточно случаен, обновления редки.

**0** — проект прекращен.

В качестве экспертов были приглашены: **Дмитрий Бак**, литературный критик, кандидат филологических наук, заместитель директора Института Европейских культур; **Михаил Бутов**, прозаик, лауреат Букеровской премии 1999 года, ответственный секретарь журнала «Новый мир»; **Александр Гаврилов**, литературный критик, редактор газеты «Ех libris НГ»; **Виктор Кривулин**, поэт, эссеист, член жюри литературных конкурсов «Тенёта» (в 1998 — 1999 годах) и «Арт-ЛИТО»; **Андрей Левкин**, прозаик, публицист; **Алексей Парщиков**, поэт; **Владимир Строчков**, поэт, победитель сетевых литературных конкурсов «Тенёта-98» и «Улов-99», лауреат стипендии имени Бродского.

Итогом их работы стал список 34 литературных сайтов, из которого я привожу имена и адреса сайтов, получивших достаточно высокую категорию:

**Вавилон: Современная русская литература А 1** (<http://www.vavilon.ru>)

**Журнальный зал Инфоарта А 1** (<http://www.infoart.ru/magazine>)

**Современная русская литература с Вячеславом Курицыным А 1** (<http://www.guelman.ru/slava>)

**Журнал TextOnly В 1** (<http://www.vavilon.ru/textonly>)

**Библиотека ферганской школы В 2** (<http://www.ferghana.ru/library/index.html>)

Современная русская поэзия В 2 ([http://rema.ru/poems/Vernitskii\\_Literature](http://rema.ru/poems/Vernitskii_Literature))  
 Молодая русская литература С 1 (<http://www.friends-partners.org/~alexey>)  
 Лито имени Стерна С 1 (<http://www.lito.spb.ru/works.html>)  
 Русский переплет С 1 (<http://www.pereplet.ru>)  
 Журнал «Контрапункт» С 2 (<http://www.k-punkt.com>)  
 Индоевропейский диктант С 2 (<http://www.russianresources.lt/dictant/>)  
 Камера хранения С 2 (<http://members.aol.com/kamchran/>)  
 Лавка языков С 2 ([http://vladivostok.com/Speaking\\_In\\_Tongues/](http://vladivostok.com/Speaking_In_Tongues/))  
 Литературный журнал «Периферия» С 2 (<http://www.kulichki.net/periferia/>)  
 Неторопливое общение С 2 (<http://heart-to-heart.hobby.ru/index.htm>)  
 ОСТРАКОН С 2 (<http://members.tripod.com/~barashw/>)  
 Сетевая словесность С 2 (<http://www.litera.ru/slova/>)  
 Страница Александра Левина С 2 (<http://levin.rinet.ru/>)  
 Современная маргинальная культура: Литературный раздел С 3 (<http://rema.ru/Ozero.asp>)

А вообще мог бы посоветовать титульную страницу этого сайта (<http://rating.rinet.ru/index.html>) как справочную, попав на которую вы имеете перед собой список 34 ведущих литературных сайтов и, щелкнув мышкой по любой позиции в этом списке, тут же переноситесь на выбранный сайт. Очень удобно.

Разумеется, предложенный этим сайтом рейтинг не может претендовать на последнее слово. Тут, как и во всяком рейтинге, многое зависит от состава экспертного совета. На мой взгляд, этот состав достаточно квалифицированный и, надеюсь, авторитетный, но, повторяю, начата им работа не может быть исполнена усилиями только одного, пусть даже самого авторитетного жюри. Рейтинги будут появляться и дальше, и результатом их станет более или менее объективная (если таковая в принципе возможна) картина литературного Интернета. Работа эта уже идет, и не только на «Рейтинге литературных сайтов России». Свой опрос среди посетителей провели Анти-Тенёта, и результатом их стал список, обозначенный как «народный рейтинг сайтов»:

Современная русская литература с Вячеславом Курицыным  
 Анекдоты из России. Истории  
 Сетевая словесность  
 Лавка языков  
 Нескучный Жанр  
 Сумасшедший дом Мистера Паркера  
 ЛИТО имени Стерна  
 Салон  
 ЛЕНИН

(Сходил я наконец-то — давно собирался, но имя пугало — посмотреть, что это такое: ЛЕНИН? (<http://imperium.lenin.ru/LENIN/>). Посмотрел. Все правильно. Ленин как Ленин. В диалектическом, так сказать, развитии. Тут случайностей не бывает, диалектика — это дама серьезная и по большому счету не ошибается: эпиграф про несчастную Россию из А. Проханова, установочный текст другого Учителя: «Русский патриотизм есть великий мистический, геополитический, исторический, сотериологический, эсхатологический ПРОЕКТ, доверенный избранному народу великороссов как особый Завет, сформировавший для этого специальный этнос, отличающийся чертами и свойствами, не имеющими аналогов нигде больше... Русские — единственный народ, в который можно войти (но из которого нельзя выйти без глубинных и необратимых травм). Каждый порядочный человек на земле — русский». И так далее (далее — это кокетливый эпатаж типа: «Что же касается редакции ЛЕНИНА, то мы любим технологическую цивилизацию, атеизм и уродство. Чистый воздух — для слабаков»)... И на удивление много женских имен попадаете среди активных авторов сайта, надо полагать, что эти милые барышни (кстати, действительно очень милые) думают, что занимаются эпатажно-артистическим постмодернизмом, думают, бедные, что их постмодернизм с совет-

скими свастиками — это игра такая, а слово ЛЕНИН — виртуальный ручной тигренок...

Чтение пришлось прекратить, как только я наткнулся на пассаж, автор которого, для того чтобы объяснить интеллектуальное и прочее убожество другого родственного ЛЕНИНу сайта, в качестве самого убойного аргумента высказывает следующее: «Средний возраст тамошнего автора, по моим оценкам, за сорок пять, причем даже сетевые графоманы тамошние все лет на десять старше, чем аналогичные им графоманы из Тенёт и Лито (пресловутый Персикофф сам чуть ли не 1940-х годов)», и вот тут мне стало стыдно, как будто я подглядываю в детскую, куда детишки скрылись от взрослых, чтобы самим побыть взрослыми. Действительно, нехорошо подглядывать — тебе-то, дураку, тоже, как тому «пресловутому» бедолаге «Персикоффу», уже за пятьдесят перевалило... Короче, наслушался патристически аранжированного мата из детских уст, начитался умных слов про эсхатологическое и сотериологическое, и хватит — иди мой руки с мылом и дочитывай список сайтов в Анти-Тенётах. Стоит того.

**Журнал TextOnly**

**«ЛИМБ»**

**Новый мир: Сетевые публикации**

**«Самиздат» (в библиотеке Мошкова)**

**Страница Александра Левина**

**ОВЕС**

**Вавилон: Современная русская литература**

**Art of War. Поддержка творчества ветеранов последних войн**

**АРТ-ЛИТО**

**Vernitskii Literature: Молодая русская литература**

**ОСТРАКОН**

**Сирано**

Целиком этот список можно посмотреть на странице [http://anti.teneta.ru/research/sites\\_rating](http://anti.teneta.ru/research/sites_rating).

Настоящее наше обозрение — уже восьмое, практически в каждом было представление литературных сайтов, и, судя вот по этим двум разным рейтингам, мой выбор в предыдущих обозрениях был в известной мере репрезентативным — по крайней мере половина названных сайтов уже упоминалась мною.

## 2

Проект сайта «Рейтинг литературных сайтов России» кроме экспертной оценки существующих сайтов включает в себя продолжение работы **сетевого литературного конкурса «Улов»**. Возобновление этого конкурса на сайте «Рейтинга» произошло по новым, несколько измененным по сравнению с «Уловом» осени 1999-го правилам. Изменения коснулись в основном условий номинирования текстов:

1. Сетевой литературный конкурс «Улов» проводится два раза в год по итогам рейтинга литературных сайтов. Выдвижение работ с 1 марта по 1 апреля и с 1 октября по 1 ноября, объявление итогов 1 мая и 1 декабря.

2. Выдвижение работ производится кураторами литературных сайтов, которыми они опубликованы, с обязательного согласия авторов. Право участия в сетевом литературном конкурсе «Улов» имеют проекты, получившие в рейтинге литературных сайтов категорию не ниже Е и индекс 1 — 2...

3. Конкурс проводится по номинациям «Поэзия» и «Проза» (как беллетристика, так и эссе)...

4. Жюри конкурса формируется из представителей ведущих российских бумажных изданий и лучших сетевых литературных ресурсов...

5. По итогам конкурса издается литературный альманах «Улов».

Состав жюри сохранился почти тот же, что работал и в предыдущем «Улове»: Алексей Алахин («Арион»), Андрей Василевский («Новый мир»), Дмитрий Бавильский («Уральская новь»), Сергей Костырко (сетевой «Новый мир»), Дмитрий Кузьмин («Вавилон»), Илья Кукулин («TextOnly»), Макс Фрай (сетевой обозреватель),



Алена Холмогорова («Знамя»), Евгений Шкловский («Новое литературное обозрение»).

Вот результаты работы конкурса:

**Поэзия**

1. Владимир Гандельсман, Эдип. Из стихотворений 1990 — 1998 годов;
2. Полина Барскова, Десять стихотворений 1999 — 2000 годов;
3. Ирина Ермакова, Стекланный шарик. Книга стихов (в сокращении);  
Светлана Кекова, Короткие письма. Книга стихов (в сокращении).

**Проза**

1. Леонид Костюков, Верховский и сын;
2. Николай Кононов, Воплощение Леонида;
3. Владимир Коробов, Дальневосточные экспедиции князя Э. Э. Ухтомского...;  
Константин Плешаков, Kreamlinkam.com;  
Асар Эппель, из рассказа «Чужой тогда в пейзаже».

И соответственно, как член жюри читая прозу, представленную на конкурс, — я делал для себя пометки, составлял потихоньку свой личный рейтинг и (как и раньше) в очередной раз решил не таить плоды своих трудов. Вот первая десятка лучших, на мой взгляд, текстов, выставленных на сайте «Рейтинг литературных сайтов России» в конкурсе «Улов» (весна, 2000):

1. Дмитрий Новиков, Муха в янтаре;
2. Леонид Костюков, Верховский и сын;
3. Марина Палей, Второй Египтянин. Из цикла «Long Distance, или Славянский акцент»;
4. Асар Эппель, из рассказа «Чужой тогда в пейзаже»;
5. Сергей Морейно, Непонятый, но возлюбленный Целан;
6. Сергей Шаргунов, Как там ведет себя Шаргунов?
7. Ренат Хисматуллин, История Крысолова из Гаммельна в семи фрагментах;
8. Николай Кононов, Воплощение Леонида;
9. Клим Каминский, Народная душа;
10. Владимир Коробов, Дальневосточные экспедиции князя Э. Э. Ухтомского...

Разумеется, это индивидуальный, вкусовой, выбор. На «Улове» выставлено еще несколько очень даже достойных текстов (но все-таки, к сожалению, не так много, как хотелось бы). Лично для меня открытием стало имя **Дмитрия Новикова**, представленного рассказом «**Муха в янтаре**». Рассказ удивляет и радует и темой, и уровнем, и достаточно сложной философской мыслью. Внешне все просто, без затей: несколько матросов медицинской службы после месяцев плавания отправляются с корабля на берег для получения медицинского инвентаря. Вот этот день, и даже не весь, только несколько часов их поездки, и описан в рассказе. Ничего особенного с матросами не происходит и одновременно — происходит. Происходит то, что будут помнить они всю жизнь, — то редкое и необыкновенно острое переживание полноты жизни, явленной здесь героям в севастопольском утре, в зрелище раннего пляжа с девушками, вкусе выпиваемого у магазина белого крымского портвейна под копченую кильку и черный хлеб, под мужской разговор за жизнь и женщин. Пережитое героями состояние вплавляет их в жизнь, в то, что не обманывает и не может обмануть, независимо от того, что потом произойдет с этими людьми, вплавляет, как муху в янтарь, вплавляет в вечность. Вынужден извиниться здесь за некоторую «возвышенность» своей лексики — в рассказе самого Новикова нет и налета выпренности. Это тоже удивительно, потому как мы уже привыкли к тому, что на подобные и близкие темы в современной прозе принято обычно говорить с барочной почти усложненностью, с использованием огромного количества историко-литературной, философской и прочей символики. «Муха в янтаре» написана почти с бунинской или казаковской «простотой» и непринужденностью. И автору дается, может быть, самое сложное в прозе — не описать, не назвать, а изобразить, прожить в слове некое философское обобщение жизни.

(Сведения о самом Дмитрие Новикове, достаточно скудные, содержатся на его персональной странице в «ЛИТО им. Стерна» (<http://www.lito.spb.ru/members/novikov.html>): тридцать три года, родился и вырос в Петрозаводске; действительно служил три года на флоте, медик по образованию и какое-то время по профессии, ныне — «мелкий рантье», любит «всех и все, кроме жлобов», в частности, «Достоевского, Фолкнера, Сэлинджера, Борхеса, Довлатова, Кортасара, Феллини, Тарковского» и т. д. Печатается, судя по всему, мало, больше — в Интернете. Короче, нормальная писательская биография по нынешним, а за исключением Интернета, и прошлым временам.)

Приятной неожиданностью оказался рассказ хорошо известного по его газетной и интернетовской эссеистике — интересной, острой, но не более того — Леонида Костюкова «Верховский и сын». У рассказа почти романная плотность — хроника трех поколений мужчин одного рода (переживающего все исторические потрясения XX века), передающих друг другу инстинкт отцовской любви, в рассказе этом как бы воплощающий неистребимость самой жизни.

Далее в моем списке идут имена, в особом представлении не нуждающиеся: Марина Палей, Асар Эппель, Николай Кононов, высокая репутация этих литераторов уже давно сложилась и существует и вне Интернета. А рядом — совсем еще молодой, но уже отмеченный публикацией рассказов в «Новом мире», многообещающий дебютант Сергей Шаргунов. Тут для читателя не будет особых открытий.

Еще одним открытием нового конкурса стало вот такое, в общем-то, ожидаемое обстоятельство. Поскольку этот конкурс впервые отказывается от разделения произведений на «бумажные» и «интернетовские», то есть делается попытка вывести писателей из замкнутой, сугубо интернетовской резервации в открытое поле литературы, то было очень интересно, чем эксперимент кончится. Отодвинут ли тексты бумажных авторитетов интернетовские сочинения, как слоны пешку, или?.. Получилось «или». При чтении выставленных на «Улове» текстов абсолютно не чувствовалось присутствия или отсутствия в текстах какой-либо специфически интернетовской метки. И при сопоставлении этих текстов, честное слово, не было потребности в каких-то дополнительных, специальных критериях. Конкурс показал то, что очень легко было предположить изначально: для художественных текстов есть только одна мерка — литература это или нет. Все остальное — от лукавого. Все остальное — вопросы авторских самолюбий, тусовочных амбиций, не более того.

И еще. Казалось, что в условиях конкурса «Улов» есть очевидный изъян: наличие только двух номинаций — «Стихи» и «Проза» — может затруднить работу конкурса, сделать неизбежной путаницу в жанрах; что логично было бы ввести как минимум еще одну номинацию — «Эссе». Но на практике нынешние правила конкурса не осложнили, а, напротив, упростили работу жюри с текстами, претендующими на жанр эссе. Условия эти как бы подразумевают в оценке эссе первенство художественной состоятельности текста. Вот эссе умного, тонкого знатока поэзии, опирающегося еще и на собственный опыт поэта, Елены Шварц «Земная плерома», интересный текст, но в контексте данного конкурса слишком очевидным было, что это пронизательные литературно-критические заметки, но не эссе. А текст Сергея Морейно «Непонятный, но возлюбленный Целан» о Пауле Целане — это прежде всего «филологическая» проза. Разумеется, текст Морейно содержит интересные сведения о поэте и некий очерк его поэзии, но главное, на чем сосредоточен текст, — создание художественного образа поэта и его стихов, и соответственно в тексте чувствуется присутствие самого автора. Собственно, это (наличие автора-художника, а не только исследователя) и определяет жанровую принадлежность текста Морейно — перед нами эссе.

Не возникает вопроса и с эссе Владимира Коробова «Дальневосточные экспедиции князя Э. Э. Ухтомского...». Автор не скрывает своих «борхесовских» беллетристических приемов: придуманный герой князь Ухтомский, придуманный сакральный текст, история некой мистической потаенной практики чуть ли не всей русской культуры; интеллектуально-детективный боевик, разработанный как бы средствами кондового историко-культурного исследования; доведенная почти до пародии стилистика научных исследований, явленная, скажем, в популярных ныне культурологических бестселлерах А. Эткинда.

Очень хорошее впечатление оставляют вариации Рената Хисматуллина «История Крысолова из Гаммельна в семи фрагментах», активно задействовавшие уже классические для «интеллектуальной прозы» XX века приемы. Немного отдает литературной игрой рассказ Клима Каминского «Народная душа», но у автора достаточно вкуса, чтобы не сделать свою историю аляповатым лубком, — освоенные нами по прозе 60-х (Шукшин, Белов, Казаков) характеры обитателей маленького провинциального городка хоть и отсылают к уже прочитанному, но обладают и собственным обаянием; очень хотелось бы надеяться, что рассказ этот в более широком контексте прозы самого Каминского не будет вызывать ассоциаций с ранним Беловым или Шукшиным.

Составляя для себя эту десятку, я, естественно, колебался, потому как были и еще рассказы, о которых следовало бы поговорить подробнее. Приведенный выше список, повторяю, неизбежно вкусовой. Возможно, ничем особо не уступают большей части выбранных мною текстов, скажем, остроумная, азартная проза **Дмитрия Пушкиря** в отрывках из повести «За Родину и все такое», или афганский рассказ **Павла Андреева** «Душа», или рассказ **Андрея Никитина** «Три бутылки водки» о судьбе — обычной, заурядной, как заурядна по-своему любая человеческая судьба (по Чехову: «скучная история») — русского и советского писателя, автора военных романов и повестей; в рассказе — послевоенный Киев, редакционные работники конца 40-х, сталинский лауреат, а потом — эмигрант Виктор Некрасов; и написан этот рассказ подчеркнуто, почти полемично традиционно и по интонации, и по теме, и по способам письма и при этом, а может, благодаря этому, оставляет впечатление грустного и мудрого. Останавливает внимание напористая проза **Ольги Зонберг** в «Отрывном календаре навсегда»; чуть кокетничающие психологической непричесанностью автора-повествователя, но несомненно талантливые рассказы **Элины Свенцицкой**; притчеобразная миниатюра **Игоря Левшина** «Пророк». К сожалению, с очень уж известным рассказом выступил **Константин Плешаков** «kremlinkam.com», не было ощущения новизны; и не самым удачным, на мой взгляд, рассказом представлен в нынешнем «Улове» интересный прозаик **Николай Байтов**. Вот, пожалуй, и все, что рассматривалось мною всерьез при составлении своей десятки. К сожалению, вторая половина (или чуть больше) представленных на конкурс текстов слишком явно обнаруживает несостоятельность художественного воплощения заявленных авторами задач.

Рассказывая о текстах весеннего «Улова», я ни слова не сказал о поэзии. Об этом — в следующем выпуске.

Составитель **Сергей Костырко**.

## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

*Август*

**10 лет назад** — в № 8 за 1990 год напечатаны «Песни восточных славян» Л. Петрушевской.

**20 лет назад** — в № 8 за 1980 год напечатана повесть Владимира Крупина «Живая вода».

**25 лет назад** — в № 8 за 1975 год напечатана повесть Юрия Трифонова «Другая жизнь».

**35 лет назад** — в № 8 за 1965 год напечатан «Театральный роман» М. Булгакова.

**75 лет назад** — в № 8, 9, 10, 11 за 1925 год напечатан роман А. Грина «Золотая цепь».

## SUMMARY



This Issue publishes the novel «The Trip to the Seventh Side of the World» by Lyudmila Ulitskaya. You can also read the end of the Aleksander Melikhov's novel «The Whole World is Strange to Us» and the story «The Next Day after Christmas» by Dmitry Shevarov. The poetry is represented by new poems, written by Bahyt Kenzheyev, Vitaly Dmitriev, Vladimir Korobov and Vladimir Gubaylovsky.

Under the heading «The Nowadays Essays» you can find the Boris Yekimov's essay «Trust Only Yourself».

Under the heading «Times and Manners» three short sketches of the well-known painter and publicist Semen Faybisovich are published, they are dedicated to the situation in the contemporary culture of Russia.

The literary critique is represented by Elena Nevzgladova's notes about contemporary prose «Euterpe from the Back Entrance» and the Elena Kasatkina's article about the Great Britain literature of 1990-th years: «John Bull Took a Nap or „Fin de siècle” in the English Manner».



**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 35, 38, 41, 42.**

**Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.**

---

**Общественный совет:** С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

**Главный редактор А. В. Василевский**

**Редакционная коллегия:** М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

---

**Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова**

**Редактор-библиограф А. И. Фрумкина**

**Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова**

**Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева**

**Адрес редакции:** 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

**Телефоны:** главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

**Факс:** 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru

**Сетевой журнал «Новый мир»:** <http://www.infoart.ru/magazine>

---

**Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.**

**Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”».**

---

**Сдано в набор 20.03.2000 г. Подписано к печати 27.06.2000 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.**

**Высокая печать. Объем 16,0 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28,0 уч.-изд. л.**

---

**Тираж 13 100 экз. Зак. 2365. Цена договорная**

**Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»**

**Управления делами Президента Российской Федерации.**

**103798, Москва, Пушкинская пл., 5.**

**В год 75-летия журнала «Новый мир»  
Благотворительный Резервный фонд  
и редакция журнала «Новый мир»  
учредили литературную премию  
за лучший русский рассказ года.**

Премия присуждается автору, живущему и работающему в России, за рассказ, впервые напечатанный на русском языке в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, сетевые публикации и рукописи не рассматриваются).

Правом выдвижения произведений на премию обладают авторы, издатели и критики.

Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир»

с пометкой «На премию» до 1 декабря 2000 года.

**Состав жюри:**

**МИХАИЛ БУТОВ**, председатель жюри, ответственный секретарь журнала «Новый мир»,

**РУСЛАН КИРЕЕВ**, зав. отделом прозы «Нового мира»,

**АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ**, президент АКБ «Национальный Резервный банк», президент Благотворительного Резервного фонда,

**АНДРЕЙ НЕМЗЕР**, литературный обозреватель газеты «Время новостей»,

**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА** (Екатеринбург), прозаик, эссеист.

**Координаторы премии:**

главный редактор журнала «Новый мир»

**АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,**

генеральный директор Благотворительного Резервного фонда

**ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.**

**СУММА ПРЕМИИ — 3000 \$.**

Объявление лауреата и торжественное вручение премии произойдет в декабре 2000 — январе 2001 года (дата будет уточнена позднее).

Телефоны: (095) 209-57-02, (095) 209-91-81.

Факс: (095) 200-08-29.

E-mail: butov@aha.ru или seva@mail.cnt.ru